

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

7

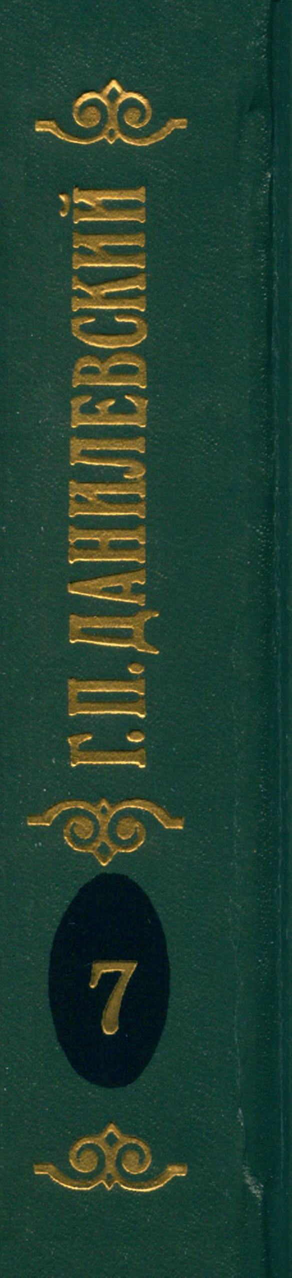
Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Сожженная Москва

Восемьсот двадцать пятый год

Воспоминания

Мелкие статьи



Г. П.
ДАНИЛЕВСКИЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Сожженная Москва

Восемьсот двадцать пятый год

Воспоминания

Мелкие статьи

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

в десяти
томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

Собрание сочинений

Том седьмой



МОСКВА
«ТЕРРА» - «TERRA»
1995

ББК 84Р1
Д18

Оформление художника
Б. ЛАВРОВА

Данилевский Г. П.
Д18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. — М.: ТЕРРА, 1995. — 544 с.
ISBN 5-85255-736-6 (т. 7)
ISBN 5-85255-702-1

В седьмой том вошли произведения, посвященные началу XIX столетия, эпохе царствования Александра I — роман «Сожженная Москва», повествующий о подвиге русских людей в Отечественной войне 1812 г., и неоконченный роман «Восемьсот двадцать пятый год», в котором все самые крупные фигуры петербургского периода русской истории, захваченные событиями своей эпохи, предстают перед читателем.

Думается, особый интерес для читателя могут представить литературные воспоминания писателя и небольшие статьи, включенные в том.

Д 4702010100-041 / А30(03)-95 Подписное
ББК 84Р1
ISBN 5-85255-736-6 (т. 7)
ISBN 5-85255-702-1


Сожженная
Москва

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАШЕСТВИЕ НАПОЛЕОНА I

Вот башни полудикие Москвы
Пред тобой, в венцах из злата,
Горят на солнце... Но, увы...
То — солнце твоего заката!

Байрон. «Бронзовый век»

I

Никогда в Москве и в ее окрестностях так не веселились, как перед грозным и мрачным двенадцатым годом.

Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись балами, катаньями, концертами и маскарадами. Над Москвой, этой пристанью и затишьем для многих потерпевших крушение именитых пловцов, какими были Орловы, Зубовы и другие, в то время носилось как бы веяние крылатого Амура. Немало любовных приключений, с увозами, бегством из родительских домов и дуэлями, разыгралось в высшем и среднем обществе, где блистало в те годы столько замечательных, прославленных поэтами красавиц. Москвичи восторгались ими на четвергах у Разумовских, на вторниках у Нелединских-Мелецких и в Благородном дворянском собрании, по воскресеньям — у Архаровых, в остальные дни — у Апраксиных, Бутурлиных и других.

Был конец мая 1812 года.

Несмотря на недавнюю комету и на тревожные и настойчивые слухи о вероятии разрыва с Наполеоном и о возможности скорой войны, этой войны не ожидали и в обществе никто о ней особенно не помышлял.

В богатом московском доме шестидесятилетней бригадирши, княгини Анны Аркадьевны Шелешпанской, у Патриарших прудов, был многолюдный съезд столичных и окрестных гостей. Праздновались крестины первого правнука Шелешпанской. Прабабку и родителей новорожденного приветствовали обильными здравицами и пожеланиями всяких благ.

За год перед тем, в такой же светлый день апреля, в селе Любанове, подмосковной княгини, состоялась свадьба ее старшей внучки, веселой и живой Ксении Валерьяновны Крамалиной, с секретарем московского сената, служившим и при дирекции театров, Ильей Борисовичем Тропининым. Торжественно празднуя крестины правнука, княгиня имела и другую причину радости и веселью: ее вторая внучка, степенная и гордая Аврора Крамалина, также, по-видимому, наконец вняла голосу сердца. В доме княгини со дня на день ожидали ее помолвки с гостившим в отпуску в Москве «колонновожатым» (т. е. свитским) Василием Алексеевичем Перовским, который сильно ухаживал за Авророй и был угоден княгине. Базиль Перовский был представлен Авроре на последнем из зимних московских балов у Нелединских мужем ее сестры, Ильей Тропининым, своим давним приятелем, товарищем по пансиону и университету.

Гости княгини начинали разъезжаться. Уехал шестериком, цугом, старец Мордвинов, с распущенными по плечам пушистыми сединами; уехал в желтой венской коляске веселый князь Долгорукий, «prince Calembour»[1], как его звали; в английском тильбюри, в шорах, — виновник встречи жениха и невесты Нелединский-Мелецкий; на скромных городских дрожках издатель «Русского вестника» Сергей Глинка

[1] «Князь Каламбур» *(фр.)*.

и другие. Приемные и обширный, обсаженный липами двор княгини опустели. Остались ее родные и несколько близких знакомых, в том числе почтивший княгиню заездом и особым вниманием старинный приятель ее покойного мужа, новый московский главнокомандующий граф Ростопчин. Это был высокий ростом, еще крепкий на вид мужчина лет пятидесяти, с оживленными, умными черными глазами, узенькими бакенбардами, большим открытым лбом и громкою, подчас крикливою речью. Он ранее других гостей узнал от княгини, что поклонник ее второй внучки — тайный сын украинского магната, тогдашнего министра просвещения. Другим княгиня до времени об этом умалчивала.

Прощаясь с хозяйкой, Ростопчин с улыбкой указал ей на Перовского, в новеньком стянутом мундире почтительно стоявшего в стороне, и вполголоса заметил:

— Напрасно, однако, княгиня, ваша внучка медлит; женишок хоть куда: кончили бы, да тогда ему, с Богом, хоть и к месту служения.

— Что вы, граф! Из-за чего же торопиться? — ответила княгиня. — Aurore[1] так еще молода; ведь ей невступно восемнадцать: не перестарок еще, в девках не засидится... Все, мой хороший, в руках Божьих. Да на днях уж и пост, и отпуск этого молодца на исходе... Обещает снова приехать после Успенья, в конце августа, коли будем живы... Тогда сватовство; тогда, если суждено, сыграем и свадьбу.

— Зовите, княгиня, мы — ваши гости! — сказал Ростопчин. — Только не затянулось бы дело для счастливцев... Слышали, чай, толки о войне.

— Э, батюшка граф, где еще тот Наполеон! — ответила княгиня. — До нас ему далеко... надеемся же мы больше на московских чудотворцев да на ваше искусство, граф.

---

[1] Аврора *(фр.)*.

Ростопчин озабоченно оглянулся на присутствующих, надел перчатки и уже хотел откланяться, но, нахмурясь, опять сел возле княгини.

— Разве что знаешь нового? — тихо спросила Анна Аркадьевна.

Ростопчин молча кивнул ей головой.

Княгиня обмерла.

— Да говори же, дорогой, говори! — прошептала она, растерянно ища в ридикюле флакон со спиртом и поднося его к своему носу.

— Здесь не место, — ответил ей граф, — заеду завтра.

— Нет, родной, сегодня вечером: не мори ты меня, дуру попову, ведь знаешь — я трусиха.

— Но у вас гости, наверное, будет бостон, а я, вы знаете, до карт не охотник.

— Ах, не нападай ты на карты, говорю тебе, помни слова Талейрана: кто не привык играть в карты в молодости, готовит себе печальную старость. Итак, до вечера — приму тебя одна.

— Постараюсь.

II

Граф Ростопчин сдержал слово. В тот же вечер княгиня приняла его в своей молельне. Эта комната, как знал граф от других, служила ей запасною спальней и вместе убежищем во время летних гроз. Ростопчин с любопытством окинул взглядом убранство этой комнаты. Оконные занавески в ней, обивка мебели, полог, одеяло, подушки и простыня на кровати были из шелковой ткани, а кровать — стеклянная и на стеклянных ножках. Даже вывезенный княгинею из Парижа и здесь висевший портрет Наполеона был выткан в Лионе на шелковом платке. Ростопчин застал княгиню на кровати. Две горничные держали перед нею собачку Тутика, на которого третья примеряла вышитую гарусом попонку. Взяв

Тутика и отпустив горничных, Шелешпанская указала графу кресло.

Высокая, в пудреных буклях и белая, точно выточенная из слоновой кости, княгиня Анна Аркадьевна была представительницей старинного, угасавшего в то время княжеского рода, в котором не она одна славилась смелым умом и властною красотой. Матери, указывая на нее дочерям на балах, обыкновенно говорили: «Заметила ты, ma chère[1], эту высокую, худую старуху? Она недавно из Парижа. Будешь идти мимо, присядь, а не то и ручку поцелуй. Пригодится».

Ростопчин в молодости видел и на опыте узнал обольстительное владычество знатных барынь XVIII века, в том числе и княгини, за которою на его глазах так все ухаживали. Его тогда не удивляло общее сознательное и благоговейное покорство этим законодательницам моды. Теперь он над ними, в том числе и над княгинею Шелешпанской, в душе посмеивался. Он трунил над тем, что княгиня, жившая долго в Париже, доныне пудрилась à la neige[2], причесывалась à trois marteaux[3] и носила платья модных цветов — couleur saumon[4] и hanneton[5]. Граф по поводу некогда пылкой, но стойкой и чопорной княгини даже выразился однажды, что у Данте в его «Аду» забыто одно важное отделение, где светские грешницы ежечасно мучатся не сознанием своих грехов, а воспоминанием того, как в жизни не раз они могли негласно и незаметно согрешить и не согрешили — из трусости, гордости или простоты.

Некогда поклонница Вольтера, Дидро и мадам Ролан, княгиня теперь, на старости лет, заслышав над домом даже

---

[1] Моя дорогая (*фр.*).
[2] Как снег (*фр.*).
[3] В три локона (*фр.*).
[4] Цвета сомон (лососины) (*фр.*).
[5] Майского жука (*фр.*).

слабый удар грома, без памяти спешила в свою молельню, зажигала у образов лампады и свечи, наскоро надевала на себя все шелковое и ложилась под шелковое одеяло на шелковую постель. Не помня себя от ужаса, она кричала на главную свою экономку, горничных и приживалок, чтоб запирали все ставни и двери, приказывала им опускать на окна шелковые гардины и, лежа с закрытыми глазами, то и дело вздрагивая, повторяла: «Свят, свят! Осанна в вышних!», пока кончались последние раскаты грозы.

«Любит, старая, жизнь, — подумал, усевшись против княгини, Ростопчин, — да как ее и не любить! Пожила когда-то. Теперь она одна, состояния много... А тут надвигается гроза! Нет, матушка, не спасут, видно, никакие стеклянные кровати и никакие шелки».

— Что же, дорогой граф, — держа на коленях собачку, встревоженно, по-французски, обратилась к гостю Шелешпанская, — неужели, правда, быть войне?

По-русски княгиня, как и все тогдашнее общество, только молилась, шутила либо бранилась с прислугой.

— Мы с вами, Анна Аркадьевна, наедине, — начал граф, — как старый приятель вашего мужа и ваш, смею повторить, всегдашний поклонник, скажу вам откровенно — дела наши нехороши... Бонапарт покинул Сен-Клу и прибыл по соседству к нам, в Дрезден; его, как удостоверяет «Гамбургский курьер», окружают герцоги, короли и несметное войско.

— Да ведь он только и делает, что воюет, в том его забава! — возразила княгиня. — Может быть, это еще и не против нас...

— Увы! Государь Александр Павлович также оставил Петербург и поспешил в Вильну. Глаза и помыслы всех теперь на берегах Двины...

— Но это, граф, может быть, диверсия против наших соседей? Все не верится.

— Таких сил Бонапарт не собрал бы против других. У него под рукой — газеты все уже высчитали — свыше по-

лумиллиона войска и более тысячи двухсот пушек, один обоз в шесть тысяч подвод.

Княгиня понюхала из флакона и переложила на коленях спавшую собачку.

— И вы думаете, граф?.. — спросила она со вздохом.

Граф Федор Васильевич скрестил руки на груди и приготовился сказать то, о чем он давно думал.

— Огненный метеор промчался по Европе, — произнес он, — долетит и в Россию. Я не раз предсказывал... Мало останавливали венчанного раба, когда он без объявления войны брал другие государства и столицы; увидим его и мы, русские, если не вблизи, то на западной границе наверное.

— Кто же виноват?

Ростопчин промолчал.

— Но наше войско, — сказала княгиня, — одних казаков сколько!

— Благочестивая-то, «небреемая» рать, бородачи? — произнес Ростопчин по-русски. — Полноте, матушка княгиня, не вам это говорить; вы так долго жили в Европе, столько видели и слышали.

Польщенная княгиня забыла страх. Ей вспомнились Париж, тамошние знаменитости, запросто бывавшие у нее.

— Моя парижская знакомая, мадам де Сталь, представьте, граф, — произнесла она, — уверяет, будто Бонапарт — полный невежда, грубиян и отъявленный лжец. Не чересчур ли это? Я не так начитанна, как вы, что вы на это скажете?

— Сущая правда, — ответил, склонясь, Ростопчин, — Наполеон и Меттерниха считает великим государственным человеком только потому, что тот лжет ловко и хорошо. Я давно твержу, но со мной не соглашаются: Бонапарт — низменная, завистливая душонка, ни тени величия. По воспитанию — капрал, настоящее образование почти не коснулось его. Он ругается, как площадная торговка, как солдат, ничего дельного и изящного не читал и даже не любит читать.

— Но мадам Ремюза, я у нее видела его... она хоть пренапыщенная, а умница — и в восторге от него...

— Еще бы, дочь его министра! О, это новый Тамерлан... Ему чужды высокие движения сердца и узы крови, а вечная привычка притворствовать и рисоваться вытравила в нем и остатки правды. Да что? По его собственному признанию, обычная мораль и всеми принятые приличия — не для него! А недавно он выразился, что он — олицетворение французской революции, что он носит ее в себе и воспроизводит; что счастлив тот, кто прячется от него в глуши, и что, когда он умрет, вселенная радостно скажет: уф!

— Но за что же, за что он против нас? — спросила встревоженно княгиня.

— Уж сильно его баловали в последнее время, а потом отказали в сватовстве с великой княжной Екатериной Павловной — вот за что. А ведь он гений; по приговору газетчиков и стихоплетов — неизбежная судьба услужливой Европы. Как можно было так поступить с гением? Вот он теперь и твердит перед громадой Европы: Россия зазналась, отброшу ее в глубь Азии, дам ей пережить участь Польши. По совести, впрочем, сказать, я убежден: мы не погибнем.

— Неужели? — обрадованно спросила княгиня. — Утешь меня!

— Вот что, матушка Анна Аркадьевна, скажу я вам, — произнес опять по-русски Ростопчин. — Наша Россия — тот же желудок покойного Потемкина — она в конце концов, попомните меня, переварит все, даже и Наполеона...

— Что же, граф, делать нам теперь?

— Что делать? — произнес Ростопчин. — Никому я этого, княгиня, еще не говорил и не скажу, а вам, извольте, открою: скорее и без замедления уезжайте из Москвы. Сюда французам не дойти, а все-таки...

— Куда же ехать?

— А хоть бы в вашу коломенскую или, еще лучше, подалее, в тамбовскую вотчину. Повторяю, французам не дадут, может быть, перейти и границу, но здесь, княгиня,

будет неспокойно, — вполголоса заключил Ростопчин, — не в ваши лета это переносить. Начнутся вооружения, сбор войск, суета...

Княгиня молитвенно взглянула на белый мраморный, итальянской работы, бюст Спасителя, стоявший в молельне среди ее семейных, старых, потемневших образов.

— Не понимаю! — сказала она, разведя руками. — Неужели же в первопрестольной столице, среди угодников и чудотворцев Божьих и под вашим начальством, граф, мы не будем в безопасности?

«Ишь храбрая! — подумал Ростопчин. — Грозы боится, а Бонапарта не трусит, даже его шелковый портрет привесила у себя!»

— Как знаете, княгиня, — ответил граф, вставая и откланиваясь, — мое дело было вас предупредить. Я вам поведал по секрету мое личное мнение. Дождались наши вольнодумцы с величанием Бонапарта!.. Злость берет, как подумаешь. На Западе вольнодумствуют сапожники, стремясь стать богачами, а у нас баре колобродят и мутят, чтобы во что бы то ни стало стать сапожниками... И все это — их вожак Сперанский.

— Ну, вы все против Сперанского. Что он вам? — спросила княгиня.

— Что он мне? А вот что... Его хвалили — но это чиновник огромного размера, не более, творец всесильной кабинетной редакции. Канцелярия — его форум, тысячи бумаг, и превредных, — его трубы и литавры. И хорошо, что его упрятали и что он сам теперь стал сданною в архив бумагою, за номером... Ну, да вы не согласны со мной, прощайте.

Ростопчин поцеловал руку княгини и направился к двери.

— Да, — сказал он, остановясь, — еще слово... Мое утреннее предсказание о господине Перовском, искателе руки вашей внучки, сбылось, к сожалению, ранее, чем я ожидал.

— Боже мой, что такое?

— Я застал дома указ — всем штаб- и обер-офицерам, где бы они и при чем бы ни были, без малейшего замедления отправиться к своим полкам. Вызываю его на завтра, да пораньше. Могу ему дать, если попросит, два-три дня для сборов, не более.

Княгиня протянула руку к звонку и, растерявшись, не могла его найти.

III

Утром следующего дня Перовский узнал о вызове всех офицеров к полкам.

Не столько разнились между собой оживленная и полная, в веснушках, с золотистыми локонами и голубыми глазами Ксения и задумчивая черноволосая и сухощавая Аврора, сколько были несхожи видом и нравом близкие друг другу с детства Илья Тропинин и Базиль Перовский.

В ранние годы Базиль был увезен из Почепа, украинского поместья своего отца, в Москву, где под надзором гувернеров и дядьки-малоросса сперва был помещен в пансион, потом в Московский университет и, кончив здесь учение, уехал в Петербург на службу, которой ревностно и отдался. Хорошо начитанный, он знал в совершенстве французский и немецкий языки и любил музыку. Будучи смел и честолюбив и увлекаясь возвышенными военными идеалами, он питал, как и многие его сослуживцы, тайное благоговение к общему тогдашнему кумиру, укротителю террора и якобинцев, цезарю-плебею Наполеону, которого в то время многие прозорливые люди начинали уже осуждать и бранить.

В числе других, истых петербургских «европейцев», Базиль мысленно, а иногда с оглядкой и вслух, искренне осуждал непринятие нашим двором сватовства Наполеона, незадолго перед тем искавшего руки великой княжны Екатерины Павловны, сестры государя Александра Павловича. Отвергнутый русскою императорскою семьей, Бонапарт, по

мнению Базиля, рано или поздно должен был подумать о возмездии и так или иначе отплатить грубой, как выражались тогда в Петербурге, косневшей в предрассудках России за эту несмываемую тяжелую обиду.

Высокого роста темноволосый широкоплечий и с тонким, стройным военным перехватом Базиль был всегда заботливо выбрит, надушен и щегольски одет. С отменно вежливыми, усвоенными в столичной среде движениями и речью он всех привлекал умным взглядом больших карих мечтательно-задумчивых глаз, ласковой улыбкой и веселой своеобразной, остроумной речью. Среди товарищей Перовский слыл душою-весельчаком, среди женщин — несколько загадочным, у начальства — подающим надежды молодым офицером. Страстно любя пение и музыку, он, будучи еще студентом, самоучкою стал разбирать ноты и недурно играл на клавикордах и пел не только в кругу товарищей, но и в обществе, на небольших вечерах. Некоторое время состоя с другими колонновожатыми в какой-то масонской ложе, он с ними затеял было даже переселиться на дальний японский остров Соку, как тогда звали Сахалин, и основать там некую особую республику. Эта мысль вскоре, впрочем, была брошена за недостатком денег для такого дальнего вояжа.

Что же до сердечных увлечений Перовского, то никто о них в Петербурге не слышал. Он сам даже посмеивался над волокитством столичных фатов, и потому все были крайне удивлены, когда прошла нежданная весть, что этот юный и, по-видимому, вовсе еще не думавший о прочной любви и о женитьбе, красивый и всегда беспечно веселый гвардеец, так же лихо гарцевавший на петербургских маневрах и смотрах, как и ловко скользивший на столичных паркетах, влюбился и готовился посвататься. О происхождении Перовского в его служебной среде и в обществе еще мало кто знал. Его звали просто «наш красавец малоросс».

Базиль живо представлял себе последний памятный вторничный вечер у Нелединских-Мелецких в их доме на Мясницкой, куда его привез университетский товарищ Илья

Тропинин. Здесь было так весело и шумно. Старики в кабинете и в цветочной сидели за картами; молодежь в гостиной играла в фанты и в буриме, а в зале шли танцы. На этом вечере блистало столько роскошных, выписанных из Парижа нарядов и чуть охваченных, краем платьев обнаженных дамских и девичьих шей и плеч. Шел бесконечный котильон, о котором тогда выражались поэты:

Cette image mobile,
De limmobile éternité.
(Этот подвижной образ неподвижной вечности).

Базиль, с другими, танцевал до упаду. Здесь-то, среди цветущих лилий и роз, под гром оркестра Санти, он впервые увидел сухощавую и стройную, незнакомую ему брюнетку, сидевшую в стороне от танцующих. Возле нее стоял, пожирая ее глазами и тщетно стараясь ее занять, известный москвичам любитель пения и живописи, длинный и мрачный эмигрант Жерамб, всех уверявший, что он офицер тогда возникавшего таинственного легиона «hussards de la mort» («гусаров смерти»), почему он носил черный доломан с изображениями на серебряных пуговицах мертвой головы, так шедший к его исхудалому и желтому лицу. При взгляде на незнакомку в мыслях Перовского мелькнуло: «Так себе, какая-то худашка». Но когда он ближе разглядел ее черные, спокойно на всех смотревшие глаза, несколько смуглое лицо, пышную косу, небрежным жгутом положенную на голове, и ее скромное белое платье с пучком алого мака у корсажа, он почувствовал, что эта девушка властительно войдет в его душу и останется в ней навсегда. Его поражала ее строгая, суровая и как бы скучающая красота. Она почти не улыбалась, а когда ей было весело, это показывали только ее глаза да нос, слегка морщившийся и поднимавший ее верхнюю смеющуюся губу.

В то время за Авророй кроме «гусара смерти» Жерамба тщетно ухаживали еще несколько светских женихов: Митя Усов, двое Голицыных и другие. В числе последних был, между прочим, известный богатством, высокий пожилой и

умный красавец вдовец, некогда раненный турками в глаз еще при Суворове, премьер-майор Усланов. Он везде, на балах и гуляньях, подобно влюбленному Жерамбу, молча преследовал недоступную красавицу. Остряки так и звали их: «нимфа Галатея и циклоп Полифем».

Все поклонники новой Галатеи, однако, остались за флагом. Победителя предвидели: то был Перовский. Дальнейшее знакомство, через Тропинина, сблизило его с домом княгини. Он даже чуть было не посватался. Это случилось после пасхальной обедни, которую княгиня слушала в церкви Ермолая. Аврора приняла его в пальмовой гостиной бабки, присела с ним у клавикордов, и он, под вальс Ромберга, уже готовился было сделать ей предложение. Но Аврора играла с таким увлечением, а он так робел перед этою гордою, строгою красавицей, что слова не срывались с его языка, и он уехал молчаливый, растерянный.

Илья Борисович Тропинин давно угадывал настроение своего друга. Неразговорчивый близорукий и длинный, с серыми добрыми, постоянно восторженными глазами Илья Тропинин был родом из старинной служилой семьи небогатых дворян-москвичей. Сирота с отроческих лет, он, как и Базиль, был рано увезен из родного дома. Помещенный опекуном в пансион, он здесь, а потом в Московском университете близко сошелся с Перовским как по сходству юношески-мечтательного нрава, так и потому, что охотнее других товарищей внимательно выслушивал пылкие грезы Базиля о их собственной военной славе, которая, почем знать, могла сравняться со славою божества тогдашней молодежи — Бонапарта. Тулон, пирамиды и Маренго не покидали мыслей и разговоров молодых друзей.

Они зачитывались любимыми современными писателями, причем, однако, Базиль отдавал предпочтение свободомыслящим французским романистам, а Илья, хотя также жадно-мечтательно упивался их страстными образами, подчас по уши краснел от их смелых, грубо обольстительных подробностей и, впадая потом в раскаяние, налагал на себя даже

особую епитимью. Базиль нередко после такого чтения под подушкой Тропинина находил либо тетрадь старинной печати церковных проповедей, или полупонятные отвлеченные размышления отечественных мистиков. В свободные часы Тропинин занимался рисованием. Он очень живо схватывал и набрасывал на бумагу портреты и чертил забавные карикатуры знакомых, в особенности театралов.

— Нет, боюсь женщин! — смущенно говорил в такие мгновения Илья, мучительно ероша свои русые волосы, в беспорядке падавшие на глаза. — Так, голубчик Вася, боюсь, что по всей вероятности никогда не решусь жениться, пойду в монастырь.

Когда друзья были еще в пансионе, Тропинина там называли схимником, уверяя, что в его классном ящике устроено из образков подобие иконостаса, перед которым он будто бы, прикрываясь крышкой, изредка даже служил молебны.

Университет еще более сблизил Перовского и Тропинина. Они восторгались патриотическими лекциями профессоров и пользовались особым расположением ректора Антона Антоновича Прокоповича-Антонского, о котором шутники, их товарищи, сложили куплет:

Тремя помноженный Антон,
А на придачу Прокопович...

Ректор, любивший поболтать с молодежью, расставаясь с Перовским и Тропининым, сказал первому: «Ты будешь фельдмаршалом!», а второму: «Ты же — счастливым отцом многочисленной семьи!» Не раз впоследствии, под иными впечатлениями, приятели вспоминали эти предсказания. По выходе из университета Перовский изредка из Петербурга переписывался с Тропининым, который тем временем поступил на службу в московский сенат. Они снова увиделись зимой 1812 года, когда Базиль и также служивший в колонновожатых в Петербурге двоюродный брат Тропинина по матери Митя Усов получили из своего штаба командировку в Москву для снятия копий с воен-

ных планов, хранившихся в московском архиве. Базиль. чтобы не развлекаться светскими удовольствиями, получив планы, уговорил Митю уехать с ним в можайскую деревушку Усовых Новоселовку, где оба они и просидели над работой около месяца, а на масленой, окончив ее, явились, ликующие, в Москву и со всем увлечением молодости окунулись в ее шумные веселости.

Илья Тропинин в это время, вопреки своим юношеским уверениям, был уже не только женат и беспредельно счастлив, но и крайне расположен сосватать и женить самого Перовского. Встреча Базиля с свояченицей Тропинина Авророй Крамалиной помогла Илье ранее, чем и сам он того ожидал. Перовский на Пасху стал то и дело заговаривать об Авроре, а в мае, как замечал Илья, он был уже от нее без ума, хотя все еще не решался с нею объясниться.

IV

Весть о призыве офицеров к армии сильно смутила Перовского. Он объяснился с главнокомандующим и для устройства своих дел выпросил у него на несколько дней отсрочку. За неделю перед тем он заехал на Никитский бульвар к Тропинину. Приятели, посидев в комнате, вышли на бульвар. Между ними тогда произошел следующий разговор.

— Итак, Наполеон против нас? — спросил Тропинин.

— Да, друг мой, но, надеюсь, войны все-таки не будет, — ответил несколько нерешительно Перовский.

— Как так?

— Очень просто. О ней болтают только наши вечные шаркуны, эти «неглиже с отвагой», как их зовет здешний главнокомандующий. Но не пройдет и месяца, все эти слухи, увидишь, замолкнут.

— Из-за чего, однако, эта тревога, сбор у границы такой массы войск?

— Меры предосторожности, вот и все.

— Нет, милый! — возразил Тронинин. — Твой кумир разгадан наконец; его, очевидно, ждут у нас... Поневоле вспомнишь о нем стих Дмитриева: «Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там!» Сегодня в Дрездене, завтра, того и гляди, очутится на Немане или Двине, а то и ближе...

— Не верю я этому, воля твоя, — возразил Перовский, ходя с приятелем по бульвару. — Наполеон не предатель. Не надо было его дразнить и посылать к нему в наши представители таких пошлых, а подчас и тупых людей. Ну, можно ли? Выбрали в послы подозрительного, желчного Куракина! А главное, эти мелкие уколы, постоянные вызовы, это заигрывание с его врагом, Англией... Дошли наконец до того, что удалили от трона и сослали, как преступника, как изменника, единственного государственного человека, Сперанского, а за что? За его открытое предпочтение судебникам Ярослава и царя Алексея гениального кодекса того, кто разогнал кровавый Конвент и дал Европе истинную свободу и мудрый новый строй.

— Старая песня! Хорошая свобода!.. Убийство, без суда, своего соперника, Ангиенского герцога! — возразил Тропинин. — Ты дождешься с своим божеством того, что оно, побывав везде, кроме нас, и в Риме, и в Вене, и в Берлине, явится наконец и в наши столицы и отдаст на поругание своим солдатам мою жену, твою невесту — если бы такая была у тебя, — наших сестер...

— Послушай, Илья, — вспыхнув, резко перебил Перовский, — все простительно дамской болтовне и трусости; но ты, извини меня, — умный, образованный и следящий за жизнью человек. Как не стыдно тебе? Ну зачем Наполеону нужны мы, мы — дикая и, увы, полускифская орда?

— Однако же, дружище, в этой орде твое мировое светило усиленно искало чести быть родичем царей.

— Да послушай наконец, обсуди! — спокойнее, точно прощая другу и как бы у него же прося помощи в сомнениях, продолжал Базиль. — Дело ясное как день. Великий человек

ходил к пирамидам и иероглифам Египта, к мраморам и рафаэлям Италии, это совершенно понятно... А у нас? Чего ему нужно?.. Вяземских пряников, что ли, смоленской морошки да ярославских лык? Или наших балетчиц? Нет, Илья, можешь быть вполне спокоен за твоих танцовщиц. Не нам жалкой рогатиной грозить архистратигу королей и вождю народов половины Европы. Недаром он предлагал Александру разделить с ним мир пополам! И он, гений-творец, скажу открыто, имел на это право...

— О да! И не одного Александра он этим манил, — возразил Тропинин, — он то же великодушно уступал и Богу в надписи на предположенной медали: «Le ciel á toi, la terre á moi» («Небо для тебя, земля — моя»). Стыдись, стыдись!..

Перовский колебался, нить возражений ускользала от него.

— Ты повторяешь о нем басни наемных немецких памфлетистов, — сказал он, замедлясь на бульварной дорожке, залитой полным месяцем. — Наполеон... да ты знаешь ли?.. Пройдут века, тысячелетия — его слава не умрет. Это олицетворение чести, правды и добра. Его сердце — сердце ребенка. Виноват ли он, что его толкают на битвы, в ад сражений? Он поклонник тишины, сумерек, таких же лунных ночей, как вот эта; любит поэмы Оссиана, меланхолическую музыку Паэзиелло, с ее медлительными, сладкими, таинственными звуками. Знаешь ли — и я не раз тебе это говорил — он в школе еще забивался в углы, читал тайком рыцарские романы, плакал над «Матильдой» крестовых походов и мечтал о даровании миру вечного покоя и тишины.

— Так что же твой кумир мечется с тех пор, как он у власти? — спросил Тропинин. — Обещал французам счастье за Альпами, новую какую-то веру и чуть не земной рай на пути к пирамидам, потом в Вене и в Берлине — и всего ему мало; он, как жадный слепой безумец, все стремится вперед и вперед... Нет, я с тобой не согласен.

— Ты хочешь знать, почему Наполеон не успокоился и все еще полон такой лихорадочной деятельности? — спросил, опять останавливаясь, Перовский. — Неужели не понимаешь?

— Объясни.

— Потому что это — избранник провидения, а не простой смертный.

Тропинин пожал плечами.

— Пустая отговорка, — сказал он, — громкая газетная фраза, не более! Этим можно объяснить и извинить всякое насилие и неправду.

— Нет, ты послушай, — вскрикнул, опять напирая на друга, Базиль, — надо быть на его месте, чтобы все это понять. Дав постоянный покой и порядок такому подвижному и пылкому народу, как французы, он отнял бы у страны всякую энергию, огонь предприятий, великих замыслов. У царей и королей — тысячелетнее прошлое, блеск родовых воспоминаний и заслуг; его же начало, его династия — он сам.

— Спасибо за такое оправдание зверских насилий новейшего Атиллы, — возразил Тропинин, — я же тебе вот что скажу: восхваляй его как хочешь, а если он дерзнет явиться в Россию, тут, братец, твою философию оставят, а вздуют его как всякого простого разбойника и грабителя, вроде хоть бы Тушинского вора и других самозванцев.

— Полно так выражаться... Воевал он с нами и прежде, и вором его не звали... В Россию он к нам не явится, повторяю тебе — незачем! — ответил, тише и тише идя по бульвару, Перовский. — Он воевать с нами не будет.

— Ну, твоими бы устами мед пить! Посмотрим, — заключил Тропинин. — А если явится, я первый, предупреждаю тебя, возьму жалкую рогатину и вслед за другими пойду на этого архистратига вождей и королей. И мы его поколотим, предсказываю тебе, потому что в конце концов Наполеон все-таки — один человек, одно лицо, а Россия — целый народ...

Вспоминая теперь этот разговор, Перовский краснел за свои заблуждения.

V

Новые настойчивые слухи окончательно поколебали Перовского относительно его кумира. Он за достоверное узнал, что Наполеон предательски захватил владения великого герцога Ольденбургского, родственника русского императора, и собирался выгнать остальных государевых родных из других немецких владений. Вероломное скопление французов у Немана тоже стало всем известно. Смущенный Перовский стал непохож на себя.

Вечером следующего дня устроилась прогулка верхами за город. В кавалькаде участвовали Ксения с мужем и Аврора с Перовским и Митей Усовым. Лошади для мужчин были взяты из мамоновского манежа. Выехали через Поклонную гору в поле. За несколько часов перед этой поездкой прошел сильный, с грозою дождь.

Вечер красиво рдел над Москвой и окрестными пологими холмами. Душистые зеленые перелески оглашались соловьями, долины — звонкими песнями жаворонков. Аврора ездила лихо. Ее собственный красивый караковый в «масле» мерин Барс, пеня удила, натянутые ее твердой рукой, забирал более и более хода, мчась по мягкой росистой дороге проселка. Серый жеребец Перовского, не отставая, точно плыл и стлался возле Барса. Ускакав с Перовским вперед от прочих всадников, Аврора задержала коня.

— Вы скоро едете? — спросила она.

— На несколько дней получил отсрочку.

— Что же, полагаю, вам тяжело идти на прославленного всеми гения? — спросила Аврора, перелетая в брызгах и всплесках через встречные дождевые озерца. — Оставляете столько близких...

Проскакав несколько шагов, она поехала медленнее.

— Близкие будут утешены, — ответил Базиль, — добрые из них станут молиться.

— О чем?

— Об отсутствующих, путешествующих, — ответил Перовский, — так сказано в Писании.

— А о болящих, дома страждущих, помолятся ли о них? — спросила Аврора, опять уносясь в сумрак дороги, чуть видная в волнистой черной амазонке и в шляпке Сандрильоны с красным пером.

— Будут ли страдать дома, не знаю, — ответил, догнав ее, Базиль, — говорят же: горе отсутствующим.

— Горе, полагаю, тем и другим! — сказала, сдерживая коня Аврора. — Война — великая тайна.

Сзади по дороге послышался топот. Аврору и Перовского настигли и бешено обогнали два других всадника. То были Ксения и Митя Усов.

— А каковы, Аврора Валерьяновна, аргамачки? — весело крикнул Митя, задыхаясь от скачки и обдав Перовского комками земли. — Мне это, Базиль, по знакомству дал главный мамоновский жокей Ракитка...

Ксения, в красной амазонке и вьющейся за плечами вуали, мелькнула так быстро, что сестра не успела ее окликнуть. Тропинин мерным галопом ехал сзади всех на грузном и длинном английском скакуне с коротким хвостом.

— Что за милый этот Митя, — сказала Аврора, когда Перовский опять поравнялся с нею, — ждет не дождется войны, сражений...

— И золотое сердце! — прибавил Перовский. — Сегодня он писал такое теплое письмо к своему главному командиру, моля иметь его в виду для первого опасного поручения в бою. И что забавно — убежден, что в походе непременно влюбится и осенью обвенчается.

Всадники еще проскакали с версту между кудрявыми кустарниками и пригорками и поехали шагом.

— Как красив закат! — сказал, оглядываясь, Перовский. — Москва как в пожаре... кресты и колокольни над нею — точно мачты пылающих кораблей...

Аврора долго смотрела в ту сторону, где была Москва.

— Вы исполните мою просьбу? — спросила она.

— Даю слово, — ответил Перовский.

— Скажите прямо и откровенно, как вы смотрите теперь на Наполеона?

— Я... заблуждался и никогда себе этого не прощу.

Глаза Авроры сверкнули удивлением и радостью.

— Да, — сказала она, помолчав, — надвигаются такие ужасы... этот неразгаданный сфинкс, Наполеон...

— Предатель и наш враг; жизнь и все, что дороже мне жизни, я брошу и пойду, куда прикажут, на этого врага.

Аврора восторженно взглянула на Перовского.

«Я не ошиблась, — подумала она, — у нас одни идеалы, одна мысль!»

— Вы правы, правы... и вот что...

Аврора вспыхнула, хотела еще что-то сказать и замолчала. Хлестнув лошадь, она быстро перескочила через дорожную канаву и понеслась полем, вперерез обогнавшим ее всадникам. Все съехались у стемневшей рощи. Возвращались в Москву общей группой, при месяце. Под Новинским Базиль увидел в глубине знакомого двора окна своей квартиры, где он в последнее время пережил столько сомнений и страданий, и, указав Авроре этот дом, стал было у ворот прощаться с нею и с остальными, но его упросили, и он поехал далее. Княгиня ждала возвращения катающихся и под их оживленный говор просидела с ними до ужина.

— Вы не договорили, хотели еще что-то мне сказать? — спросил после ужина Перовский Аврору.

Она молча присела к клавикордам. В полуосвещенной зале раздались пленительные звуки ее сильного грудного, бархатного контральто. Аврора пела любимый сердечный романс старого приятеля бабки, Нелединского-Мелецкого:

Свидетели тоски моей,
Леса, безмолвью посвященны...

— Дорогой Василий Алексеевич, — обратилась Ксения к Перовскому, — спойте тот... ну, мой любимый!

Перовский расстегнул воротник мундира, подошел к клавикордам, оперся руками о спинку стула Авроры и, под ее игру, запел романс того же автора:

Прости мне дерзкое роптанье,
Владычица души моей.

Все были растроганы. Базиль от сердечного волнения, глядя на склонившиеся к нотам шею и плечи Авроры, блаженствуя, смолк. Тропинин отирал слезы.

— Ах, как ты, Вася, поешь, — проговорил он, — как поешь! Ну можно ли с такою душою защищать Наполеона?..

Аврора глазами делала знаки Илье Борисовичу. Ее носик весело сморщился, подняв над зубами смеющуюся губу. Илья этих знаков не видел.

Перовский и Тропинин уехали. Ксения осталась ночевать с сестрой. Проводив мужчин и простясь с бабкой, сестры ушли из залы в темную угловую молельню и молча сели там. Вдруг Аврора встала, возвратилась в залу и со словами: «Нет, не могу!» — опять села за клавикорды. Плавные звуки ее любимой Шестнадцатой сонаты Бетховена огласили стихшие комнаты. Сыграв сонату, она задумалась.

— О чем ты думаешь? — спросила, обнимая сестру, Ксения.

Аврора, не отвечая, стала опять играть.

— Ты о нем? — спросила Ксения.

— Да, он уедет, и я предчувствую... более мы не увидимся.

— Но почему же, почему? — спросила Ксения, осыпая поцелуями плакавшую сестру. — Он вернется; от тебя зависит подать ему надежду.

Аврора не отвечала.

«И зачем я узнала его, зачем полюбила? — мыслила она, склоняясь к клавишам и, в слезах, продолжая играть. — Лучше бы не родиться, не жить!»

VI

Уйдя к себе наверх, Аврора отпустила горничную и стала раздеваться. Не зажигая свечи, она сняла с себя платье и шнуровку, накинула на плечи ночную кофту и присела на первый попавшийся стул. Месяц светил в окна бельведера. Аврора, распустив косу, то заплетала ее, то опять расплетала, глядя в пустое пространство, из которого точно смотрели на нее задумчиво-ласковые глаза Перовского.

— Ах, эти глаза, глаза! — прошептала Аврора.

Красного дерева с бронзой мебель этой комнаты напомнила ей нечто далекое, дорогое. Эта мебель ее покойной матери напомнила ей улицу глухого городишки, дом ее отца и ее первые детские годы при жизни матери.

Мать Авроры, дочь Анны Аркадьевны, когда-то страстно влюбилась в красивого и доброго небогатого пехотного офицера и, получив отказ княгини, бежала из ее дома и без ее согласия обвенчалась с любимым человеком. Это был Валерьян Андреевич Крамалин. Чувствительная и нежная сердцем беглянка дала своим дочерям романтические имена Авроры и Ксении. Аврора не помнила военной, скитальческой и полной всяких лишений жизни своих родителей. Зато она помнила, как ее и ее сестру любила мать, и живо представляла себе то время, когда ее отец, выйдя в отставку, служил по дворянским выборам. У него в уездном городе был над обрывом реки собственный небольшой деревянный домик с мезонином, огородом и чистеньким, уютным садиком, где Крамалины, по переезде в город, развели такие цветники, что ими любовались все соседи.

Авроре были памятны все уголки этого тенистого сада: полянка, где сестры играли в куклы; клумба цветущих сиреней и жимолости, где она впервые увидела и поймала необычайной красоты золотистую, с голубым отливом бабочку; горка, с которой был вид на город, и обширные окрестные поля, и старая береза, под которой Аврора с сестрой, уезжая впоследствии из этого дома, со слезами зарыли в ящике

лучших своих кукол. Девочки знали, что у них есть богатая и знатная бабка-княгиня, что эта бабка безвыездно живет где-то далеко в чужих краях, и что она почему-то ими недовольна, так как редко пишет к их маме. Памятна была Авроре одна бесснежная, гнилая зима. В городке открылись повальные болезни. Авроре был десятый год.

Однажды девочки пошли пожелать доброго утра матери. Их не пустили к ней, сказав, что у их мамы опасная болезнь. Аврора помнила наставшую в доме мрачную тишину, опечаленные, красные от слез лица отца и прислуги, торопливый приезд и отъезд городских врачей и то полное ужаса утро, когда дети, выйдя в залу, увидели на столе что-то страшно-неподвижное, в белом платье и с белой кисеей на лице. Им кто-то шепотом сказал, что это белое и неподвижное была их умершая мать. Девочки вскрикнули: «Мама, мама! Проснись!» — и не верили, что их матери уже более нет на свете. Вспомнились Авроре вопли отца на городском кладбище, где он бил себя в грудь и рвал на себе волосы. Живо представился ее мыслям его отъезд с ними, в метель, в недальнюю деревушку Дединово, к его двоюродному брату Петру Андреевичу Крамалину, у которого доктора советовали ему на время оставить детей. Вспомнилась ей и новая весна в этой деревушке, с новыми цветущими сиренями и бабочками, которые ее тогда уже не восхищали. Дети пробыли у дяди целое лето; отец их часто навещал.

Вдовый старик дядя был страстный охотник. Несмотря на свои годы, он постоянно охотился то с борзыми и гончими, то с ружьем. За детьми присматривала его пожилая экономка Ильинишна. Он брал с собою на охоту и племянниц и однажды, собираясь в поле, не утерпев, дал им поездить по двору верхом. Ксения струсила; Аврора же, усевшись на дамском седле покойной дочери дяди, смело прокатилась и с той поры только и думала о верховой езде. Белый, как сметана, верховой конь дяди Петра Коко был чуть не ровесник своего владельца, но ходил плавно, не спотыкался, слушался повода и еще лихо скакал.

— Дядечка Петя, — просила иногда Аврора, — позвольте мне покататься с кучером.

Коко торжественно седлали и подводили к крыльцу. Черноглазая худенькая девочка подносила к его теплым губам кусок черного хлеба с солью и, покормив его, проворно взбиралась со ступеней на седло.

— Ты не девочка — мальчик-постреленок! — твердила Ильинишна, глядя на нее и качая головой.

— Барышня, барышня! — кричал нередко кучер, не поспевая за Авророй, носившейся по полям и кустам.

— Ах, дядечка, — сказала раз Аврора дяде, — исполните мою просьбу?

— Ну, говори!

— Дайте мне выстрелить из ружья.

Дядя Петя подумал, походил по комнате и взял со стены ружье. Он сам зарядил ей свой «ланкастер», научил, как держать его и целиться, и дал ей выстрелить в саду в цель.

Стрельба повторялась при нем и впоследствии. А раз вечером, осенью, когда дядя был в лесу, на охоте на вальдшнепов, вдруг в доме, как бы сам собой, раздался оглушительный выстрел. Ильинишна и прочая прислуга в ужасе бросились и нашли Аврору в барском кабинете, в дыму. Оказалось, что она увидела в окно псарей, гнавшихся за чужой собакой и кричавших: «Бешеная, бешеная!» Аврора, игравшая здесь с Ксенией, не долго думая, схватила со стены заряженное ружье и, как ни останавливала ее сестра, прицелилась и спустила курок. Раненая собака упала и была добита гонцами. Девочку застали бледной, дрожащей и в слезах. Она от перепуга долго не могла понять, где она и что с нею случилось.

— Да как же ты, бедовая, решилась? — спрашивал ее потом дядя.

— Вижу, бегут, кричат: «Бешеная!» — я и схватила...

— А как попала бы не в собаку, а в людей?

Аврора горько плакала и не отвечала. Это событие стало предметом общих толков. Приехавший отец горячо было поспорил с Петром Андреевичем, но потом успокоился и от-

пустил к нему дочерей и на другое лето. Тогда уже дядя Петя стал брать Аврору на охоту с собой в качестве подручного стрелка. Ее восторгу не было границ. Коко и ружье виделись ей даже во сне. Но наступила нежданная разлука.

VII

Однажды Валерьян Андреевич Крамалин приехал в Дединово к брату и радостно прочел ему при детях письмо, полученное им от княгини Шелешпанской из Парижа. Год назад Анна Аркадьевна, извещенная о кончине своей дочери, искренне оплакав ее, писала, что сама сильно недомогает и, вероятно, недолго проживет. Теперь же извещала, что ее здоровье поправилось, что она готова заменить сиротам мать, и предлагала их отцу располагать для того ею самою и всеми ее средствами. К письму был приложен приказ в одну из ее вотчинных контор — выдать ее зятю значительную сумму денег. Начались совещания и даже споры между отцом и дядей девочек, что с ними предпринять. В конце новой осени Валерьян Андреевич взял Аврору и Ксению от дяди Пети и отвез их в московский Екатерининский институт.

Началась непосредственная переписка девочек с бабкой. В конце следующего года они уведомили княгиню, что их отец простудился в какой-то поездке и, как пишет дядя, опасно занемог. Прошла зима, наступило лето. Крамалины написали бабке отчаянное письмо, что их дорогой папа также умер, что они в трауре и что все институтки разъезжаются на каникулы, а их, круглых сирот, некому взять, так как и дядя Петя, по слухам, оставил Дединово и уехал куда-то на воды. Бабушка ответила, что надо молиться о родителях и терпеть, и прислала им какое-то назидательное французское сочинение о нравственном долге. Прошло несколько лет горького сиротства девочек. Незадолго до их выпуска из института их вызвали в неурочный час к директрисе. Войдя в высокие парадные комнаты суровой начальницы, они сделали формальный книксен и, рядом с нею, увидели вы-

сокую, в напудренных локонах и в черной шали, красиво закинутой через плечо, представительную и чопорную старуху, которая внимательно и молча оглядела их в золотой лорнет, хотела, обернувшись к директрисе, сказать что-то важное, но тут же залилась слезами и без всякой чопорности и важности бросилась их целовать. То была княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, решившая из сочувствия к внучкам покинуть Париж и переехать на постоянное жительство в Москву.

Старуха, узнав лично сирот, искренне и горячо полюбила их, ласкала, баловала и чуть не каждый день ездила к ним. У Авроры были способности к музыке. Ксения предпочитала танцы. Для них были наняты лучшие по этой части особые учителя. По выходе внучек из института княгиня открыла свой давно пустевший дом у Патриарших прудов, отделала его заново и сама стала вывозить внучек в свет. Куда на это время делись слабость ее здоровья и жалобы на преклонные лета! Все заговорили о ее гостиной, где пальмовая мебель была обита черной тисненой кожей с золочеными гвоздиками, о двух цугах ее лошадей, шестерне вороных и четверке чалых, о ее балах и вечерах. После свадьбы Ксении она формальным духовным завещанием отказала свое можайское поместье Лобаново Авроре, а коломенскую деревню Ярцево — Ксении. Выдав год назад замуж веселую и добродушную Ксению, княгиня с тревогой стала поглядывать на свою вторую внучку, которая, казалось, вовсе не думала о замужестве и нескольким выгодным искателям ее руки под разными предлогами отказала.

— Не расстанусь я, дорогая, с вами! — говорила задумчивая и сосредоточенная Аврора, ухаживая за бабкой. — Что мне? Я довольна, счастлива, право, счастлива! Изредка выезжаю к знакомым... катаюсь верхом... у меня чудный Барс... беру уроки пения и на клавикордах у первых знаменитостей, читаю... у вас же такая чудная библиотека! Ах, не говорите мне, бабушка, о браке... дайте подолее пожить с вами, возле вас.

Старуха, отирая слезы и радостно любуясь строгой красотой Авроры, думала: «А в самом деле! Пусть поживет у

меня... Господь в ней неисповедимыми путями, очевидно, искупает увлечение, ошибку их бедной матери, когда-то так легкомысленно бросившей меня».

Княгиня в старческом себялюбии продолжала считать ошибкою брак покойной дочери, забывая, что эта дочь, когда между ними произошло охлаждение, относилась к ней, как и прежде, почтительно-нежно и, горячо любя мужа и будучи взаимно им любима, жила с ним до кончины вполне счастливо.

Катанья на Барсе Аврора забывала только ради музыки и книг.

Библиотека, о которой она говорила бабке, состояла из полки русских и нескольких шкафов иностранных изданий. Русские книги были собраны покойным мужем княгини, ведшим дружбу с Новиковым и другими московскими мартинистами, иностранные же — в большинстве вывезла сама Анна Аркадьевна из Парижа, где в ее салоне собирались некоторые из светил современной французской литературы. Выйдя из института, Аврора, между изучением сольфеджий, каденц и рулад Фелис-Андриё и выездами на концерты и балы, по совету институтского учителя русской словесности, прочла и некоторые из тогдашних немногих русских книг. Княжнина, Державина и Дмитриева она едва одолевала. Зато с жадностью прочла повести и письма из чужих краев Карамзина, уже входившие в моду басни Крылова и стихотворения Жуковского и всецело обратилась к корифеям иностранных литератур. Между последними она обратила особое внимание на прежних и новых французских моралистов и с жадностью набросилась на них. Жан-Жак Руссо, д'Аламбер, де Местр и Бернарден де Сен-Пьер надолго стали любимцами Авроры. Она с ними мечтала о возможности пересоздания обществ на новых, мирно-идеальных началах. Но все заговорили о Бонапарте, о войне.

Наполеон сильно занял Аврору и стал ее мыслям представляться сказочным исполином, неземным героем. Сперва она с наслаждением воображала его себе в виде гения-бла-

годетеля, нежданно и таинственно сошедшего в мир и проливающего на человечество, вместе с своей ослепительной славой, потоки мирного, неведомого дотоле блаженства. Но когда однажды бабке принесли с почты пачку новых французских, изданных в Бельгии и в Англии, памфлетов о Наполеоне, и она один из них, написанный мадам де Сталь, по желанию княгини, прочла ей вслух, ее взгляд на Наполеона начал быстро изменяться. Вероломная же казнь герцога Ангиенского повергла ее просто в отчаяние. Узнав, как не повинный ни в чем герцог был схвачен, поставлен во рву Венсенской крепости и, без сожаления, расстрелян Наполеоном, Аврора разрыдалась, повторяя:

— Бедный, бедный! И за что? Где наказание его убийцам?

Несколько успокоясь, она заперлась у себя в комнате, наверху, прочла все вновь полученные и вывезенные бабкой брошюры о Бонапарте, на которые она прежде не обращала особого внимания, и Наполеон, с его блеском, громкими войнами и разрушением старых городов и царств Европы, вместо идеального героя начал ей представляться ненавистным, эгоистическим и звероподобным чудовищем. Она даже сетовала в мечтах, почему не родилась мужчиной, иначе она была бы в рядах смелых бойцов, сражающихся с этим новым Чингисханом.

Познакомясь с Перовским, Аврора вначале с пренебрежением и насмешкой, потом внимательнее вслушивалась в его дифирамбы Наполеону и под его влиянием на некоторое время не то чтобы смягчила свой взгляд на загадочного героя, а этот герой перестал ее волновать и раздражать. Но когда разнеслась и стала подтверждаться молва о близости войны и когда благодаря этому Бонапарту, которого отчасти еще защищали Перовский и княгиня и открыто бранили Ростопчин и Тропинин, Аврора должна была проститься с человеком, которого в душе предпочитала другим, — в ней снова поднялась вражда к «корсиканскому чудовищу», грозившему России бедст-

виями войны. Аврора старалась в душе примириться с отъездом искателя ее руки.

«Недолго, — думала она, — два-три месяца пролетят незаметно!.. Он возвратится и, несомненно, выскажется...»

Когда же Перовский, с прочими отпускными офицерами, был нежданно потребован к Ростопчину и ему объявили приказ о немедленном выезде в армию, Аврора не помнила себя от горя.

«Вернется ли он, и действительно ли можно еще избежать войны? — мыслила она. — И зачем эта война, эти ужасы? И для чего, наконец, идет олицетворение всех ужасов, насилий и потоков крови — этот Наполеон? Его предшественник, Марат, вызвал некогда месть смелой патриотки, — думала, содрогаясь, Аврора. — Господи, отомсти, порази своим гневом этого насильника!»

VIII

Накануне своего отъезда из Москвы Перовский обедал в доме Анны Аркадьевны и заехал к ней опять вечером. В это время у нее собрались некоторые из близких знакомых, в том числе две-три институтские подруги Авроры и Ксении с братьями. Молодые люди были веселы, играли в шарады, буриме и secrétaire[1], оживленно рассказывали о балах последних дней, о сватовстве и близких свадьбах в семьях некоторых москвичей. Кто-то передал, что свадьба одной из их знакомых, пожалуй, расстроится, так как ее жениха прежний ее обожатель вызвал на дуэль. Аврора взглянула на Перовского. Тому этот взгляд показался упреком. Он терялся в его значении. Княгиня, в скромном фиолетово-дофиновом платье и в темной шали, с грустью поглядывая на Перовского и Аврору, молча раскладывала в гостиной пасьянс.

---

[1] Игра в почту (*фр.*).

Перед чаем Ксения открыла клавикорды и пригласила одну из подруг спеть. Некоторые в это время гуляли в саду; между ними была и Аврора. Заслушавшись издали пения, она заметила, что сад опустел. Она направилась к дому. Вдруг она вздрогнула. Навстречу к ней из-за деревьев шел Перовский.

Ярко светил месяц. Влажный воздух сада был напоен запахом листвы и цветов. Прямая, широкая липовая аллея вела от ограды двора к пруду, окаймленному зеленою поляною, с сюрпризами, гротами, фонтанами и грядками высаженных из теплиц цветущих нарциссов, жонкилей и «барской спеси». Сквозь ограду виднелись освещенные и открытые окна дома, откуда доносились звуки пения. В саду было тихо. Каждая дорожка, каждое дерево и куст веяли таинственным сумраком и благоуханием.

Увидя Перовского, Аврора хотела было идти к воротам. Он ее остановил.

— Вы здесь? — сказал Базиль, восторженно глядя на нее.

Аврора, казалось, подбирала слова.

— Вот что, — проговорила она, — о войне и ее виновнике... они у всех теперь в мыслях... давно я собиралась вам это передать... Прошлым летом с Архаровыми я ездила в их подмосковную. Там собрание картин, и я, помню, в особенности засмотрелась на одну. На ней изображена охота в окрестностях Парижа, в парке, на оленей. Превосходная копия с работы какого-то знаменитого французского живописца. Ах, что за картина! Ну, живые люди; а скалы, ручей, деревья...

— У Архаровых действительно отличная картинная галерея.

— Нет, послушайте: справа, на поляне, за оленем, стая озлобленных гончих. Он изнемогает, напряг последние силы и спасся бы... но — наперерез ему... беда слева: в ожидании оленя стоит спрятанный за деревьями стрелок. Его окружают верхами пышные, в золоте, придворные и, в открытых ко-

лясках, под зонтиками, красивые, нарядные дамы. Стрелок — Наполеон... Он в синем мундире, белом камзоле и в треуголке; как теперь его вижу: толстый, круглый, счастливый и крепкий, точно каменный.

— Именно каменный, — сказал, вздохнув, Перовский.

— Его полное смуглое лицо самодовольно, — продолжала Аврора. — Он спокойно прицелился и чуть не в упор стреляет в бедное, с высунутым языком и блуждающими глазами животное... Фу! Я видела не раз, бывала на охоте, но тогда же я сказала Элиз Архаровой: «Какой дурной и жестокий этот всеми прославленный человек!» Ну можно ли так равнодушно-спокойно и так безжалостно убивать слабое, изнемогающее в побеге живое существо?! Он так же расстрелял и герцога Ангиенского...

Аврора в волнении смолкла.

— Вы правы... Клянусь, это жестокий человек! — сказал Перовский. — Мы ему отплатим за все его вероломства. Ему вспомнятся лживые заверения Тильзита и Эрфурта. Я заблуждался, был слеп... говорю это теперь не с чужого голоса и не стыжусь за то, что говорю; я еду с твердым убеждением, что наши жертвы, наши усилия сломят врага... Одно горе...

Перовский смешался и замолчал. Аврора с трепетом ожидала чего-то необычайного, страшного.

— Вы меня простите, — проговорил вдруг упавшим голосом Перовский, — я еду и, может быть, навсегда... но это выше моих сил.

Аврора с замиранием вслушивалась в его слова. Ее сердце билось шибко.

— Я не могу, я должен сказать, — продолжал Базиль. — Я вас люблю, и потому...

Аврора молчала. Свет померк в ее глазах. После минутной борьбы она робко протянула руку Перовскому. Тот в безумном восторге осыпал эту руку поцелуями.

— Как? Вы согласны? Вы...

— Да, я ваша... твоя, — прошептала, склонясь, Аврора.

Они снова углубились в сад. Перовский говорил Авроре о своих чувствах, о том, как он с первого знакомства горячо ее полюбил и не решался объясниться.

— Все ли ты обо мне знаешь? — спросил Базиль. — Я — Перовский, но мой отец носит другое имя.

Он передал Авроре о своем прошлом. Она, идя рядом с ним, молча слушала его признания.

— Зачем ты мне это сказал? — спросила она, когда он кончил исповедь.

— Чтобы ты знала все, что касается меня. Это тайна не моя, моего отца, и я должен был ее хранить от всех, но не от тебя...

Аврора с чувством пожала руку Перовского.

— Так ты — сын министра? — сказала она, подумав. — Что же? Я рада за твоего отца, но, прости, не за тебя... Почему твой отец делает из этого тайну?

Перовский сослался на обычаи света, на положение отца.

— Ты любишь свою мать? — спросила Аврора.

— Еще бы!.. Всем сердцем, горячо.

— И она хорошая мать, добра, заботилась о тебе?

Базиль рассказал о своих детских годах в Малороссии, о свидании в деревне с отцом перед отъездом в учение, о пребывании в университете и о поступлении на службу в Петербург.

— И ты, с отъезда из деревни, не видел отца?

— Видел в Петербурге.

— И он не оставил тебя при себе?

Базиль молчал.

— Я так же горячо, как и ты, полюблю твою матушку! — сказала Аврора. — Но тебя узнает и, нет сомнения, ближе оценит и твой отец; не может быть, чтобы он тобою не гордился, тобою не жил.

Из-за ограды раздался голос слуги княгини, Власа:

— Барышня, бабушка вас зовут... Мелецкие уезжают...

— Постой, еще слово, — проговорил Перовский, не выпуская руку Авроры. — Подари мне на память какую-нибудь безделицу... ну, хоть этот цветок.

Аврора вырвала из пучка сирени, приколотого к ее груди, цветущую ветку и подала ее Перовскому.

— Есть у тебя твой портрет? — спросила она.

— Есть миниатюрный, работа Ильи... я хотел завтра его послать матери в Почеп, но для тебя...

— Отлично, Илья Борисович снимет мне копию.

— Нет, нет! — вскрикнул Перовский. — Возьми этот! Он готов... со мной! Вот он... я сегодня утром получил его из отделки.

Он подал Авроре медальон с крошечным своим акварельным портретом. Она взглянула на портрет и прижала его к груди.

— Барышня, да где же вы? — раздался от ворот голос экономки Маремьяши.

Аврора спрятала медальон под корсаж платья и, отирая слезы, направилась из сада. Она об руку с Перовским возвратилась в дом, откуда уже начали разъезжаться.

— Ну, теперь иди к бабушке, — сказала она, сморщив носик, — и делай формальное предложение: иначе нельзя... как можно, обидится, еще откажет.

Базиль было направился в гостиную. Аврора остановила его.

— Нет, — объявила она, выпрямляясь, — пойдем вместе.

Сильно побледнев и ни на кого не глядя, она твердо прошла через ряд комнат, подвела Перовского к бабке, окруженной у двери в молельню прощавшимися гостями, и, держа его за руку, тихо проговорила:

— Дорогая бабушка, вот мой жених.

Княгиня обомлела.

— Да как же это, не спросясь? Да что же и ты, как смел? — обратилась было княгиня к Перовскому, но тут же, едва сдерживая слезы, она обняла его, обняла и упавшую

перед ней на колени Аврору, крестила их и целовала. — В мать! В мать! Смела и мила! — твердила она, смеясь и плача. — Ох, родные мои, любите друг друга и будьте счастливы!

Разъезд гостей приостановился. Все радовались счастливой развязке романа Авроры. Потребовали шампанского, и помолвка сговоренных была полита обильными тостами.

— Но неужели это — последнее «прости» и мы более уже не увидимся? — спросил Перовский Аврору, когда пришел черед их прощанию. — Ведь я завтра, что ни делай, утром еду.

В голосе Базиля дрожали слезы. Глаза всех были обращены на него.

— До свидания... осенью, — ответила, стараясь улыбнуться и крепко пожав ему руку, Аврора.

— До свидания, до свидания! — твердили прочие.

Перовский простился со всеми и уехал. Аврора бросилась к себе на антресоли и разрыдалась. Она ходила по комнате, ломала свои руки и повторяла:

— Нет, нет! Так невозможно... но неужели? О Господи! вразуми, подкрепи, охрани меня...

На квартире Базиль разбудил хозяйского слугу, зажег свечу и, вздыхая, написал и послал записку к Мите Усову, жившему неподалеку, в гостинице «Лондон». В записке он извещал, чтобы Митя завтра явился пораньше, так как почтовые лошади будут готовы к семи часам утра. Перовскому приходилось ехать до Можайска с Митей и он с ним условился завернуть там, поблизости, в усовскую деревушку Новоселовку, где у Мити, по желанию отца, шли поправки в доме и где он надеялся получить с крестьян оброк, чтобы возвратить Перовскому деньги, занятые у последнего в Москве. Послав записку, Базиль уложил в чемодан последние вещи и взглянул на часы. Был второй час ночи.

«Недалеко до утра, — подумал он, — где тут спать? Ночь чудная, лунная... скоро рассвет... пойду прогуляюсь... а утром, по пути, еще раз заеду проститься с Авророй».

Базиль раскрыл окно, выходившее в соседний сад, и задумался.

«Нет, — сказал он себе, — вряд ли удастся так рано увидеть Аврору... Напишу ей лучше теперь и сам завезу к ней записку; вызову ее как-нибудь, хоть на мгновение, на Патриаршие пруды... Она могла бы выйти с Маремьяшей или с Власом... Не удалось нам и наговориться... а столько хотелось бы высказать, передать...»

Базиль сел к столу и начал писать. Прошло несколько минут. За дверью послышался шорох.

«Это слуга возвратился от Мити, — подумал Базиль, — ищет впотьмах дверного замка».

Он продолжал писать. Дверь скрипнула. Перовский обернулся.

У порога стояла женская фигура в черном, под густою, темною вуалью.

— Кто это? — спросил Базиль, вскакивая.

Фигура неподвижно и молча стояла у порога. Перовский шагнул к ней ближе. Он узнал Аврору.

— Ты? Ты здесь? — вскрикнул он, притягивая ее к себе и осыпая безумными, страстными поцелуями ее похолодевшие руки, лицо, волосы. — Как ты решилась, дорогая, как нашла?

— Я хотела еще раз видеть тебя, поговорить.

Базиль не помнил себя от счастья.

— Ведь и я, вообрази, думал к тебе сейчас, — произнес он, усаживая Аврору и садясь против нее, — вот, смотри, даже писал к тебе, хотел вызвать.

Аврора откинула за плечи вуаль, пристально взглянула на него и с мыслью: «Что будет далее — не знаю, теперь же ты со мной!» — страстно обхватила его голову.

— Какая пытка! — шептала она в слезах. — И зачем мы встретились, сошлись? Я боялась, боролась: что, если кто встретит? Но видишь, я здесь. Неужели разлука навеки?

— О, я верю в нашу звезду, мы, даст Бог, снова увидимся, — сказал Базиль.

— Да, разумеется! Что же это я, безумная?.. Увидимся непременно.

Аврора отерла слезы, помахала себе в лицо платком.

— Ты на прогулке тогда, — сказала она, — упомянул, но как-то легко, как бы в шутку, о молитве... Вы, мужчины, прости, маловеры... а тебе предстоит такое важное, тяжелое дело... Ты не рассердишься?

— Говори, говори.

— Покойница мать учила меня и сестру прибегать в дни горя и скорби к Покрову Божьей матери. Дай слово, что ты искренне будешь молиться этому образу.

— Клянусь, исполню твой завет.

Аврора вынула из кармана иконку и надела ее на шею Базиля. Слезы стояли в ее глазах.

— Ну, теперь я все сказала, прощай, — произнесла она, отирая лицо.

— Как? Расставание? — вскрикнул Перовский. — Но где же Божья правда? Миг встречи — и месяцы разлуки! Я все брошу, все... останусь с тобой, не уходи... Слушай, я попрошусь в перевод, в здешние полки.

— Не делай этого! Мужайся, Базиль: тебя зовет долг службы, спасение родины; честно ей послужи. Я люблю тебя и, верь, другого не полюблю. Буду счастлива при мысли, что ты исполнил свое призвание как истинный, честный патриот. Так жалки другие, бежавшие по деревням, мужья, братья, женихи... О, ты выше их!

— Но, ради Бога, помедли, не уходи, — молил Перовский, — еще слово...

За дверью послышались шаги. Аврора накинула на лицо вуаль. У порога показался слуга.

— Так до свидания, — сказала Аврора, — мужайся, увидимся.

— Я тебя провожу, — ответил Базиль.

Он подал ей руку, и они направились к Бронной. Начинался бледный рассвет. Улицы были еще пусты. У Ермолая Базиля и Аврору обогнал кто-то на дрожках. Им было не до него.

Утром ямская тройка лихо мчала Перовского и Митю по дороге к Можайску. Базиль покрывал поцелуями платок, оброненный Авророй у него в комнате.

В Новоселовке путники пробыли около суток. Заведовавший здешним хозяйством Усовых староста Клим, жалуясь, по обычаю, на неурожай и на тяжелые времена, кое-как, с недочетами, собрал и снес молодому барину с крестьян не раз отсрочиваемый оброк. Няня Арина Ефимовна успела напечь Мите и его гостю пирожков, лепешек и прочего съестного, каждому на дорогу особо, так как приятели далее ехали по разным путям. Чемоданы были окончательно уложены, все увязано и вынесено в переднюю. Илья Тропинин просил Перовского наблюсти за последними сборами и отъездом Мити из деревни, которую последний особенно любил.

— А уж ты, батюшка Митенька, воля твоя, — говорила Ефимовна, суетясь на расставание и со слезами ходя из комнаты в комнату со связкой ключей у пояса, — не беспокойся; мы и родительский твой домишко, и весь ваш хозяйский скарб, как мебель и вещи в доме, так и всякие припасы в кладовых, сбережем и сохраним в целости нерушимо. А окроме братца, Ильи Борисовича, и будущая хозяйка вот их милости, Василия Алексеевича — невесть что за даль любановская усадьба — авось наведается сюда, даст нам порядок. И княгиня-матушка на крестинах правнука увидела меня в экономкиной светелке и говорит: «Ты у меня, Ефимовна, тоже смотри; я и из Москвы глазастая; чтобы все господское у тебя было в порядке; старый твой хозяин ныне живет за Волгой, а его сын едет в поход, ему не до того, и Бог весть еще, когда сядет у вас на хозяйство, — смотри!»

— Будь спокойна, Ефимовна, — ответил Митя, — за тобой мы все ни о чем и не думаем.

Арина утерла слезы и гордо обдернула на груди концы платка.

— И я тебе, голубушка няня, скажу, — прибавил Митя, — вернусь из похода, вот он женится, все они приедут в Любаново, в Ярцеве у них дом меньше и не так устроен, и я тоже женюсь вслед за Базилем — найду невесту непременно — и поселюсь здесь... Вот в этой зале отпируем и свадебный пир.

— Ну, тебе бы, Митенька, еще и рано, послужи! — всхлипывала Ефимовна.

Сборы были кончены к вечеру. Кибитки Мити и его гостя стояли нагруженные у крыльца. Выбившаяся из сил Арина, плача, клала туда последние узелочки и узлы.

— Да чего ты, Ефимовна, плачешь? — спросил Перовский, стараясь быть бодрым и веселым при проводах порученного ему товарища. — Вот, оглянись, Дмитрий, — обратился он к белокурому кудрявому юноше, уже сидевшему в телеге на горе узлов, — взгляни еще раз, как обновлен и прибран ваш родовой угол; и все это твоя няня, все она. Я рад, что вы с нею снова наладили дедовское гнездо; точно заботливые тени бабки и деда еще витают здесь, в их любимой когда-то Новоселовке.

— Ах, я так счастлив, счастлив! — произнес Митя. — Затратил на поправки, зато надолго, до собственных моих внуков опять наладил! А как мы здесь зимой чертили планы! Вот было весело!

— Запомни же все! — продолжал Базиль. — Я сам, некогда уезжая из родного гнезда, старался подолее глядеть вокруг, чтобы запомнить малейшие черты дорогих мест. Я убежден, что если не нынче же летом, то уж осенью, в августе или сентябре, этот угол, даст Бог, непременно встретит здесь нас обоих таким же уютным и гостеприимным, каким он, вероятно, встречал когда-то и твоих родителей. Едва объявится мир, возьмем отпуск, а не то и выйдем в отставку и заживем. Любаново — рукой подать, будем видеться... Помни же, осенью, не далее сентября.

— Да, отдай, няня, починить мое охотничье ружье, оно в шкафу, знаешь, там, где мои тетради, книги и удочки! — крикнул Митя, смигивая слезы и стараясь тоже говорить весело и держаться молодцом. — И лазариновские дедушкины пистолеты в чехлах; там тоже уздечки, знаешь? Ну, мне налево, тебе направо... Прощай, голубчик Базиль, до осени... оба женимся непременно и заживем!..

Няня, утираясь, только махала рукой. Митя уехал. Он улыбался, издали крестя приятеля и Арину, и не спускал глаз с родного, обитого новым тесом домишки, стоявшего среди берез на холме, с зеленого сада и крылатой мельницы с тучею голубей, вившихся над ними. Все это понемногу скрылось за другими холмами. По совету друга Митя усиливался до последнего мгновения, до поворота за ближний лес, запомнить в душе все эти дорогие места, где он родился и где, под наблюдением Ефимовны, подрос, пока, по просьбе его отца, Илья Тропинин не пристроил его в учение, а потом на службу в Петербург.

IX

Проводив Митю, Перовский позвал старосту Клима, белолицего благообразного и расторопного мужика с добрыми и умными глазами. Смеркалось. Базиль расспросил Клима о ближайшем проезде на Смоленскую дорогу и на усовской тройке, а далее на почтовых выехал мимо тонувших в ночной полумгле на холмах и в долинах окрестных деревушек и сел.

Невдали от Новоселовки, при переезде через какой-то мост, он спросил возницу, что за здания виднеются в темноте.

— Бородино, — ответил возница.

— Большое село?

— Да, сударь. Оттелева Митрий Николаич добыл прошлый год голубей... у отца Павла повсегда важнеющие...

Памятно впоследствии стало это село Перовскому и всей России.

Лошади мчались.

«А она-то, моя владычица, мой рай! Что с нею? — думал Базиль, погруженный в мечты о последнем свидании с Авророй. — Да, наше счастье прочно, ненарушимо... Как она любит, как предана мне!»

Грезы сменялись грезами. Перовский перебирал в уме свое прошлое. Ему с живостью представилось его детство, богатое черниговское поместье Почеп, огромный, выстроенный знаменитым Растрелли дом, возле дома — спадавший к реке обширный сад и сам он, ребенком бегающий по этому саду в рубашечке. Он вспоминал свою мать, Анну Михайловну, высокую, румяную, с черною косой, чернобровую красавицу из должностных хозяина поместья. Он с нею и с братьями жил в отдельном флигеле, невдали от большого дома. Здесь его учили грамоте.

В отроческие годы Базиля граф, владелец Почепа, лишь изредка жил в большом доме. Дети Анны Михайловны в то время видели его только в церкви или из окон флигеля, когда он с пышностью, провожаемый слугами, выезжал по хозяйству или к соседям. Тенистые дороги сада, красивые беседки, клумбы цветов и лабиринт из пирамидальных тополей, где мальчики, в отсутствие графа, прятались, играя с детьми других должностных графа, — все это в воспоминаниях Базиля невольно сливалось с слезами матери. Анна Михайловна нередко, безмолвно поглядывая из окна флигеля на большой, то пустынный, то с приездом графа ярко освещенный дом, обнимала детей и со вздохом говорила:

— Соколы мои, соколы! Что-то с вами будет?

В памяти Перовского особенно сохранилось одно событие. То была поездка его матери в какой-то отдаленный монастырь. Граф долго не приезжал из Петербурга, где, как все говорили, он занимал важное место. Анна Михайловна снарядилась, взяла с собой Васю и его старшего брата Льва и с ними в бричке, на долгих, выехала на богомолье. Рас-

качивание уложенной перинами и подушками просторной брички, мерный бег тройки сытых, весело фыркающих саврасок, раздольные поля, полные запахом цветущих трав, песни жаворонков, ночлеги в хуторах, дремучий монастырский лес, оглашаемый у реки соловьиными свистами, и долгое моление в старом, окуренном ладаном храме, где усталый Вася, прикорнувши за колонной, заснул, — все это ему вспоминалось живо, как и радость матери по их возвращении домой.

Вскоре после их приезда в Почеп прибыл на летний отдых и граф. На другой день по его водворении в Почепе Анну Михайловну и ее сыновей позвали к нему в дом. Мальчиков принарядили и ввели в графский кабинет. Граф сидел в лиловом бархатном халате, напудренный, красивый и величавый. Секретарь кончил доклад и уносил бумаги.

— Молодцы! — сказал граф, посмотрев на черноглазых мальчуганов, бойко прочитавших ему наизусть оду Державина, и расцеловал их.

Оправив на себе кружевной шарф и манжеты, он дал детям по кошельку с дукатами и сказал:

— Это вам на орехи, в память вашего покойного отца; он был мне верным другом и слугою. Я дал ему слово заботиться о вас, сиротах. Надо учиться более — поедете в Москву.

Дети весело разглядывали кабинет, убранный редкими картинами, охотничьими приборами, чучелами птиц, вазами и статуями. Стоявшая у порога их мать отирала радостные слезы. Старшего из сыновей Анны Михайловны увезли ранее, Васю — несколько позже. К нему приставили выписанного из чужих краев гувернера и с ним отправили его в Москву, где сперва поместили в частном пансионе, потом определили в университет.

Вася еще по девятому году в Почепе, от какого-то пьянчужки, сельского писаря из семинаристов, узнал, что граф — его отец, но этого не признает, так как очень знатен, живет возле царя в Петербурге и занимает там место министра.

— Но разве министрам запрещено иметь детей? — спросил писаря удивленный Вася.

— Дубина ты, стультус[1], и больше ничего; значит, что нельзя! — ответил сельский грамотей.

Проболтавшись об этом разговоре матери, Вася от нее услышал, что граф будет очень гневаться и лишит их всех своих милостей, если они станут рассказывать о родстве с ним. С той поры на вопросы товарищей и знакомых, кто его отец, Перовский отвечал:

— Я — сирота с детства; мой отец, украинский хуторянин, служил в Малороссии управляющим одного графа и давно умер...

Выдержав последний экзамен в университете, Вася написал о том радостное письмо матери и с нетерпением собирался ехать к ней на родину, где не был около семи лет. Ему рисовался Почеп, тенистый сад, дорогой флигель, свобода. Но к нему на квартиру, где он жил с Ильей Тропининым, явился незнакомый старичок чиновник, в сером фраке, с сахарной улыбочкой и хохолком на голове и, поздравив его от имени графа, объявил, что он, Перовский, милостью высокого покровителя уже определен на службу в колонновожатые, то есть в свитские, и что ввиду этого граф советует ему, дабы не потерять места, без замедления ехать в Петербург. Чиновник вручил ему при этом нужную сумму на обмундирование и на отъезд к месту служения и, откланиваясь, спросил, когда же Василий Алексеевич располагает ехать, так как о том должно дать знать его сиятельству. Базиль подумал и ответил:

— Через неделю.

Как ни уговаривал его Илья Тропинин обождать, еще повеселиться, где-то охотиться и притом, в компании других закончивших учение студентов, варить жженку, Базиль в

---

[1] Болван (*лат.*).

назначенное время оставил Москву. Он сгорал нетерпением увидать Петербург и отца.

«Теперь граф, наверное, признает меня! — в трепетном восторге мыслил Базиль. — Я уже более не почепский хуторянин, а получивший высшее образование офицер! Отец с гордостью, если не даст еще мне своего имени и графского титула, о чем я, разумеется, и не мечтаю, назовет меня, хоть наедине, хотя глаз на глаз, своим сыном... и у меня будет отец... да какой еще отец! Как все хвалят высокие его дарования, любовь к наукам и искусствам, честь и ум! Он снимет с меня запрет — хоть для наших личных сношений... Я поселюсь у него, буду близко ежедневно видеть замечательного государственного деятеля; я брошусь к нему, он прижмет меня к своей груди!»

Ожидания Базиля сбылись. Но граф-отец, вероятно, избегая до времени превратной огласки и пересудов, не нашел еще возможным поселить у себя сына в Петербурге. К Базилю в гостиницу, после первого радостного его свидания с отцом, когда он, весь возбужденный, был на верху блаженства, явился тот же бывший в Москве старичок чиновник, оказавшийся одним из служащих в домовой канцелярии графа, ласково расспросил его, где он думает найти квартиру, доволен ли службой и начальством и не нуждается ли еще в чем-либо приватном. Но тут же дал Базилю понять, что недалекое, более утешительное будущее вполне зависит от двух предметов: от его скромности вообще и от умолчания в особенности насчет каких-либо его отношений к графу-министру. Базиль с болью в сердце объявил, что беспрекословно преклоняется перед волею графа-отца.

Его, по письму Ильи Тропинина, отыскал в Петербурге незадолго перед тем выпущенный из московских кадет также в колонновожатые двоюродный брат Ильи — Дмитрий Николаевич Усов, которого он изредка видел еще в Москве. Базиль сошелся с ним, полюбил его, как и его родича Тропинина, и почти с ним не расставался. Когда минувшей весной Перовский в Москве, на балу у Нелединских, увидел Аврору и пер-

вому Мите высказал наполнившее его чувство к ней, Митя побледнел, потом вспыхнул и крепко пожал ему руку.

— Слушай, Перовский! — сказал он ему. — Это такая девушка, такая... если бы брат Илюша не был женат на ее родной сестре, понимаешь ли... она была бы... я все отдал бы, все... Отец Ильи крестил меня, мы — братья и по кресту... Еще на его свадьбе, год назад, я сообразил и все терзался... А теперь охотно уступаю этот клад, это сокровище тебе... Илья тоже тебе поможет!

— Да с чего же ты взял, что это серьезно? — удивился, также краснея, Базиль. — И что такое бальная встреча? Мало ли кого мы встречаем...

— А вот увидишь, — произнес Митя, — я убежден, попомни мое слово — Аврора будет твоя.

Предсказание Мити сбылось. Базиль ехал в армию счастливым женихом Авроры.

Из Можайска Базиль должен был взять почтовых и оттуда ехать в главную квартиру Первой армии, в Вильну. Рассчитывая время, он боялся, что Барклай де Толли мог уже оттуда двинуться к западной границе.

Он вошел на станцию, отыскал комнату смотрителя и, вручив последнему свою курьерскую подорожную, потребовал лошадей. Смотритель вышел и опять возвратился.

— Лошади будут сейчас готовы, — сказал он как-то смущенно, — только вас здесь спрашивают какие-то господа... они тоже только что приехали.

— Кто? Где они?

Смотритель указал на общую станционную комнату. Базиль вошел туда. Освещенный тусклым огарком, с дивана встал высокий, тощий и желтолицый господин в черной венгерке с серебряными пуговицами. Базиль отступил: перед ним стоял «гусар смерти» эмигрант Жерамб. Сзади него виднелись двое незнакомых штатских: юноша — в модном рединготе и пожилой — во фраке.

— Вы удивлены? — произнес по-французски Жерамб. — Я сам крайне смущен этой неожиданной встречей... Ехал вот с этими господами в поместье одного из них, но узнал, что вы здесь... и потому...

— Что же вам нужно? — сухо спросил Базиль.

— Господин Перовский, вы понимаете, — продолжал с дрожью в голосе Жерамб, — мы шли по одной дороге к честной, надеюсь, цели...

— О чести на этот счет предоставьте судить мне.

— Согласен... вы имели более успеха, я преклонился, был готов отступить, даже отступил...

— Далее, далее! — вскрикнул, теряя терпение, Базиль.

Жерамб на миг остановился. Его впалые глаза сверкали, нижняя челюсть вздрагивала, руки судорожно сжимались. Штатские молча поглядывали на него.

— Вы понимаете, господин Перовский, — произнес он, — два дня назад я вас видел рано утром с одной дамой... она еще не ваша, но вы ее преследуете, ходите с нею наедине...

— Я не подозревал, что у нее такие добровольные непрошеные соглядатаи.

— Что вы этим хотите сказать? Я требую...

Базиль смерил Жерамба глазами.

— Удовлетворения? — спросил он. — Дуэлью.

— Именно... вы понимаете, между честными людьми...

— Где, здесь?

— Теперь же, без отлагательства.

— Но вы, полагаю, поймете — теперь война; притом у меня здесь нет секундантов.

— Один из этих господ, — Жерамб указал на юношу, — может быть в этом случае в вашем распоряжении.

— К незнакомым не обращаются с такими предложениями, — ответил Базиль, — наконец, знайте: то моя невеста.

Жерамб захохотал. Базиль бросился к нему. Дверь отворилась.

В комнату вошли двое других проезжих: пожилой пехотный офицер и средних лет военный, доктор Миртов, знавший Базиля по Петербургу. Они также ехали в Первую армию. Предупрежденные смотрителем, они вмешались в ссору и прекратили ее. Базиль повторил Жерамбу, что он к его услугам. Дав ему свой адрес, он уплатил смотрителю прогоны, поклонился и вышел на крыльцо. Красивый полный и всегда веселый доктор Миртов, уладив столкновение, старался успокоить взволнованного Перовского.

— Охота вам расходовать силы и храбрость на этого воплощенного мертвеца! — сказал он. — Впереди у нас столько живых врагов.

Базиль, пожав ему руку, сел в тележку.

— Не забудьте же, после войны! — крикнул ему с крыльца все еще кипятившийся Жерамб.

— К вашим услугам, — ответил, кланяясь ему и Миртову, Перовский.

Телега помчалась. Прислушиваясь к колокольчику, Базиль с замиранием сердца вспоминал свой отъезд из Москвы и прощание с Авророй.

«А этот, этот? — не унимался он. — Вздумал напугать, отнять ее у меня! Нет, никто теперь нас не разлучит, никто».

X

Прибыв в штаб Первой армии, Перовский уведомил невесту, что доехал благополучно, что все говорят о неизбежной войне, войска в движении, но что еще ничего верного не известно.

Москва между тем начинала сильно смущаться. Газеты, в особенности «Устье Эльбы» и «Гамбургский курьер», приносили тревожные известия. Война становилась очевидной и близкой. Все знали, что государь Александр Павлович, быстро покинув Петербург, более месяца уже находился при

Первой армии Барклая-де-Толли, в Вильне. Но все эти толки были еще шатки, неопределенны.

Вдруг прошла потрясающая молва. Стало известно, что после майского призыва к полкам всех отпускных офицеров, из Вильны к графу Ростопчину промчался с важными депешами фельдъегерь. Сперва по секрету, потом громко наконец заговорили, что Наполеон за несколько дней перед тем без объявления войны с громадными полчищами нежданно вторгся в пределы России и уже без боя занял Вильну. Шестого июля с новым государевым посланцем Ростопчину было доставлено воззвание императора к Москве и манифест об ополчении, причем стал известен обет государя «не вкладывать меча в ножны, пока хоть единый неприятельский воин будет на Русской земле». Вспоминали при этом слова императора, сказанные по-французски за год перед тем о Наполеоне: «Il n'y a pas de place pour nous deux en Europe; tôt ou tard, l'un ou l'autre doit se retirer!» («Нет места для нас обоих в Европе; рано или поздно один из нас должен будет удалиться!») Шестнадцатого июля и сам государь Александр Павлович явился, наконец, среди встревоженной и восторженно встречавшей его Москвы. Государь, приняв дворянство и купечество, оставался здесь не более двух дней и поспешил обратно в Петербург, откуда, по слухам, уже снаряжали к вывозу в Ярославль и в Кострому главные ценности и архивы.

Москва заволновалась, как старый улей пчел, по которому ударили обухом. Чернь толпилась на базарах и у кабаков. Москвичи заговорили о народной самообороне. Началось формирование ополчений. Первые московские баре и богачи, графы Мамонов и Салтыков, объявили о снаряжении на свой счет двух полков. Тверской, Никитский и другие бульвары по вечерам наполнялись толпами любопытных. Здесь оживленно передавались новости из Петербурга и с театра войны. Дамы и девицы приветливо оглядывали красивые и новенькие наряды мамоновских казаков. Победа у Клястиц охранителя путей к Петербургу, графа Витгенш-

тейна, в конце июля вызвала взрыв общих шумных ликований. Белые и черные султаны наезжавших с депешами недавних московских танцоров, гвардейских и армейских офицеров, чаще мелькали по улицам. В греческих и швейцарских кондитерских передавались шепотом вести из проникавших в Москву иностранных газет. Все ждали решительной победы.

Но прошло еще время, и двенадцатого августа москвичи с ужасом узнали об оставлении русскими армиями Смоленска. Путь французов к Москве становился облегченным. Толковали о возникшей с начала похода неурядице в русском войске, о раздоре между главными русскими вождями Багратионом и Барклаем-де-Толли. Этому раздору молва приписывала и постоянное отступление русских войск перед натиском Наполеоновых полчищ. Светские остряки распевали сатирический куплет, сложенный на этот счет поклонниками недавних кумиров, которых теперь все проклинали:

Vive l'état militaire,
Qui promet á nos souhaits
Les retraites en temps de guerre.
Les parades en temps de paix!

(Да здравствуют военные, которые обещают нам отступления во время войны и парады во время мира!)

Осторожного и медлительного Барклая-де-Толли, своими отступлениями завлекавшего Наполеона в глубь раздраженной страны, считали изменником. Некоторые презрительно переиначивали его имя: «Болтай, да и только». Пели в дружеской беседе сатиру на него:

Les ennemis s'avancent á grands pas,
Adieu, Smolensk et la Russie...
Barclay toujours évite les combats!

(Враги быстро близятся; прощай, Смоленск и Россия... Барклай постоянно уклоняется от сражений.)

В имени соперника Барклая, Багратиона, искали видеть настоящего вождя и спасителя родины: «Бог рати он».

Но последовало назначение главнокомандующим всех армий опытного старца, недавнего победителя турок князя Кутузова. Эта мера вызвала общее одобрение. Знающие, впрочем, утверждали, что государь, не любивший Кутузова, сказал по этому поводу: «Le public a voulu sa nomination; je l'ai nommé... quant á moi, je m'en lave les mains» («Общество желало его назначения; я его назначил... что до меня, я в этом умываю руки».) Когда имя Наполеона стали, по Апокалипсису, объяснять именем Аполлиона, кто-то подыскал в том же Апокалипсисе, будто антихристу предрекалось погибнуть от руки Михаила. Кутузов был также Михаил. Все ждали скорого и полного разгрома Бонапарта.

Москва в это время, встречая раненых, привозимых из Смоленска, более и более пустела. Барыни, для которых, по выражению Ростопчина, «отечеством был Кузнецкий мост, а царством небесным — Париж», в патриотическом увлечении спрашивали военных: «Скоро ли генеральное сражение?» — и, путая хронологию и события, восклицали: «Выгнали же когда-то поляков Минин, Пожарский и Дмитрий Донской!» «Сто лет вражья сила не была на Русской земле — и вдруг! — негодовали коренные москвичи-старики. — И какая неожиданность: в половине июня еще редко кто и подозревал войну, а в начале июля уже и вторжение». Часть светской публики, впрочем, еще продолжала ездить в балет и французский театр. Другие усердно посещали церкви и монастыри. Певца Тарквинио и недавних дамских идолов скрипача Роде и красавца пианиста Мартини стали понемногу забывать среди толков об убитых и раненых, в заботах об изготовлении бинтов и корпии, а главное — о мерах к оставлению Москвы. Величием Наполеона уже не восторгались. Декламировали стихи французских роялистов: «О roi, tu cherches justice!» («Государь, ты ищешь правосудия!») и русские патриотические ямбы: «О дерзкий Коленкур, раб корсиканца злого!..» Государя Александра

Павловича после его решимости не оставлять оружия и не подписывать мира, пока хоть единый французский солдат будет на Русской земле, перестали считать только идеалистом и добряком.

— Увидите, — радостно говорил о нем Ростопчин, как все знали, бывший в личной, непосредственной переписке с государем, — среди этой бестолочи и общего упадка страны идеальная повязка спадет с его добрых глаз. Он начал Лагарпом, а, попомните, кончит Аракчеевым; подберет вожжи распущенной родной таратайки...

Переписывалась чья-то сатира на порабощенную Европу, где говорилось:

А там, на карточных престолах,
Сидят картонные цари!

Прошло около двух месяцев. Аврора усердно переписывалась с женихом. Перовский извещал ее о местах, которые проходила Первая западная армия Барклая, где он, в числе других свитских, состоял в расположении командира второго корпуса генерала Багговута. Он, среди восторженных обращений к невесте, подробно описал ей картину удачного соединения обеих русских армий и славный, хотя неудачный бой под Смоленском. Остальное Аврора узнавала от сестрина мужа Ильи. Тропинин благодаря связям старой княгини имел возможность чуть ли не ежедневно навещать «клуб московского главнокомандующего», как звали москвичи тогдашние любопытные утренние съезды у графа Ростопчина, где стекалось столько городского, жадного до новостей люда. Отсюда Тропинин всякий раз привозил в дом княгини целый ворох свежих вестей. Одно смущало Илью и семью княгини: они не имели дальнейших сведений о Мите Усове. Было только известно, что он встретил авангард армии Багратиона где-то за Витебском и что впоследствии, при каком-то отряде, участвовал в бою под Салтановом. Но Митя ли ленился писать, или в походной суете терялись его письма, ничего более о нем не было известно.

— И впрямь влюбился на походе в какую-нибудь полячку, ну и завертелся! — утешала княгиня Илью и своих внучек.

Время шло. Аврора чуть не ежедневно и до мелочей описывала жениху московские события: общее смущение, первые приготовления горожан к нашествию врагов, арест и высылку начальством подозрительных лиц, в особенности иностранцев, растопчинские афиши, вывоз церковной святыни, архивов и питомиц женских институтов, Она сообщала, наконец, и о состоявшемся выезде из Москвы в дальние поместья и города первых, более прозорливых из общих знакомых. Другие, по словам Авроры, еще медлили, веря слепо Ростопчину, который трунил над беглецами и открыто клялся, что злодею в Москве не бывать. Народ тем не менее чуял беду и волновался. Старый лакей княгини Влас Сысоич и экономка Маремьяша твердили давно:

— Наделает наша старая того, что нагрянет тот изверг и накроет нас здесь, как сеткою воробьев.

Благодаря связям и подвижности зятя Авроре удавалось большинство своих писем пересылать жениху через курьеров, являвшихся в Москву из армий, ближе и ближе подходивших от Смоленска.

XI

В половине августа Аврора написала Базилю письмо, которое тот получил во время приближения русских отрядов к Вязьме.

«Вот уже несколько дней, ненаглядный, дорогой мой, я не могла взяться за перо, — писала Аврора. — Великая новость! Бабушка наконец решилась укладываться. Суета в доме, флигелях, подвалах и кладовых была невообразимая. Сегодня, однако, вдруг стало что-то тише. Без тебя, без моей жизни, клянусь, только и утешала музыка. Я наверху у себя играла и пела — знаешь, в той комнатке, что окнами в сад. Разучила и

вытвердила данную тобой увертюру из «Дианина древа», арию из «Jeune Troubadour»[1] и романс Буальдьё: «S'il est vrai, que d'être heureux...»[2] Теперь же, очевидно, уже не до того. Прощайте, арии, восхитительные романсы и дуэты, которые мы с тобою распевали. Скоро прощусь и с любимой моей комнатой, где переживалось о тебе столько мыслей. О моя комнатка, мой рай! На днях я говела в церкви Ермолая; ах, как я молилась о тебе и обо всех вас, да пошлет вам Господь силу и одоление на врагов! К Ростопчину являлся некий смельчак Фигнер, великий ненавистник Наполеона, с каким-то проектом — разом, в один день, кончить войну. Граф советовал ему обратиться к военным властям. Вокруг нашего дома грузятся наемные и свои подводы — все уезжают, чисто египетское бегство. Прежде других скрылись наши неслужащие, светские петиметры. По полторы тысячи и более переполненных карет и колясок в сутки, по счету на гауптвахтах, покидают Москву. Наемные подводы сильно вздорожали. Наш сосед Тутолмин за ямскую тройку заплатил на днях триста рублей всего за пятьдесят верст. Архаровы уехали в Тамбовскую, Апраксины — в Орловскую губернию, Толстые — в Симбирск, а бедненьких институток вывезли на перекладных в Казань. По слухам, Ярославль и Тамбов так уж переполнены нашими беглецами, что скоро, говорят, не хватит и квартир. Уехали, знаешь, те — «князь-мощи» и «князь-моська», — словом, почти все. Я уже тебе писала, что Ксаню с ребенком в начале успенского поста Илья отослал в бабушкину тамбовскую деревню Паншино. Сам же он еще остался здесь, на службе, как и все прочие сенатские. Им почему-то еще нет разрешения ехать. Но и в деревнях, особенно ближних к Москве, говорят, не безопасно. Крестьяне волнуются и вместо охраны покинутого господского имущества делят его между собой и разбегаются в леса. На днях пьяные мужики встретили, при выезде из Мо-

---

[1] «Юный трубадур» *(фр.)*.

[2] «Если верно, что быть счастливым...» *(фр.)*.

сквы, Фанни Стрешневу с кучей ее крошек — помнишь, еще такие хорошенькие, ты ими любовался на бульваре, — окружили карету и кричали с угрозами: «Куда, бояре, с холопами? Или невзгода и на вас? Москва, что ли, не мила? Ну-ка вылезайте, станете и вы лапотниками!» Ужасы! Если бы не денщики одного раненого полковника, которые, по приказу его, вмешались и разогнали дикий сброд, неизвестно, чем кончилось бы дело. Я тогда же это осторожно передала бабушке. Она сильно испугалась и уже было велела готовить дормез и позвать священника, чтобы служить напутственный молебен, но раздумала, отправила через Ярцево и Паншино только часть подвод с главными вещами, а сама ехать отсрочила. Все убеждена, что слухи о нашествии на Москву неверны, и, повторяя чью-то фразу об отступлении наших армий: «Nous reculons, pour mieux sauter!» («Мы отступаем, чтобы лучше броситься!»), не изменяет образа своей жизни. Я ей вслух прочла новый, здесь полученный памфлет мадам де Сталь, которая, кстати, нежданно появилась в Москве и на днях, удостоив бабушку заездом, целый вечер у нас проговорила, и так умно, что, хотя у меня от ее оживленных речей разболелась голова, я не могла от нее оторваться ни на минуту. Она в восторге от России и уподобляет нас произведениям Шекспира, в которых все, что не ошибка, возвышенно, и все, что не возвышенно, ошибка. Бульвары пустеют. Полны только трактиры. На прошлой неделе в ресторации Тардини, а потом в трактире Френзеля посетителями-купцами были избиты какие-то штатские за то, что один из них вслух заговорил с товарищем по-французски, а другой, очевидно, в нетрезвом виде, намекая на высылку Ростопчиным почт-директора Ключарева, выразился: «Вот так дела! Генерал генерала в ссылку упрятал!» Бабушка, узнав об этом, слегла тогда в своей молельне и весь день принимала капли; когда же я ей намекнула, что благодаря извергу Наполеону далее у нас может быть еще хуже, она возразила: «Слушай же, Aurore! Я знаю Бонапарта, не раз видела его у дочки его министра Ремюза и даже с ним разговаривала лично. Это, повторяю, человек судьбы! Вот его истинное определение! Он

истинный гений и никогда низким грабителем и разбойником не был, как его изображает твой идол, эта трещотка госпожа Сталь, и грубые растопчинские афиши, хотя оба, и мадам де Сталь, и граф, не спорю, даровиты и остры. Не для того же, в самом деле, послушай, Наполеон, наверху славы, ведет сюда громаду Европы, чтобы обидеть здесь, в моем московском доме, меня, беззащитную старуху, да притом еще свою добрую знакомую! И Кутузов не допустит... Я нездорова, — прибавила мне бабушка, — разве не видишь? Карл Иванович дал новое лекарство... надо же посмотреть, как подействует, а в деревне, в глуши, кто поможет? И не доеду я живою в такую даль!» Словом, дорогой мой, мы доныне не двигаемся, молимся, готовим корпию и мысленно следим за вами. Еще слово. Илья Борисович, по совету нашего можайского предводителя Астафьева, собирается на днях в Любаново, чтобы отправить и оттуда кое-что, более ценное, в Тамбовский или Коломенский уезд, и полагает с той же целью проехать и в Новоселовку. Все утверждают, что эти деревни на пути врагов к Москве. Но как бы мне хотелось, чтобы бабушка отпустила с ним в Любаново и меня! В два дня на подставных можно легко возвратиться. Зато, если там услышу, что и твой отряд близится к Москве, кажется, не утерплю и без спроса, хоть верхом, брошусь встретить тебя и, если суждено, умереть за родину вместе с тобой. Голубчик Барс, отчего ты не в Любанове? Ну, прощай, прощай... О, когда же наконец настанет час нашего свидания? Когда увижу тебя, мой дорогой, милый воин, когда налюбуюсь тобой? Береги себя для отечества и для любящей тебя *Авроры*».

Накануне Успеньева дня, вечером, в глубине двора княгини Шелешпанской экономка Маремьяша разговорилась со старым камердинером Власом. Они стояли у двери каменной кладовой, отделявшей часть сада от двора.

— Дожили мы до пределов Божьего гнева! — произнес Влас Сысоич, заглядывая в дверь, которую почему-то

придерживала экономка. — Служи, а тут и твоя худобишка в прах пропадет.

— А ты где был?

— Известно, где, безотлучно-с в передней!.. Не уложил ни алой позументной ливреи, ни выездной шубы... ничего!

— Тебе бы, аспид, только лежать да нюхать свой табачище, мы же вон сбились с ног... Заделывай, Ванюша! — крикнула кому-то экономка в дверь. — Вот скажу княгине, что лезешь; снимет она с ножки башмачок и отшлепает тебя... не знакомо, что ли?

В сарае с минувшего дня укрывались от посторонних два нанятых каменщика. Они тайно от посторонних, под надзором дворника Карпа, вывели поперек кладовой, от пола до крыши, новую глухую кирпичную перегородку. За эту перегородку Маремьяша с надежными из дворни успела, с разрешения княгини, спрятать из более дорогой и громоздкой рухляди то, чего не увезли первые подводы.

— Маремьяна Дмитриевна, уж уважьте, — не переставал упрашивать Влас, повертывая в руках объемистый узел.

— Что тебе? Говори...

— На смерть себе готовил... демикотоновый редингот, опять же новые сапоги, камзол, ну... и, как следует, чистую пару белья.

— Так вот твои холопские лохмотья и буду класть поверх барышниного приданого! На то, видно, его копили и хранили.

— Растащат, изверги, как придут; дайте по-христиански помереть. Княгиня не верила, все толковала: болтовня! А я сколько уговаривал, да и вы тоже.

— Уговаривал! Все вы теперь такие. А, по-моему, не спрятал, не спас — лучше сжечь, чем им, проклятым, доставаться. Ну, старый сластун, давай...

Экономка небрежно бросила каменщикам узел Власа.

— И наше, Маремьянушка, светик! — прошамкал у двери восьмидесятилетний слепой гуслист Ермил, живший здесь при дворне и давно уже не сходивший с печи.

— И наше! И мы! — отозвались голоса подоспевших к кладовой главных горничных, Дуняши, Стеши и Луши, и состоявшего в штате княгини крещеного арапчонка Варлашки.

— Эк их! Ну, куда мне с вами теперь? Еще кто? Давайте! — с досадою крикнула Маремьяша, успевшая между тем ранее других припрятать все свои нужные вещи. — Сами кладите, да скорее. А вы, ребятушки, — обратилась она к каменщикам, — так замуруйте, чтоб и виду не было свежей кладки! Спереди навалим мешков с мукою и овсом, сена и соломы, коли надо. А стенку ведите до крыши, под самый конек.

Маремьяша не удовольствовалась тайником в кладовой. Длинный и сгорбленный, вечно кашлявший дворник Карп, с бледным, покрытым пегими пятнами лицом и с такими же пегими руками, следующей ночью, по ее указанию, вырыл с садовником еще огромную яму в саду, за овощным погребом, между лип, натаскал туда новые вороха барского и людского добра, застлал яму досками и прикрыл ее сверху землей и дерном. Садовнику было велено ежедневно, во время поливки цветов, поливать и этот дерн, чтобы трава не завяла и не выдала ямы, устроенной под ней.

Последние из писем Перовского к Авроре, от двадцатого августа, с бивака у Колоцкого монастыря, доставил адъютант Кутузова, приезжавший в Москву за скорейшею присылкою врачей. Базиль извещал невесту, что армии приказано, наконец, становиться на позицию перед Можайском и что все этому сильно рады, так как теперь уже несомненно ждут генеральной баталии. «Но приготовься, — писал Базиль, — услышать горестную весть, которая меня, как гром сразила. Бедный Митя Усов, как я сейчас узнал, опасно ранен осколком бомбы в ногу в деле на реке Осме. По слухам, его отправили с фельдшером, в коляске раненого князя Тенишева, в Москву. Сообщи это скорее Илье; встретьте бедного,

пригласите заранее Карла Ивановича, если и его с другими врачами не взяли у вас из Москвы. Друг души моей! Отрада моей жизни! Увидимся ли мы с тобою, увидимся ли с ним еще на этом свете? Наш Митя Усов ранен! Этот румяный, кудрявый мальчик! Не верится... Вот оно, начинается!.. Спаси тебя, его и всех вас Господь!

Твой *В. Перовский*».

Это письмо уже не застало Авроры в Москве. Она за сутки перед тем уехала с Тропининым в Любаново.

Арапчонок Варлашка подал княгине на подносе письмо Перовского.

— Мать Пресвятая Богородица! Французы у Можайска! — вскрикнула Анна Аркадьевна, пробежав письмо и роняя его с очками на пол. — А она, безумица, поблизости к врагам, в Любанове... Ранен Митенька! Маремьяша, Влас! Где мои очки? Кучеров сюда! Спешите!.. Спасайте! Барышню в полон возьмут!..

XII

Через неделю после Успения няня Арина с внучкой Феней поздно вечером сидели на крылечке новоселовского дома Усовых. Староста Клим и кое-кто из стариков и молодых парней мелкопоместной деревушки сидели тут же, на ступеньках. Убирая свой и господский хлеб, крестьяне замешкались и, ввиду противоречивых слухов, не решались уходить вслед за другими. Сидя здесь, они толковали, что вести идут нехорошие, что битвы, по молве, происходят где-то уже недалеко и как бы враги вскорости не нагрянули и в Новоселовку. Кто-то, проезжавший в тот день из окрестностей Вязьмы, сообщил, что там недавно уже услышали громкую, хотя еще отдаленную пушечную пальбу.

— Ведь вот барина старого нет, он за Волгой. Что делать? — толковали крестьяне. — Приказу от начальства уходить тоже нету; как тут беречь господское и свое добро?

— Да и куда и с чем уходить? — сказал кто-то. — Татариновцы двинулись, а их свои же в лесу за Можайском и ограбили.

— Надо ждать, ох, Господи, — объявил Клим, — без начальства и уряда не будет; объявятся, подождем.

В тот день Арина, что поценнее, перенесла в амбары и в кладовые. Часть вещей, которых она пока не успела спрятать, лежали у ближней кладовой на траве.

Давно стемнело. Месяц еще не всходил.

— А что, бабушка Ефимовна, скажу я тебе слово! — прокашливаясь, отозвался с нижней ступеньки подвижный и еще не старый, хотя совершенно лысый мужичонка Корней, ходивший по оброку не только в Москву, но и в Казань, и даже в Петербург. — Не обидитесь?

— Говори, коли не глупо и к месту, — с достоинством ответила Арина.

— Слыхать, бабушка, — начал Корней, — быдто Бонапарт так только Бонапартом прозывается, а что он — потайной сын покойной царицы Екатерины; ему матерью было отказано полцарства, и он, это, пришел ныне судить за своего брата Павла, царевого отца.

— Толкуй, дурачина, пока не урезали языка, — притворно зевнув, возразил староста Клим. — Статочное ли дело? Эка брешут, собачьи сыны!

— Право слово, дяденька... и быдто того Бонапарта бояре, до случного часа, прятали, держали в чужих землях, а ноне и выпустили... Он всему свету и объявился... идет за брата судить.

— Эй, не ври! — важно поглаживая бороду и взглянув на Арину, сурово перебил Клим. — Кругом такая смута, врага ждут, а они...

— На что же его выпустили? — с некоторой тревогой спросила Ефимовна.

— Отдай, мол, мою половину царства, — продолжал рассказчик, — а тебе будет другая; и я, мол, в своей освобожу мужиков... отдам им всю землю и все как есть вотчины... и быдто станем мы не царскими слугами, а бонапартовыми... Вот убей, толкуют!

— Ну, влепит тебе, Корнюшка, исправник, как наедет, и я скажу! — произнесла, вставая и оправляя на себе платок, Арина. — Вот так-то, прослышав, наспеет невзначай, да и гаркнет: «А где тут бонапартовы подданные? Давай их сюда!» Ну, тебя первого под ответ и возьмет.

Мужики, почесываясь, замолчали. Слышались только вздохи да движение на ступенях стоптанных лаптей.

— А постой, дяденька, постой, — отозвался кто-то. — Из-за мельницы, бабушка, быдто колеса... чуть не на лесорах...

Все замерли, вглядываясь в темноту. Стали действительно слышны звуки колес, медленно подъезжавших к двору.

— Феня, свечку! — крикнула Арина, бросаясь в дом. — Клим Потапыч, отворяй ворота... так и есть, наш исправник... не то телега, не то, кажись, его бричка...

Когда Ефимовна и Феня со свечами снова явились на пороге, у крыльца стояла сильно запыленная крытая телега. Мужики, в почтительном молчании, без шапок, окружали кого-то бледного, неподвижно лежавшего на соломе в телеге. Клим, жалобно всхлипывая, целовал чью-то исхудалую руку, упавшую с соломы. Арина поднесла свечу к лицу подъехавшего и, ахнув, чуть не упала.

— Митенька, родной ты мой! — вскрикнула она, глядя на лежавшего в телеге.

— Узнала, голубушка, — раздался чуть слышный, детски кроткий голос, — ну, вот и довезли... Слава Богу, дома! А уж я просил, боялся не доеду... Воды бы, чайку!.. Жажда томит...

В телеге был раненый Митя Усов. Мужики, пошептавшись с Климом, бережно внесли его в комнаты. Более же

всех суетился и старался, неся молодого барина, говоривший о Бонапарте лысый Корней.

— Так это — Митрий Миколаич? Бедный! Ну точно с креста снятый! — говорил он, выйдя в девичью и утирая слезы.

— Мы двух везли, — толковал здесь Климу фельдшер, умываясь, — подполковника тоже, князя Тенишева; сперва ехали в князевой коляске...

— Где же князь-то? — спросил Клим.

— Сложили в Гжатске, помер... ваш про то и не знает, думает, что того велено сдать в госпиталь... коляска же обломалась, насилу нанял мужичка довезти.

— А наш ангел будет ли жив? — несмело спросила Ефимовна. — Молодой такой, красавчик, мой выходимец! Вот нежданное горе, вот беда! И за что погубили дите?

— Будет жив, — ответил фельдшер, как-то смущенно глянув в сторону красными от бессонницы и пыли глазами. — Рана тяжела, ну да Господь поможет... добраться бы только до Москвы: там больницы, лекаря.

Арина, глянув на образ, перекрестилась, крикнула еще кое-кого из дворовых баб и с засученными рукавами принялась за дело. Комнаты были освещены. На столе в зале запыхтел самовар. Наумовна достала из кладовой и взбила на кровати покойной барыни пуховик и гору подушек, велела внести кровать в гостиную, накрыла постель белой простыней и тонким марселевым одеялом, освежила комнату и покурила в ней смолкой. Сюда она с помощницами перенесла и уложила Митю. Фельдшер обмыл его страшную, зияющую рану, сделал перевязку и надел на больного чистое, вынутое няней и пахнувшее калуфером и мятой белье.

Митя все время, пока готовили ему комнату и делали перевязку, был в лихорадочном полузабытьи и слегка бредил. Но когда он выпил стакан горячего, душистого чаю и жадно потребовал другой с «кисленьким» и когда раскрасневшаяся, седая и полная Ефимовна принесла и подала ему к чаю его

любимого барбарисового варенья, глаза Мити засветились улыбкой бесконечного блаженства.

Он дал знак рукой, чтоб остальные, кроме няни, вышли.

— Голубушка моя, нянечка! — произнес он, хватая и целуя ее загорелую, черствую руку. — Смолка, калуфер... и барбарис!.. Я опять в родном гнезде... Боже! Как я боялся и как счастлив... удостоился! Теперь буду жить, непременно буду... Где он? Где, скажи, Вася Перовский?

— Известно где: в походе, родимый, там же, где был и ты, — ответила, вглядываясь в своего питомца, Арина. — Как уехал с тобой, два месяца о вас слуху не было, спаси вас Матерь Божия!

— Два месяца! — удивленно воскликнул Митя. — Кажется, было вчера.

Он закрыл глаза и помолчал.

— Еще, няня, чайку... Вот, думали мы с Перовским, поживем здесь осенью, — произнес Митя, окидывая глазами окружающее. — Ах, это кровать мамы!.. Хорошо ты придумала, нянечка... Где батюшка? Уж, видно, не видаться мне с ним... Где Илюша и что Аврора Валерьяновна, невеста Перовского?

— Батюшка в Саратовской губернии, у родных, а Илья Борисович, слышно, в Москве. Из Любанова же сказали, что он эти дни собирался туда — распорядиться тамошним добром. Ведь тамотка какая усадьба — дворец, а всякого устройства, припасов и вещей сколько! Да слышно, что и барышня Аврора Валерьяновна собиралась с ним же туда. А Ксения Валерьяновна с дитёй в Паншине.

— Ах, няня, голубушка, пошли, — заговорил Митя, — в ночь сегодня... недалеко ведь; повидать бы... Видишь ли, отца нету, я попросил бы у нее благословения... Ведь это помогает... она же такая богомольная, добрая... а я, няня, надо тебе сказать... то есть признаться... ведь еще ранее Перовского ее так полюбил...

— Что ты, что ты, голубчик! Господь тебя спаси! Вот дела! — воскликнула, крестясь, Арина. — А в Любаново, отчего же, можно послать, с охотой...

Арина, отирая слезы, вышла. Послали за сыном ключницы, Фролкой. Тот вскочил на водовозку.

— Да смотри, пучеглазый, на овраги-то, — наставлял его Корней, — барский ведь конь, а темень какая!

Митя, напившись чаю, тихо и сладко заснул. Ефимовна погасила свечу и при свете лампадки, не смыкая глаз, просидела у его изголовья всю ночь. Перед рассветом раненый стал метаться.

— Что тебе, Митечка? Воды? Неловко лежать?

— На батарею!.. Целься прямо... идут! — говорил Митя в бреду. — Вон, с конскими хвостами на касках...

Няня перекрестила его и тронула за голову и руки. Больной был в сильном жару. После боя и выстрелов ему пригрезился весенний вечер в поле. Он с Авророй мчался куда-то на лихом аргамаке и все стремился ее обнять. Она ускользала. Он шептал: «Аврора, Аврора, это я, посмотри!» Ефимовна, видя метание больного, разбудила фельдшера, спавшего на стульях за дверью.

— Что с ним? — спросила она шепотом, глядя на осунувшиеся, покрытые багровыми пятнами щеки Мити.

Фельдшер, подойдя к больному на цыпочках, посмотрел на него и молча махнул рукой, как бы говоря: «Ничего, оставьте его, все идет как следует; я тут останусь и досмотрю».

Успокоенная Ефимовна перекрестила Митю и вышла.

Близился рассвет. Фролка возвратился из Любанова. Илью Борисовича и барышню Аврору Валерьяновну там ждали на другой день к вечеру.

Арина решила обрадовать этим Митю, когда наступит утро.

«Пусть спит, сердечный, во сне полегчает, даст Бог! — думала она. — Напьется опять утром чаю, покушает, а там подъедут и из Любанова».

Натоптавшись с вечера и ночью в кладовых, в погребе и в амбаре, Ефимовна прикорнула где-то в сенях и уснула. На заре она вошла в дом. В комнатах было тихо. Старуху удивило, что фельдшер, вопреки его словам, находился не в спальне при больном, а в девичьей. В окно брезжил рассвет. Приготовленные к перевязке бинты и корпия лежали здесь нетронутыми. Фельдшер, боком прислонясь к окну, как бы что-то рассматривал в посветлевшем дворе.

«Вот странно! — тревожно подумала Арина, заметив, что плечи фельдшера вздрагивали. — Не то он плачет, не то... неужто спозаранку выпил?» Она даже покосилась на шкаф с бутылками настоек и наливок: дверки шкафа были заперты.

Няня, в раздумье, направилась в комнату Мити.

— Не ходите! — как-то странно шепнул сзади ее фельдшер. — Или нет, все равно, идите...

Арина с необъяснимым страхом вошла в гостиную.

Митя тихо лежал здесь, закинув руки за красивую, в светло-русых кудрях голову. Его странно заострившееся миловидное лицо, с чуть видными усиками и пробивающейся бородкой, точно улыбалось, а полуоткрытые голубые глаза пристально и строго глядели куда-то далеко-далеко, где, очевидно, было столько нездешнего, чуждого людям счастья.

XIII

Комнаты огласились плачем. Митя Усов скончался.

В зале, на том же столе, где с вечера гостеприимно пыхтел самовар и пахло калуфером и смолкой, лежал в мундире покойник. Плотники в сарае ладили гроб.

Ожидали из Бородина старика священника, который крестил Митю и подарил ему голубей. Покойника уложили в гроб; в головах зажгли свечи. Ефимовна, впереди крестьян, с горьким плачем молилась, простираясь перед гробом. Находившее солнце косыми лучами светило в окна залы. Русые

и черные головы бородатых и безбородых крестьян усердно кланялись в молитве.

«Соколик ты мой, не пожил, — думала Арина. — И ружье по твоему заказу наладили, и пистолеты... Вырыли яму тебе в саду, где ты ребенком бегал, тут же, невдали от дома, на холму... далеко с него будет видна твоя могилка...»

Нанятый фельдшером до Москвы возница во дворе ладил обратно свою телегу. Фельдшер рассчитывал добраться к ночи до Колоцкого монастыря, чтобы оттуда возвратиться к подступавшей армии. Подъехал священник. Начали служить панихиду.

За деревьями, у мельницы, в это время показались какие-то всадники. Мелькали лошади, пики, кивера.

— Батюшки светы, французы! — крикнул кто-то во весь голос у сарая.

Поднялась суета. Дали знать в дом. Крестьяне, выбежавшие оттуда на крыльцо, увидели во дворе кучку военных. То были казаки. Впереди них ехал усатый седой и плотный, с черными бровями, саперный офицер.

— Кто здесь хозяева? — окликнул офицер мужиков. — Доложите господам.

— Старик хозяин, ваша милость, за Волгой, а молодого привезли раненого из армии... утречком кончился здесь! — ответил Клим с поклоном. — Это, служим панихиду...

Офицер набожно перекрестился.

— Ишь, крестится, — шептали мужики, — не француз, нашей веры...

Офицер слез с коня и с казачьим урядником вошел в дом.

По окончании панихиды он отозвал Клима в сторону.

— Ты староста?

— Так точно-с, — ответил, гордо выпрямляясь, Клим.

— Ну, вот тебе, староста, приказание, — негромко объявил офицер. — Скоро, может быть, даже завтра... здесь, в окрестностях, явится вся наша армия... будет большое сражение...

Клим побледнел и понурил голову.

— Усадьба ваших господ не на месте, — продолжал офицер, — ее велено снести... Да ты слушай и сообрази — велено немедленно... сегодня же... На том вон холме, у Горок, поставятся пушки, будет батарея, может, и большой редут... а дом и усадьба ваших господ — под выстрелами, будут мешать... понял?

— Не на месте! Под выстрелами! — удивленно, топчась ногами, проговорил сильно озадаченный Клим. — Но куда же снести и легкое ли это дело?

— А вот увидишь, — строго проговорил сапер, сдвигая черные кустоватые брови.

— Наши же хибарочки, избы? Всего семь дворов... куда их? Экий разор!

— Ваши внизу, под горой: посмотрим, может, еще и останутся.

— А покойник? — спросил, озираясь, Клим.

— Отпеть, да с Богом и хоронить. Только живее, смеркает! — торопливо заключил, не глядя на него, офицер. — Прежде же всего удали баб... этого вою, чтоб поменьше...

Клим объявил приказ Арине. Убитая горем, растерянная, старуха остолбенела.

— Батюшка, ваше благородие, — вскрикнула она, падая в ноги офицеру, — не разоряй! Мне заказан господский дом; может, они, лиходеи, и так еще уйдут... Куда вынести, где спрятать экое господское добро? Сколько накоплено, нажито. Отцы ихние, матери хлопотали...

Офицер, с досадой подергивая усы, отозвал в конец залы священника и фельдшера. Размахивая руками и сердито смотря куда-то в сторону, как бы грозя там кому-то, он переговорил с ними и вышел. Священник велел дьячку опять зажечь свечи и облачился. Началось отпевание. Покойника наскоро вынесли и опустили в могилу. Пока его зарывали, велели запрячь старую господскую бричку, одели обеспамятевшую Арину в шубейку,

посадили ее в бричку с Феней и с фельдшером и отправили в Любаново. Близился вечер.

— Там тебе, бабушка, будет спокойнее, — утешал ее фельдшер, — с Богом! Я вас туда провожу... Господа сберегут вас, а то село, слышно, в стороне, не под пушками...

— Жгите, голубчики, жгите, коли на то воля Господня! — причитывала, уезжая, Арина. — Не один усовский дом погибнет; всем нам гибель и смерть...

Бричка и телега спустились в околицу.

— Ну, а теперь ты, староста, и вы, ребята, слушать! — обратился офицер еще строже к Климу и мужикам. — За работу, да живее... выносите, прячьте, куда знаете, добро вашего господина, да и ваше, сроку вам час, много два... а там соломы, огня!

— Родимые, да что же это, — заголосил кто-то из толпы мужиков, — толковали о врагах, а тут свои...

— Бунтовать? — крикнул офицер. — Против воли начальства? А виселица? Ларионов, вяжи его...

Казаки и саперы рассыпались по двору. Мужики бегали, не помня себя от страха, и выносили разную кладь. Сверкнул огонь. Кто-то с пучком пылающей соломы побежал в сенник. Загорелся скотный двор. Дым укрыл взгорье. Бабы и дети неистово голосили.

Становилось темно. От Любанова лесистым косогором к Новоселовке в это время мчалась на ямских небольшая городская карета. В ней сидели Илья Тропинин и Аврора. Дорогу и ближайшие окрестности еще было видно. Оба путника молчали. Им попадались навстречу одинокие и кучками казаки, осматривавшие окрестность. До Новоселовки оставалось версты три. Еще ее не было видно за густым лесом. Илья, не обращая внимания на казаков, думал о раненом Мите, Аврора спрашивала себя:

«Если Митя так опасно ранен, что с Базилем? Он так стремился; уже начались сражения...»

— Что это, будто зарево впереди? — вдруг спросила Аврора.

Илья выглянул из кареты.

— Так и есть! Ямщик, — крикнул он в окно, — где это горит? Не в стороне ли Новоселовки?

— Должно, там... захотелось, видно, бабам свежего хлебушка, ну, овин... и не убереглись.

Лошади пробежали еще несколько минут. Лес кончился. За ним открылась зеленая, пересеченная холмами долина, за долиною синели новые леса и холмы. На одном из пригорков широким пламенем, далеко распростирая зарево, пылало несколько зданий. Крылатая мельница, еще не вполне охваченная пламенем, чернела среди клубов дыма и огненных полос. Над нею в искрах метались и вились тучи голубей.

Снизу из долины послышался стук колес, на дороге, между кустов, показался экипаж.

— Ох, ох! Соколики! — жалобно причитывал женский голос. — Родимые. Решился... конец свету...

То были Ефимовна и Феня с фельдшером. Их остановили, осыпали расспросами. Илья был поражен, едва стоял на ногах. Учившийся под его наблюдением, его любимый крестный брат и друг так нежданно скончался. Слезы катились из его глаз. Он то крестился, то извергал проклятия на французов.

— Вот оно, вот... я всегда предрекал, роковая необходимость! — проговорил он, сжимая кулаки. — Цивилизованные варвары, узаконенный разбой!

Аврора усадила Арину с собой, Феню на козлы с кучером, а фельдшера на запятки и еще раз взглянула на пылавшую новоселовскую усадьбу.

«Необходимость, — мыслила она, содрогаясь, — уставы, законы войны... Но кому было нужно и чем вознаградят, искупят смерть этого молодого, прекрасного, над кем теперь это зарево? Проклятия злодею, измыслившему эту войну! И неужели на него, как на его предшественника Марата, не найдется новой смелой Немезиды, новой Шарлотты Корде?»

Карета помчалась обратно по полю, к которому в наступившую ночь, по обеим сторонам старой Смоленской дороги уже надвигалась и становилась на позиции вся русская армия.

Платя без счета вольным и почтовым ямщикам, Тропинин к обеду следующего дня добрался с Авророй, Ефимовной, Феней и фельдшером до Москвы. Едва войдя к княгине, он объявил, что далее медлить невозможно. Подъезжая к Москве, он и Аврора со стороны Можайска уже слышали за собой раскаты сильной пушечной пальбы. Анна Аркадьевна, выслушав рассказ Мавры, стала было опять под разными предлогами медлить.

— Ну что же, французов разобьют, прогонят! — говорила она.

Илья вышел из себя.

— Это безрассудно! — вскрикнул он. — Умоляю вас, grandmaman[1], немедленно уезжайте, иначе будет поздно, вас прямо захватят в плен, ограбят, напугают, убьют.

— Ах, mon cher[2], — ответила с недовольством княгиня Шелешпанская, — уж и в плен! Меня-то, старуху? Впрочем, хороший мой, зови священника, будем служить молебен... Только нельзя же так прямо, без совета с врачом. Пошли за Карлом Иванычем... Все может статься в пути, ну, хоть бы гроза...

— Но какая же, бабушка, гроза осенью, в конце августа? — отозвалась Аврора.

— Не твое дело... бывают случаи и в сентябре... Ты же, Илюша, поезжай к графу Ростопчину и спроси его, дозволены ли подобные дела, как с Новоселовкой, хоть бы и на войне? Я напишу к государю, он знал и помнит моего мужа... Кутузов ответит за все.

---

[1] Бабушка *(фр.)*.
[2] Мой дорогой *(фр.)*.

XIV

Вечером двадцать пятого августа, накануне Бородинского боя, главная квартира князя Кутузова находилась на Михайловской мызе, при деревушке Астафьевых, Татариново, в четырех верстах от Бородина. Здесь под ночлег старого фельдмаршала был отведен брошенный хозяевами небольшой, в один этаж, но весьма удобный господский дом.

Ручей Стопец, впадающий в реку Колочь, у Бородина, отделял Татариново и Михайловскую мызу от лесистых высот, на которых командир правого крыла армии Милорадович расположил для предстоящей битвы свои отряды. Отсюда в сумерках влево за ручьем, у деревни Горок, виднелись на холмах огражденные завалами батареи, а невдали от них белели палатки пехоты, егерей и артиллерии Багговута. Далее, вправо, из-за березового леса поднимались дымки с костров драгун, гусар и улан Уварова, спрятанных в запасе у склонов к соседней Москве-реке. Прямо против Татаринова и Михайловской мызы, в полуверсте за ручьем, на пригорке, среди просеки, виднелись коновязи и слышался говор казачьих полков Платова.

Была тихая, несколько сырая и холодная погода. Солнце зашло, но сумерки еще не сгустились.

Перовский, состоявший с его прибытия в армию Барклая в колонновожатых правого крыла этой армии, при отряде генерала Багговута, только что подъехал с бивака второго пехотного корпуса, у Колочи, в деревню Горки, где с двумя другими свитскими офицерами и штабным доктором прохаживался по выгону у небольшой крайней избы. В этой избе была квартира командира правого крыла Милорадовича, который теперь совещался с приглашенными к нему Уваровым и Багговутом. Казаки поодаль держали под уздцы оседланных генеральских и свитских лошадей. Офицеры, прохаживаясь, не спускали глаз с окон и двери избы. Перовский в небольшую зрительную трубку посматривал на голубоватые очертания возвышенностей за Колочью.

— Итак, мы стали наконец, стоим, и, кажется, твердо! — сказал, пожимая плечами, худой высокий и пожилой офицер в старом мешковатом мундире. — Конец отступлениям.

— Ну, конец ли, еще Бог весть, — возразил другой офицер, помоложе.

— Разумеется, — продолжал первый. — Князь, вы слышали, бесповоротно решил завтра принять генеральную баталию.

— Что же? — произнес второй офицер, недавно переведенный в штаб. — Как вы к этому относитесь?

— Исполним веления долга, — ответил первый, сосредоточенно-важно глядя перед собой. — Мне что? Была забота о семье... а теперь жена успокоилась; представьте, пишет из Твери, что какие-то странники напророчили заключение мира ко дню Михаила, к князевым именинам.

— Так-то так, — проговорил приятным, мягким голосом доктор, полный, румяный и красивый мужчина средних лет, в опрятном мундире и треуголке, — мир миром, когда-нибудь придет, а завтра недосчитаемся многих.

— На то воля Божья, — тихо сказал пожилой офицер. — Веет крыло смерти, как говорит Фингал, но не всех оно задевает.

— И что неприятно, — продолжал доктор, — во всем непорядок; загремят сотни пушек, а у нас — не говорю уже о недостатке кирок для батарей, даже лопат — ополченцы наполовину без работы; в госпиталях ни носилок, ни корпии, ни бинтов... палатки в дырьях. Каково больным спать на сырой земле и в болотах? А ночью холод. Хочу вот опять все передать генералу.

Пожилой офицер досадливо покачал головой. Он, начитанный, любивший поэзию и скромный, все это отлично знал и терпеливо сносил; но также знал он и то, что неженка и любитель всего прекрасного и приятного, доктор Миртов умудрился в походе не только возить с собой на вьюке небольшую, отлично приспособленную для себя палатку, но

при ней даже удобную постель с мягкой периной и теплым, стеганным на вате одеялом.

— Что вы это все смотрите за реку? — спросил пожилой офицер Перовского. — Не двигаются ли французы?

— Нет, там спокойно, — ответил Базиль, — но вправо от Бородина, я помню, была одна усадьба... Три месяца назад я из нее уехал в армию. И странно: внизу, у реки вон, виден поселок, а выше него, на горе, стоял еще дом, были разные службы и мельница. Теперь смотрю — и их не вижу.

— Вероятно, их снесли, — сказал пожилой офицер, — эта гора — под выстрелами наших батарей, часть Семеновки сзади нас, слышно, тоже для чего-то сломали. Возьмите мою трубку, — прибавил офицер, снимая с перевязи длинную раздвижную трубку, — моя из Вены, от Корта... все увидите, как на ладони.

Перовский навел поданную трубку за реку, отыскивая взгорье, на котором, как он помнил, стояла новоселовская усадьба Усовых. Перед его глазами, в туманной полумгле, мелькали неопределенные очерки оврагов, лесных порослей и холмов. Знакомой усадьбы он не находил.

Дверь избы в эту минуту отворилась. На ее пороге показались стройный Уваров и рыжий, в веснушках и бакенбардах Багговут. Доктор подошел к последнему, рапортуя о недостатке лечебных припасов. Багговут выслушал его и сказал по-французски Уварову.

— Вот, как видите, одна и та же песня, и ничего не поделаешь.

Он набросал несколько строк на клочке бумаги, вырванном из записной книжки, свернул этот клочок и усталыми глазами посмотрел на стоявших перед ним колонновожатых.

— Синтянин, — обратился он к пожилому офицеру, — доставьте это графу Бенигсену; если не будет письменного, привезите словесный ответ.

Синтянин взял обратно от Перовского зрительную трубку, бережно вложил ее в замшевый на перевязи чехол, сел

на лошадь и, сгорбившись, направился большой дорогой за Стопец. Уваров и Багговут поехали обратно к своим бивакам. Перовский и доктор Миртов сопровождали Багговута.

Становилось темно. Узкая дорожка с холма от Горок спускалась в мелкий березняк, далее она опять шла по взгорью и невдали от лагеря упиралась в довольно крутой безлесный овраг. Всадники шагом миновали березняк и, подъехав к оврагу, увидели за ним огни своих биваков. Перовский думал о тяжкой ране Мити Усова, о их недавних обоюдных мечтах жениться в этом августе и о предстоящем назавтра сражении.

— Скажите, вы боитесь смерти? Думаете о ней? — спросил Миртов Перовского, когда они стали выбираться из оврага.

— Бояться не боюсь, — ответил Базиль, — а думаю иногда, особенно, признаться, теперь.

— Еще бы, вы так смело тогда на станции в Можайске приняли вызов на дуэль этого француза. Я же рассуждаю так, — произнес певучим, спокойным голосом доктор, — смерть — это во всяком случае неприятная неожиданность, но если она придет мгновенно, от паралича или, положим, от тяжкой раны в сердце или в голову, как это бывает в сражении, чего тут бояться? Пуля или ядро свистнет — и баста, не опомнишься. Ел, пил, спал, курил и мечтал; нежданная разделка — и конец. Был Миртов — и нет Миртова...

Доктор тихо засмеялся.

— Мужайтесь, — продолжал он, — тяжела и противна смерть не от пули или ядра, а от скверной, бессильной старости или когда, положим, подцепит гнилая горячка; дома ли, в походном ли госпитале, тут одно только мучение — бессонница, бред и ужас, ужас ожиданий, особенно нашему брату — врачу, все это отлично понимающему, как свои пять пальцев... вот что гадко и тяжело...

Всадники приблизились к опушке леса, за которой расстилался лагерь.

— Не место, разумеется, в ожидании боя думать о другом, — сказал Базиль, нагибаясь в темноте от ветвей березы, мимо которой они ехали, — но не могу не заметить: громадное большинство умирает именно, как вы говорите, мучаясь медленно и с сознанием, от разных болезней, старости, нищеты и других зол.

— Что до меня, — сказал доктор, — странное у меня предчувствие... Представьте, мне почему-то все кажется, что я умру не иначе как еще через двадцать лет, и непременно почему-то в Москве и в Английском клубе... Да, — прибавил он, смеясь, — в клубе, после вкусного обеда. Грешный человек, люблю поесть... Так вот, именно после обеда и от паралича... Трах — и кончено... Сверкнут в глазах, знаете, такие вот звездочки, потом приятный туман... Что это? А ничего... был Миртов — и нет Миртова... Не хотите ли, кстати, в мою палатку? Разденетесь, протянетесь и выспитесь; у меня походный чайничек и ром, угощу пуншиком. Не мешает перед битвой.

— Нет, благодарю, — ответил Перовский, — надо к генералу; вряд ли скоро отпустит.

— Еще слово. Видели вы давеча майора Синтянина? — спросил доктор. — Угадайте, какая меня преследует мысль.

— Не знаю.

— Вы, разумеется, обратили внимание, какой он задумчивый и скучный. Ну-с, мне, представьте, все кажется, что он завтра опередит всех нас... трах — и нет его, — шутил на расставание доктор.

Добравшись за полночь до общей штабной палатки, Базиль нашел своего денщика, велел ему пораньше навьючить коня, улегся, не раздеваясь, на клочке сена в своем углу и долго не мог заснуть. Лагерь также еще бодрствовал. Солдаты, осмотрев и почистив с вечера оружие, амуницию и лошадей, молились, укладывали свои узлы или сидели кучками у потухавших костров, изредка перекидываясь словом и поглядывая на небо, скоро ли рассвет. Из-под откинутой части палатки Перовскому виднелся край хмурого, беззвез-

дного неба, а вдали, за рекой, неприятельский лагерь, на несколько верст обозначенный линией непрерывных бивачных огней. Базиль думал об этой роковой холмистой долине, на которой теперь, в ожидании близкого утра, стояла стотысячная русская армия в двух-трех верстах против такой же стотысячной французской армии. Тысяча орудий готовились с той и с другой стороны осыпать ядрами и картечью эту равнину и этих стоявших друг перед другом людей. Базиль усиливался решить, кто же был виновником всего этого, кто вызвал и привел сюда эти армии? Мучительно напрягая мысли, он наконец забылся крепким предрассветным сном.

Было шесть часов утра. Гулко грохнула в туманном воздухе, против русского левого крыла, первая французская пушка. На ее звук раздался условный выстрел против правого русского крыла — и разом загремели сотни пушек с обеих сторон. Перовский вскочил, выбежал из палатки и несколько секунд не мог понять развернувшейся перед ним картины. Вдали и вблизи бухали с позиций орудия. Солдаты корпуса Багговута строились, между их рядов куда-то скакали адъютанты. Сев на подведенного коня, Базиль поспешил за ними.

Слева, на низменности, у Бородина, трещала ружейная перестрелка. Туда, к мосту, бежала пехотная колонна. Через нее, с нашей небольшой батареи у Горок, стреляли в кого-то по ту сторону Колочи. Багговут, на сером красивом и рослом коне, стоял, сумрачный и подтянутый, впереди всего корпуса, глядя за реку в зрительную трубку. От Михайловской мызы к Горкам на гнедом горбоносом невысоком коне несся в облаке пыли, окруженный своей свитой, Кутузов.

Прошла всем известная первая половина грозного Бородинского боя. Издав накануне воззвание к своим «королям, генералам и солдатам», Наполеон с утра до полудня всеми силами обрушился на центр и на левое крыло русских. Он

теснил и поражал отряды Барклая и Багратиона. На смену гибнувших русских полков выдвигались новые русские полки. Даву, Ней и Мюрат атаковали Багратионовы флеши и Семеновские высоты, они переходили из рук в руки. Флеши и Семеновское были взяты. Вице-король повел войска на курганную батарею Раевского. После кровопролитных схваток батарея была взята. На ней, к ужасу русских, взвился французский флаг. Наша линия была прорвана. Кутузов узнал об этом, стоя с Беннигсеном на бугре, в Горках, невдали от той самой избы, где накануне у Милорадовича было совещание. Князь послал к кургану начальника штаба Первой армии генерала Ермолова. Ермолов спас батарею. В то же время Багговуту, к счастью его отряда, было велено сделать фланговое движение в подкрепление нашего левого крыла. Багговут повел свои колонны проселочной дорогой, вдоль Хоромовского ручья, между Князьковом и Михайловской мызой. Французские ядра перелетали через головы этого отряда, попадая в лес за Князьковом. Багговут, подозвав Перовского, приказал ему отправиться к этому лесу и вывести из него расположенные там перевязочные пункты далее — к Михайловской мызе и к Татаринову.

Перовский поднялся от Хоромовской ложбины и открытым косогором поскакал к лесу. Грохот адской пальбы стоял в его ушах. Несколько раз слыша над собою полет ядер, он ожидал мгновения, когда одно из них настигнет его и убьет наповал.

«Был Перовский — и нет Перовского», — мыслил он.

Шпоря с нервным трепетом коня, Базиль домчался к опушке леса, где увидел ближний перевязочный пункт. Отдав приказание сниматься, он было направился далее, но на несколько мгновений замедлил. Перед ним были две тропинки, налево и направо, и он искал глазами кого-нибудь, чтобы спросить, как ближе проехать к перевязочному пункту доктора Гиршфельдта.

У входа в одну из операционных палаток он узнал стоявшего перед нею в окровавленном фартуке Миртова. Усталый и потный, с растрепанными волосами, но, как всегда,

веселый и в духе, доктор, очевидно, только что кончил трудную операцию и вышел на мгновение покурить и подышать свежим воздухом.

— Вам к Гиршфельдту? — спросил Миртов, увидя Перовского.

— Да-с, к нему, — ответил, подбирая повод, Базиль, — как туда проехать?

Доктор, продолжая курить, подошел к чьей-то рослой и красивой гнедой лошади, стоявшей в седле невдали от палатки, погладил ее красной от крови рукой и этой же испачканной рукой указал Перовскому направо.

— Счастливого пути! — сказал он. — Что же до нас, будьте спокойны, мигом снимемся и все перейдем... Видите, уже вьючат фуры. А эта, — указал он Базилю на лошадь, — потеряла, голубушка, хозяина; сейчас вынули у него осколок гранаты из спины, вряд ли останется жив. Еще, извините, слово... Федору Богдановичу скажите, чтобы воротил мой запасной инструмент, — оказывается, нужен. А мы с вами, не забудьте, через двадцать лет в московском клубе, если вас не подцепит пуля того вашего француза, Жерамба...

«Удивительное спокойствие! Шутит среди такого ада!» — подумал Перовский, отъезжая под гул и грохот выстрелов, несшихся теперь через отбитую нами курганную батарею.

Перевязочный пункт снимался. Солдаты и фельдшера вьючили телеги, двигались фуры с перевязанными ранеными. Вдруг над опушкой что-то зазвенело, гулко и грозно сверля воздух. Перовский невольно вздрогнул и склонился, ухватясь за шею коня. В нескольких десятках шагов сзади него раздался страшный треск и взрыв. Послышались крики ужаса. Базиль оглянулся. Густой столб дыма и песку поднимался над местом, где он мгновение назад стоял. Операционная палатка Миртова была разметана в клочки. Ее сменила какая-то безобразно-желтая дымившаяся яма. Рослый гнедой конь, стояв-

ший у палатки, был опрокинут и судорожно бился, дергая в воздухе ногами. А под ним громко стонало, придавленное им к земле, что-то жалкое и беспомощное. Несколько обожженных взрывом и осыпанных песком солдат испуганно усиливались приподнять лошадь, чтоб освободить из-под нее придавленного человека. Базиль подъехал ближе и увидел разорванную одежду и белое, торчавшее из-за солдатских спин колено, из которого фонтаном била кровь. Он бросился на помощь солдатам. Те в это время придерживали верхнюю часть туловища раненого, вытащенного ими из-под лошади. Перовский узнал Миртова.

— Голубчики, голубчики, — путавшимся языком твердил мертвенно-бледный доктор, с ужасом глядя красивыми потухавшими глазами на окровавленные клочья, бывшие на месте его ног, — бинтов... Егоров... перевязку...

Миртов, не договорив, впал в обморок.

Подбежавший фельдшер Егоров, присев к земле, перевязывал ему дрожащими руками вскрытые артерии.

— Кончился? — спросил вполголоса Перовский, нагнувшись к нему.

— Какое, промучится еще, сердечный... а уж, где жить! Носилки! — обратился фельдшер к солдатам.

Перовский поскакал к другому перевязочному пункту.

Была снова атакована батарея Раевского. Наполеон двинул на нее молодую гвардию и резервы. Нападение Уварова на левое крыло французов остановило было эти атаки, но к французам подходили новые и новые подкрепления. Курганная батарея была опять занята французами.

— Смотрите, смотрите, — сказал кто-то возле Перовского, указывая с высоты, где стояли колонны Багговута, — это Наполеон!

Базиль направил туда подзорную трубу и впервые в жизни увидел Наполеона, скакавшего, с огромной свитой, на

белом коне, от Семеновского к занятому французами редуту Раевского. Все ждали грозного наступления старой французской гвардии. Наполеон на это не решился.

К шести часам вечера бой стал затихать на всех позициях и кончился. К светлейшему в Горки, где он был во время боя, прискакал, как узнали в войсках, флигель-адъютант Вольцоген с донесением, что неприятель занял все главные пункты нашей позиции и что наши войска в совершенном расстройстве.

— Это неправда, — громко при всех возразил ему светлейший, — ход сражения известен мне одному в точности. Неприятель отражен на всех пунктах, и завтра мы его погоним обратно из священной Русской земли.

Стемнело. Кутузов к ночи переехал в дом Михайловской мызы. Окна этого дома были снова ярко освещены. В них виднелись денщики, разносившие чай, и лица адъютантов. В полночь к князю собрались оставшиеся в живых командиры частей, расположившихся невдали от мызы. Здесь был, с двумя-тремя из своих штабных, и генерал Багговут. Взвод кавалергардов охранял двор и усадьбу. Адъютанты и ординарцы фельдмаршала, беседуя с подъезжавшими офицерами, толпились у крыльца. Разложенный на площадке перед домом костер освещал старые липы и березы вокруг двора, ягодный сад, пруд невдали от дома, готовую фельдъегерскую тройку за двором и невысокое крылечко с входившими и сходившими по нему. Стоя с другими у этого крыльца, Перовский видел бледное и хмурое лицо графа Толя, медленно, нервной поступью поднявшегося по крыльцу после вечернего объезда наших линий. Он разглядел и черную курчавую голову героя дня Ермолова, который после доклада Толя с досадой крикнул в окно:

— Фельдъегеря!

Тройка подъехала. Из сеней, с сумкой через плечо, вышел сгорбленный пожилой офицер. Базиль обрадовался, увидя его: то был Синтянин.

— Куда, куда? — заговорили офицеры.

— В Петербург, — ответил, крестясь, Синтянин, — с донесением.

Тогда же все узнали, что князь Кутузов, выслушав графа Толя, дал предписание русской армии отступать за Можайск, к Москве. Наутро Перовский получил приказание состоять при Милорадовиче.

XV

Было тридцать первое августа. В этот день, с утра, у княгини Анны Аркадьевны все наконец было готово к отъезду в тамбовское поместье Паншино.

Во дворе, у флигеля, стояло несколько последних нагруженных подвод, которые было решено с необходимой прислугой отослать вперед. На возах — с кадками, птичьими клетками, сундуками, посудой и перинами — сидели в дорожных платках, кофтах и кацавейках, щелкая орехи и посмеиваясь, красавицы Луша, Дуняша, Стеша и семь прочих подручных горничных княгини, прачки, кружевницы и судомойки. Повар и поварчонки посадили туда же и слепого гуслиста Ермила, а сами за недостатком места собирались при подводах идти пешком. В особой открытой линейке вперед выехали главный дворецкий, буфетчик, кондитер и парикмахер княгини.

К одной из телег, с запасом сена и овса, был привязан верховой конь Авроры Барс, к другой — княгинина любимая холмогорская корова Молодка и, бодавший прохожих, старый конюшенный козел Васька. Экономка Маремьяша предназначила себе и привезенным из Новоселовки Ефимовне и Фене особую, крытую кожей и запряженную тройкой пего-чалых, бричку. Туда, на предварительно втиснутую и прикрытую ковриком перину, одетый в синюю куртку и алую феску арапчонок Варлашка бережно поставил клетку с попугаем и в корзинке с пуховой подушечкой двух комнатных болонок княгини — Лимку и Тимку.

Сама Маремьяша давно все уладила; но, простясь с княгиней, еще ходила из комнаты в комнату, охая, всех торопя и не решаясь выйти. Наконец и она, в дорожном чепце, с Ефимовной и внучкой последней, держа какие-то узлы и горшочки с жасмином и геранью, показалась на девичьем крыльце. Все стали креститься. Обоз, к которому присоединили еще на особой подводе походную палатку, окончательно двинулся в полдень.

Аврора утром того дня съездила в Никитский монастырь, где отслужила панихиду по Мите. Она была в черном шерстяном платье и в белой косыночке на голове. Войдя с заплаканными глазами в опустелый дом бабки и узнав, что у княгини сидит доктор, она прошла наверх, в свою любимую комнату, и принялась укладывать последние вещи, еще во множестве разбросанные по стульям, окнам и столам.

Что было нужно в дороге, она успела сдать на подводы, остальное заперла в ящики шкафов и комодов, положила ключи на стол и задумалась.

«Брать ли ключи с собой? Какая я смешная: не все ли равно? — мыслила она, поглядывая на бумажки и сено, валявшиеся по комнате. — Если неприятелю суждено быть в Москве, все эти шкафы, комоды и столы будут разбиты, и грубые вражеские руки коснутся этих вещей».

На окне валялись театральные афиши. Аврора бессознательно взяла их, стала просматривать и бросила на пол. Афиши гласили, что в московском театре, несколько дней назад, был исполнен анакреонтический балет «Брак Зефира», а чуть не накануне того дня шла драма «Наталья, боярская дочь» и после спектакля был маскарад. Эти же афиши спокойно объявляли открытие абонемента на двести новых спектаклей с наступавшего сентября.

«Театр, веселости, — с горьким вздохом подумала Аврора, — в такое время! Где совесть, где сердце у этих людей?»

Она заметила на небольшом с бронзовой отделкой столике у изголовья ее кровати забытую ею тетрадь любимых

нот в красном сафьянном переплете. Аврора раскрыла ноты и со слезами упала на них головой.

«Видишь ли ты меня, мой далекий? — думала она, рыдая. — Где в эти мгновения ты и что с тобой?»

Ей вспомнилась поездка с женихом на Поклонную гору, последнее свидание с Базилем, вид пылавшей Новоселовки и пушечная пальба под Можайском.

«Чем кончилась грозная битва? — думала она. — Кто победил и кто жив?»

— Барышня, ее сиятельство готовы, ждут вас! — раздался в комнате голос.

Аврора оглянулась. У дверей, в смятой, давно не надеванной дорожной ливрее с гербовыми бронзовыми пуговицами и множеством воротников, стоял выбритый, раскрасневшийся и недовольный сборами слуга княгини Влас. Его седые брови были важно подняты.

— Иди, голубчик, я тоже готова, сию минуту! — ответила Аврора, закрывая ноты.

Она схватила клочок бумаги, набросала на нем несколько строк и, сложив написанное, подумала:

«Отдам дворнику; Базиль, если Господь его спас — о, я надеюсь на это! — вступив с отрядом в Москву, поспешит сюда, получит записку от дворника и будет утешен хоть этими строками».

На клочке бумаги было написано:

«31 августа 1812 года. Мы едем, дорогой, сейчас в Паншино. До свидания. О смерти Мити ты, верно, знаешь. Я сегодня молилась о нем и поклялась... Если буду жива, если потребуются жертвы, ты увидишь, русская женщина, русская патриотка сумеет исполнить свой долг. Не забывай любящей тебя *Авроры*».

Надев соломенную шляпку и мантилью, Аврора спустилась с лестницы, заглянула в молельню бабки, взяла забытый здесь кружевной чепец княгини с зелеными лентами, приготовленный Маремьяшей барыне на дорогу, и медленно, через пальмовую гостиную, так памятную Авроре по первым, робким

беседам с Базилем, вышла в залу, в последний раз оглядывая покидаемый дом. В зале, среди всякого сора, стояла сдвинутая с места мебель и стены были обнажены от зеркал и картин. Куранты столовых часов, не снятых в суете со стены, как и многое другое в доме, в это время, тихо позванивая, играли песню того же друга их дома, Нелединского:

Выйду я на реченьку,
Погляжу на быструю...
Унеси ты мое горе...

Аврора, прислонясь головой к стене, опять не удержалась от слез. На крыльце она увидела московского полицеймейстера. Несмотря на хлопоты, он заехал проводить княгиню.

Тропинин, решивший остаться в Москве до выезда сената и последних чинов театральной дирекции, свел плачущую Аврору с крыльца и усадил ее в дормез, против сидевшей уже здесь и вконец расстроенной княгини. Аврора передала записку дворнику. Анна Аркадьевна, простясь с полицеймейстером и двумя также провожавшими ее богомолками, никак не могла удобно поместить у своих ног, среди разных связок и укладок, поданную ей Власом ее третью, самую любимую собачку, крохотного рыженького шпица Тутика, с которым княгиня никогда не расставалась. Тутик был в зеленом шелковом одеяльце и с розовым бантиком на мохнатом затылке.

— Да и надоел же ты мне с твоим неумением, старый чурбан! — сердито крикнула своему любимому слуге княгиня Шелешпанская. — Мечешься, суетишься, как угорелый, а все без толку.

— А если бы вы, ваше сиятельство, знали, как вы-то мне надоели! — не стерпев и мрачно захлопывая дверцы, ответил Влас.

— Как видишь! — с горечью, по-французски произнесла княгиня, укоризненно указывая на грубияна Авроре, точно та была виной его дерзкой выходки. — Вот ныне судьба князей Шелешпанских! Они меня в гроб уложат... Где мои капли?..

— Пошел! — крикнул кучеру Влас, важно усевшись на козлы и с суровым упреком поглядывая на алебастровых львов, украшавших высокие ворота княгинина дома.

Свежий осенний ветер весело играл ливрейными воротниками на плотной и красной от досады шее Власа.

— Уехали, ангелы, — обратилась к дворнику Карпу, стоявшему у ворот, одна из богомолок, кланяясь вслед уезжавшей княгине и пряча полученную от нее подачку, — а нам, бедным, одна Царица Небесная в защиту. Гонит лютый враг. Воздушным плетнем обнесемся, небом в пустыне прикроемся.

Бледнолицый, с пегим лицом Карп, мрачно взглянув на спины уходивших богомолок, злобным размахом запер ворота.

Зеленая крыша дома княгини с бельведером поверх ее и со львами на воротах скрылась за соседними опустелыми домами. Тяжелый венский дормез, с форейтором, шестериком вороных, медленно выехал, погромыхивая, из Бронной на Тверской также опустевший бульвар, к Кремлю и далее — в Рогожскую заставу. Тропинин, с утра в вицмундире под плащом и в форменной треуголке, проводил путниц на наемных дрожках до заставы. Улицы за Яузой были переполнены отъезжавшими и уходившими. Город, узнав в тот день потрясающие подробности о Бородинской битве, окончательно опустел.

XVI

Настало второе сентября.

В Москву днем и ночью подходили подводы, наполненные тысячами раненых. «Кровавое Бородино» вдвигалось в московские улицы со Смоленской дороги, в то время как по владимирской, рязанской и тульской уезжали, тесня друг друга, разновидные кареты, коляски, брички и телеги с последними убегающими москвичами. Разнеслась весть, что русская армия после Бородинского боя отступает к древней

столице. Все ждали новой и окончательной битвы у ворот Москвы. Близ Воробьевых гор Перовскому и другим колонновожатым велели произвести съемку местности, и здесь действительно начали было даже возводить земляные укрепления для редутов. Но после совета, происходившего накануне в подмосковной деревушке Филях, Кутузов решил, для спасения России, сдать Москву без боя.

Русские войска, направляясь со Смоленской дороги на рязанскую, стали проходить через Москву. Неприятельская армия следом за ними приближалась к Дорогомиловской заставе. Под городом слышалась перестрелка передовой французской цепи с казаками и уланами русского арьергарда.

Лихой и храбрый начальник этого арьергарда, «крылатый», как его звали, Милорадович, с целью облегчить отступление русским отрядам и дать выйти из города последним жителям и обозам, объявил столь же лихому и отважному вождю французского авангарда, итальянскому королю Мюрату, что, если французы на время не приостановятся, их встретит бой на штыках и ножах в каждой улице и в каждом доме Москвы. Мюрат заключил с Милорадовичем словесное, до ночи, перемирие.

Перестрелка на время прекратилась. Французские полки, в виду уже развернувшейся перед ними Москвы, замедлили наступление.

Вышедший благополучно из Бородинского боя Перовский сумрачно ехал верхом сзади Милорадовича с другим офицером, черноволосым и с ямочками на румяных щеках Квашниным. Он сгорал нетерпением скорее достичь города и узнать, где его невеста и что сталось с Митей Усовым, отправленным с боя под Осмой в Москву. В ожидании радостного свидания с Авророй — почем знать, может быть, она еще в Москве? — Базиль при помощи денщика успел на последнем ночлеге в Филях достать из вьюка и надеть уцелевшее чистое белье, тонкую рубашку с кружевными ман-

жетами и белый пикейный камзол, умылся и даже побрился. Его донской серый конь был также в порядке и не заморен. Но какое-то необъяснимое, гнетущее чувство волновало и раздражало Базиля. Ему показалось, что его денщик, въехавший в Москву ранее с его вьюками, был под хмельком, и он соображал, не обронил бы он вьюка с походной шкатулкой, где хранились дорогие ему сувениры.

Квашнин, товарищ по учению и ровесник Мити Усова, был в лучшем настроении духа. Добрый привлекательного нрава товарищ и словоохотливый собеседник, Квашнин, так же как и Перовский, был накануне с Милорадовичем в Филях, где происходил важный военный совет и где у квартиры светлейшего он удостоился не только видеть всех главных генералов армии и штаба главнокомандующего, но и наслышаться любопытнейших военных и политических суждений и вестей, которые впоследствии стали достоянием истории.

— Битва гигантов! Так, а не иначе отныне будут называть Бородино! — сказал Квашнин, краснея от собственного выспреннего выражения и поглаживая короткими пухлыми пальцами усталого и взмыленного своего коня. — А я, Василий Алексеевич, прибавлю, битва шести Михаилов...

— Это почему? — спросил рассеянно Перовский, вглядываясь сквозь шеренги драгун в очертания недалекой Поклонной горы и стараясь угадать то поле, где он так еще недавно скакал на прогулке с Авророй, ее сестрой и Митей Усовым.

— А как же-с! Неужели не знаете? — воскликнул Квашнин в нервном возбуждении, радуясь, что мог объявить все, что он слышал, такому дельному и понимающему товарищу. — Михаил Кутузов, Михаил Барклай, наш Милорадович, Воронцов и Бороздин... Ней у французов — тоже Михаил.

— Да, это стоит апокалипсического Аполлиона! — сухо ответил Базиль.

— А слышали вы, Василий Алексеевич, — спросил Квашнин, стороня лошадь от обломившейся фуры, кото-

рую усталые и потные солдаты, копошась, ладили на пути, — знаете ли, сколько выбыло у нас из строя под Бородином?

— Было море крови, одно скажу! — вспоминая картины Бородина, со вздохом ответил Базиль. — Мы с вами зато уцелели, даже и не ранены...

— Ну что же, наш черед еще впереди... Да нет, вы послушайте, это что-то, клянусь, сказочное и небывалое! — продолжал оживленно Квашнин. — Адъютант Ермолова Тюнтин передавал... очевидно, подсчитали в главном штабе... Бой длился всего десять часов, и в это время, представьте, — продолжал, оставив повод, Квашнин, — у нас выбыло из рядов убитыми и ранеными до пятидесяти тысяч человек; у французов, говорят, столько же; а на сто тысяч всех выбывших из строя кладут до сорока тысяч убитых... Ведь это ужас! И уж не знаю, верно ли, но уверяют, что у нас и у них при этом убито и ранено более пятидесяти генералов, выпущено приблизительно до шестидесяти тысяч пушечных снарядов, а ружейных что-то более полутора миллиарда. Это — как вы думаете? — по расчету выходит на каждую минуту боя более двух тысяч выстрелов, причем на каждые тридцать выстрелов один смертельный... А, каково? Не ужас ли? Где и в какие времена столько проливали крови и убивали?

Базиль с содроганием слушал эти вычисления. Ему вспомнилось, как он до войны боготворил Наполеона и как, из подражания этому, по его тогдашнему мнению, мечтательно-нежному гению, он, Базиль, достал, уезжая из Москвы, у Кольчугина костровский перевод Оссиана и в виде отдыха на первых походных биваках читал поэмы последнего. Перовскому вспомнилось и его прощание с Митей Усовым, когда тот, уже сидя в кибитке, сквозь слезы глядел на родную усадьбу и, уезжая и издали крестя его и няню Арину, повторял:

— Так до осени... смотри же, оба женимся и заживем!

Квашнин говорил еще что-то.

— Не забудьте, впрочем, в утешение, мой дорогой, одного, — резко обратился к нему, как бы оправдываясь от каких-либо нападений, Базиль, — мы потеряли, но зато чуть не вдвое потеряли и наши враги! Недаром Наполеон, как передавал вчера в штабе один пленный, так злился после данного ему отпора, что мы не уступили ему ни пяди, грозно провели ночь на месте сражения и скрылись от него, хоть не нападая, но и не прося пощады. Он сказал Нею: «La fortune est une franche courtisane...»[1] Да, посмотрим еще, к кому повернет свое личико эта ласкавшая его доныне распутница Фортуна...

Квашнин смолк, стараясь дословно запомнить услышанное изречение Наполеона, чтобы сообщить его, при первом свидании, матери, которая, как он знал из ее писем, уже благополучно выехала из Москвы в Ярославль.

— В штабе радуются, уверяют, — продолжал раздражительно Базиль, — что французы, заняв уступленную им без боя Москву, примут первые предложенные им условия мира. Утверждают, что они отпразднуют этот мир шумно и торжественно и, удовлетворив свою спесь, без замедления уйдут в Польшу... Этого, надо думать, не случится; мы не можем, не должны заключать постыдного мира! — договорил, подбирая поводья и догоняя Милорадовича, Базиль. — Москва — конец Наполеону, могила его счастья и славы. Я этому верю, об этом молюсь... Иначе не может и быть!

Улицы, по которым стал двигаться русский арьергард, были загромождены последними уходившими обозами и экипажами.

— Идут, идут! Французы на Воробьевых горах! — кричали метавшиеся между подводами пешеходы.

Из опустелых переулков доносились дикие крики пьяной черни, разбивавшей брошенные лавки с красными и бакалейными товарами и кабаки. Испуганные, не успевшие уйти го-

---

[1] Судьба — явная куртизанка... *(фр.)*.

рожане прятались в подвалы и погреба либо, выходя из ворот с иконами в руках, кланялись, спрашивая встречных, наши ли победили, или мы отступаем. Целые ряды домов по бульварам и вдоль болотистой речки Неглинной, у Кремля, стояли мрачно-безмолвные, с заколоченными ставнями и дверьми.

Милорадович, достигнув Устинского моста через Яузу, стал пропускать мимо себя свои колонны. К нему подскакал с донесением казачий офицер.

— Поручик Перовский и прапорщик Квашнин! — крикнул Милорадович.

Оба офицера подъехали к нему.

— Вы — москвичи; знаете местность? — спросил он.

— Знаем.

— Скачите... вы, Перовский, к Лефортовской, а вы, Квашнин, к Бутырской заставе... Торопите запоздалых... Сбился генерал Сикорский, отстали казаки... Перемирие вряд ли продлится... Неприятель обходит нас вперерез из Сокольников на Лефортово. Если что нужно, дайте знать... Привал за Рогожской заставой.

XVII

Офицеры с вестовыми казаками помчались за мост. Некоторое время, Солянкою, они ехали вместе. Квашнин на своем приморенном рыжем не отставал.

«Не судьба, — думал Базиль, — если бы в Бутырки послали меня, а не его, я успел бы оттуда, по пути, завернуть с Тверской к Патриаршим прудам... Что, если, как извещала Аврора, княгиня и в самом деле доныне осталась в Москве? Мало ли что могло случиться — болезнь, особенно эти странные торжественные уверения Ростопчина... Подскакал бы к воротам, может быть, увидел бы ее в окне или на балконе, хоть крикнул бы пару слов, чтобы спасались. Теперь же... в другой конец города... Разве поменяться?»

— Итак, товарищ, до свидания! — сказал Квашнин, сдерживая коня. — Мне — налево, вам — направо, Покровкою и далее Гороховым полем... А мне-то все эти места знакомые... Там невдали, куда едете, мой дядя, у него завод в Немецкой слободе...

— Извините, — произнес в сильном волнении Перовский, — минуты до́роги... одно слово... У меня в Москве невеста — в Бронной, у Патриарших прудов... Вам, хоть обратно, будет по пути — с Дмитровки или с Тверской... Там недалеко... дом с бельведером, зеленой крышей и львами на воротах.

— Приказывайте, — произнес, вспыхнув и поглядывая на своего вестового, Квашнин, — чей дом?

Перовский назвал фамилию княгини.

— Более ничего, — сказал он, помолчав, — прошу об одном только — предупредите; если же хозяйки уже выехали, там дворник Карп или кто-нибудь, — узнайте, куда и все ли благополучно... У вас, кажется, вы говорили, матушка была тоже в Москве; не по пути ли мне? Был бы счастлив...

— Помилуйте, — восторженно воскликнул Квашнин, пожимая с седла влажной, мягкой рукой руку Базиля, — да я готов, ваш слуга... Матушка ж моя жила на Пятницкой у Климента — знаете, папы римского? — на углу Климентовского переулка, дом с красной крышей и вверху хоть не бельведер, как у княгини, но тоже антресоли... Она уже оставила Москву, а не будь этого, мы с вами сегодня же там пили бы чай и наливку. А какая наливка! Уже была бы рада моя старушка... До свидания!

— Счастливого пути! Если ранее меня доберетесь до обоза, найдите моего денщика, — не растерял бы он моих вещей.

Квашнину удалось, исполнив у Бутырской заставы приказание Милорадовича, завернуть в Бронную, к Патриаршим прудам. Он отыскал дом княгини, узнал, что все благополучно, за два дня перед тем уехали, и, узнав от дворника

о записке Авроры на имя Перовского, в волнении от невероятной, радостной находки, взял эту записку с собой для передачи ее Перовскому. Сев на отдохнувшего коня, он весело поскакал к Рогожской заставе, но на Тверской наткнулся на входивших уже в город французов и попал в плен, из которого, впрочем, в наступившую ночь счастливо бежал. Найдя в обозе денщика Перовского, он узнал, что вещи последнего были целы, но о судьбе самого Перовского никто ничего не знал.

Расставшись с Квашниным, Базиль приказал вестовому не отставать и поскакал Покровкою к Басманной. У Иоанна Предтечи его задержал двигавшийся с Басманной казачий полк. Передав командиру полка приказание Милорадовича, Базиль никак не мог проехать в Гороховскую улицу. Оттуда шла пехота. Теснимый рядами молча и сумрачно двигавшихся солдат, он было своротил сквозь их шеренги в узкий и кривой переулок, но запутался здесь в неогороженных пустырях между огородами и попал к какой-то роще у реки Чечеры. Издали была видна знакомая ему колокольня Никиты Мученика. Перовский сообразил, что через Чечеру и далее через Яузу он мог в Лефортово удобно попасть только по Басманной, и направился туда. На Басманной встретился какой-то отсталый обоз, завязавший ссору с егерями Демидова, которые на дюжине фур везли мебель и уводили лошадей, борзых и гончих собак своего хозяина.

К Лефортовскому мосту через Яузу Перовский добрался уже в пятом часу. Здесь оказалась новая преграда. Через мост навстречу Базилю, тесня и сбивая друг друга, непрерывно двигались ряды отставшей русской колонны. То были опять казаки и драгуны.

— Вы откуда? — окликнул Базиль солдат.

— От Сокольников...

— Кто ваш дивизионный?

— Генерал-майор Сикорский.

— Где он?

Солдаты указали за мост, на видневшийся невдали лес.

— Живее, ребята, поздно! — крикнул Базиль. — Сбор за Рогожской заставой; поспешайте!

— Рады стараться, — отозвались голоса.

Тысячи стоптанных сапог гулко и бодро стучали по мостовым доскам. Мост опустел. Перовский с вестовым проехал за Яузу. Лес, который он видел с того берега, оказался далее, чем он того ожидал. Изрытая, болотистая дорога шла непрерывными огородами, потом потянулось поле. Начало смеркаться.

Удивленный, что так скоро наступил вечер, Базиль, отирая пот, пришпорил лошадь к лесу, проехал еще с версту и вправо, между деревьями и каким-то прудом или озером, увидел в колоннах большой военный отряд.

В сумерках он разглядел, что тут, кроме русских, были и неприятели. Он замялся.

Подъехав еще ближе, Перовский увидел генерала Сикорского и, к своему удивлению, рядом с ним начальника французских аванпостов. То был, как он потом узнал, генерал Себастьяни. Базиль велел вестовому подождать себя у леса, а сам, взяв под козырек, направился к Сикорскому и передал ему приказ Милорадовича.

— Да что, батюшка, — с неудовольствием крикнул кругленький и живой, с быстрыми движениями и точно испуганными, раскрасневшимися глазами Сикорский, — мы, видит Бог, не медлили, вовремя узнали о перемирии и шли, как все. Было сказано: через Яузу — на Яузе же не один мост; а эти господа (он указал на сердито молчавшего Себастьяни) отрезали нашу крайнюю бригаду и вздумали ее не пропускать. Теперь вот с ним кое-как, впрочем, объяснились: несговорчивый, собака, насилу его уломал. Так передайте его превосходительству, сами видите, безостановочно идем вслед за ним...

Раздалась французская команда. Задержанные неприятельским авангардом, донской казачий и драгунский полки прошли в интервалы между развернутым по полю французским отрядом. Перовский дождался их прохода и поспешил

к лесной опушке, у которой он оставил вестового, но последнего там уже не было. Базиль возвратился на дорогу и стал кликать казака, никто не отзывался. В темноте только слышался топот подходившей к мосту русской бригады. Базиль поскакал туда. Но французы между мостом и лесом уже протянули свою сторожевую ночную цепь.

— Qui vive? (Кто идет?) — раздался оклик часового.

— Парламентер, — отвечал Перовский.

Часовой не пропустил его. Подъехал офицер, расставлявший пикеты, и пригласил Базиля к генералу. Себастьяни, видевший, как Перовский, за несколько минут, говорил с своим дивизионным, велел было пропустить его через цепь. Но едва Перовский отъехал за пикет, он послал вестового возвратить его.

— Здесь невдали неаполитанский король, — сказал он, — вы говорите по-французски, образованны — королю будет приятно с вами поговорить... Ваш кордон за мостом, вблизи... еще успеете... Прошу вас на минуту повременить...

Перовский нехотя последовал за Себастьяни, окруженным адъютантами. Они ехали шагом. Лес кончился, потянулось поле. Вдали виднелись огоньки. Переехав через канаву, все приблизились к обширной избе, стоявшей за лесом, среди огородов. У двери толпились офицеры. Солдаты, с горевшими факелами в руках, встретили подъехавшего генерала.

XVIII

Себастьяни спустился с седла, велел принять лошадь Перовского и предложил ему подождать, пока он снесется с Мюратом. Базиль вошел в пустую и едва освещенную с надворья избу. За окнами слышался говор, шум. Подъезжали и отъезжали верховые. Какой-то высокий, с конским

хвостом на каске француз сунулся было в избу, торопливо ища на ее полках и в шкафу, очевидно, чего-либо съестного, и с ругательством удалился. Через полчаса в избу вошел Себастьяни.

— Неаполитанский король занят, — сказал он, — ранее утра он не может вас принять. Переночуйте здесь...

— Не могу, — ответил, теряя терпение, Базиль, — меня ждут; я сюда привез приказания высшего начальства и обязан немедленно возвратиться с отчетом... Не задерживайте меня...

— Понимаю вас... Только ночью, в такой темноте и при неясности нашего обоюдного положения, вряд ли вы безопасно попадете к своим.

— Но разве я — пленный? — спросил, поборов досаду, Базиль. — Вы, генерал, лучше других можете решить, вы видели, что я был прислан к начальнику прошедшей здесь бригады.

— Полноте, молодой человек, успокойтесь! — улыбнулся Себастьяни, садясь на скамью за стол. — Даю вам честное слово старого служаки, что рано утром вы увидите короля Мюрата и вслед за тем вас бережно проведут на ваши аванпосты. А теперь закусим и отдохнем; мы все, не правда ли, наморились, надо в том сознаться...

Вошедший адъютант внес и развязал покрытый пылью кожаный чехол со съестным и флягою вина. Не евшему с утра Перовскому предложили белого хлеба, ломоть сыру и стакан сотерна.

— Москва пуста, Москва оставлена жителями, — произнес, закусывая, Себастьяни, — знаете ли вы это?

— Иначе и быть не могло, — отвечал Базиль.

— Но наш император завтра входит в ваш Кремль, поселяется во дворце царей... Этого вы не ждали?

— Наша армия не разбита, цела...

— О, если бы ваш государь протянул нам руку! Он и Наполеон стали бы владетелями мира. Мы доказали бы коварной Англии, пошли бы на Индию... Впрочем, пора

спать, — прибавил Себастьяни, видя, что Базиль не дотрагивается до еды и ему не отвечает.

Перовского провели через сени в другую комнату, уже наполненную лежавшими вповалку штабными и ординарцами. Он разостлал свою шинель и, подсунув под голову шляпу, не снимая шпаги, лег в углу. При свете факелов, еще горевших на дворе, он увидел в избе у окна молодого французского офицера замечательной красоты. Черноволосый и бледный, с подвязанною рукою и с головой, обмотанною окровавленным платком, этот офицер сидел, согнувшись, на скамье и разговаривал с кем-то в разбитое окно. Он не заметил, как в потемках вошел и лег Базиль.

— Мне, представьте, однажды удалось видеть его в красной с золотом бархатной тоге консула! — говорил по-французски, но с иностранным акцентом голос за окном. — Как он был хорош! Здесь он, разумеется, явится в небывалом ореоле, в одеянии древних царей.

— Но увидим ли мы свою родину? — возразил тихим, упавшим голосом раненый офицер. — Отец мне пишет из Макона — налоги страшно растут, все давят, у сестры отняли последнюю корову, а у сестры шестеро детей...

— Великий человек, — продолжал голос за окном, — сказал недаром, что эта дикая страна увлечена роком. Вспомните мое слово, он здесь освободит рабов, возродит Польшу, устроит герцогства Смоленское, Виленское и Петербургское... Будут новые герцоги, вице-короли... Он раздаст здешние уделы генералам, а Польшу — своему брату Жерому.

— Ох, но вы — не генерал; ваши земляки храбры, не спорю, но армия Кутузова еще цела, а фортуна слепа, — ответил раненый, припадая от боли плечом к окну.

— Вы намекаете на случайности, — произнес голос за окном, — а забыли изречение нового Цезаря: «Le boulet, que me tuera, n'est pas encore fondu» («Бомба, которая меня убьет, еще не отлита»). Великий человек должен жить и будет жить долго, воюя по-рыцарски за угнетенных... Ведь

Рига уже взята, Макдональд, по слухам, в Петербурге... Не верите? Если же и этого будет мало, уже выпущено на миллионы фальшивых ассигнаций, найдут и выдвинут нового самозванца... народ и без того толкует, что жив и покойный царь Павел...

Раненый более не отвечал. В комнате стихло. Факелы за окном погасли.

«Неужели все это правда? — думал в темноте Базиль. — Неужели просвещенный народ и этот гений, этот недавний мой кумир, пойдут на такие меры? Быть не может! Это выдумки, бред раздраженных бородинскою неудачею мечтателей и хвастунов».

Перовский долго не мог заснуть. Ему пришла было в голову мысль незаметно, впотьмах, выйти из избы, достигнуть леса и бежать, он даже встал и начал пробираться через спавших в избе, но, расслышав вблизи оклики часовых, снова лег на шинель и крепко заснул.

Загремел зоревой барабан. Все проснулись. Начинался рассвет тихого и теплого, чисто летнего дня. Себастьяни сдержал слово и с своим адъютантом послал Перовского к Мюрату.

Итальянский король провел ночь уже в Москве.

Перовский и его проводник верхом направились в Замоскворечье, где, как им сказали, была квартира Мюрата. На Пятницкой, у церкви Климента, Базиль стал искать глазами и узнал дом, с зелеными ставнями и с вышкой, матери Квашнина.

Возле этого дома толпились оборванные французские солдаты, таща из ворот мебель и разный хлам. В раскрытые окна виднелись потные и красные, в касках и расстегнутых мундирах другие солдаты, расхаживавшие по комнатам и горланившие из окон тем, кто стоял на улице.

«Неужели грабеж?.. Бедный Квашнин!» — подумал с изумлением Базиль, видя, как приземистый и малосильный,

с кривыми ногами и орлиным носом французский пехотинец, отмахиваясь от товарищей, с налитым кровью лицом тащил увесистый узел женского платья и белья, приговаривая:

— Это для моей красавицы, это в Париж! (C'est á ma belle, c'est pour Paris!)

Проехав далее, проводник Базиля узнал от встречного офицера, что штаб-квартира Мюрата не в Замоскворечье, а у Новых рядов, на Вшивой горке. Перовский и адъютант повернули назад и скоро подъехали к обширному двору золотопромышленника и заводчика Баташова. У въезда в ворота стояли конные часовые; в глубине двора, у парадного подъезда, был расположен почетный караул. На крыше двухъярусного дома развевался королевский, красный с зеленым, штандарт. В саду виднелись разбитые палатки, ружья в козлах и у кольев нерасседланные лошади, бродившие по траве и еще не уничтоженным цветникам. На площадке крыльца толпились генералы, чиновники и ординарцы. Все чего-то как бы ждали. У нижней ступени, в замаранном синем фраке, в белом жабо и со шляпой в руках стоял, кланяясь и чуть не плача, седой толстяк.

— Что он там городит? (Q'est-ce qu'il chant, voyons?) — крикнул с досадой, не понимая его, дежурный генерал, к которому толстяк, размахивая руками, обращался с какой-то просьбой.

— Вот русский офицер, — поспешил указать генералу на Перовского подъехавший адъютант Себастьяни, — он прислан сюда к его величеству.

— А, тем лучше! — обратился генерал к Перовскому. — Не откажите объяснить, о чем просит этот старик.

Проситель оказался главным баташовским приказчиком и дворецким.

— Что вам угодно? — спросил его Базиль, не слезая с коня. — Говорите, я им переведу.

— Батюшка ты наш, кормилец православный! — вскрикнул, крестясь, обрадованный толстяк. — Вы тоже, значит, пленный, как и мы?

— Нет, не пленный, — покраснев, резко ответил Базиль. — Видите, я при шпаге, следовательно, на свободе... В чем дело?

— Да что, сударь, я — здешний дворецкий, Максим Соков... Налетели эти, нечистый их возьми, точно звери; тридцать одних генералов, с ихним этим королем, и у нас стали с вечера, — произнес дворецкий, утирая жирное лицо. — Видим — сила, ничего не поделаешь! Ну, приготовили мы им сытный ужин, все как есть пекарни и калачни обегали — белого хлеба нет, один черный, самому королю всего чвертку белой сайки добыли у ребят. И озлились они на черный хлеб, и пошло... Всяк генерал, какой ни на есть, требует себе мягкой постели и особую опочивальню. А где их взять?

Максим с суровым упреком поглядел на французов.

— Король изволил откушать в гостиной и лег в господской спальне, — продолжал он, — прочих мы уложили в столовой, в зале и в угольной. И того мало: не хотят диванов и кушеток, подавай им барские перины и подушки, а наших холопских не хотят, швыряют... Всю ночь напролет горели свечи в люстрах и в кенкетах... нас же, сударь, верите ли, как кошек за хвост тягали туда и сюда... Убыток и разор! А нынче утром, доложу вашей чести, как этот генералитет и вся чиновная орава проснулись разом — в доме, в музыкантском флигеле, в оранжереях и в людской, — один требует чаю, другой кричит: закуски, водки, бургонского, шампанского... Так сбили с ног, хоть в воду!

Базиль перевел жалобы дворецкого.

— Oui, du champahne! (Именно шампанского!) — весело улыбнувшись, подтвердил один из штабных. — Но что же ему нужно?

— Баб тоже, ваше благородие, сильно обижали на кухне и в саду, — продолжал, еще более укоризненно поглядывая на французов, дворецкий, — те подняли крик. Сегодня же, смею доложить — и вы им, сударь, это беспременно переведите, — их солдаты отняли у стряпух не токмо готовый,

но даже недопеченный хлеб... Где это видано? А какой-то их офицер, фертик такой, чумазенький — о, я его узнаю! — пришел это с их конюхами, прямо отбил замок у каретника, запряг в господскую венскую коляску наших же серых рысаков и поехал в ней, не спросясь... Еще и вовсе, пожалуй, стянет... Им, озорникам, что?.. У иного всего добра — штопаный мундирчик да рваные панталошки, а с меня барин спросит... скажет: «Так-то ты, Соков, глядел?..»

Перовский перевел и эти жалобы.

XIX

Слушатели хохотали, но вдруг засуетились и стихли. Все бросились к верхним ступеням. На площадке крыльца показался стройный высокого роста, с римским носом, приветливым лицом и веселыми, оживленными глазами еще моложавый генерал. Темно-русые волосы его на лбу были коротко острижены, а с боков, из-под расшитой золотом треуголки, падали на его плечи длинными волнистыми локонами. Он был в зеленой шелковой короткой тунике, коричневого цвета рейтузах, синих чулках и в желтых польских полусапожках со шпорами... На его груди была толстая цепь из золотых одноглавых орлов, из-под которой виднелась красная орденская лента, в ушах — дамские сережки, у пояса — кривая турецкая сабля, на шляпе — алый с зеленым плюмаж, сквозь расстегнутый воротник небрежно свешивались концы шейного кружевного платка. То был неаполитанский король Мюрат. Дежурный генерал доложил ему о прибывшем русском офицере. Приветливые, добрые глаза устремились на Перовского.

— Что скажете, капитан? — спросил король, с вежливо приподнятой шляпой молодцевато проходя к подведенному вороному коню под вышитым чепраком.

— Меня прислал генерал Себастьяни. Вашему величеству было угодно видеть меня.

— А, да!.. Но простите, мой милый, — произнес Мюрат, натянув перчатки и ловко занося в стремя ногу, — видите, какая пора. Еду на смотр; возвращусь, тогда выслушаю вас с охотой... Позаботьтесь о нем и о коне, — милостиво кивнув Базилю, обратился король к дежурному генералу.

Сопровождаемый нарядною толпою конной свиты, Мюрат с театральной щеголеватостью коротким галопом выехал за ворота. Дежурный генерал передал Перовского и его лошадь ординарцам. Те провели Базиля в угловую комнату музыкантского флигеля, окнами в сад. Долго сюда никто не являлся.

Пройдя по комнате, Базиль отворил дверь в коридор — у входа в сени виднелся часовой; он раскрыл окно и выглянул в сад — невдали, под липами, у полковой фуры прохаживался, в кивере и с ружьем, другой часовой. В коридоре послышались наконец шаги. Торопливо вошел тот же дворецкий Максим. Слуга внес за ним на подносе закуску.

— Ах, дьяволы, прожоры! — сказал дворецкий, оглядываясь и бережно вынимая из фрачного кармана плетеную кубышку. — Я, одначе, кое-что припрятал... Откушайте, сударь, во здравие... настоящий ямайский ром.

Перовский выпил и плотно закусил.

— Петя, — обратился дворецкий к слуге, — там, в подвале, ветчина и гусиные полотки; вот ключ, не добрались еще объедалы, будь им пусто... да свежее масло тоже там, в крыночке, у двери... тащи тихонько сюда...

Слуга вышел. Максим, утираясь, сел бочком на стул.

— Будет им, извергам, светло жить и еще светлее уходить! — сказал он, помолчав.

— Как так? — спросил Базиль.

— Не знаете, сударь? Гляньте в окно... Москва горит.

— Где, где?

— Полохнуло сперва, должно, на Покровке, а когда я шел к вам, занялось и в Замоскворечье. Все они высыпали из дома за ворота, смотрят, по-ихнему галдят.

Базиль подошел к окну. Деревья заслоняли вид на берег реки, но над их вершинами, к стороне Донского монастыря, поднимался зловещий столб густого черного дыма.

— Много навредили, изверги, много, слышно, загубили неповинных душ, — сказал дворецкий, — будет им за то здесь последний, Страшный суд.

— Что же, полагаешь, жгут наши?

— А то, батюшка, как же? — удивленно взглянул на него Максим. — Не спасли своего добра — лучше пропадай все! Вот хоть бы и я: век хранил господское добро, а за их грабительство, кажись, вот так взял бы пук соломы да и спалил их тут, сонных, со всеми их потрохами и с их злодеем Бонапартом!

«Вот он, русский-то народ! — подумал Базиль. — Они вернее и проще нас поняли просвещенных наших завоевателей».

Вбежал слуга.

— Дяденька, сундуки отбивают! — сказал он. — Я уж и не осмелился в подвал.

— Кто отбивает, где? — вскрикнул, вскакивая, Максим.

— В вашу опочивальню вошли солдаты. Забирают платье, посуду, образа... Вашу лисью шубу вынули, тетенькин новый шерстяной капот...

— Ну, будут же нас помнить! — проговорил дворецкий.

Он, переваливаясь, без памяти бросился в коридор и более не возвращался. Из подвального яруса дома послышались неистовые крики. Во двор из ворот сада с фельдфебелем быстро прошла кучка солдат. Грабеж, очевидно, на время прекратили. Настала тишина. Прошло еще более часа. Мучимый сомнениями и тревогой за свою участь, Базиль то лежал на кушетке, то ходил, стараясь угадать, почему именно его задержали. Ему в голову опять пришла мысль о побеге. Но как и куда бежать? Загремели шпоры. Послышались шаги.

Явился штабной чиновник. Он объявил, что неаполитанский король, задержанный в Кремле императором Наполе-

оном, возвратился и теперь обедает, а после стола просит его к себе. Перовского ввели в приемную верхней половины дома. Здесь он опять долго дожидался, слыша звон посуды в столовой, хлопанье пробок шампанского и смешанные шумные голоса обедающих. В кабинет короля он попал уже при свечах. Мюрат с пасмурным лицом сидел у стола, дописывая какую-то бумагу.

— Какой день, капитан! — произнес он. — Я вас долго оставлял без обещанной аудиенции. Столько неожиданных, неприятных хлопот... Садитесь... Вы — русский образованный человек... Нам непонятно, из-за чего нас так испугался здешний народ. Объясните: почему произошло это невероятное, поголовное бегство мирных жителей из Москвы?

— Я затрудняюсь ответить, — сказал Базиль, — мое положение... я в неприятельском стане...

— Говорите без стеснений, я слушаю вас, — покровительственно-ласково продолжал Мюрат, глядя в лицо пленнику усталыми внимательными глазами. — Нам, признаюсь, это совершенно не понятно!

Перовский вспомнил угрозы дворецкого и пучок соломы.

— Москва более двухсот лет не видела вторжения иноземцев, — ответил он, — не знаю, как еще Россия встретит весть, что Москва сдана без сопротивления и что неприятели в Кремле...

— Но разве мы — варвары, скифы? — снисходительно улыбаясь, произнес Мюрат. — Чем мы, скажите, грозили имуществу, жизни здешних граждан? Нам отдали Москву без боя. Подобно морякам, завидевшим землю, наши войска при виде этого величественного древнего города восклицали: «Москва — это мир, конец долгого, честного боя!..» Мы вчера согласились на предложенное перемирие, дали спокойно пройти вашим отрядам и их обозам через город, и... вдруг.

— Наша армия иначе была готова драться в каждом переулке, в каждом доме, — возразил Перовский, — вы встретили бы не сабли, а ножи.

— Так почему же за перемирие такой прием? Что это, скажите, наконец, за пожар? Ведь это ловушка, поджог! — гневно поднимаясь, произнес Мюрат.

— Я задержан со вчерашнего вечера, — ответил, опуская глаза, Перовский, — пожары начались сегодня, без меня.

— Это предательство! — продолжал, ходя по комнате, Мюрат. — Удалена полиция, вывезены все пожарные трубы; очевидно, Ростопчин дал сигнал оставленным сообщникам к общему сожжению Москвы. Но мы ему отплатим! Уже опубликованы его приметы, назначен выкуп за его голову. Живой или мертвый, он будет в наших руках. Так нельзя относиться к тем, кто с вами был заодно в Тильзите и Эрфурте.

— Ваше величество, — сказал Перовский, — я простой офицер; вопросы высшей политики мне чужды. Меня зовет служебный долг... Если все, что вам было угодно узнать, вы услышали, прошу вас — прикажите скорее отпустить меня в нашу армию. Я офицер генерала Милорадовича, был им послан в ваш отряд.

— Как, но разве вы не пленный? — удивился Мюрат.

— Не пленный, — ответил Перовский. — Генерал Себастьяни задержал меня во время вчерашнего перемирия, говоря, чтобы я переночевал у него, что вашему величеству желательно видеть меня. Его адъютант, проводивший меня сюда, вам это в точности подтвердит.

Мюрат задумался и позвонил. Послали за адъютантом. Оказалось, что он уже давно уехал к своему отряду, в Сокольники.

— Охотно вам верю, — сказал, глядя на Перовского, Мюрат, — даже припоминаю, что Себастьяни вчера вечером действительно предлагал мне, на походе сюда, выслушать русского офицера, то есть, очевидно, вас. И я, не задумываясь, отправил бы вас обратно к генералу Милорадовичу, но в настоящее время это уже зависит не от меня, а от начальника главного штаба генерала Бертье. Теперь поздно, — кончил, сухо кланяясь, Мюрат, — в Кремль, рези-

денцию императора, пожалуй, уже не пустят. Завтра утром я вас охотно отправлю туда.

Перовского опять поместили в музыкантском флигеле. Проходя туда через двор, он услышал впотьмах чей-то возглас:

— Но, моя красавица, ручаюсь, что синьора Прасковья будет уважаема везде! (Mais, ma belle, je vous garantie, que signora Praskóvia sera respectée partout!)

— Отстань, пучеглазый! — отвечал на это женский голос. — Не уймешься — долбану поленом либо крикну караул.

XX

Базиль, не раздеваясь, улегся на кушетке. Ни дворецкий, никто из слуг, за толкотней и шумом, еще длившимися в большом доме, не навещали его. Он всю ночь не спал. Утром к нему явился тот же штабной чиновник с объявлением, что ему велено отправить его с дежурным офицером к Бертье.

Выйдя во двор и видя, что назначенный ему в провожатые офицер сидит верхом на коне, Перовский осведомился о своей лошади. Пошли ее искать в сад, потом в штабную и королевскую конюшни. Лошадь исчезла; в общей суете кто-то ею завладел и на ней уехал. Базиль за своим провожатым должен был идти в Кремль пешком.

Улицами Солянкою и Варваркою, мимо Воспитательного дома и Зарядья они приблизились к Гостиному двору. То, что на пути увидел Базиль, поразило его и взволновало до глубины души.

Несмотря на близость к главной квартире неаполитанского короля, путники уже в Солянке встретили несколько кучек беспорядочно шлявшихся, расстегнутых и, по-видимому, хмельных солдат. Некоторые из них несли под мышками и на плечах узлы и ящики с награбленными в домах и в лавках вещами и товарами. В раскрытую дверь церкви Вар-

вары Великомученицы Базиль увидел несколько лошадей, стоявших под попонами среди храма и в алтаре. На церковных дверях углем, большими буквами, было написано: «Ecurie du general Guilleminot» («Конюшня генерала Гильемино»).

Погода изменилась. Небо покрылось мрачными облаками. Дул резкий северный ветер. На площади Варварских ворот горел костер из мебели, выброшенной из соседних домов; пылали стулья, ободранные мягкие диваны, позолоченные рамы и лаковые столы. Искры от костра несло на ветхие кровли близстоявших домов. На это никто не обращал внимания. Перовский оглянулся к Новым рядам. Там поднимался густой столб дыма. Горела Вшивая горка, где находился только что им оставленный баташовский дом.

«Неужели дворецкий поджег? — подумал Базиль, приближаясь к Гостиному двору. — Чего доброго, старик решительный!.. Верю, жгут русские!»

Лавки Гостиного двора были покрыты густыми клубами дыма. Из догоравших рядов французские солдаты разного оружия, оборванные и грязные, таскали, роняя по дороге и отнимая друг у друга, ящики с чаем, изюмом и орехами, кули с яблоками, бочонки с сахаром, медом и вином и связки ситцев, сукон и холстов.

У Зарядья толпа пьяных мародеров окружила двух русских пленных. Один из них, молодой, был в модном штатском голубом рединготе и в серой шляпе; другой, пожилой, худой и высокий — в чужом, очевидно, кафтане и высоких сапогах. Грабители сняли уже с молодого сапоги, носки, редингот и шляпу, и тот в испуге, бледный, как мел, растерянно оглядываясь, стоял босиком на мостовой. Солдаты держали за руки второго, пожилого, и со смехом усаживали его на какой-то ящик с целью снять сапоги и с него.

«Боже мой! Жерамб и его тогдашний компаньон! — с удивлением подумал, узнавая их, Базиль. — Какой прием, и от кого же? От победителей-земляков!»

Жерамб также узнал Перовского и жалобно смотрел на него, полагая, что Базиль прислан в Москву парламентером, и не решаясь просить его о защите.

— Какое безобразие! — громко сказал Базиль с негодованием, указывая проводнику на эту сцену. — Неужели вы их не остановите? Ведь это насилие над мирными гражданами, дневной грабеж... Притом этот, в кафтане — я его знаю — ваш соотечественник, француз.

— А... ба, француз! Но он — здешний житель, не все ли равно? — ответил, покачиваясь и отъезжая от солдат, проводник. — Чего же вы хотите? Ну, их допросят; не виноваты — освободят; маленькие неприятности каждой войны, вот и все... Вы нас, гостей, безжалостно обрекли на одиночество и скуку; не только ушли ваши граждане, но и гражданки... Это бесчеловечно! Où sont vos charmantes barrines et vos demoiselles? (Где ваши очаровательные барыни и девицы?)

Базиль пристальнее взглянул на своего проводника: тот был пьян. Раздался грохот барабанов. Ветер навстречу путников понес тучи пыли, из которой слышался топот и скрип большого обоза. Мимо церкви Василия Блаженного, через Спасские ворота, на подкрепление караула в Кремль входил, с артиллерией, полк конной гвардии. В тылу полкового обоза с вещами начальства везли несколько новеньких, еще с свежим, не потертым лаком колясок, карет и бричек, очевидно, только что взятых из лавок расхищенного Каретного ряда. На их козлах, в ботфортах и медных касках, сидели, правя лошадьми, загорелые и запыленные кавалерийские солдаты. Из небольшой крытой коляски, посмеиваясь и грызя орехи, выглядывали веселые, разряженные пленницы из подмосковного захолустья.

— Что же вы жалуетесь? — сказал Базиль проводнику. — Вот вам, новым римлянам, и пленные сабинянки.

— Не нам, другим! — с жалобным вздохом ответил проводник, указывая на Кремль. — Наш император провел ночь во дворце царей. Ах, какое величие! Он ночью вышел

на балкон, любуясь при луне этим сказочным царством из тысячи одной ночи. Утром он сообщил королю, что хочет заказать трагедию «Петр Великий». Не правда ли, какое совпадение? Тот шел учиться за вас на Запад, этот сам идет с Запада вас учить и обновлять.

Задержанные обозом, Перовский и его провожатый спустились мимо церкви Василия Блаженного к покрытой дымом реке и проникли в Кремль через открытые Тайницкие ворота. Здесь, под горой, Базиль увидел ряд наскоро устроенных пылавших горнов и печей. Особые пристава бросали в печные котлы взятые из кремлевских соборов и окрестных церквей золотые и серебряные сосуды, оклады с образов, кресты и другие вещи, перетапливая их в слитки.

— Нас зовут варварами, — сказал Перовский, указав проводнику на это святотатство, — неужели вас не возмущает и это?

— Послушайте, — ответил проводник, — советую вам воздерживаться от критики... она здесь неуместна! Мы думаем о войне, а не о церковных делах. У нас, — усмехнулся он, — знаете ли вы это, на полмиллиона войска, которое сюда пришло и теперь господствует здесь, нет ни одного духовника... Лучше вы мне, мой милый, — прибавил проводник, — ответьте наконец: Où sont vos barrines et vos demoiselles?.. Да, вот мы и у дворца; пожалуйте к лестнице.

При входе во дворец, у Красного крыльца, стояли в белых шинелях два конных часовых. Почетный караул из гренадер старой гвардии располагался на паперти и внутри Архангельского собора, за углом которого на костре кипел котел, очевидно, с солдатской пищей. Проводник, узнав в начальнике караула своего знакомого, сдал ему на время Перовского, а сам поднялся во дворец. Караульный офицер приказал пленному войти в собор. Здесь товарищи офицера осыпали его вопросами, посмеиваясь на его уверение, будто он не пленный.

В Архангельском соборе Базиль увидел полное расхищение церковного имущества. Кроме кордегардии здесь, по-ви-

димому, был также устроен склад для караульной провизии, мясная лавка и даже кухня. Снятые со стен и положенные на ящики с мукой и крупой иконы служили стульями и скамьями для солдат. В алтаре, у горнего места виднелась койка, прилаженная на снятых боковых дверях; на ее постели, прикрытой лиловой шелковой ризой, сидела, чистя морковь, краснощекая и нарядная полковая стряпуха. Престол и жертвенник были уставлены кухонной посудой. На паникадиле висели битые гуси и дичина. На гвоздях, вколоченных в опустошенный иконостас, были развешаны и прикрыты пеленой с престола куски свежей говядины.

Солдаты, у перевернутых ведер и кадок, куря трубки, играли в карты. Воздух от табачного дыма и от испарений мяса и овощей был удушливый. Офицеры, окружив Перовского, спрашивали:

— Где теперь русская армия? Где Кутузов, Ростопчин?

Жаловались, что ушли все русские мастеровые, что нет ни портного, ни сапожника — починить оборванное платье и обувь; что и за деньги, пожалуй, вскоре ничего не достанешь, а тут и самый город с утра загорелся со всех сторон. Базиль отвечал, что более, чем они, терпят, по их вине, и русские. Проводник возвратился. Базиль пошел за ним во дворец к Бертье.

XXI

Пройдя несколько приемных, наполненных императорскою свитою и пажами, в расшитых золотом мундирах и напудренных париках, Перовский очутился в какой-то проходной комнате окнами на Москву-реку. Из маленькой полуотворенной двери направо слышались голоса. Большая раззолоченная дверь налево была затворена. Близ нее стояли два рослых мамелюка в белых тюрбанах с перьями и в красных куртках и маленький напудренный, в мундирном фраке и чулках дежурный паж с записною книгою под мышкой.

Мамелюки и паж не спускали глаз с запертой двери. Базиль стал поодаль. Он взглянул в окно. Его сердце замерло. Картина пылающего Замоскворечья развернулась теперь перед ним во всем ужасе. То было море сплошного огня и дыма, над которым лишь кое-где виднелись нетронутые пожаром кровли домов и церквей. Недалекий пожар освещал красным блеском комнату и всех стоявших в ней. Базиль, глядя за реку, вспомнил вечернее зарево над Москвой во время его прогулки с Авророй на Поклонную гору.

«Точно напророчилось тогда!» — подумал он со вздохом.

— Что, любуетесь плодами ваших рук? — раздался за спиной Базиля резкий голос.

Он оглянулся. Перед ним, как он понял, в красноватом отблеске стоял, окруженный адъютантами, начальник главного штаба французской армии Бертье. Это был худощавый, узкогрудый, с острым носом и, очевидно, больной простудой старик. Его горло было обмотано шарфом, щеки покрывал лихорадочный румянец, глаза сердито сверкали.

— Дело возмутительное, во всех отношениях преступное, — сказал Бертье, — вы... ваши за это поплатятся.

— Не понимаю, генерал, ваших слов, — вежливо отвечал Базиль, — почему вы укоряете русских?

— О, слышите ли, еще оправдания?! Ваши соотечественники, как разбойники, жгут оставленный прекрасный город, жгут нас, — раздражительно кашляя, продолжал Бертье, — и вас не обвинять? Мы узнáем; назначена комиссия о поджигательстве; откроется все...

— Извините, генерал, — произнес Базиль, — я задержан во время перемирия. Пожары начались после того, и я не могу объяснить их причины. Настоятельно прошу вас дать приказ об отпуске меня к нашей армии. В этом мне поручился словом, честным словом французского офицера, генерал Себастьяни.

— Не могу, не в моей воле, — кашляя и сердясь на свой кашель, ответил Бертье. — Мне доложено, вы провели двое суток среди французских войск; вас содержали не с

достаточною осторожностью, и вы могли видеть и узнать то, чего вам не следовало видеть и узнать.

— Меня, во время перемирия, задержали французские аванпосты не по моей вине. Спросите тех, кто это сделал. Повторяю вам, генерал, и позволяю себе протестовать: это насилие, я не пленный... Неужели чувство справедливости и чести... слово генерала вашей армии?..

— Честь, справедливость! — с презрительной злобой вскрикнул Бертье, указывая в окно. — Чем русские искупят этот вандализм? Все, что могу для вас сделать — это передать вашу просьбу императору. Подождите... Он занят. Может быть, лично выслушает вас, хотя теперь трудно поручиться...

В это мгновение внизу у дворца послышался шум. Раздались крики:

— Огонь, горим!

Все торопливо бросились к окнам, но отсюда не было видно, где загорелось. Поднялась суета. Бертье разослал ординарцев узнать причину тревоги, а сам, отдавая приказания, направился к двери, охраняемой мамелюками.

Дверь неожиданно отворилась. На ее пороге показался невысокий плотный человек лет сорока двух-трех. Он, как и прочие, также осветился отблеском пожара. Все, кто был в приемной, перед ним с поклоном расступились и замерли, как истуканы. Он никому не поклонился и ни на кого не смотрел.

Верхняя часть туловища этого человека, как показалось Перовскому, была длиннее его ног, затянутых в белую лосину и обутых в высокие с кисточками сапоги. Редкие каштановые, припомаженные и тщательно причесанные волосы короткими космами спускались на его серо-голубые глаза и недовольное бледное, с желтым оттенком полное лицо. Короткий подбородок этого толстяка переходил в круглый кадык, плотно охваченный белым шейным платком. Ни на камзоле, ни на серо-песочном длинном сюртуке, распахнутом на груди, не было никаких отличий. В одной его руке была

бумага, в другой — золотая табакерка. Страдая около недели, как и Бертье, простудой, он, в облегчение неприятного насморка, изредка окунал в табакерку покрасневший нос и чихал.

Перовский сразу узнал Наполеона. Кровь бросилась ему в голову. В его глазах потемнело.

«Так вот он, герой Маренго и пирамид! — думал он, под наитием далеких, опять всплывших впечатлений разглядывая Наполеона. — И действительно ли это он, мой былой всесильный кумир, мое божество? Он тогда скакал к редуту Раевского. Боже мой, теперь я в нескольких шагах от него... И неужели же есть что-либо общее в этом гении со всеми теми, кто его окружает и кто его именем делает здесь и везде столько злого и дурного? Нет, его ниспослало провидение, он выслушает меня, вмиг поймет и освободит...»

Перовский сделал шаг в направлении к Наполеону. Две сильные костлявые руки схватили его за локти.

— Коснитесь только его — я вас убью! (Si vous osez y touches, je vous tue!) — злобно прошептал сзади него голос мамелюка, сильно ухватившего его за руки за спиной прочей свиты.

Раздались резкие, громкие слова.

«То говорит он! — с восторженным трепетом помыслил Базиль. — Я наконец слышу речь великого человека...»

— Русские нас жгут, это доказано! Вы это передадите герцогу Экмюльскому! — произнес скороговоркою Наполеон, небрежно подавая пакет Бертье. — Утверждаю! Расстреливать десятками, сотнями!.. Но что здесь опять за тревога? — спросил он, осматриваясь, и при этом, как показалось Перовскому, взглянул и на него.

Базиль восторженно замер.

— Я послал узнать, — склонившись, заговорил в это время Бертье, — сегодня поймали и привели новых поджигателей; они, как и прочие, арестованы. Председатель комиссии, генерал Лоэр, надо надеяться, раскроет все... Да вот и посланный...

Наполеон, потянув носом из табакерки, устремил недовольный слезящийся взгляд на вошедшего ординарца.

— Никакой, ваше величество, опасности! — согнувшись перед императором, произнес посланный. — Загорелись от налетевшей искры дрова, но их разбросали и погасили. Все вокруг по-прежнему благополучно.

— Смотрителю дворца сказать, что он... дурак! — произнес Наполеон. — Все благополучно... какое счастье! (quelle chance!..) Скоро благодаря этим ротозеям нас подожгут и здесь. Удвоить, утроить премию за голову Ростопчина, а поджигателей — расстреливать без жалости, без суда!..

Сказав это, Наполеон грубо обернул спину к Бертье и ушел, хлопнув дверью. Базиль при этом еще более заметил некрасивую несоразмерность его длинной талии и коротких ног и крайне был изумлен холодным и злым выражением его глаз и насупленного желтого лица. Особенно же Базиля поразило то, что, сердясь и выругав дворцового смотрителя, Наполеон вдруг, как бы против воли, заторопясь, начал выговаривать слова с итальянским акцентом и явственно, вместо слова «chance», произнес «sance».

Плотная спина Наполеона в мешковатом сюртуке серо-песочного цвета давно исчезла за дверью, перед которою безмолвными истуканами продолжали стоять мамелюки и остальная свита, а Перовский все еще не мог прийти в себя от того, что видел и слышал; он неожиданно как бы упал с какой-то недосягаемой высоты.

«Выкуп за голову Ростопчина! Расстреливать сотнями! — мыслил Базиль. — Но чем же здесь виноват верный слуга своего государя? Так вот он каков, этот коронованный корсиканский солдат, прошедший сюда, через полсвета, с огнем и мечом! И он был моим идеалом, кумиром? О, как была права Аврора!.. Скорее к родному отряду... Боже, если б вырваться! Мы найдем средства с ним рассчитаться и ему отплатить».

— Следуйте за мною! — раздался голос ординарца Бертье.

Приемная наполовину опустела. Оставшиеся из свиты сурово и враждебно смотрели на русского пленного.

— Куда? — спросил Перовский

— Вам велено подождать вне дворца, пока о вас доложат императору, — ответил ординарец.

Базиль вышел на площадку парадного дворцового крыльца. Внизу, у ступеней, стоял под стражей приведенный полицейский пристав. Караульный офицер делал ему допрос.

— Зачем вы остались в Москве? — спросил он арестанта. — Почему не ушли с прочими полицейскими чинами? Кто и по чьему приказанию поджигает Москву?

Бледный, дрожащий от страха пристав, не понимая ни слова по-французски, растерянно глядел на допросчика, молча переступая с ноги на ногу.

— Наконец-то мы, кажется, поймали главу поджигателей! — радостно обратился офицер к ординарцу маршала. — Он, очевидно, знает все и здесь остался, чтобы руководить другими.

Перовский не стерпел и вмешался в этот разговор. Спросив арестанта, он передал офицеру, что пристав неповинен в том, в чем его винят, что он не выехал из Москвы лишь потому, что, отправляя казенные тяжести, сам долго не мог достать подводы для себя и для своей больной жены и был застигнут ночным дозором у заставы.

— Посмотрим. Это разберет комиссия! — строго сказал офицер. — Запереть его в подвал, где и прочие.

XXII

Солдаты, схватив пристава за руки, повели его к спуску в подвал. Они скрылись под площадкой крыльца.

— Могу вас уверить, — произнес Перовский офицеру, — чины полиции здесь ни в чем не виновны; этот же притом семейный человек...

— Не наше дело! — ответил офицер. — Мы исполнители велений свыше.

— Но что же ожидает заключенных в этом подвале? — спросил Базиль.

— Простая история, — ответил офицер, собираясь уходить, — их повесят, а может быть, смилуются и расстреляют.

Ординарец остановил офицера и сказал ему вполголоса несколько слов. Тот, оглянувшись на Перовского, указал на ближнюю церковь Спаса на Бору. Ординарец предложил Базилю следовать за собой. Они, миновав дворец, подошли к дверям указанного храма. С церковного крыльца опять стали видны зарево и дым пылавшего Замоскворечья.

— Зачем мы сюда пришли? — спросил Базиль.

Проводник молча отодвинул засов и отворил дверь.

— Вас не позволено оставлять на свободе! — произнес он, предлагая Перовскому войти в церковь. — Подождите здесь; император, вероятно, вскоре вас потребует... Он теперь завтракает.

— Но зачем я императору?

— Он, может быть, через вас найдет нужным что-либо сообщить вашему начальству... Мы застали здесь тысячи ваших раненых... Докторов так мало, притом эти пожары... Впрочем, я излагаю мое личное мнение... До свидания!

Железная дверь, медленно повернувшись, затворилась. Звякнул надвинутый тяжелый засов. Перовский, оставшись один, упал в отчаянии на пол. Теперь ему стало ясно: его решили не выпускать. Последние надежды улетели. Оставалось утешаться хоть тем, что его не заперли в подвал с подозреваемыми в поджоге. Но что ждало его самого?

Прошел час, другой, к пленному никто не являлся. О нем, очевидно, забыли. Пережитые тревоги истомили его невыразимо. Не ев и не пив со вчерашнего утра, он почувствовал приступы голода и жажды. Но это длилось недолго. Мучительные опасения за свободу, за жизнь овладели его мыслями.

«Что, если в этой суете и впрямь обо мне забыли? — думал он. — Пьяный ординарец Мюрата, без сомнения, уехал, как и адъютант Себастьяни, а караульного офицера могут сменить. Кто вспомнит о том, что здесь, в этой церкви, заперт русский офицер? И долго ли мне суждено здесь томиться? Могут пройти целые дни!»

Предположения, одно мрачнее другого, терзали Базиля. Беспомощно приткнувшись головой к ступеням амвона, он лежал неподвижно. Сильная усталость и нравственные мучения привели его в беспамятство. Он очнулся уже вечером.

Зловещее зарево пожара светило в окна старинной церкви. Лики святых, лишенные окладов, казалось, с безмолвным состраданием смотрели на заключенного. Церковь была ограблена, остатки утвари в беспорядке разбросаны в разных местах. Сквозные тени оконных решеток падали на пол и на освещенные отблеском пожара стены, обращая церковь в подобие огромной железной клетки, под которою как бы пылал костер.

«Боже, и за что такая пытка? — думал Перовский. — За что гибнут мои молодые силы, надежды на счастье?»

Мысли об иной, недавней жизни проносились в его голове. Он мучительно вспоминал о своем сватовстве, представлял себе Аврору, прощание с нею и с Тропининым.

«Жив ли Митя? — спрашивал он себя. — И где, наконец, сама Аврора? Успела ли она уехать с бабкой? Что, если не успела? Может быть, они и попытались, как тот несчастный опоздавший пристав, и даже выехали, но и их, как и его, могли захватить на дороге. Что с ними теперь?»

Базиль представлял себе плен Авроры, ужас беспомощной старухи княгини, издевательства солдат над его невестой. Дрожь охватывала его и терзала. Мучимый голодом и жаждой, он искал на жертвеннике и на полу остатков просвир, подбирал и с жадностью ел их крошки.

Наступила новая мучительная, долгая ночь. Перовский закрывал глаза, стараясь забыться сном, и не мог заснуть.

Усилившийся ветер и оклики часовых поминутно будили его. Он в бреду поднимался, вскакивал, прислушивался и опять падал на холодный пол. Никто не подходил к церковной двери. На заре, едва забелело в окна, Перовский услышал сперва неясный, потом явственный шум. У церкви бегали; опять и еще громче раздавались крики:

— На помощь, воды!

Очевидно, опять вблизи где-либо загорелось. Не горит ли сама церковь?

Базиль бросился к оконной решетке. Окно выходило к дворцовым конюшням. Откуда-то клубился дым и сыпались искры. Из дворцовых ворот под падавшими искрами испуганные рейткнехты наскоро выводили лошадей, запрягали несколько выдвинутых экипажей и грузили походные фуры. Пробежал, оглядываясь куда-то вверх и путаясь в висевший у пояса палаш, пеший жандарм. Сновали адъютанты и пажи. Невдали был слышен барабан. Из-за угла явился и выстроился перед церковью отряд конной гвардии. Войско заслонило дворцовую площадь. Сквозь шум ветра послышался стук отъезжавших экипажей.

Впоследствии Базиль узнал, что загорелась крыша соседнего арсенала. Пожар был потушен саперами. Разбуженный новой тревогой, Наполеон пришел в окончательное бешенство. Он толкнул ногой в лицо мамелюка, подававшего ему лосиные штиблеты, позвал Бертье и с ругательствами объявил ему, что покидает Кремль. Через полчаса он переехал в подмосковный Петровский дворец.

Отряд гвардии ушел вслед за императором. Площадь опустела. Сильный ветер гудел на крышах, крутя по мостовой столбы пыли и клочки выброшенных из сената и дворцовых зданий бумаг. Из нависшей темной тучи изредка прорывались капли дождя. Перовский глядел и прислушивался. Никто к нему не шел.

— Боже, — проговорил он, в бессильном отчаянии ухватясь за решетку окна, — хоть бы смерть! Разом, скорее бы умереть, чем так медленно терзаться!

За церковью послышались сперва отдаленные, потом близкие шаги и голоса. Перовский кинулся к двери и замер в ожидании: к нему или идут мимо? Шаги явственно раздались у входа в церковь. Послышался звук отодвигаемого засова. Кто-то неумелой рукой долго нажимал скобу замка. Дверь отворилась. На крыльце стояла кучка гренадеров с рослым фельдфебелем. Внизу крыльца двое солдат держали на палке котелок с дымившейся похлебкой.

— Ба, да уж эта квартира занята! — весело сказал фельдфебель, с изумлением разглядев в церкви пленного. — А мы думали здесь позавтракать и уснуть... Капитан, — обратился он к кому-то проходившему внизу, за церковью, — здесь заперт русский, что с ним делать?

Поравнявшийся с крыльцом высокий и худой с светлыми вьющимися волосами капитан мельком взглянул на пленного и отвернулся. Он, очевидно, также не спал, и ему было не до того. Его глаза были красны и слипались.

— Ему здесь с нами, полагаю, нельзя, — продолжал фельдфебель, — куда прикажете?

— Туда же, в подвал, — отходя далее, небрежно проговорил капитан.

Перовский обмер. Он опрометью бросился к двери, силой растолкал солдат и выбежал на крыльцо.

— С кем вы приказываете меня запереть, с кем? — в ужасе крикнул он, подступая к капитану. — Это безбожно! Я знаю, в чем обвиняют этих заключенных и что их ждет!

Озадаченный капитан остановился.

— Меня задержали под городом во время перемирия, — продолжал кричать Базиль, — в суете забыли обо мне! Я не пленный; вы видите, мне оставлено оружие, — прибавил он, указывая на свою шпагу, — а вы...

— Простите великодушно, — ответил капитан, как бы очнувшись от безобразного, тяжелого сна, — я ошибся...

— Но эта ошибка мне стоила бы жизни.

— О, это было бы большим несчастьем! — произнес капитан, с чувством пожимая руку Перовского. — Я сейчас пойду и узнаю, куда велят вас поместить.

Через полчаса капитан возвратился.

— Вас велено отвести к герцогу Экмюльскому, — сказал он, — вы дойдете туда благополучно, и вам будет оказано всякое внимание. Вот ваш охранитель.

Он указал на приведенного им конного жандарма.

«Этого еще недоставало! — подумал Перовский. — Четвертый арест — и куда же? — к свирепому маршалу Даву».

XXIII

Квартира грозного герцога Экмюльского, маршала Даву, была на Девичьем поле, у монастыря, в доме фабриканта, купца Милюкова. Идя за жандармом по обгорелым и во многих местах еще сильно пылавшим улицам, Перовский не узнал Москвы. Они шли Волхонкой и Пречистенкой.

Грабеж продолжался в безобразных размерах. Солдаты сквозь дым и пламя тащили на себе ящики с винами и разной бакалеей, церковную утварь и тюки с красными товарами. У ворот и входов немногих еще не загоревшихся домов толпились испачканные пеплом и сажей, голодные и оборванные чины разных оружий, вырывая друг у друга награбленные вещи. На площадях в то же время, вследствие наступившего сильного холода, горели костры из выломанных оконных рам, дверей и разного хлама. Здесь толпился всякий сброд. У церкви Троицы в Зубове жандарм-проводник, встретив знакомого артиллериста-солдата, остановился, спрашивая его о дальнейшем пути к квартире Даву.

Внутри церкви, служившей помещением для командира расположенной здесь батареи, виднелась красивая гнедая лошадь, прикрытая священнической ризой. Она ела из жестяной церковной купели овес, умными глазами бодро

посматривая на крыльцо. Ответив на вопрос жандарма, солдат-артиллерист потрепал лошадь по спине и, добродушно чмокая губами, сказал:

— Каков конь! Не правда ли, не животное — человек? Сметлив, даже хитер, все понимает. И хорошо ему тут, тепло, овса вдоволь... Он взят у одного графа. В Париже дадут за него тысячи.

На Зубовской площади, невдали от сгоревшего каменного дома, на котором еще виднелась уцелевшая от огня, давно знакомая Перовскому вывеска: «Гремислав, портной из Парижа», у обугленной каменной колокольни стояла толпа полковых маркитантов и поваров. Внутри этой колокольни была устроена бойня скота, и усатый рослый гренадер в лиловой камилавке и в дьяконском стихаре окровавленными руками весело раздавал по очереди куски нарубленного свежего мяса. Вдруг толпа бросилась в соседний переулок, откуда выезжали две захваченные под городом телеги. На телегах, под конвоем солдат, сидели плачущие молодые женщины в крестьянских одеждах, окутанные платками. Все с жадным любопытством смотрели на необыкновенную добычу.

— Что это? Откуда? — спросил, улыбаясь, гренадер конвойного фельдфебеля.

— Переодетые балетчицы. Их поймали в лесу. Вот и готовый театр.

Распознавая направление сплошь выжженных улиц по торчавшим печам, трубам и церквам, пленник и его проводник около полудня дошли наконец до Девичьего поля.

Каменный одноярусный дом фабриканта Милюкова был уже несколько дней занят под штаб-квартиру маршала Даву. Этот дом стоял у берега Москвы-реки, вправо от Девичьего монастыря. Опираясь в большой, еще покрытый листьями сад, он занимал левую сторону обширного двора, застроенного рабочим корпусом, жилыми флигелями и сараями милюковской ситцевой фабрики. Хозяин фабрики бежал с рабочими и мастерами за день до вступления французов в Москву. У ворот фабрики стоял караул. На площади был

раскинут лагерь, помещались пороховые ящики, несколько пушек и лошадей у коновязей, а среди двора — служившая маршалу в дороге большая темно-зеленая четырехместная карета.

Перовского ввели в приемную каменного дома, где толпились ординарцы и штабные маршала. Дежурный адъютант прошел в кабинет Даву. Выйдя оттуда, он взял у Перовского шпагу и предложил ему войти к маршалу.

Кабинет Даву был окнами на главную аллею сада, в конце которой виднелся залив Москвы-реки. Среднее окно, у которого стоял рабочий стол маршала, было растворено. Свежий воздух свободно проникал из сада в комнату, осыпая бумаги на столе листьями, изредка падавшими сюда с пожелтелых лип и кленов, росших у окна.

При входе пленника Даву, спиной к двери, продолжал молча писать у окна. Он не обернулся и в то время, когда Базиль, пройдя несколько шагов от порога, остановился среди комнаты.

«Неужели это именно тот грозный и самый жестокий из всех маршалов Бонапарта?» — подумал Перовский, разглядывая сгорбленную, в полинялом синем мундире спину и совершенно лысую, глянцевитую голову сидевшего перед ним тощего и на вид хилого старика.

Перо у окна продолжало скрипеть. Даву молчал. Прошло еще несколько мгновений.

— Кто здесь? — раздался от окна странный, несколько глуховатый голос.

Перовскому показалось, будто бы кто-то совершенно посторонний заглянул в эту минуту из сада в окно и под шелест деревьев сделал этот вопрос. Перовский молчал. Раздалось недовольное ворчание.

— Кто вы? — повторил более грубо тот же голос. — Вас спрашивают, что же вы, как чурбан, молчите?

— Русский офицер, — ответил Базиль.

— Парламентер?

— Нет.

— Так пленный?

— Нет.

Даву обернулся к вошедшему.

— Кто же вы наконец? — спросил он, уже совсем сердито глядя на Перовского.

Базиль спокойно и с достоинством рассказал все по порядку: как он во время перемирия был послан генералом Милорадовичем на аванпосты и как и при каких обстоятельствах его задержали сперва Себастьяни и Мюрат, потом Бертье и вопреки данному слову и обычаям войны доныне ему не возвращают свободы.

— Перемирие! — проворчал Даву. — Да что вы тут толкуете мне? Какое же это перемирие, если здесь, в уступленной нам Москве, по нас предательски стреляли? Вы — пленник, слышите ли, пленник, и останетесь здесь до тех пор... ну, пока нам это будет нужно!

— Извините, — произнес Перовский, — я не ответчик за других; здесь роковая ошибка.

— Пойте это другим! (Á dautres, á dautres!) — перебил его Даву. — Меня не проведете!

— Свобода мне обещана честным словом французского генерала...

Даву поднялся с кресел.

— Молчать! — запальчиво крикнул он, сжимая кулаки. — Дни ваши сочтены; да я вас, наконец, знаю, узнал...

Маршал, как бы внезапно о чем-то вспомнив, замолчал. Перовский с мучительным ожиданием вглядывался в его тонкие бледные губы, огромный лысый лоб и подозрительно следившие за ним из-под насупленных бровей маленькие и злые глаза.

— Да, я вас знаю! — повторил Даву, с усилием высвобождая морщинистые щеки из высокого и узкого воротника и садясь опять к столу. — Теперь не уйдете... Ваше имя?

Перовский назвал себя. Маршал нагнулся к лежавшему перед ним списку и внес в него сказанное ему имя.

— Простите, генерал, — сказал, стараясь быть покойным, Базиль, — вы совершенно ошибаетесь: я имею честь видеть вас впервые в жизни.

Глаза Даву шевельнулись и опять скрылись под насупленными бровями.

— Не проведете, не обманете! — объявил он. — Вы были взяты в плен под Смоленском, освобождены в этом городе на честное слово и, все разузнав у нас, бежали...

— Клянусь вам, — ответил Перовский, — я впервые задержан при входе вашей армии в Москву... Снеситесь с генералами Милорадовичем и Себастьяни.

Даву вскочил. Его лицо было искажено гневом.

— Бездельник, лжец! — бешено крикнул он, тряся кулаками. — Такому негодяю, черт бы вас побрал, говорю это прямо, исход один — повязка на глаза и полдюжины пуль!

Маршал позвонил.

— Вы позовете фельдфебеля и солдат! — обратился он к вошедшему ординарцу, откладывая на столе какую-то бумагу.

Ординарец не уходил.

— Но это будет вопиющее к небу насилие! — проговорил Перовский, видя с содроганием, как решительно и твердо герцог Экмюльский отдавал о нем роковой и, по-видимому, бесповоротный приказ. — Вы, простите, оскорбляете безоружного пленного и к этому присоединяете убийство без следствия, без суда... Ведь это, герцог, насилие...

— А, вам желается суда? — произнес Даву. — Берегитесь, суд будет короток. Вас отлично помнит мой старший адъютант, бравший вас в плен... О, вы его не собьете!

— Позовите вашего адъютанта, пусть он меня уличит! — сказал Перовский, с ужасом думая в то же время: «А что, если низкий клеврет этого палача все перезабыл и спутал в пережитой ими сумятице и вдруг, признав меня за того беглеца, скажет: да, это он! И как на него сетовать? Ему так может показаться...»

Глаза маршала странно улыбнулись, брови разгладились.

— Так вы хотите очной ставки? — спросил он, стараясь говорить ласковее. — Извольте, я вам ее дам... Но помните заранее, если мои слова подтвердятся, пощады не будет... Позвать Оливье! — сказал он ординарцу.

XXIV

Ординарец вышел. Даву стал разбирать и перекладывать лежавшие перед ним бумаги. Базиль, замирая от волнения, едва стоял на ногах.

«Броситься на него сзади, удушить тощего старика и выскочить в окно... — вдруг подумал он, — здесь положительно можно... садом добежать до реки, кинуться вплавь и уйти на противоположный берег, в огород и пустыри. Пока найдут адъютанта, явятся сюда, все увидят и начнут погоню — все можно успеть».

Руки Перовского судорожно сжимались; озноб охватывал его с головы до пят, зубы постукивали от нервной дрожи.

— Вам сколько лет? — спросил, не оглядываясь, Даву. Перовский вздрогнул.

— Двадцатый год, — отвечал он.

— Молоды... Москву знаете?

— Здесь учился в университете.

Даву обернулся и указал Перовскому на стене, возле стола, карту Москвы и ее окрестностей.

— Вот эти места подожжены русскими, — сказал он, тыкая сухим, крючковатым пальцем по карте, — горят сотни, тысячи домов... Вы, вероятно, также явились сюда поджигать?

Перовский молчал.

— Зачем вы нас поджигаете?

— Ваши солдаты, по неосторожности и хмельные, сами жгут.

— Вздор, клевета! А почему русские крестьяне, несмотря на щедрую плату, не подвозят припасов? — спросил Даву. — Столько вокруг сел — и не является ни один.

— Боятся насилий.

— Вздор. Какие насилия у цивилизованной армии? Говорят вам, мы щедро платим. Это все выдумки людей, подобных вам. Где Кутузов? Почему он так предательски, без полиции и пожарных инструментов, оставил такой обширный город? Где он?

— Я задержан вторые сутки и дальнейших распоряжений нашего главнокомандующего не знаю.

— Вы отъявленный лжец, — сказал, выпрямляясь в кресле, Даву, — вероломный партизан, дезертир!.. О, вы увидите, как мы наказываем людей, которые к измене присоединяют еще наглую, бесстыдную ложь.

Даву опять позвонил. Вошел ординарец.

— Что же Оливье?

— За ним пошли.

Даву подумал: «Что с ним возиться! Надоели!» — и против имени Перовского, занесенного им в список, написал резолюцию.

— Вот, — сказал он, подавая ординарцу со стола пачку бумаг, — это в главный штаб, а этого господина с этим списком отведите к Моллина.

«Моллина, Моллина! — повторял в уме Перовский, идя за ординарцем и не понимая, в чем дело. — Вероятно, председатель какого-нибудь трибунала».

Его привели на площадь, где был расположен лагерь пехоты, и сдали у крайней палатки толстому, с короткой шеей и красным лицом седому офицеру.

«Вот он, Моллина», — подумал Перовский, глядя в подслеповатые и сердитые глаза Моллина.

Офицер, выслушав то, что ему сказал герцогский ординарец, кивком головы отпустил последнего и, едва взглянув в поданный ему список, сдал арестанта караулу, стоявшему

невдали от палатки. На карауле зашевелились. От него отделилось несколько солдат с унтер-офицером.

— Следуйте за мною... Вы понимаете ли меня? — гневно крикнул унтер-офицер, толкнув растерявшегося, едва владевшего собой Перовского.

Три человека спокойно и безучастно пошли впереди него, три — позади. Унтер-офицер шел сбоку. Все спокойно поглядывали на Перовского, но он начинал наконец понимать, в чем дело.

Арестанта повели к огородам, бывшим у берега Москвы-реки, в нескольких стах шагов от лагеря. Здесь, на просторной сыроватой площадке между опустелых гряд капусты и бураков, виднелся столб и невдали от него несколько свежезасыпанных ям.

«Могилы расстрелянных! — пробежало в уме Базиля. — Да неужели же эти изверги... неужели конец?»

Он бессознательно шагал за солдатами, увязая в рыхлой земле. Его мучило безобразие и бессилие своего положения. Он видел над собою светлое осеннее небо, кругом — пустынные, тихие огороды, за ними — колокольню Девичьего монастыря, галок, с веселым карканьем перелетавших с этой колокольни в монастырский сад, и мучительно сознавал, что ни он, ни окружавшие его исполнители чужих велений ничего не могли сделать для его спасения. Ему вспомнилось Бородино, возглас доктора Миртова о свидании с ним через двадцать лет в клубе. Голова его кружилась. Тысячи мыслей неслись в уме Перовского с поражающей, мучительной быстротой.

Позади послышался крик. Шедшие оглянулись. От лагеря кто-то бежал, маша руками.

— Что еще? — проворчал, остановясь, унтер-офицер.

Прибежавший в куртке и в шапочке конскрипта молодой солдат, что-то наскоро объяснил ему.

— Отсрочка! — сказал унтер-офицер, обращаясь к Перовскому. — С нашим герцогом это бывает — видно, завтраком забыли предварительно угостить... До свидания!

Арестанта опять повели к маршалу.

Даву показался Перовскому еще мрачнее и грознее.

— Удивляетесь?.. Я приостановил разделку с вами, — сказал Даву, увидев Перовского, — требую от вас окончательно чистосердечного и полного раскаяния; указанием на своих сообщников вы облегчите наши затруднения и тем спасете себя.

— Мне каяться не в чем.

— А если вас уличат?

— Я уже просил вашу светлость о следствии и суде, — ответил Перовский.

Даву снова порывисто позвонил.

— Где же наконец Оливье? — спросил он вошедшего ординарца. — Дождусь ли я его?

— Он здесь, только что возвратился от герцога Виченцкого.

— Позвать его!

Дверь сзади Перовского затворилась и снова отворилась.

— А, подойдите сюда поближе! — сказал кому-то маршал. — Станьте вот здесь и уличите этого господина.

Перовский увидел смуглого востроносого человека с черным хохолком, франтовски причесанным на лбу, в узком поношенном мундире и в совершенно истоптанных суконных ботинках. Его маленькое обветренное лицо выражало безмерную почтительность к грозному начальству. Черные глаза смотрели внимательно и строго.

«Пропал!» — подумал, взглянув на него, Базиль.

— Ну, Оливье, — обратился Даву к адъютанту, — приглядитесь получше к этому человеку и скажите мне — вы как никто должны хорошо все помнить — не этот ли именно господин был нами взят в плен под Смоленском? Подумайте хорошенько... Что скажете? Не он ли провел там у нас в городе, на свободе, целые сутки и ночью, все разузнав и, несмотря на данное слово, изменнически бежал? Вы должны это в точности помнить.

Ваша память — записная книжка... Их, как помните, бежало двое: одного мы вскоре поймали и тогда же на пути расстреляли, а другой скрылся... Не этот ли дезертир теперь стоит перед вами?

«О, приговор мой подписан! — в ужасе, замирая, подумал Базиль. — Этот раболепный офицеришка непременно поддакнет своему начальнику. Иначе не может и быть! Боже, хоть бы мое лицо исказилось судорогой, покрылось язвами проказы, если во мне действительно есть хоть малейшее роковое сходство с тем беглецом».

— Ну, глядите же, Оливье, внимательно, — подсказал Даву адъютанту, — я вас слушаю.

Адъютант, переминаясь остатками ботинок, едва державшихся на его ногах, неслышно подошел ближе к пленнику и пристально взглянул на него.

— Да, помню, — негромко ответил он, — обстоятельство, о котором вы говорите, ваша светлость, действительно было...

— Вы, Оливье, глупец или выпили лишнее! — не стерпев, раздражительно крикнул Даву. — Вас спрашивают не о том, был ли такой случай, или его не было; это я знаю лучше вас. Отвечайте, приказываю вам, на другой вопрос: этот ли именно господин бежал у нас из плена в ту ночь, когда мы заняли Смоленск? Поняли?

Перовский видел, как за секунду угодливые и, по-видимому, совершенно покойные глаза адъютанта вдруг померкли, точно куда-то пропали. Адъютант тронул себя за хохолок, прижал руку к груди и вполголоса, побелевшими губами, произнес что-то, казалось, полное неожиданности и ужаса. Базиль в точности не слышал всех его слов, хотя они ударами колокола звонко отдавались в его ушах. Он явственно только сознавал, как в наступившей затем странной тишине вдруг жалостно и громко забилось его сердце, и он помертвел. От него что-то уходило, что-то с ним навеки прощалось, и ему болезненно, от души было чего-то жаль. И то, о чем он так жалел, была его

молодая жизнь, которую у него брали с таким суровым, безжалостным хладнокровием.

«Где же истина, где Божеская справедливость?» — думал Перовский.

— Я вас не слышу, ближе! — крикнул Даву адъютанту. — Говорите громче и толковее.

— Этот господин, ваша светлость... — произнес Оливье, — я хорошо и отчетливо все помню...

Перовский, держась за спинку близнаходившегося стула, едва стоял на ногах, усиливаясь слушать и понять, что именно произносили бледные и, как ему казалось, беззвучные губы адъютанта.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БЕГСТВО ФРАНЦУЗОВ

И прииде на тя пагуба, и не увеси.

Исаия Истия

XXV

Через два дня после проводов жениной бабки и Авроры Илья Борисович Тропинин, надев плащ и шляпу, отправился в сенат, где, по слухам, была получена какая-то бумага из Петербурга. Он хотел проведать, последовало ли наконец разрешение сенатским, а равно и театральным чиновникам также оставить Москву. В то утро он узнал от бывшего астраханского губернатора Повалишина, что их общий знакомый, старик-купец, миллионер Иван Семенович Живов, убедившись в приближении французов, запер в Гостином дворе свой склад и, перекрестясь, сказал приказчику:

— Еду; чуть они покажутся — слышишь, чтоб ничего им не досталось; зажигай лавку, дом и все!

Едва Илья въехал в Кремль и вошел в сенат, началось вступление французов в Москву, был ими произведен известный выстрел картечью в Боровицкие ворота, и французы заняли Кремль.

Тропинин бросился было обратно в Спасские ворота. Он полагал спуститься к Москворецкому мосту и уйти с толпою, бежавшею по Замоскворечью.

— Скорее, скорее! — торопил он извозчика. У Лобного места его окружила и остановила куча французских солдат, с криками уже грабившая Гостиный двор. Посадив на тротуар этого длинного близорукого и смешного, в синем плаще человека, французы со смехом прежде всего стащили с его ног сапоги. Потом, весело заглядывая ему в лицо и как бы спрашивая: «Что? Удивлен?», они сняли с него плащ и шляпу. Огромного роста, в рыжих бакенах и веснушках унтер-офицер, скаля белые, смеющиеся зубы, спокойно отстегнул с камзола Ильи золотую цепочку с часами и принялся было за обручальное кольцо на его пальце. Обеспамятевший Илья очнулся. Он бешено, с силой оттолкнул грабителя и, задыхаясь с пеной у рта, крикнул несколько отборных французских ругательств.

— Каково! Он говорит, как истый француз! (Tiens, il parle comme un vrai français!) — удивился унтер-офицер.

Илью окружили и ввели под аркады Гостиного двора, так как в близком соседстве уже прорывалось пламя пожара над москательными лавками. Пленнику предлагали множество вопросов о том, где в Москве лучшие магазины и погреба, как пройти к лавкам золотых и серебряных изделий, к складам вин и к лучшим модным трактирам. Пользуясь суетой, Илья в одном из темных проходов Гостиного двора бросился в сторону, выбежал к Варварке и скрылся в подвале какого-то опустелого барского дома. Когда стемнело, он переулками добрался до Тверского бульвара, отыскал знакомый ему сад богача Асташевского и здесь, в дальней беседке, решился провести ночь. Забившись в угол беседки, он от усталости почти мгновенно заснул. Его разбудил дым, валивший клубами через деревья из загоревшегося смежного двора. Не сознавая, где он и что с ним, и задыхаясь от дыма, он выскочил из беседки.

Начиналось утро. С разных сторон поднимались густые облака дыма с пламенем. Горели соседние Тверская, Никитская и Арбат. Тропинин, вспомнив приказ Живова о сожжении его собственного дома, оглядывался в ужасе. Его томил

голод, разутые ноги окоченели от холода. Куда идти? Дом жениной бабки, где, как он знал, вчера на руках дворника осталось еще немало невывезенных припасов, был невдали. Илья, перелезая с забора через забор, вышел на Бронную. Отсюда было уже близко до Патриарших прудов. Полуодетый, без шляпы и в одних испачканных носках, он быстро шагая длинными ногами, скоро миновал смежные, теперь почти пустые переулки. Уже виднелась знакомая крыша дома княгини Шелешпанской.

Тропинину преградила дорогу кучка солдат, несшая какие-то кули и тюки. Сопровождавший их офицер остановил Илью и приказал ему взять на плечи ношу одного из солдат, которого тут же куда-то услал. Ноша была в несколько пудов. Тропинин молча покорился такому насилию, соображая, что этому будет же вскоре конец. Он донес куль до Кремля. Оттуда его отправили с другими солдатами за сеном, а вечером, дав ему поесть, объявили, что он будет при конюшне главного штаба. В течение пяти дней Илья чистил, кормил и поил порученных ему лошадей, выгребал навоз из конюшни и рубил для офицерской кухни дрова. Посланный с товарищем в депо за овсом, он нагрузил подводу, заметил на обратном пути, что пригнездившийся на подводе усталый товарищ уснул, дал лошади идти, а сам без оглядки бросился в смежный переулок. Место его второго побега было близ Садовой. Он издали узнал церковь Ермолая и, опасаясь погони, бросился в ту сторону.

Мимо дымившихся и пылавших улиц Тропинин снова достиг Патриарших прудов и теперь их не узнал. Сколько он ни отыскивал глазами зеленой крыши и бельведера на доме княгини, он их не видел. Все окрестные деревянные и каменные дома сгорели или догорали. Улицы и переулки вокруг занесенных пеплом и головнями прудов представляли одну сплошную, покрытую дымом площадь, на которой среди тлевших развалин лишь кое-где еще торчали не упавшие печные трубы и другие части догоравших зданий. Илья с ужасом убедился, что дом княгини Шелешпанской также сгорел.

«Боже! Неужели это не во сне?» — думал он, оглядываясь. Слезы катились из его глаз.

Беспомощно переходя от раскаленных пепелищ к пепелищам, Тропинин близорукими, подслеповатыми глазами усиливался отыскать след этого дома и не находил. Долго неуклюжей длинной тенью он бродил здесь, прислушиваясь к падению кровель и стен и едва дыша от дыма и пепла. В одном месте, у церкви Спиридония, его охватило нахлынувшим пламенем. Он бросился к какому-то каменному забору и перелез через него. Соскакивая в соседний сад, он сильно ушиб себе ногу и сперва не обратил на это внимания. Нога, однако, разболелась.

«Что же я теперь, если охромею, буду делать?» — думал Илья, бродя по саду и разминая ногу.

Вдруг он услышал, что его назвали по имени. Тропинин вздрогнул. Между лип полуобгорелого сада он увидел седую голову, глядевшую на него из травы, а подойдя ближе, узнал бледное, в пегих пятнах лицо княгинина дворника Карпа. Тот выглядывал из ямы.

— Ты как здесь?

— Третьи сутки спасаюсь.

— Чье это место?

— Неужто не узнаете? Наше...

Двор был в развалинах, деревья обгорели. Карп помог измученному голодом и ходьбой Илье спуститься в яму, вырытую им в саду, принес из пруда воды, дал ему умыться, накормил его какими-то лепешками и уложил отдохнуть.

— Все погорело, как видите, дом, людские и кладовая, — объявил, всхлипывая Карп, — и те злодеи до пожара все разграбили, не помогла и стенка, дорылись и до ямы; телешовский Прошка спьяну навел сюда и указал; а вы-то, вы... Господи!

Карп ушел из подвала и под полой откуда-то притащил старенький калмыцкий тулуп, мужичьи сапоги и такую же баранью шапку.

— Оденьтесь, батюшка Илья Борисыч, — сказал он, — здесь, в западне, сыро. Как вас нехристи-то обидели!.. В нашем холопском наряде они вас тут хоть и увидят, скорее не тронут. А что же это и нога у вас болит?

Тропинин сообщил о своем ушибе.

— Перебудьте, сударь, здесь; авось наша-то армия вернется и выгонит злодеев. На ночь мы прикроем подвал досками; я на них и землицы присыплю. Наказал нас Господь... конец свету!

Илья оделся в принесенный тулуп и шапку, свернулся на соломе, в углу подвала, и под причитания Карпа заснул. Утром следующего дня Карп объявил ему, что накануне приходили какие-то солдаты, шныряли тут, перевертывая тлевшие бревна, и тесаками чего-то все искали, а в сад и к пруду все еще не подходили.

Илья не покидал подвала двое суток. Он оттуда, сквозь обгорелые деревья, видел, как пожар в ближних дворах мало-помалу угасал. Изредка за соседними заборами показывались неприятельские отряды, слышались французские и немецкие оклики. Дозорные команды, преследуя чужих и своих поджигателей и грабителей, захватывали подозрительных прохожих. В одну из ночей в ближнем закоулке произошла даже вооруженная стычка. Тропинин из подвала явственно слышал, как начальник дозора командовал солдатам:

— En avant, mes enfants! Ferme feu de peloton visez bien! (Вперед, ребята, пали! Цельтесь лучше!)

Раздался залп преследующих; из-за печей и труб затрещали ответные выстрелы. Несколько вооруженных солдат, ругаясь по-немецки и роняя по пути добычу, перелезли через забор и пробежали в пяти шагах от ямы, где скрывался Илья. Слышались возгласы:

— Du lieber Gott! Schwernots Kerl von Bonapart![1]

---

[1] Боже милостивый! Проклятый парень Бонапарт! (*нем.*).

Карп подобрал несколько хлебов, липовку с медом и узел с женскими нарядами. Хлеб и мед были очень кстати, так как съестные припасы в подвале подходили уже к концу.

Через неделю Карп объявил, что все припасы вышли и что он решился пойти к церкви Ермолая проведать, не уцелело ли там, в церковном дворе, чего съестного и что делается в других местах Москвы. Он возвратился измученный, недовольный.

— Враг-то... выбрал начальство над городом из наших же! — сказал он, спускаясь в подвал.

— Кого выбрал?

— Ермолаевский дьяк сказывал... он тоже в погребу там, под церковью, сидит и знает вашу милость; при вашем венце в церкви служил.

— Что же он говорил?

— Нашим пресненским приставом злодеи поставили магазинщика с Кузнецкого моста Марка, городским головою — купца первой гильдии Находкина, а подпомощником ему — его же сына Павлушку. На Покровке их расправа... Служат, бесстыжие, антихристу! Креста на них нет...

Тропинин вспомнил, что он кое-где встречался с кутилой и вечным посетителем цыганок и игорных домов Павлом Находкиным и что однажды он даже выручил его из какой-то истории на гулянье под Новинским.

Илья в раздумье покачал головой.

— Да что, сударь, — произнес Карп, — то бы еще ничего, кощунство какое! Не токма в церквах, в соборах треклятые мародеры завели нечисть и всякий срам. Выкинули на пол мощи святителей Алексея и Филиппа. В Архангельском наставили себе кроватей, а в Чудовом, над святой гробницей, приладили столярный верстак. Ходят в ризах, антиминсами подпоясываются. Еще дьячок сказывал, что видел самого Наполеона. Намедни он тут, по Садовой, мимо их, злодей, проехал: серый на нем балахончик, треуголочка такая, сам жирный да простолицый, из себя смуглый; то, сказывают, и есть сам Бонапартий.

Илья вспомнил, как Наполеона еще недавно обожал Перовский.

— Чего же Бонапарт забрался в Садовую? — спросил он.

— Ушел за город; его, слышно, подожгли в Кремле. Да и бьют же их, озорников, а то втихомолку и просто топят.

— Как так?

— Ноне, сударь, слышно, из каждого пруда вытянешь либо карася, либо молодца. А Кольникур ихний ничего — добрый... Намедни тоже мимо Ермолая ехал, сынка тамошней просвирни подозвал и дал ему белый крендель. Вот и я вам, батюшка, картошек оттуда принес... черноваты только, простите, в золе печены и без соли.

Илья с удовольствием утолил голод обугленными картошками.

XXVI

Еще прошло несколько дней. Припасы окончательно истощились. Карп пошел опять на разведку. Тропинин тоже под вечер вышел из подвала — прогуляться между пустырей. Он заметил в чьем-то недальнем огороде, у колодезя, яблоню, на которой виднелись полуиспеченные от соседнего пожара яблоки. Сорвав их несколько штук, он начал жадно их есть. Его грубо окрикнул проходивший мимо пьяный французский солдат. Подойдя молча к Илье, солдат уставился в него, взял с его ладони яблоко, пожевал его и с ругательством бросил остатки Илье в лицо. Илья вспыхнул. В его глазах все закружилось. Он с бешенством ухватил обидчика за шею. Началась борьба. Хмельной солдат ловко наносил кулаками удары Тропинину и чуть не сбил его с ног. Илья устоял, обхватил солдата и, протащив его под деревьями, швырнул в колодезь. Не помня себя и задыхаясь от волнения, он едва дошел обратно до подвала. Искаженное

страхом лицо и взмахнувшие по воздуху башмачонки француза, брошенного им в колодезь, не выходили у него из головы. Карп возвратился с пустыми руками. Опасаясь возмездия со стороны неприятелей, Илья объявил ему, что их место небезопасно, что надо бросить его, и решил с ним наутро отправиться к новому городскому голове. Ночь Тропинин провел в бессоннице и в лихорадочном бреду. Ему грезились в соседнем огороде обгорелые яблони и между ними черный, покрытый плесенью сруб заброшенного колодца. Ночь он видел иную, теплую; странный багровый месяц освещал вершины обгорелых лип и берез, между которыми шла с лукошком, полным спелых яблок, Ксения; Коля, уже мальчик лет пяти, бежал по траве впереди нее. Вдруг из глубины колодезя поднялся и, хватаясь за сруб руками, стал вылезать бледный, покрытый зеленой тиной утопленник. Не успел Илья броситься на помощь жене, как утопленник, шлепая мокрыми ногами, добежал и впился зубами в обеспамятевшего Колю. Тропинин в ужасе проснулся... Крышка над подвалом была приподнята. Кто-то вылезал из ямы. Илья узнал Карпа.

«Куда это он?» — подумал Илья и также поднялся наверх.

Карп пробирался к ближнему двору, уцелевшему от пожара. Из-за лип от подвала было видно, как он бережно подкрался к крайнему флигелю, стоявшему среди сараев, и присел.

«Что он там делает?» — мыслил Илья.

У флигеля сверкнули искры. Карп, очевидно, кресал огонь. Еще прошла минута; угол ветхой крыши ближнего сарая осветился. Послышались опять шаги. Карп проворно бежал оттуда; подожженное здание вспыхнуло.

«И этот, как купец Живов! — подумал Илья, торопясь спуститься в подвал, чтобы его не увидел Карп. — Знаю теперь, кто поджигает Москву».

Он радовался и вместе боялся смутить поджигателя тем, что видел его тайный подвиг.

Тропинин с Карпом утром отправились в дом нового городского головы. На стене дома была надпись: «Secours aux indigets» («Помощь нуждающимся»). На фронтоне подъезда красовалась новая, лоснившаяся вывеска: «Гороцкой голова». Доложив о себе Находкину-сыну, Илья поднялся в верхний этаж; Карп остался у подъезда.

Павел Находкин, в модном сером фраке, с белым шарфом через плечо, сидел за столом в приемной, опрашивая каких-то бродяг, приведенных сюда для справок от заведовавшего французскими лазутчиками генерала Сокольницкого. Мужицкий наряд и небритое, обраставшее бородою лицо Тропинина не дали Находкину возможности сразу его узнать. Илья назвал себя. Краска залила моложавое лицо и толстый затылок Находкина. Он, водя пером по бумаге, подождал, пока жандармы увели арестантов, оправил на себе шарф и встал.

— Тэк-с, — сказал он, не глядя на Тропинина, — что же-с... узнаем-с... Что угодно? И как изволили в такое время остаться в здешних местах?

Илья передал ему о своем плене и ушибе ноги и просил содействия к разрешению ему и дворнику княгини оставить Москву.

Находкин не поднимал глаз.

— Но как же? Каким то есть манером? — произнес он. — Мы вам с тятенькой, сказать, оченно благодарны-с... тогда на гулянье гусары... и вы вступились... Но теперь тут совсем иные, иноземные порядки, не наши-с... притом мы не одни...

Павел подумал.

— Разве вот что-с, — сказал он. — Начальник ихних шпионов генерал Сокольницкий, опять же и главный их интендант генерал Лесепс нуждаются в знающих господах... Не окажете ли, сударь, сперва услуги нашим победителям? Было бы, кстати-с...

— Какой услуги?

— Вы при киятре служили и, кажись, надзирали за размалевкою декораций... сами рисуете.

— Так что же?

— Его величество, значит, ихний, — произнес Находкин, — а пока, так сказать, по здешним местам и наш анпиратор Наполеон, затеял, видите ли, для ради своей то есть публики киятер на Никитской. Изволите знать дом Позднякова? Еще возле там Марья Львовна жила...

— Какая Марья Львовна?

— Ну, Машенька-актриса, — продолжал Павел, — ужели не помните? Дело прошлое... Так вот-с, возле ее фатеры этот самый киятер и устраивают... Там давно и прежде шли представления; большущий зал с ложами, при нем зимний сад. Обгорела только сцена, декорации и занавесы.

— Где же вы возьмете новые? — спросил Илья. — Наш казенный театр, слышно, совсем сгорел...

— Отыскались на это у них мастера, занавес будет вовсе новый, парчовый, из риз, а заместо люстры — паникадило.

Тропинин ушам своим не верил.

«Что он? Раскольник, что ли? — подумал он. — Да нет, те еще более почтительны к вере».

— И вы, как рисовальщик, — продолжал Находкин, — притом же, зная их язык, могли бы им помочь. Вас в таком разе оденут, накормят, ну, смилуются, а то и вовсе выпустят. Мы же с тятенькой тоже постараемся, и завсегда.

Тропинин, поборая в себе злобу и негодование, молча мыслил: «Неужели же этот муниципал и в самом деле поможет мне освободиться?»

— Согласны, барин? — спросил Находкин.

— На что?

— Помочь в декорациях и в прочем?

— Согласен, — ответил со вздохом Илья.

— И дело-с. Оченно рад! А таперича, значит, по порядку, мы вас отправим к Григорию Никитичу.

— Кто это?

— На Мясницкой, книгопродавец Кольчугин. Он ныне, по милости анпиратора Бонапарта, покровителя, так сказать, наук-с, тут назначен главным квартермистром для призрения

неимущих и пленных. Там и Сокольницкий... Тятенька, вы здесь? — крикнул Павел в соседнюю комнату.

— Здесь, что те? — отозвался оттуда голос.

Павел скрылся за дверью и минуты через две вышел оттуда с отцом. Петр Иванович Находкин, невысокий, рябой и лысый старик, с узкою, клином бородою, был в купеческом кафтане до пят, в высоких бутылками сапогах и также с белым шарфом через плечо.

— Поступаете? — спросил он, взглядывая на Илью маленькими зоркими глазами.

— Ваш сын предлагает.

— Павел говорит дело, — произнес старик, — все мы под Богом, не знаем, как и что. В этот киятер уже поступили, из наших арестованных, скрипач Поляков и виолончелист Татаринов... Не опасайтесь, не останетесь... а мы добро помним-с...

Тропинин и Карп, с запиской сына Находкина и с жандармом, были отведены на Мясницкую. Здесь, у подъезда длинного каменного дома, где помещался заведовавший частью секретных сведений генерал Сокольницкий, стоял караул из конных латников. Илью и его спутника ввели в большую присутственную комнату. Несколько военных и штатских писцов сидели здесь над бумагами у столов. За перегородкой, у двери, переминаясь и охая, стояла кучка просителей — бабы, нищие, пропойцы и калеки. Илья сквозь решетку узнал Кольчугина, у которого не раз, еще будучи студентом, он покупал книги. Он ему протянул письмо Находкина. Стриженный в скобку и без бороды, Григорий Никитич, заложив руки за спину, стоял невдали от перегородки у стола, за которым горбоносый бледный и густо напомаженный французский офицер, с досадой тыкая пальцем по плану города, спрашивал его через переводчика о некоторых домах и местностях Москвы. Учитель математики — переводчик, плохо понимавший и еще хуже говоривший по-французски, выводил офицера из терпения. На Илью долго никто не обращал внимания. У него от ходьбы раз-

болелась нога, и он с трудом мог стоять. Кольчугин наконец взял у него письмо.

— Вы знаете по-ихнему? — радостно спросил он, прочтя письмо. — И отлично-с; сами объясните им свое дело, а пока вот помогите, этому офицеру нужно указать на карте, где дома Пашкова. Главный из них сгорел, а в боковых они хотят ладить новый госпиталь и богадельню... удивляетесь, что я при их службе? — заключил, оглядываясь, Кольчугин. — Что, сударь, делать? Крест несем... силком запрягли.

XXVII

Тропинин, войдя за перегородку, дал нужные объяснения офицеру и затем сообщил ему о предложении Находкина. Сперва офицер слушал его сухо, но едва узнал, что Илья владеет кистью, мгновенно изменился.

— Вы хоть и в грубой одежде, — сказал он, не скрывая своего удовольствия, — видно, что образованный, высшего общества человек. Садитесь. Не думайте, чтобы мы были только завоевателями. Вы увидите, как мы оживим и воскресим вашу страну. О! театр! Лучшая пища для души... Я сам по призванию — что хотите: певец, стихотворец, актер — словом, артист.

На Илью были устремлены ласковые черные глаза, печальная улыбка не сходила с бледного лица офицера.

— Да, — продолжал последний, — я в молодости, в нашей college[1], в Бордо, играл не только Мольера, но и Расина... Далекие, счастливые времена! Но и здесь между вашими актерами, уверяю вас, есть истинные таланты: не все бежали. О! Мы уже пригласили изрядных комиков.

Офицер назвал имена нескольких магазинщиков, аптекаря и двух парикмахеров с Кузнецкого моста.

---

[1] Колледж (средняя школа) *(фр.)*.

— А ваш балетмейстер Ламираль, вот дарование! Он вызвался быть у нас режиссером и ставить даже танцы... Потом — как его, как? — очень милый господин... мы с ним обедали на днях в его премилой семье... Он взял подряд поставить театральную утварь... Вспомнил! Торговец сукнами Данкварт... еще у него на вывеске герб императора Александра.

— Все ваши соотечественники, французы, — сказал Илья.

— Вы этим хотите сказать, — произнес офицер, — что вам, как русскому, хотя так превосходно говорящему по-французски, неприлично участвовать в наших удовольствиях? Не так ли?

— Да, — ответил Илья.

— Полноте, помогите нам.

— Но чем же?

— Вы рисуете красками?

— Да...

— Это все, что нам нужно. И если вы согласны, скажите, чем в свой черед и я могу вам служить? Шарль Дроз, к вашим услугам, — заключил, вежливо кланяясь, офицер, — капитан семнадцатого полка и адъютант штаба... а в свободные часы — любитель всего изящного и в особенности театра.

— Я голоден, мосье Дроз! — мрачно произнес Илья. — Со вчерашнего дня ничего не ел.

— Боже мой, а я-то, извините... Прошу вас ко мне! — сказал, вставая, капитан. — Мы оба — артисты... Что делать? Жребий войны... Я здесь недалеко, тут же во дворе; только кончу дело. А вы, мосье Никич, — обратился он через переводчика к Кольчугину, — снабдите господина... господина Тропин... не так ли? приличной одеждой и обувью из нашего склада... я сам о том доложу генералу...

Тропинина провели в какую-то каморку, полную разного хлама, одели во французскую военную шинель и фуражку и в новые, еще не надеванные сапоги, по-видимому добытые

в какой-либо ограбленной лавке обуви. Выйдя из каморки, он встретил Карпа.

— А меня-то, батюшка Илья Борисович, отпустите? — спросил тот, едва узнав Илью в новом наряде.

— Куда ты?

— Землячка тут нашел, пойдем бураки и картошку копать.

— Где копать? Знаю я, куда ты и зачем... смотри, не попадись...

— Убей Бог, в казенных огородах, возле казарм. Накопаем им, аспидам, да авось и уйдем.

Освободившись от занятий, капитан Дроз провел Илью внутренними комнатами в обширный барский, почти не тронутый огнем двор, в задних флигелях которого размещались адъютанты начальника розыскной полиции, чины его канцелярии и конные и пешие рассыльные. В помещении капитана, в проходной тесной комнатке у окна, с пером в руке и в больших очках на носу, сидел седенький в военной куртке писец.

— Пора, Пьер, кончать, темно, портишь глаза! — ласково сказал Дроз писцу, идя с Ильей мимо него.

— Нельзя, капитан, — ответил, не отрываясь от бумаги, писец, — машина станет! Списки герцога Экмюльского... только что принесли...

— О, в таком случае кончай, — объявил Дроз.

— В чем эта работа, осмеливаюсь узнать? — спросил Илья, когда капитан потребовал ему от своего денщика закусить и усадил его за блюдо холодной телятины.

— Да, mon bon monsieur[1], горька доля воюющих! — со вздохом ответил капитан. — Часто я проклинал судьбу, что из артиста стал солдатом... а теперь меня наряжают для разных следствий... в эти же списки вносятся имена пленных маршала Даву.

---

[1] Мой дорогой (*фр.*).

Дроз достал из шкафа бутылку и налил гостю стакан вина.

— Что же делают потом с этими списками? — спросил Илья.

— Их пересылают к сведению в главный штаб и сюда.

— И только?

— Нет, канцелярия маршала делит вносимых в эти списки на две части. В одну вносятся менее опасные, заурядные лица; в другую — особенно подозрительные.

— Что же ожидает первых и вторых?

— Против имени первых канцелярия обыкновенно делает отметки: под арест или на работы; против вторых же сам маршал ставит собственноручные резолюции: к повешению или к расстрелянию... Печальные бывают развязки. Война не шутит. У меня на этот предмет есть стихи. Не хотите ли, я вам их прочту? — спросил он, покраснев. — Мои собственные стихи о войне.

— Сделайте одолжение.

Дроз встал, протянул руку и, с грустью глядя на гостя, как бы призывая его в судьи своей тоски и одиночества, нежным певучим тенором продекламировал элегию о разоренном гнезде малиновки и о коршуне, похитившем ее птенцов. Он сам с напомаженным хохолком напоминал малиновку.

Голос и стихи Дроза тронули Илью. Его щеки от этого чтения и вкусной еды, запитой вином, раскраснелись. Красивый, с горбом нос капитана между тем стал еще бледнее, а глаза печальнее. Он в раздумье, молча глядел в пространство. В это время старичок писец принес переписанные бумаги. Капитан повертел их в руках и вздохнул.

— Да, — сказал он, — отличный почерк, но на какое дело! Есть ли у вас, в России, такие искусники?

Он показал гостю копии, бережно положил их на окно и объявил, что сам отнесет их к генералу, а подлинники велел отправить в канцелярию главного штаба, в Кремль.

— Стаканчик! Знаешь, той? — обратился он к писцу, добродушно подмигивая ему на кубышку перцовки в шкафу. — Таким почерком переписывать только Шенье, Бомарше...

Дроз налил из кубышки, которую он называл «bouche de feu» — «огненным ртом».

— Капитан! — восторженно произнес писец, отставя руку и глядя на поданный ему стакан перцовки. — Век не забуду ваших ласк и доброты!

Он медленно выпил стакан, отер рукавом усы и крякнул.

— Это напиток богов! Исполнение желаний ваших, господа, и дорогих вашему сердцу! — сказал он, уходя. — Хотя последние теперь, очевидно, далеко.

Капитан, уныло сгорбившись, молчал.

— Дорогие нашему сердцу! — произнес он, отгоняя тяжелые мысли. — Моя семья далеко; ваша же, собрат по музам? Вы женаты? Где ваша семья?

— Ничего не знаю, — ответил Тропинин, — я женат, но моя жена бежала отсюда за два дня до моего плена... и что с нею, жива ли она, убита ли, Господь ведает...

— Бежала и она! Но зачем же? — искренне удивился капитан.

— А эти ваши списки? — произнес Илья, указывая на принесенные писцом бумаги. — Что, если бы она попала в эти красиво переписанные бумаги, да еще в первый разряд? Ведь ваш грозный маршал, сами вы говорите, не любит шутить: а он и женщину мог бы счесть за опасную...

Капитан покраснел до ушей.

— Что за мысль! Полноте! — возразил он. — Мы не индейцы и не жители Огненной земли; можете быть спокойны, женщины у нас неприкосновенны. И ни одной, ручаюсь в том, вы не найдете в этих списках. Да, мое поприще — искусство, пластика. Даже сам я и мои формы, не правда ли, пластичны? — произнес капитан, вставая и

перед зеркалом протягивая свои руки и выпячивая грудь и плечи. — Это не мускулы, мрамор, не правда ли, и сталь? Итак, завтра я вам дам письмо к Ламиралю, и вы украсите вашею кистью наш театр. Артистов у нас, повторяю, довольно. Кроме найденных здесь прелестной Луизы Фюзи, Бюрсе и замечательного комика Санве явились и другие охотники. Сверх того, как, вероятно, и вы уже знаете, захвачен целый балет танцовщиц одного вашего графа... comte Cheremete...[1] А теперь, полагаю, и на покой!.. Вот вам кровать, я улягусь на этом сундуке.

— Очень вам благодарен, — ответил Илья, — но это уже чересчур, с какой же стати?

— Без возражений, коллега; мы оба — слуги муз, и вы мой гость... Устраивайтесь, а мне надо нести бумаги к генералу, но прежде я загляну в канцелярию; знаете, народ нынче ненадежный, особенно здесь, — чрез меру поживились военной добычей и не совсем исправно себя ведут.

XXVIII

Офицер вышел. Илья прислушался у двери к его шагам и бросился к бумагам, лежащим на окне.

«Имею ли я право прочесть? — подумал он. — Ведь это вероломство, нарушение прав гостеприимства... А они? А эта война?»

Тропинин поднес бумаги к свече, пробежал заголовки и начал наскоро просматривать списки. Были короткие и длинные. Один из списков, набросанный несколько дней назад, особенно занял его. В нем было занесено много арестованных с отметками: «поджигатель», «грабитель», «шпион». Тропинин просмотрел первую страницу, перевернул лист, прочел

[1] Граф Шереметев (*фр.*).

еще столбец имен и обмер. Протерев глаза, он снова заглянул в прочитанное. В перечне имен «особенно подозрительных» («très suspects») он прочел явственно написанное: «Lieutenant Perosski»[1]. Рядом с этим именем стояла отметка: «Le déserteur de Smolensk»[2], а сбоку, разом очеркивая несколько имен, было, очевидно, старческою рукою маршала Даву приписано: «Расстрелять» («Fusiller»).

Кровь бросилась в голову Тропинина. Он выронил бумаги на окно и несколько мгновений не мог опомниться. Комната с горевшей свечой, стол с неубранными тарелками, сундук и предложенная ему кровать капитана вертелись перед ним, и сам он едва стоял на ногах.

«Перосский, очевидно — он, Базиль Перовский! — в ужасе думал Илья. — Но каким образом он мог быть схвачен в Смоленске и стать дезертиром, когда писал нам уже после Вязьмы и ни единым словом не намекнул на подобный случай? Очевидно, роковая, вопиющая ошибка!»

Илья ломал себе руки, не зная, на что решиться и что предпринять. Сказать капитану, что он просматривал его секретные бумаги? Но тогда тот справедливо может обидеться, а то и еще хуже — донесет на него.

Дроз возвратился.

— А вы еще не спите? — спросил он. — Ложитесь, иначе вы меня обидите...

Не подозревая особой причины смущения Ильи, он настоял, чтобы тот лег на его кровати, а сам, раздевшись и подмостив себе под голову шинель, улегся на сундуке и погасил свечу.

Прошло с полчаса. Приятный запах розовой помады разносился по комнате.

— Скажите, капитан, — обратился к нему Илья, видя, что офицер еще не спит, — случается ли, чтобы страшные

---

[1] «Лейтенант Перосский» (*фр.*)

[2] «Бежавший в Смоленске» (*фр.*).

резолюции маршала иногда отменялись или почему-либо не приводились в исполнение?

Капитан, медленно повернувшись к стене, тяжело вздохнул.

— Увы! — ответил он, помолчав. — У герцога Экмюльского этого не может быть; решения при допросах он пишет сам, а кто ослушается его приказаний? Вы хотя и русский, я полагаю, знаете, да это и не тайна, — прибавил вполголоса Дроз, — Даву не человек, а, между нами сказать, тигр...

— Но не все же, наконец, решения вашего герцога-тигра исполняются мгновенно, без проверки и суда? — произнес Илья, хватаясь за тень надежды. — Решено, положим, утром; неужели же не откладывают, для справок, хотя бы до вечера?

— В чем дело? Не понимаю вас, — спросил Дроз.

— Вот в чем, — проговорил Илья. — Здесь, в Москве, как я узнал, был схвачен и заподозрен в побеге один мой соотечественник. Он, клянусь вам, не виновен в том, в чем его подозревают.

— Когда он схвачен и в чем обвиняется?

Илья подумал.

— Времени его ареста не знаю, — ответил он, — а, по слухам, винят его в том, будто он — дезертир... ну, как вам объяснить? Что, будучи взят в плен под Смоленском, оттуда бежал... Это клевета. Я в точности знаю, что он вплоть до Бородина нигде не был в плену. Ради Бога, молю вас, это мой товарищ и друг; если он жив еще, попросите за него.

— Но кого просить?

— Герцога, самого императора.

— Мало же вы знаете герцога и нашего императора! — сказал, обернувшись от стены, капитан. — Прибегать с такою просьбою к герцогу — все равно что молить у гиены пощады животному, которое она держит в окровавленных зубах... а император... да знаете ли вы его? — прошептал капитан, даже привстав впотьмах и садясь на сундуке. — Нас тут не слышат, вы понимаете, и я, между нами, это

сказать... Недавно он, при докладе Бертье о нуждах солдат, выразился: «Лучше, князь, вместо солдат поговорим о их лошадях!» Станет он думать об экзекуциях Даву... У него на уме другое...

Капитан замолчал.

— А жаль! — проговорил он через минуту. — Не ему ли было бы лучше остаться во Франции, покровительствовать искусствам, литературе? Боязнь покоя, критики — вот что увлекает его в новые и новые предприятия... Впрочем, не нам, мелким, судить великого человека. А пока он успокоится, мы сами, дорогой собрат, не правда ли, займемся театром! Итак, до завтра! — заключил, опять ложась, капитан. — Дадим великой армии отдохнуть и вспомнить, хотя бы здесь, в вашей Скифии, наши былые лучшие, тихие времена.

— Но я бы вас все-таки просил, — сказал Илья, — если будет случай и это вас не затруднит, справьтесь о моем друге, чем кончилась его судьба?

— Как его имя?

Тропинин назвал.

— Попытаюсь, мой дорогой, — произнес капитан, — только, знаете, в эти смутные дни в наших штабах столько возни и хлопот. Не обо всем оставляют след в бумагах.

Сказав это, Дроз окончательно смолк. В комнате раздался его сперва тихий, потом громкий и, по-видимому, совершенно счастливый храп. Он видел во сне Францию, маленький провинциальный театр, где он играл на сцене и мечтал о будущности Тальма, не подозревая, что благодаря конскрипции Наполеона из актера он станет воином, а затем попадет в штаб «заведующего секретными сведениями».

«Несчастный Базиль! — мыслил тем временем Тропинин. — Дело, очевидно, кончено! Вот чем отплатил тебе твой любимый идол, герой! Сын магната, министра... Погибнуть в числе подозреваемых в поджогах и грабежах! И никто об этом не знает, никто не защитит... Бедная Аврора... предчувствует ли она, что постигло ее жениха?..»

Илье вспомнилась его жена, недавний тихий семейный круг. Слезы подступали к его горлу, и он ломал голову, как ему самому уйти из плена и избегнуть участи, постигшей его друга.

Проснувшись утром, он увидел, что капитан уже встал и что-то пишет.

— Вот вам письмо, — сказал озабоченно Дроз, — отнесите его к Ламиралю, и желаю вам всякого успеха и благополучия. Меня же, к сожалению, сейчас вызвали к генералу; он посылает меня на следствие в другое место. До свидания!

— А узнали вы что-нибудь о моем товарище Перовском? — спросил Илья.

— Справлялся, — ответил сухо Дроз, — по бумагам ничего не видно, хотя я рылся немало; дел теперь столько, столько...

Капитан ушел. Тропинин, при помощи его денщика, умылся, побрился и пошел на Никитскую, в дом Позднякова.

Бывший навеселе с утра, режиссер Ламираль недолго с ним говорил. Он провел Илью за кулисы и без дальних слов предложил ему заняться изображением декорации какой-то итальянской виллы. Краски в горшках и огромные кисти были готовы. Илья надел фартук, растянул на полу холсты и принялся за работу. Он трудился, не разгибая спины, весь день. Вечером его позвали обедать в соседний дом, где помещались, изучали роли и кормились набранные для театра актеры и актрисы. Так прошло несколько дней. Илья пытался в это время заговорить со своими новыми сожителями об участи пленных вообще и тех, которые попадали на Девичье поле, к маршалу Даву. Веселые и беззаботные артисты при таких вопросах вмиг смолкали и, поднимая глаза к небу, смущенно говорили:

— Ужас! Расстреливают и вешают ежедневно, без суда.

Дроз раза два еще навещал работы Ильи и сильно его хвалил, потом окончательно исчез. Его надолго прикомандировали к какой-то комиссии в другой части города, у Суха-

ревой башни. Холсты для декораций между тем были почти готовы. Ламираль готовил веселые и, как говорили, любимые Наполеоном пастушеские оперетки с переодеваниями, в которых остановка была только за декорациями. То были пьесы «Martin et Frontin», «Les folies amoureuses» и «Guerre ouverte»[1]. Он с важностью объявил Илье, что весьма доволен его работой. За опереттой Ламираль затеял даже поставить нечто вроде небольшого балета. Потребовались новые декорации, за которыми Илья просидел опять довольно долго. Под видом наблюдений за театром сюда, полюбезничать с пленными танцовщицами, заезжали разные французские власти, в том числе и сам король Мюрат. К Илье привыкли и ему доверяли. Он решил этим воспользоваться и однажды отпросился у режиссера проведать Дроза. Ламираль к последнему имел, кстати, одно неоконченное дело по театру. Он дал Илье к нему письмо, а для свободного прохода к Сухаревой башне достал ему от коменданта охранный лист. Это было вечером, в конце сентября. В этот день артистов снова навестил Мюрат, и Илья был личным свидетелем его ухаживания за черноглазой статной танцовщицей Лизой. На все любезности венчанного селадона неуступчивая плясунья, бешено сжимая кулаки и плача, отвечала:

— Сгинь ты, тьфу, черт пучеглазый! Пусти душеньку на покаяние!

Король, не понимая ее, милостиво улыбался.

Погода стояла прохладная. Тропинин невдали от Сухаревой башни, на Садовой, обогнал французского молодого рекрута из эльзасцев. Немец-солдатик шел с сумкой и с ружьем на плече, устало посматривая по сторонам и как бы ища дороги. Илья заговорил с ним и узнал, что рекрут был послан из Кремля с бумагами в Лефортово, где во дворце был устроен главный французский госпиталь.

---

[1] «Мартен и Фронтен», «Шалости любви» и «Открытая война» *(фр.)*.

— А вы куда? — спросил Илью румяный, с ямочками на щеках, белокурый эльзасец.

— И мне туда же, — подумав, объявил Тропинин.

— Отлично, господин, веселее будет, идем... А я, как видите, сбился в сторону и таки порядочно притомился... Не совсем ладно, лошади дохнут, как мухи осенью, и теперь все приходится пешком... Вы, не правда ли, штабной?

— Да, рассыльный, как и вы.

— Но у вас сапоги будут поновее.

— Дали в награду.

— Отлично, и мы заслужим вместо этого тряпья, — произнес солдат, поглядывая на свои худые, обвязанные веревочками сапожонки.

Новые знакомцы, беседуя, миновали Басманную и через Немецкую улицу вышли за Яузу. Окончательно стемнело. Тропинин в сумраке указал спутнику на освещенные окна лефортовских зданий. За дворцовым садом и церковью Петра и Павла, у ручья Синички, как он знал, было загородное Введенское кладбище. Илья помнил эти места, так как во время студенчества не раз навещал в этих местах одного товарища.

— Что, друг, не зайдете ли и вы со мной в госпиталь? — спросил, отирая лицо, солдат. — Там обещали меня угостить бульоном выздоравливающих и их вином... говорят, прелесть, особенно уставши...

— Нет, лучше вы меня проводите вон до той церкви, — сказал, осматриваясь, Илья, — поздновато, я хоть и штабной, но без оружия; с вами будет спокойнее!.. Здесь, слышно, пошаливают мародеры...

— Охотно. Но странно, — заметил солдат, — я уже однажды был здесь и даже вот у этой церкви; там еще стояла на днях артиллерия. Теперь же кругом так тихо, точно иду здесь впервые; спасибо, что вы провели, я, знаете ли, близорук и плохо помню места.

— Мне к командиру этой артиллерии, — спокойно сказал Илья.

— Отлично, пойдем.

Солдат и Илья направились к церкви Петра и Павла. Невдали от нее их окликнул часовой ночной цепи. Путники ответили, что идут по службе.

— Куда?

— В церковный дом, — ответил Илья.

— Кой черт, в такую пору! — проворчал конный гренадер, наскакивая на них впотьмах и приглядываясь к ним с седла. — Куда лезете? В этой глуши шныряют казаки, еще отнимут ружье и ограбят вас, если не будет и хуже того.

— Будь спокоен, друг, нас двое! — смело проговорил Илья, шлепая далее по липкому и скользкому переулку, у сада. — Не на таких нападут.

— Помните, там уже конец ведетов.

XXIX

Миновав госпиталь и часть поля, путники дошли до церковной ограды. Кругом было мертвенно пустынно. Ветер шумел в вершинах берез, окружавших ограду.

— Ну, дорогой мой, идите обратно, я вас догоню или найду в госпитале, — сказал Илья солдату, между тем мысля: «Не вырвать ли у него ружье и не приколоть ли его здесь, наедине, чтоб убежать успешнее?»

— Да к кому же это вы? — спросил Илью солдат, с удивлением убедившись, что ни возле церкви, ни за нею не было признаков артиллерии, стоявшей здесь на днях. — Или, — засмеялся он, — ваше поручение к покойникам?

«Приколоть?.. — опять пробежало в мыслях Ильи. — Что, как он догадался и даст знать часовым цепи?»

Солдат в это время положил ружье и оправлял на ногах веревочки. Илья помедлил.

«Нет, — решил он, — иди себе с миром, добрый белокурый немчик, ты против воли попал в полчище этого злодея, Бог с тобой!»

— Неужели вы не видите? — спокойно сказал он. — Вон домишко между деревьями, огни погашены, командир, очевидно, спит, не спят часовые — их отсюда не видно... Я разбужу кого мне надо, отдам бумаги и вас еще догоню.

— До свидания! И то правда, я так близорук, что иной раз думаю: ну зачем взяли в рекруты такую слепую курицу? Кстати, разузнайте у ваших артиллеристов, скоро ли наконец отпустят нас с вами домой. Может быть, они знают; да берегитесь, не подстрелил бы вас какой часовой.

— Спрошу непременно и буду беречься.

Солдат пошел обратно. Илья прислушался к его шагам, бережно миновал церковь, прилег за оградой и снова стал слушать. Ветер то затихал, то опять шумел, качая верхи деревьев. Вправо и влево отсюда раздавались оклики сторожевой цепи вплоть до берега Синички. Сзади, над городом, стояло зарево. Широким пламенем загорелась местность к стороне Басманной, где он так недавно прошел.

«Неужели я проскользну за вражескую черту? — с лихорадочной дрожью подумал Илья. — И в самом ли деле мне удастся это затеянное безумное бегство? Нет, солдата могут остановить и спросить, куда делся его недавний спутник; часовые поймут, что их обманули, и бросятся меня искать... Скорее, скорее далее...»

Тропинин вскочил на ноги. Он, нагнувшись, пополз, потом побежал, сам не зная куда. Спотыкаясь впотьмах о рытвины и попадая в лужи, он опомнился, когда увяз по колено в каких-то кочках. То был берег Синички. Илья заполз в высокую траву, выбрал более сухое место и решился здесь ждать утра. Его нога опять разболелась.

«Да, не уйти мне, — мыслил он, — напрасная мечта! Поймают, захватят и отведут обратно; а там, может быть, откроется и дело о колодце... Боже, дай силы, дай мне жить на счастье осиротелой семье, в прославление твое!»

Прошло более часа. Ночь в отблеске дальних пожарищ казалась еще мрачнее. Тропинин забылся в лихорадочной дремоте. Вправо за кустами как бы что-то побелело.

«Неужели рассвет?» — подумал он, приподнимаясь в траве.

Кругом было еще темно. Только плес ручья и часть ближней рощи были освещены вышедшим из-за облаков месяцем. Илья знал, что к роще, за ручьем, примыкало Введенское кладбище, а далее шли овраги, сплошной лес и поля.

«Пора, пора!» — сказал он себе, разделся, придерживая над головой одежду и обувь, вошел в воду и, медленно ощупывая ногами болотное дно, направился к другому берегу. Он несколько раз скользил, оступался и чуть не выронил платье. На средине ручья холодная, как лед, вода была ему по горло. Ручей стал мельче. Илья еще подался и, дрожа всем телом, вышел на ту сторону. Обтершись кое-как травой, он оделся, обулся и ползком направился к кладбищу. Месяц скрылся. Долго пробирался Илья; наконец невдали он приметил деревья и кресты кладбища. Запыхавшись и согревшись от движения, он забрался между могил и стал обдумывать, что ему делать далее. Так лежал он долго. Окликов часовых здесь уже не было слышно. Снова стало виднее.

— Нет, надо уйти до рассвета, — сказал себе Илья, — заберусь хоть в ближний лес.

Он встал и бережно сделал несколько шагов. Вправо, между могил, послышался шорох. Илья вздрогнул и в ужасе стал присматриваться.

В нескольких шагах от него, полуосвещенный месяцем, образовался высокий бородатый в истрепанном подряснике человек. Незнакомец был, очевидно, также смущен. При виде французской военной шинели и такой же фуражки Ильи он долго не мог выговорить ни слова.

— Враг ты или друг? (Utrum hostis, an amicus es?), — проговорил по-латыни густым дрожащим басом незнакомец. — Взгляни и пощади! (Respice et parce!), — жалобно прибавил он, указывая на ребенка, лежавшего у его ног в траве.

«Вероятно, кладбищенский священник! — радостно подумал Илья. — Принимает меня за француза».

— Успокойтесь, батюшка, я сам русский, — ответил Илья, — и такой же несчастный, как, очевидно, и вы! Мое имя — Илья Тропинин.

— Я же дьякон Савва Скворцов из Кудрина, а это мой племяшек! — сказал незнакомец. — Что испытал, страшно и передать. Грабители, ох Господи, сожгли дом — это бы еще ничего, отняли все имущество — и это преходящее дело: наг родился, наг и остался. Но они, в мое отсутствие, увели мою жену... Поля, Полечка, где ты? — тихо проговорил, всхлипывая, дьякон.

Он, ухватясь за голову, опустился на могильную плиту. Его плечи вздрагивали. Проснувшийся племянник испуганно глядел на дядю и стоявшего перед ним Илью.

— Как завидел вас, — проговорил дьякон, — ну, думаю, поиск, ихний патруль, опять в их руках, кончено... а тут вы встали да прямо на меня... Душа подчас, как видите, бренна, хоть телом я и Самсон... и за все их злодейства, вот так бы, хоть и слуга алтаря, с ножом пошел бы на них.

Тропинин рассказал о своем плане.

— Не подобает мне клястись, ваше благородие, — произнес дьякон Савва, — сам вижу! Только я поклялся... Искал я жену везде в их вертепах, ходил, подавал просьбы их начальству и маршалам — еще и смеются. Взял я тогда этого препорученного мне сироту, вышел сегодня огородами, думал на Андрониев монастырь, да заблудился, попал сюда. Дай, Господи, дотянуть до своих, сдать племянника. Попомнят, изверги, Савву.

— Вам, отец дьякон, куда?

— На Коломну.

— И мне туда же, на Рязань; моя семья в Моршанском уезде.

— Не будем же, сударь, терять времени, — сказал дьякон, — коли угодно, вместе двинемся, с Богом, в путь, кажись, рассветает.

Путники миновали поляну и вошли в лес. Долго они пробирались чащей дерев и кустами. Утро их застало у прогалины, на которой стояла пустая лесная сторожка. Они ее обошли и решили отдохнуть у озерка, в гущине леса. У дьякона оказалось несколько сухарей. Они закусили, напились и, остерегаясь встречи с врагами, просидели здесь до заката солнца. Савва рассказал Илье, что он кончил учение в семинарии, был несколько лет певчим в Чудове, женился только весною и в ожидании священнического места пока был поставлен в дьяконы. Его горю при воспоминании о жене не было границ. Он твердил, что, едва сдаст родным племянника, готов взять оружие и идти на врагов; авось примут в ополчение. Вечером путники двинулись снова в дорогу, шли всю ночь и утром следующего дня радостно заслышали собачий лай. Невдали перед ними, за лесом, стал виден поселок. Кто в нем? Свои или чужие? Они вышли на Владимирскую дорогу.

XXX

Стоя на грозном допросе перед маршалом Даву, Перовский, наконец, разобрал и понял то важное и роковое, что о нем говорил адъютант герцога Оливье.

— Этот господин, — почтительно сказал Оливье, — я отчетливо и хорошо это помню — моложе и ниже ростом того пленного, о котором ваша светлость спрашиваете.

Точно сноп солнечных лучей блеснул в глаза Перовскому, полное ужаса гнетущее бремя скатилось с его груди. Он с усилием перевел дыхание, стараясь не проронить ни слова из того, что далее говорил перед ним его нежданный защитник.

Лицо маршала, к удивлению Базиля, также прояснело. В нем явилось нечто менее угрюмое и жестокое.

— Но вы опять мямлите, — сказал адъютанту герцог, будто не желая поддаться осенившему его доброму впечат-

лению, — у вас вечно, черт возьми, точно недоеденная каша во рту...

— Тот пленный, ваша светлость, — так же почтительно и мягко проговорил Оливье, — был головою выше этого господина... я как теперь его вижу... Он был в морщинах и с родимым пятном на щеке... ходил переваливаясь. И если бы вам, — продолжал дрогнувшим голосом и, побледнев, Оливье, — не угодно было мне поверить, я готов разделить с этим пленным ожидающую его судьбу.

— Довольно!.. — резко перебил Даву. — В вашем великодушии не нуждаются, а вы, — обратился он к Перовскому, — как видите, спасены по милости этого моего подчиненного... Можете теперь идти к прочим вашим товарищам!

Перовский неподвижно постоял несколько мгновений, вглядываясь в Даву, который, очевидно, был доволен и своим решением, и растерянностью своего пленного. Не кланяясь и не произнеся ни слова, Базиль обернулся и, пошатываясь, направился к двери. Как его затем провели на крыльцо, указали ему калитку в сад и сдали на руки страже, оберегавшей жилище пленных, он едва сознавал.

Арестанты маршала помещались в недостроенном деревянном флигеле, покрытом черепицей, но бывшем еще без полов и печей.

Не доходя до этого здания, Базиль услышал пение и гул голосов тех, кто в нем помещался. Здесь были захваченные на улицах и при выходе из Москвы торговцы, господские слуги, подозреваемые в грабеже и в поджогах чернорабочие, два-три чиовника и несколько военных и духовных лиц. Между последними Перовский разглядел и толстяка, баташовского дворецкого Максима; тот, увидя его, заплакал. Люди из простонародья коротали свой досуг мелкими работами на французов и добыванием для себя харчей, а выпросив у французов водки и подвыпив — заунывными песнями. Дворянский, духовный и купеческий отделы флигеля были благообразнее и тише. Большинство здесь заклю-

ченных сидели молча и мрачно, понурившись или вполголоса беседуя о том, скоро ли конец войны и их плена. Здесь Базиль узнал, что Наполеон, с целью поднятая раскольников, посетил Преображенский скит, а на днях призвал к себе во дворец продавщицу дамских нарядов с Дмитровки, Обер-Шальме, и что эта «обер-шельма», как ее звали москвичи, толковала с ним об объявлении воли крестьянам.

Перовский увидел, что во флигеле, в отведенном ему углу, ему приходилось спать на голой земле. Тут к нему с услугами обратился румяный рослый и постоянно веселый малый, которого звали Сенька Кудиныч. С рыжеватыми кудрявыми волосами, серыми смеющимися глазами, этот, как узнал Базиль, лакей какой-то графини обитал на половине чернорабочих, где особенно голосисто запевал хоровые песни. Он, добродушно поглядывая на Базиля, без его просьбы наносил ему из сада сухих листьев, нарвал травы и живо из этих припасов устроил ему постель. Скаля белые, точно выточенные из слоновой кости зубы и приговаривая: «Вот так будовар! Только шлафрока да туфельков нету, заснете, ваша милость, как на пуховичке!» — он даже подмел вокруг этой постели и посыпал песком. Разговаривая с ним, Базиль узнал, что у Кудиныча была зазноба, горничная его графини, Глаша, и, по его просьбе, написал ей от его имени письмо.

— Но как же ты ей перешлешь письмо? — спросил он его.

Сенька ответил:

— Не век тут будем сидеть; улов не улов, а обрыбиться надо! — и спрятал письмо за голенище.

В первые дни своего пребывания в садовом флигеле Перовский, как и прочие пленные, ходил в сопровождении конвоя в окрестные огороды и сады на Москве-реке собирать картофель, капусту и другие, тогда еще не расхищенные овощи. Пленных отпускали также в мясное депо, то есть на бойню, устроенную невдали, в переулке на Пресне, где они помогали французам в забое и свежевании, приводимых фуражирами великой армии, коров, быков и негодных для

службы лошадей, причем на долю пленных доставались разные мясные отбросы и требуха. Кудиныч в такие командировки особенно всех потешал своими песнями и шутовскими выходками. Вскоре, однако, эта фуражировка прекратилась. Припасы у французов сильно истощились. Пленных стали кормить только сухарями и крупой.

Однажды — это было недели через две после водворения в садовом флигеле милюковской фабрики — Перовский заметил особое оживление и суету у квартиры Даву. Он понял, что у французов готовилось нечто особенное. Из сада было видно, как у дома, занимаемого маршалом, сновали адъютанты, по двору бегали ординарцы и куда-то скакали верховые.

— Поход, поход! — радостно говорили друг другу арестованные. — Нас, очевидно, решили разменять и отправить на аванпосты.

Было утро семнадцатого сентября. Русских пленных вывели из их жилья, сделали им перекличку и повели, но не в Рогожскую или Серпуховскую заставу, а в Дорогомиловскую. Здесь они увидели еще несколько сотен других пленных, содержавшихся до тех пор в иных местах Москвы.

— Вас куда? — спрашивали товарищей пленные герцога Даву.

— Не знаем...

Подъехал верхом толстый озабоченный генерал. Он бегло осмотрел пленных и дал знак. Прогремел барабан, часть конвоя стала впереди отряда, другая — сзади него. Раздалась команда, и все двинулись по пути к старой Смоленской дороге.

— Да ведь это опять к Можайску, — толковали пленные, — неужели французы отступают?

Одни радовались, другие молча вздыхали.

Отряд прошел верст десять. Перовский разглядывал пеструю, двигавшуюся рядом с ним и впереди его толпу. Двое из пленных русских офицеров в этом отряде еще ехали в собственной коляске одного из них, приглашая в нее отстав-

ших на пути товарищей. При этом несколько переходов и Базилю довелось проехаться с ними. Он радовался и удивлялся этой льготе, видя, что и другие пленные, слуги и торговцы, которых по бороде считали за переодетых казаков, были также не лишены разных снисхождений от своих надсмотрщиков. У купцов оказалась запасная провизия и даже чайник для сбитня. Дворовые же разных бар, в том числе баташовский Максим и Сенька Кудиныч, шли еще в собственных фраках, ливреях, ботфортах и даже в шляпах с галуном и плюмажами. Льготы вскоре, однако, прекратились. Перед одним из привалов высокий рябой и плоскогрудый, с женской мантильей на плечах, начальник конвоя, подойдя к офицерам, ехавшим в коляске, молча взял одного из них за руку, вывел его в дверцы, потом другого и, спокойно поместившись со своим помощником в экипаже, более туда уже не допускал его хозяев.

Прошли еще несколько верст. К ночи пошел дождь и подул резкий, студеный ветер. На привале все сильно продрогли. Разбуженный на заре Базиль увидел, как медленно, в туманном рассвете поднимался и строился к дальнейшему походу отряд. Ливрей и шляп на пленных лакеях уже не было, и они, в большинстве, поплелись по грязи полураздетые и босиком. Мелкий холодный дождь не прекращался. Базиль прозяб, хотя надеялся от движения согреться. Но, едва отряд двинулся к какому-то мосту, конвойный фельдфебель остановил Базиля у входа на этот мост и, предложив ему сесть у дороги, вежливо снял с него крепкие его сапоги и, похлопывая по ним рукою и похваливая их, бережно надел на себя, а ему дал свои опорки. Базиль, опасаясь более наглых насилий, решил до времени это снести. Он пошел далее, обернув полученные опорки какими-то тряпками. Баташовский дворецкий, в первый день плена так радушно угощавший Базиля, шел также в одних портянках.

— И с тебя сняли сапоги? — спросил его Перовский.

— Сняли, — безучастно ответил Максим.

— А скажи, так, откровенно, между нами: ты тогда, помнишь, как стоял Мюрат, поджег ваш двор?

Дворецкий оглянулся и подумал.

— Я, — ответил он, вздохнув.

— Кто же тебя надоумил?

Максим поднял руку.

— Вот кто, — сказал он, указывая на небо, — да граф Федор Васильевич Ростопчин; он призывал кое-кого из нас и по тайности сказал: как войдут злодеи, понимаете, ребята? Начинайте с моего собственного дома на Лубянке. Мы и жгли...

Дождь вскоре сменился морозом. Дорога покрылась глыбами оледенелой грязи. Изнеможенные, голодные, с израненными босыми ногами, пленные стали отставать и падать по дороге. Их поднимали прикладами. Привалы замедлялись. Конвойные офицеры выходили из себя. Тогда начались известные безобразные сцены молчаливого пристреливания французами больных и отсталых русских. Это, как заметил Перовский, начали совершать большей частью при подъеме отряда с ночлега, впотьмах. Впервые заслыша резкие одиночные выстрелы сзади поднятого и снова двигавшегося отряда, Перовский спросил одного из шедших близ него конвойных: что это такое? Солдат, мрачно хмурясь и пожимая плечами, ответил:

— Ночная похлебка ваших собратий! (Soupe de minuit de vos confréres!)

Содрогаясь при повторении этих звуков, Перовский со страхом стал поглядывать на свои босые, обернутые тряпьем ступни.

«Боже, — думал он, — долго ли разболеться и моим бедным, усталым ногам? Эта участь, эта ночная похлебка ждет и меня!»

Он в такие мгновения вынимал с груди образок, данный Авророй, и горячо на него молился.

На одном из привалов Базиль увидел вспыхнувшие в темноте одиночные огни и, услышав эти знакомые роковые выстрелы, не утерпел и с укоризной обратился к начальнику конвоя.

— Как можете вы, капитан, допускать такое бесчеловечие? — сказал он. — У моих товарищей отняли экипаж, у меня сняли сапоги; это еще понятно — право сильного... но неужели вам предписаны эти убийства?

— Воля императора, — сурово ответил конвойный офицер.

— Но чем может быть оправдано такое зверство? И чем, извините, это лучше возмездия индейских каннибалов, съедающих своих беззащитных пленных?

Офицер, оправляя на себе воротник, жавший ему щеки, покосился на жалкую обувь Перовского.

— Послушайте! Вы непозволительно резко выражаетесь, — строго ответил он, — берегитесь! Тем более что всяк из вас, в том числе и вы, можете подвергнуться тому же.

Он помолчал.

— Вы нас укоряете, наконец, в насилиях, — заключил он, — но сами же вы во всем виноваты; вы безрассудно сожгли собственные села и города, госпиталей и аптек у вас нет. Куда же, скажите, девать нам ваших же немощных и больных? Сдавать вашим партизанам? Слуга покорный! Вы отлично поймете, что отсталые и больные оправятся, а оправясь, нанесут нам неисчислимый вред. Необходимость каждой войны... а вы — ее зачинщики...

Лежа в бурю и стужу на мерзлой земле, и чем далее, тем чаще слыша ужасные, каждый день повторявшиеся выстрелы, Перовский с ужасом увидел, что его ноги разболелись и стали пухнуть. Он опасался заснуть, чтобы во сне не отморозить ног. Забываясь краткой, тревожной дремотой, он вскакивал в испуге и начинал ходить, стараясь себя размять и отогреть.

Отряд с пленными миновал Можайск и подошел к Бородину. Здесь, пятьдесят два дня назад, в присутствии Перовского, гремело столько орудий и пало столько мертвых и

раненых. Невдали же отсюда, из Новоселовки, три с половиною месяца назад Базиль уезжал в армию, такой счастливый и с такими светлыми надеждами.

Стало таять. Был ветреный, холодный вечер. Начинал опять накрапывать дождь. Окоченелые от стужи пленные и их провожатые обрадовались привалу, прилегли в обгорелых остатках какой-то деревушки, невдали от обширного холма, по бокам и у подошвы которого во множестве еще валялись неубранные тела людей и лошадей.

— Боже мой! — сказал пленный русский офицер, у которого отняли коляску. — Смотрите, я узнал... ведь это курганная батарея Раевского!

Базиль вспомнил Наполеона, скакавшего сюда со свитой на белом коне.

Едва пленные прилегли, между ними неожиданно раздалась залихватская плясовая песня. Иные встретили ее дружным хохотом. Пел веселый верзила Сенька Кудиныч. Он, вскидывая руки вверх и глядя на свои ноги, плясал и приговаривал:

Сидит сова на печи,
Крылышками треплючи;
Ноженьками топ, топ,
Оченьками лоп, лоп.

Сенька, очевидно, проделывал ногами и глазами то, о чем пел, так как смех слушателей не прекращался.

Перовский с содроганием слушал это лакейское шутовство. Он размотал тряпки на своих ступнях, приподнял их и увидел, что его ноги, от колен до подошв, были покрыты ссадинами, а кое-где даже и ранами. В тот день он был очень голоден и сильно обрадовался полугнилой луковице, найденной в соре деревушки, где остановили пленных.

«Погиб я, погиб!» — думал он, безучастно глядя на французских солдат, которые тем временем пустились рыться в пепле и соре деревушки, также отыскивая там жалкие остатки съестного.

Рослый фельдфебель, снявший с Базиля сапоги и в последнее время ходивший в заячьей женской душегрейке и с белой, где-то добытой шелковой муфтой, взял часть конвойных и с топором повел их к редуту.

В сумерках вечера оттуда послышались странные звуки, точно там, на безлесном холме, рубили дрова.

— Рубят ноги мертвецам, — усмехнулся, подсаживаясь к Перовскому, Кудиныч, — сапоги сымают.

— Ну, так что же, — ответил, заплетая себе ноги, Базиль, — мертвому все равно...

— А как ён еще жива.

— Кто? — удивился Базиль.

Кудиныч опять оскалил зубы.

— Да мертвец-то, — сказал он.

— Полно, Семен, почти два месяца прошло.

— Не верите, барин? Давеча Прошка, Архаровых буфетчик, набрел в партии у Татаринова, что ли, на одного такого же убитого, ткнул его этак-то на ходу ступней, а ён и охнул... жив! Мы к нему: чем ты, сердечный, жил столько дён? Я, говорит, ребятушки, лазил ночью, вынимал из сумок у настоящих мертвых сухари и ел.

— Куда же вы его? — спросил Базиль.

— Кого?

— Да этого-то живого?

— А куда же, — ответил Кудиныч, — ён все просил — прекратите вы меня ради Христа, выходит — добейте; ну, куда? Не все наши разбежались, авось его найдут и сберегут.

XXXI

Отряд пленных достиг Красного. Невдали от него Перовский убедился, что силы окончательно ему изменяют. Он уже едва тащился, не помня и не сознавая, как и где он шел. То он видел себя впереди отряда, то чуть не сзади

всех. Его била лихорадка, попеременно бросая его в холод и жар. Он пришел к ясному и бесповоротному убеждению, что его конец близок. В тот день французы пристрелили еще несколько отсталых.

Смеркалось. Перовский, в бреду, в полузабытьи, шагал из последних сил. Он, замирая, вглядывался в придорожные безлистые вербы, к которым приблизился отряд, и с болезненным трепетом соображал, у какой же именно из этих верб он окончательно пристанет, упадет, и его безжалостно пристрелят.

— Барин! — раздался возле него знакомый голос Кудиныча.

Перовский испуганно обернулся.

— Что тебе? — спросил он.

— Тише, барин, — проговорил вполголоса Кудиныч, — вижу, вы измаялись; моченьки нету и моей... замыслил я, сударь, бежать; так мне все теперь равно, возьмите мои лапти.

— Как лапти? А тебе? — возразил, не останавливаясь, Перовский. — Опомнись, где тут думать о побеге? Поймают, убьют...

— Одна, ваше благородие, смерть! — ответил Кудиныч. — Вперед ее наживайся — придет, не посторонишься; сподобит Господь, уйду и в подвертках! А это — снаружи только лапти, а снутри валенки... очень удобно! Вот и привал.

Отряд в это время подошел к опушке леса и остановился. Кудиныч проворно сел на землю и снял с себя валенки.

— Извольте принять Сенькину память, — сказал он.

— Одумайся, Семен, — ответил Базиль, — у тебя, наверное, есть мать, отец; когда-нибудь да увиделся бы с ними, а так...

— Голяк я, сударь, и сирота, как есть... а что затеял — исполню.

— Одумайся, говорю тебе, следят за нами в столько глаз; поймают...

— Оно точно, налетает топор и на сук; только увидите, — ответил, загадочно куда-то посматривая, Кудиныч. — Валенки же, сударь, мне Глаша про запас к осени поднесла, как уезжала из Москвы с господами; сапоги отняли французы, а в этих дошел, — дойдете и вы.

Перовский не возражал. Сенька помог ему переобуться. Ощущая невыразимую отраду от надетых просторных теплых и оплетенных сверху лыками валенок, Базиль даже не пошел к общему котлу, а прилег в затишье оврага, куда от ветра попрятались более изморенные пленные, и крепко заснул.

«И у Сеньки своя зазноба!» — думал, засыпая, Базиль.

Хмурый вечер, редут с мертвыми телами, конвойные и овраг — все исчезло. Перед ним снова было летнее небо, а на небе ни тучки. Базилю представилось, что он с Авророй шел по какой-то зеленой, чудно пахучей поляне. Голубые и розовые цветы сплошь застилали травяной ковер. С небесной синевы неслись песни жаворонков. Над поляной порхали бабочки, роились мухи и жучки. «А молишься ли ты Покрову Божьей Матери?» — спросила Перовского Аврора. Он расстегнул мундир, стал искать иконку, которой, как он помнил, она благословила его на прощание, и не находил. Его пальцы судорожно бегали по груди, опускались в карманы жилета и истрепанной, порванной его шинели. Он, смешавшись и не глядя на Аврору, думал: «Боже мой! Да где же образок? Неужели я его потерял?.. И где, где?» Аврора, пристально глядя на него, ожидала.

Кто-то сильно толкнул Перовского. Над его ухом раздался громкий, суровый оклик. Он открыл глаза. Над ним стоял, в женской меховой кофте и с белой шелковой муфтой на перевязи, фельдфебель. Начинался рассвет. Кругом опять моросил дождь.

— В дорогу, пора! Экой соня! — твердил, теребя Перовского, фельдфебель.

Базиль быстро встал, оглянулся. Отряд уже выстроен над окраиной оврага и готовился выступить. Но едва пере-

довая часть пленных двинулась и, волнуясь, вошла в опушку леса, раздался выстрел, потом еще несколько. Базиль вздрогнул, удивляясь, что знакомые ему выстрелы необычно послышались впереди, а не сзади отряда. В бледных сумерках утра перед опушкой леса что-то суетилось. Базиль, пройдя еще несколько шагов, разглядел, что часть конвоя, отделясь от отряда, гналась за кем-то по лесу. Другие осматривали что-то неподвижное и темное, лежавшее навзничь у дорожной канавы. Раздавались тревожные крики. Отряд скучился, остановился. Пошли толки. Все спрашивали, и никто не мог дать точного ответа.

Вскоре оказалось, что один из пленных — именно Кудиныч — при входе в лес нежданно выхватил у ближайшего конвойного ружье и, отмахиваясь его прикладом, бросился в кусты. Будивший Перовского длинный фельдфебель в кофте и с белой муфтой первый опомнился и скомандовал стрелять по беглецу, достигшему уже чащи дерев. Выстрелы затрещали. Сенька обернулся, прицелился из-за ветвистого дерева и уложил фельдфебеля на месте. Пока остальные спохватились и со штыками наперевес, по вязкой желтой грязи погнались за ним, этот сильный, рослый человек, мелькая обернутыми в тряпки ногами, как легкий степной заяц, перемахнул через ближние кусты и поляну, бросился в гущину, достиг небольшого ручья, кинулся в воду, переплыл на другой берег и скрылся в темной чаще без следа. Погоня снова стреляла по нем, уже наугад, потом оставила его, решив, что одним из выстрелов беглец, перебегая поляну, был ранен и по всей вероятности опасно. Это было перед Вязьмой.

Все уменьшаясь в количестве, отряд пленных дошел до Смоленска и направился к Витебску. Выпал снег. Путь становился непроходим. Вынося тяжкие, нечеловеческие страдания, первые отряды пленных миновали русскую границу в страшную метель и при двадцатиградусном морозе.

Перовский благодаря валенкам Сеньки более терпеливо перенес тягости пути.

«Кудиныч, Кудиныч! — мыслил он, вспоминая его. — Ты спас меня, добрая русская душа, но жив ли, уцелел ли ты сам? И если действительно, как уверяют, ты ранен погоней, спаси тебя Бог и вознагради за то, что ты мне, молодому, жаждущему жизни, дал средство еще пожить, дал возможность бороться, страдать и надеяться. Не вечно же над нами будет длиться эта пытка цивилизованных палачей! Рано ли, поздно ли, авось возвратится то, что было мне так близко и что я, по-видимому, навсегда потерял».

В Польше пленных взяли на подводы. Пруссию они миновали, хотя сильно голодая, в крытых экипажах. Перовский в Пруссии заболел; лихорадка сменилась горячкой, и он пролежал более двух месяцев в госпитале. Здоровье Базиля возвратилось с весной. Сердобольная жена и дочь лечившего его врача, когда он стал оправляться, принесли ему букет весенних цветов. Увидев цветы, он разрыдался.

«Аврора, Аврора, — мысленно повторял он, глядя на солнце и цветы, — где ты? Увидимся ли с тобой?»

XXXII

Княгиня Анна Аркадьевна Шелешпанская, оставив Москву за два дня до вступления туда французов, изнемогла дорогой от огорчений и суеты и с остановками, то разбивая палатку у дороги, то заезжая на постоялые дворы, успела добраться только до своего коломенского поместья, сельца Ярцева, через которое обыкновенно лежал ее дальнейший путь в ее тамбовскую вотчину, село Паншино. При малейшем овраге или холме княгиня кричала: «Стой, стой, не могу!» — и выходила из экипажа. В Паншине издавна была более устроенная усадьба, и теперь, с начала августа, там, в ожидании бабки и сестры, проживала с сыном Ксения Валерьяновна Тропинина. Ярцево было в стороне от большой дороги, верстах в девяноста от Москвы и около двадцати верст, не доезжая Коломны.

На второй день пути, поздно вечером, уже в виду Ярцева, странники приметили за собою сильное зарево.

— Ах, бабушка, ведь это горит Москва! — первая вскрикнула, ехавшая в карете с бабкой Аврора.

Экипаж остановился. Кучер и слуги, разглядывая зарево, делали разные предположения. Сомнения не было: французы заняли и зажгли Москву. От такой новости княгиня еще более смутилась и расхворалась. С трудом доехав до Ярцева, она объявила, что далее двинуться не в силах и должна некоторое время перебыть здесь. Кстати, в Ярцеве она застала свой московский обоз с Маремьяшей, новоселовской Ефимовной и прочей прислугой.

— Французы воротились от Бронниц, — говорила княгиня, — я теперь покойна; до них отсюда далеко, да их и сторожит Кутузов.

С помощью Авроры и Маремьяши ярцевский дом был наскоро приведен в порядок, и все в обиходе княгини по возможности было налажено. В полуопустелой Коломне накупили провизии, нашли и договорили врача — навещать больную, а в запущенном флигеле и дворовых избах кое-как разместили прибывшую с княгиней и при обозе ее многочисленную московскую дворню, слуг, буфетчиков, поваров, парикмахеров и горничных. Разобрав сундуки и ящики, Аврора нашла даже кровать княгини на стеклянных ножках, с шелковыми подушками и одеялом и, в видах спасения от грозы, как в Москве, снабдила ими спальню бабки. Княгиня, завидев при этом шелковый портрет Наполеона, вышла из себя и велела привесить его в зале, с надписью «Assassin et scélérat» («Убийца и злодей»).

В Ярцеве кое-как устроилась жизнь, похожая на ту, которую Анна Аркадьевна обыкновенно вела в Москве. Утро проходило в одевании княгини и в ее жалобах на здоровье, и в кормлении собачек Лимки, Тимки и Тутика; потом Аврора, в ее спальне или в гостиной, если туда выходила княгиня, читала ей что-нибудь вслух. Княгиню обрадовал урожай плодов в ярцевском саду; ей на блюде были прине-

сены ее любимые яблоки: «звонок» и «мордочка». Вечером, у чайного стола, либо опять было чтение, либо Маремьяша и Ефимовна поочередно, с чулками в руках, рассказывали о том, что слышали в тот день от старосты и дворовых о местных и иных новостях, а княгиня под их толки раскладывала пасьянс. Лакеи играли в передней в носки. Горничные хором в девичьей пели песни, причем им подтягивали густым басом Влас и нежным баритоном арапчонок Варлашка. Ложились спать после раннего ужина.

В этом селе и в его окрестностях было, впрочем, полное отсутствие новостей с недалекого театра войны. И если бы не уездный врач и коломенский предводитель дворянства, изредка заезжавшие к княгине с отсталыми газетами и словесными слухами о русской армии, оставившей Москву, можно было бы, глядя на эти мирные поля и обычно копошившихся по ним крестьян, предполагать, что грозная, упавшая на Россию война происходила где-либо не в восьмидесяти верстах оттуда, а за тридевять земель и в ином, тридесятом государстве. Это возмущало и выводило из себя Аврору столько же, как и балет и опера, шедшие в Москве чуть не в самый день вступления туда французов.

Погода с половины и до конца сентября стояла теплая, светлая и сухая. Листья на деревьях, в саду и в окольных березовых лесах еще были свежи и почти не осыпались. Их зелень только кое-где была живописно тронута золотом, лиловыми и красными тенями. Сельские работы шли своим чередом. Ярцевские и соседние мужики, посеяв рожь, пахали, двоили пахоть под яровые хлеба, убирали огороды, чинили свои избы и дворы и ездили на ярмарки и в леса. Старики и бабы по вечерам и в праздники являлись к давно не виданной ими княгине, поднося ей кур, яйца и грибы и обращаясь к ней с разными нуждами и просьбами.

Свои и чужие мужики просили старую барыню о дозволении нарубить хворосту в заповедной господской роще, за-

нять в барском амбаре овсеца или круп либо предлагали купить у них собственного изделия сукон и холста. Были и такие, что просили Анну Аркадьевну разобрать ссору из-за гусей или поросенка какой-нибудь бабушки Маланьи с падчерицей либо тетки Устиньи с деверем. Аврора смотрела на эту муравьиную копотню, слушала просьбы, приносимые княгине, и удивлялась, как могут кого-либо теперь занимать такие пустяки. Мучимая сомнениями об исходе войны и об участи жениха, Аврора искала отдыха в уединении. Она была рада, что в Ярцево с обозом привели ее верхового коня. Садясь на Барса, она вечером уезжала в окрестные поля и леса и носилась там до поздней ночи.

Вести о действиях русской армии, о Бородине, о ране и смерти Багратиона и о других тяжких событиях, к изумлению Авроры, не производили особого смущения в Ярцеве и ближних деревнях. Газетные вести опаздывали невероятно. «Московские ведомости» прекратились 31 августа и снова начали выходить уже гораздо позже, только 23 ноября. Прибавления к «С.-Петербургским ведомостям» и к «Северной почте», помещавшие донесения Кутузова через две и три недели по их отправлении, получались в Зарайском уезде через неделю и более по их выходе в Петербурге.

Одно, что непрестанно напоминало о войне, было страшное, не потухавшее зарево день и ночь горевшей Москвы. Аврора с содроганием, проводя ночи без сна, разглядывала из своей комнаты это зарево, думая о том, что выражало оно и сколько страданий, сколько гибели скрывалось за ним. Но и ужасающие подробности пожара и гибели Москвы, донесясь сюда с последними московскими беглецами, не особенно и ненадолго заняли досуги местных жителей. Их вскоре сменили толки о других событиях.

Ярцевский староста сперва Маремьяше, потом Авроре сообщил, что крестьяне окольных и более дальних деревень, прослышав о каких-то французских печатных листах, стали сперва втихомолку, потом громко уверять, будто скоро всем

откуда-то объявится полная воля, что государя Александра Павловича ждут во Владимир, а затем почему-то и в самую Коломну и что одних из господ государь ушлет куда-то на Кавказ, других — по русским городам, «писать бумаги», а господские земли, леса, усадьбы и прочие угодья раздаст крестьянам. Мужики, вследствие этих слухов, начали грубить приказчикам и старостам и отказываться от обычных работ на барщине, а иные, и вовсе наконец выйдя из повиновения властям, стали грабить имущество владельцев и уходить за Волгу и в соседние леса. Кое-где начались и поджоги помещичьих усадеб.

— Я поговорю с крестьянами, зови их! — смело объявила Аврора. — Они не понимают, их, очевидно, мутят злые люди.

— Что вы, что вы, барышня, — ответил староста, — наши покойны; еще наведете их на какое баловство и грех; оставьте их, набрешутся и перестанут.

Аврора нашла нужным предупредить о том бабку. Недомогавшая княгиня еще более расстроилась и, уже начав было оправляться, вовсе слегла в постель. Аврора послала нарочного гонца в Паншино к сестре. «Наверное, и Илья Борисович уже там, — мыслила она, — он приедет и всему даст настоящий толк и лад». Но из Паншина приехала одна Ксения с ребенком. Она была непохожа на себя и, вместо утешения, привезла в Ярцево новое горе: о ее муже также не было никаких известий. Он, очевидно, не успел выехать из Москвы и попал в плен. Сестры обменялись мыслями, наплакались и общими силами решили успокоить бабку. Княгиня была безутешна.

— Боже, и за что я такая несчастная, — говорила она, вздыхая, — только бремя для себя и всех вас! Вон опять и кашель, и такие все мысли... Скорее бы в Паншино, подалее от этих мест...

— И не думайте, бабушка, — возражала Ксения, — да вы и понятия не имеете... там еще хуже; я измучилась... Здесь хоть поблизости город, доктора, все-таки

кое-что к нам доходит и о недалекой Москве... Там же дичь и глушь и также волнуются мужики, но какая разница? Здесь невдали войско, целая армия, а там, кто защитит? Солдат вывели, и во всем уезде один с инвалидами исправник!

Аврора поддержала сестру. Княгиня покорилась их совету. Терпеливо раскладывая пасьянс, она думала:

«Не может же дело долго длиться; на днях, без сомнения, будет новое генеральное сражение — кто кого побьет, неизвестно, — но затем, разумеется, вскоре объявится мир, и мы вернемся в Москву. Ну, кое-что там и ограбили, да мы все почти главное вывезли, а дом, наверное, цел».

Так прошло несколько дней. Но как-то вечером Аврору вызвали на крыльцо. Там стояла в слезах Ефимовна. Она, всхлипывая, объявила, что пришел новоселовский староста Клим.

— Откуда он? — спросила Аврора, вспомнив, что Новоселовка сгорела.

— Его и других наших мужиков, — ответила Арина, — французы гоняли в Москву возить своих раненых; он только что оттуда убежал.

— Зови, няня, зови его! — сказала Аврора.

— Да вот он, — ответила Арина, указывая с крыльца.

Из темноты выдвинулся оборванный, босой и с повязанной головой староста. За ним стояла, тоже плачущая, Маремьяша.

— Долго ты был в Москве? — спросила Аврора.

— Все это время, барышня, почитай месяц! Запрягли нас, ироды, в работу: мы на себе таскали им всякую всячину, рубили дрова, копали картошку, носили воду и мололи ручными жерновами муку.

— Бонапартовы зато подданные стали! — заметила, злобно плюнув, Ефимовна.

— А про Василия Алексеевича... Перовского... что-нибудь слышал? — спросила Аврора.

— Где, матушка барышня, было слышать! Надругался над нами враг, истомил, истиранил, а кого и прямо за ослушание извел. Мне привелось уйти...

— Был же ты, Климушка, на Патриарших прудах? — спросила Аврора. — Видел наш дом?

— Посылали нас злодеи в Разумовское и на Пресню, проходили мы и в тех местах; только ни Бронной, ни возле прудов, ни Никитской и Арбата, как есть, уже не нашли... все погорело, все Господь прибрал.

Аврора взглянула на Маремьяшу, та утирала слезы.

— А бабушкин дом? — спросила Аврора.

— Все стало пусто, один пепел, — ответил Клим. — Тут мы с ребятами и решили наутек.

— Ушли благополучно?

— Какое! Сцапали нас на Орловском лугу эти французы, — ответил Клим, — и стали уже держать взаперти; посылали на работу не иначе как с конвоем. Да и тут нам помог Господь. Пошли мы раз, с заступами и ведрами, к графскому чьему-то колодцу; вода там преотличная. Велено было набрать воды и окопать колодезь. Уж больно там намесили грязи, не подойти. Конвойных было четверо, а нас, пленных, с десяток, и все-то мы хворые, голоднешеньки, едва ноги волочим. Солнце село, место было глухое, а французы такие веселые, перед тем где-то, видно, выпили. Мы и сговорились, первый надоумил Корнюшка, — что терпеть? Переглянулись у колодца, кинулись разом, да всех, как есть, французов с их ружьями и побросали вглубь; засыпали их тут же землей и ушли огородами в лес, а ночью и далее.

— Живых засыпали? — с ужасом спросила Аврора.

— А то как же? — ответил Клим. — Они талалакали, талалакали по-своему, пока ребята заступами кидали на них землю, а там и стихли... Господь их прости! — заключил Клим, взглянув на небо и набожно крестясь. — И такие все были красивые... а один унтер, должно быть из дворян, нарядный да белолицый такой, в сторонке держался да все весело что-то напевал.

XXXIII

Сестры не решились сообщить бабке тяжелую весть о сожжении ее московского дома. Они отправили Клима в Паншино.

«Пусть бабушка надеется, что ее дом уцелел, — думали они, — а тем временем как-нибудь ее подготовим».

Они день и ночь горячо молились, прося у Бога — одна мужу, другая жениху — здоровья и сил для перенесения тяжких испытаний, посланных им провидением. Но живы ли они? Об этом они страшились и думать. Раз только Аврора, как бы нечаянно, сказала:

— А если Базиля нет более на свете...

Она хотела продолжать и не могла.

«О, если это так, — с ужасом досказала она себе, — тогда все кончено... я знаю, что мне тогда остается предпринять...»

Однажды, в праздник, Аврора с Ксенией поехали в соседнее село Иванчиных-Писаревых Чеплыгино, в церковь, и во время обедни выслушали полученное здесь, запоздавшее, воззвание синода о защите отечества и православной веры от нашествия нового Малекиила, Бонапарта. Старик священник с чувством прочел это воззвание. В нем русский народ побуждался к непримиримой борьбе с галлами, причем Россия уподоблялась богобоязненному и смиренному Давиду, а Наполеон — дерзкому и безбожному Голиафу. «Где же в сущности этот избавитель Давид?» — спрашивала себя в слезах Аврора, поглядывая в церкви на понурившихся и молча вздыхавших крестьян, которые на ее глазах так мало принимали к сердцу общее всем горе войны, а, напротив, как она узнала, толковали об этой войне как о чем-то, что, по их мнению, должно было им принести новое и невиданное счастье на земле. «Давид и пастухом был в душе поэт, — мыслила Аврора. — Только возвышенной, одаренной благами просвещения природе доступны высокие, сознательные порывы любви к родине и отмщения за ее честь. Базиль в

плену, быть может, погиб, как гибнут тысячи других, истинных героев. Кто же за них призовет утеснителя к суду? Кто отомстит за их страдания, их гибель и смерть?»

Священник, прочтя воззвание, сказал простую и трогательную проповедь на слова пророка Исаии: «И прииде на тя пагуба, и не увеси», — а после службы, за отсутствием помещиков своего села, подойдя в церкви к плакавшим Авроре и Ксении, пригласил их к себе на чай. С его женой, навещавшей княгиню, они познакомились ранее и охотно пошли в его дом. За чаем разговорились. Священник старался успокоить сестер. Он им передал слух, что Бонапарт, по всей вероятности, вскоре попросит мира, а при этом несомненно произойдет и размен пленных.

— Где же теперь Бонапарт? — спросила Ксения.

— Пагуба придет равно и на него, — ответил священник, — он это чует и, аки лев, ходит взад и вперед по своей клетке. Не дождались грабители выгод... Наше войско цело и у себя дома, а их армия, аки воск пред лицом огня, тает и убывает с каждым днем.

Сестры с жадностью слушали эти радостные слова.

— А сколько горя и убытков! — сказала старуха попадья. — Одни Разумовские да граф Бутурлин, слышно, от пожара понесли убытку по миллиону. Пленных мучат работами, истязают.

— Ну, не всех обижают и теснят, — перебил священник, знаками останавливая жену, — многие спаслись. Зарайский мельник намедни передавал, что князь Дмитрий Голицын, можно сказать, на собственных руках вынес ночью из Москвы больного Соковнина, когда в город уже вступили французы. Негде было достать лошадей; спасавшиеся сначала шли пешком, а у заставы князь прямо поднял себе на плечи друга, истомленного хворобой и ходьбой, да и пронес его пустырем к нашему арьергарду. Много было истинно славных подвигов. Ростопчин лично поджег в Воронове свой дом и на его воротах прибил бумагу: «Жгу, чтоб ни единый француз не переступил моего порога».

— Ведь это сосед нашего дяди Петра, — обратилась Ксения к сестре.

— Так у вас есть дядюшка? — спросил священник.

— Петр Андреевич Крамалин, мы по отцу Крамалины.

— Что же вам пишет дядюшка? От Серпухова ведь вблизи вся наша армия.

— Он часто хворает, — ответила Ксения, — и редко пишет. Последнее письмо писал нам в Паншино.

«Да, — рассуждала Аврора, слушая этот разговор, — из Москвы могли спастись те, кто туда дошел или захвачен там... а Базиль? Остался ли он жив после Бородина? И найдется ли для него, как для Соковнина, спаситель-друг?»

В душе Авроры, несмотря на ее сомнения, теплилась какая-то смутная, ей самой непонятная надежда касательно судьбы жениха.

«Он спасен, — думала она, — и я его когда-нибудь, может быть, даже скоро, увижу! Не может погибнуть такая молодая жизнь!»

Простясь с священником, сестры собрались обратно домой. Ксения, любуясь погодой и желая развлечь опять загрустившую Аврору, предложила ей пройтись несколько пешком. Попадья проводила их за околицу Чеплыгина. Отсюда до Ярцева было версты четыре, не более. Дорога шла, вперемежку, холмами, лесом и полями. Сестры, распустив зонтики, пошли кратчайшим проселком. Сперва их сопровождала коляска. Но, чтоб остаться вполне наедине, они, простясь с попадьей и пройдя версты две, велели кучеру ехать вперед, а сами пошли еще прямее, боковой межой.

День был превосходный. В прозрачной и светлой синеве неба кучились кудрявые барашки легких белых облаков. Вороны и галки, лениво каркая, перелетали с одной лесной заросли на другую. Аврора и Ксения, спустясь в лощину и опять поднявшись на косогор, зеленевший всходами молодой ржи, толковали о посланном в Коломну за покупками нарочном, который к ночи должен был привезти давно ожидаемую новую почту. Кругом была полная тишина. В

безветренном, теплом и пахучем от соседнего леса воздухе тянулись нити бродячей паутины.

Уже виднелась старая ярцевская роща и слышался лай собак скрытой за рощею деревни. Аврора увидела, что из рощи показалась какая-то девочка, бежавшая в кустах вдоль опушки.

— Смотри, — сказала она, хватая за руку сестру.

— Ну, что ж, — ответила Ксения, сама вспыхнув от непонятной тревоги, — девочка... рвала в роще ягоды или грибы, увидела лесника и прячется в кусты.

— Нет, нет, Ксаня! Да смотри же, вон! — продолжала, остановившись, Аврора. — Она полем, сюда... и прямо к нам... неужели не видишь?

— Какая ты, право, смешная, — ответила Ксения, продолжая идти и усиливаясь казаться спокойной, — во всем ты видишь необычное.

— Стой! Она машет! — проговорила Аврора.

Ксения также остановилась. Девочка, маша руками, действительно бежала от рощи к косогору, по которому шли сестры. Спустясь в ложбинку, где среди конопляников был мостик через ручей, она снова показалась на пригорке. Скоро на межнике, между ближних зеленей, послышался бег проворных босых ножек девочки.

— Да это Феня, внучка Ефимовны! — радостно сказала Ксения. — Наверное, что-нибудь важное.

Аврора, бледная, как мел, молча впивалась глазами в подбегавшую девочку.

— Это ко мне! — не вытерпев, вскрикнула она и, путаясь ногами в платье, бегом бросилась навстречу Фене.

«Но почему же именно к ней? — с завистью подумала, идя поспешно за нею, Ксения. — Неужели ей, счастливице, удастся ранее меня? Нет, какая же я завистница! Бог с ней...»

— Дьякон, дьякон! — радостно крикнула Аврора подходившей и растерянно на нее смотревшей сестре.

— Какой дьякон? — спросила, запыхавшись, Ксения.

— Из Москвы бежал... вдвоем, вдвоем! — как безумная, кричала Аврора, то обнимая сестру, то тормоша и целуя растрепанную, покрасневшую от бега Феню.

— Где дьякон и с кем бежал? — спросила, едва помня себя, Ксения.

— У нас в Ярцеве! — ответила, ломая руки, смеясь и плача, Аврора. — Его подвезли с поля мужики; Ефимовна первая догадалась к нам Феню, а тот еще в городе...

— Да кто в городе, кто? — обратилась Ксения к девочке.

— Барин.

— Какой?

— Не знаю...

XXXIV

Сестры без памяти бросились домой, миновали рощу, деревню и, едва переводя дыхание, прошли черным ходом в дом.

— Где он? Где дьякон? — спросила Ксения, бурей пробегая через девичью.

— Тамотко, — ответила сияющая Ефимовна, указывая на спальню княгини.

Ксения, ухватясь за сердце, остановилась у двери, сзади Авроры. Силы ей изменяли, кровь стыла в жилах. Она была готова упасть.

«Кто же этот дьякон? — мыслила Аврора, с тревогой берясь за скобку двери. — Ежели и впрямь Господь помог и с дьяконом возвратился Базиль?»

Дверь отворилась. Аврора вошла и остолбенела. У кровати княгини рядом с человеком в рясе сидел кто-то, обросший бородою, в дубленке и высоких сапогах. Аврора сперва не узнала его. В комнате, где так скоро еще не ждали сестер, вдруг как-то странно стихло.

«Что же они все молчат и смотрят на меня? — подумала, цепенея, Ксения. — Очевидно, привезена страшная весть и

они собираются меня к ней приготовить... Ильюша убит, его нет более на свете!»

Мгновенно вспомнилось ей тайное решение, принятое ею на днях: если муж убит, бросится в омут за садом. Ее мыслям представилась знакомая дорожка в саду, крутизна и под нею река, с шумом бегущая к мельнице. «И что же иное мне остается без него?» — решительно подумала она.

Вдруг кто-то тронул Ксению за плечо. Она вздрогнула, подняла голову и замерла.

Перед нею с ребенком на руках стояла кормилица. Только что проснувшийся Коля, в чепчике, сбившемся с лысой головы на румяное заспанное лицо, с миловидной родинкой, протягивал к ней сжатые пухлые кулачки. Но все смотрят не на Колю. За ним виднелось чье-то другое, полузнакомое и как бы где-то Ксенией виденное лицо, с добрыми и счастливо улыбавшимися глазами.

«Да что же это, что?» — подумала Ксения, радостно и беспомощно простирая перед собою руки.

— Он!.. Ильюша! — в безумном восторге вскрикнула она, бросаясь в объятия мужа и целуя его бледное бородатое лицо.

Все радостно плакали.

— Ах, Ксанечка, Ксаня, — твердила, отирая слезы, Аврора, — счастливица ты и достойна своего счастья.

Тропинин, как показалось Авроре, с грустью смотрел на нее.

«Он что-то знает тяжелое, роковое, — подумала она, — и, очевидно, таит от меня, не решается сказать».

Общая беседа в спальне княгини, с бесконечными расспросами, воспоминаниями и предположениями, длилась до поздней ночи. Здесь странников накормили обедом, здесь они пили чай. Княгиня вспомнила о бане и велела ее готовить гостям. Илья в баню ушел с Власом. Дьякон отказался.

— Где думать о скудельной плоти, — сказал он, — когда душа ноет и разрывается.

Он, по желанию княгини, подробнее передал о своем горе и о бегстве из Москвы.

Странники пешком и на ямских добрались в Паншино и, узнав от Клима, что семья княгини в Ярцеве, направились сюда. Тарантас, в котором они ехали, обломался в нескольких верстах от Ярцева, и они сюда были подвезены соседними мужиками. Аврора подсела к дьякону.

— Где же спасенный вами ваш племянник? — спросила она.

— Оставил в Коломне; там в певчих его крестный.

— Вы тоже оттуда родом?

— Нет, я из Серпухова; отец и мать давно померли; но там, в подгородном селе, брат моей жены держит постоялый, и я до времени еду к нему. Это — не доезжая Серпухова, за Каширой.

— Ну, пора странникам и на покой, — сказала княгиня, когда возвратился Илья.

Все стали расходиться. Аврора, выйдя в залу, обратилась к свояку.

— А Базиль? Что же вы ничего не говорите о нем? — спросила она. — Быть не может, вы что-нибудь знаете.

— Где же, сестра, мне знать? — ответил Илья. — Я был схвачен в самом начале, а пленных держат не в одном месте. Успокойтесь, я убежден, что Базиль спасен и что вы его скоро увидите.

XXXV

«Нет, он, наверное, что-нибудь знает и держит в тайне от меня и от всех! — шептал Авроре внутренний голос. — Сестре возвращен любимый человек, а их ребенку отец. Они вместе, и я не смею им завидовать. Но я-то, я? Что будет со мной?»

Сон бежал от Авроры. Мысли одна мрачнее другой роились в ее голове. Простясь со всеми, она вошла в свою комнату, села к окну и задумалась. В доме после необычной суеты все наконец затихло. В окно глядела теплая безлунная, но светлая ночь. Звезды ярко мерцали на небе.

Аврора набросила на голову платок и вышла в сад. Ее мучило сознание, что она, точно лишняя на свете, что все идет мимо нее и что она ни в чем, что совершается вокруг, не принимает и не может принять близкого участия. Три обстоятельства, бывшие особенно для нее важными в жизни, пришли ей в голову: смерть матери, разлука с отцовским домом и отъезд жениха в армию. И против всего этого, упавшего на нее так нежданно и негаданно, она оказалась беспомощною.

«Да иначе и быть не могло! — рассуждала Аврора, бродя по саду. — Я, нет сомнения, обречена на одни страдания; так мне определено скупой и злой судьбой!»

Ей вспомнился ее детский ужас и слезы у гроба матери, ее крики: «Мама, встань, оживи!» Она представляла себе отца, когда он вез ее и Ксению в институт, и она, как теперь помнила, почему-то тогда предчувствовала, что расстается с ним навсегда. Ей вспомнилась до мелочей минувшая весна, знакомство с Перовским, ее помолвка, последние с ним свидания и его отъезд из Москвы.

«Сколько с тех пор событий! Сколько нового горя! — сказала она себе, глядя с верхней, садовой, поляны за реку, над которой все еще светился отблеск московского зарева. — Он тогда, на прогулке, — мыслила она, — сравнил вечерний вид Москвы с морем огня, а церкви и колокольни с мачтами пылающих кораблей... Его сравнение пророчески сбылось...»

Аврора спустилась в нижний сад. Нагибаясь в темноте от нависших знакомых ветвей, она шла береговой дорожкой. Вверху послышалось ржание лошади.

«Барс, — подумала Аврора, — это отзывается он: я сегодня в суете не покормила его, и он окликает меня».

Ей вспомнился дядя Петр, его деревенька, верховой конь Коко и поездки с дядей на охоту. О как бы она теперь желала видеть дядю! Снизу, сквозь деревья, проглянул на пригорке очерк дома. В одном из его окон мерцал слабый свет.

«Лампадка в детской, над изголовьем Коли, — сказала себе Аврора, — все спят, пора и мне».

Но ей не хотелось еще уходить. Ночь была так обаятельно тиха. За рекою паслось в ночном крестьянское стадо. Оттуда, при всяком шорохе на лугу, доносились блеяние овец и лай собак. Вспомнив о скамье под липами, у реки, где в последнее время она так часто сидела, глядя в сторону Москвы, Аврора направилась туда.

«Посижу, еще притомлюсь, — решила она, — сон придет скорее...»

Аврора подошла к липам. За ними она услышала голоса.

«Кто бы это?» — подумала она, замедлив шаги.

За деревьями разговаривали двое. Аврора узнала их. То были Ксения и ее муж.

— Вот безумие, — говорил Тропинин, — и неужели ты, такая христианка и нежная, любящая мать, решилась бы?

— Это мне пришло в голову вдруг и неожиданно для меня самой, — ответила Ксения, — и, если бы ты не возвратился, если бы тебя не стало на свете, клянусь, я бросилась бы с этой крутизны, и новым покойником в нашей семье было бы более...

Лай за рекой заглушил слова Ксении.

«Новый покойник в семье! — вздрогнув, подумала Аврора. — Умер Митя Усов; теперь же это о ком?»

Она, напрягая слух, стояла неподвижно, чувствуя, как холод бежал по ней, охватывая ее члены.

— Он не был еще женат, — проговорил Тропинин, — но какая роковая, потрясающая драма; я всегда говорил...

Дружное блеяние испугавшихся чего-то овец помешало Авроре слышать далее.

— И это ты наверное знаешь? — донеслись до нее опять слова Ксении.

— Видел списки, а чем завершилось — не мог узнать. Конец, впрочем, обычный...

— Но неужели этот маршал... без справок, без суда?

Далее, хотя все стихло за рекой, Аврора ничего не слышала. Ухватясь за сердце, она медленно отошла, поднялась в верхний сад и без памяти бросилась к дому. Пройдя

ощупью в свою комнату, она упала лицом в подушку, и долго в темной комнате раздавались ее заглушенные отчаянные рыдания.

«И что я? Куда теперь? — мыслила она. — Ужели обычная колея — траур? Явится новый жених, добрый, обыкновенный человек, и я, кисейная скромная барышня, выйду за него?.. Прощайте, несбыточные грезы и чувства, прощай, мой заветный, дорогой!»

Давно рассвело. Настало утро. День пробудился. Готовили чай. Комната Авроры не растворялась. Горничная Стеша в щелку двери видела, что барышня еще не встает, и, полагая, что она с ночи, по обычаю, долго читала, не решалась ее будить.

— Пусть ее поспит, — сказала Ксения, выйдя с мужем к чаю, — тяжело ей, бедной...

К чаю в залу вышла и княгиня.

«Ильюша возвратился, возвратится и жених Авроры», — мыслила она и была в духе.

Тропинин прочел вслух из полученных с почты писем и газет последние известия об армии. Аврора явилась в конце чтения. Ее лицо было бледнее обыкновенного, губы сжаты, глаза светились решимостью. Это был уже другой человек. Она слушала, спрашивала, говорила, но ее глаза были устремлены куда-то вдаль, и она точно не видела и не слышала окружающих ее.

Дьякон рассказал княгине, что Троице-Сергиевскую лавру отстоял Господь. Французы трижды туда подходили с целью ограбить святыню, и трижды ее заслонял густой туман.

— Наши охраняют путь к Калуге? — спросила Аврора Илью, когда он, после рассказа дьякона, прочел вслух какое-то письмо.

— Да, — ответил Тропинин. — Наполеон из Москвы посылал к светлейшему — с переговорами о мире; князь, сказывают, прикинулся дряхлым, немощным, плакал и говорил: «Видите мои слезы? Вся надежда моя на Наполеона! —

а в конце прибавил: — Впрочем, нечего думать о мире, война только начинается».

Аврора заботливо помогла сестре убрать чашки. Когда же Ксения с мужем удалилась на свою половину, а дьякон пошел готовиться в дальнейший путь, она предложила княгине дочитать вслух начатый роман «Адель и Теодор» и до вечера, как и весь следующий день, казалась совершенно спокойной.

— Удивительная Аврора! — сказала Ксения мужу. — Сколько в ней нравственной силы, как переносит горе! Но что, если бы она все узнала?

Утром следующего дня дьякон Савва пришел поблагодарить княгиню за гостеприимство. Его щедро снабдили деньгами и провизией и дали ему лошадей до Каширы. Оттуда в Серпухов он рассчитывал добраться с каким-либо попутчиком. Когда его кибитка уже стояла у крыльца, Аврора, через Ефимовну, позвала его в свою комнату.

— Вы, отец дьякон, будете в Кашире? — спросила она.

— Как же, сударыня, — не миновать.

— Сдайте там на почту эти два письма.

— С удовольствием, — ответил Савва, просматривая надписи на пакетах, — одно вашему дядюшке, а это... министру? Вот к какой особе!

— Мой жених, Перовский, — сказала Аврора, — питомец этого министра; Илья Борисович вам, без сомнения, о нем говорил. Граф, пожалуй, не знает о его судьбе, а мог бы оказать помощь своим влиянием и связями... притом же...

Хлынувшие слезы помешали Авроре договорить.

— Успокойтесь, сударыня, — произнес Савва, — я бережно сдам на почту оба письма.

— Не все, не все еще, — проговорила Аврора, отирая слезы, — как честный человек скажете ли мне истину на мой вопрос?

— По всей моей совести.

— Вы обо многом говорили по пути с моим зятем; скажите, жив ли Перовский?

Савва смущенно молчал.

— Я вам облегчу вопрос, — произнесла Аврора. — Перовский попал в плен и внесен в список приговоренных к смерти. Все это я знаю... Ответьте одно: жив ли он, или погиб?

— Если вам, сударыня, все известно, — ответил дьякон, — что же я, малый, скудоумный, могу прибавить к тому? Богом Вседержителем клянусь, ничего более не знаю.

Аврора сидела неподвижно. Слезы бежали по ее лицу.

— Погиб, погиб! — сказала она, подняв глаза на образ. — Все кончено... остается одно... Дядя невдали от Серпухова, заезжайте к нему, вручите письмо лично.

— Будьте спокойны.

— Да, ответ... попросите дядю скорее ответить.

Прошло около недели. Был конец сентября. Княгиня оправилась и однажды утром, кликнув Маремьяшу, объявила ей, что теперь, когда возвратился Илья Борисович и пока еще стоит такая хорошая погода, ничто более не удержит ее от отъезда в Паншино. Авроре и Ксении она прибавила, что французы, двинувшись от Москвы, могут, пожалуй, снова направиться в эту сторону, а потому медлить было нечего. Сестры не возражали, тем более что решения княгини обыкновенно были бесповоротны. Начались сборы в путь. Ксения с прислугой принялась за уборку и укладку вещей. Аврора также усердно помогала всем в общих хлопотах, возилась с ящиками, узлами и чемоданами и была, по-видимому, совершенно покойна.

Она зашла как-то в комнату сестры. Был вечер. Ксения, в кофте и юбке, засучив рукава, мыла на лежанке, в корытце, Колю. Аврора, присев возле, с любовью смотрела, как раскрасневшаяся счастливая сестра мылила и терла мочалкой розовую спинку и смеющееся личико Коли. Обнаженная нежная шея сестры, с золотистыми завитками волос у подобранной на гребень густой косы, точно дымилась от пара, поднимавшегося с корытца, где весело плескался ее ребенок.

— Вот удивительно, — сказала Ксения, — муж говорит, что Коля более похож на тебя, чем на меня: такой же черноглазый красавчик и ласковый. Теперь черед за тобой...

Аврора подняла на сестру глаза.

— Не понимаешь? — улыбнулась Ксения. — Надо, чтоб твой будущий сын походил не на тебя, а на меня.

— Ах, Ксаня! За что такая жестокость!

— Но почему же, почему?

Аврора встала, закрыла рукой глаза и молча вышла из комнаты сестры.

В тот же вечер она встретилась с сестрой в полутемном коридоре. Ксения несла связку каких-то вещей.

— Послушай, Ксаня, — сказала, остановив ее, Аврора, — странные вы люди; скрываете, а я все знаю...

— Что же ты знаешь? — смущенно спросила Ксения.

— Ну, да уж Бог с вами!

Сказав это, Аврора прошла далее в гостиную.

— Дьякон проговорился, — решил Тропинин, когда ему после ужина об этом сказала жена, — вот я его!

— Нет, Ильюша, — ответила Ксения, — сегодня с почты привезли Авроре какое-то письмо, и она долго над ним у себя сидела.

XXXVI

Накануне отъезда княгини, Тропинин навестил соседа-предводителя. Он ездил к нему с целью поблагодарить его за внимание к княгине и просить о защите покидаемого ею имения. Аврора также выразила желание проститься с женою чеплыгинского священника. Чтобы не томить упряжных лошадей, она поехала верхом на Барсе. Наступил вечер. За чаем сказали, что Аврора обратно прислала коня и передала через его провожатого, что к попадье приехали коломенские знакомые и она осталась, чтоб дослушать привезенные ими рассказы, а возвратится позднее, на лошадях священника.

День кончился в суете последней укладки. Истомленная прислуга едва двигалась. Подали ужин. Аврора не возвращалась.

— Экая темень, тучи нашли, не быть бы завтра дождю! — заметила Ксения, глянув в окно. — Аврору, верно, не пустили, оставили там переночевать.

— И хорошо сделали, — сказала княгиня, — послать бы к ней Маремьяшу или Ефимовну.

— Арина Ефимовна тоже там-с, — объявил Влас, все время в Ярцеве бывший как-то в тени, а теперь, в ожидании новой дороги, опять принявший важный и внушительный вид.

— Зачем Арина в Чеплыгине?

— Барышня Аврора Валерьяновна приказала накидку теплую доставить, а там всенощная, завтра канун Покрова Богородицы, и Арину Ефимовну наши ярцевские мужики туда подвезли.

Настало утро. Главные дорожные вещи были окончательно укупорены и уложены в экипажи. Дормез, коляска и две троечные кибитки стояли, запряженные у конюшни. Но туда то и дело еще носили разные ящики, корзины и узлы. Не видя Авроры, Тропинин позвал Власа и велел ему ехать за нею в коляске. Тем временем в зале готовили дорожный завтрак. Отдавая последние приказания наблюдавшему за сборами приказчику, Илья вышел на крыльцо и увидел, наконец, коляску, въезжавшую в ворота. Она внутри была пуста.

— А барышня? — спросил Илья Власа, когда тот подъехал к крыльцу и, мрачно насупив седые брови, слез с козел.

Влас вынул из-за пазухи письмо и молча подал его Тропинину.

— От кого это?

— От барышни Авроры Валерьяновны.

— Да где же она? Что все это значит?

— Барышня с вечера написала и приказала вам это передать, когда опять за ними пришлют.

Тропинин вскрыл пакет.

«Не ищите меня, — писала зятю Аврора, — и не старайтесь догнать меня и остановить. Я, по долгом обсуждении, окончательно решилась и еду к дяде Петру Андреевичу. Он нездоров и на мою просьбу прислал за мною экипаж и лошадей. В Кашире пробуду не более двух-трех часов. Навещу дядю и, при его содействии и советах, проберусь далее, в штаб армии. Не пугайтесь, квартира Кутузова недалеко от Серпухова. Я располагаю явиться лично к светлейшему и просить его о справках. Сил моих нет, я истомилась. Авось, что-либо верное узнаю о судьбе Базиля. Прошу дорогую бабушку меня простить за этот самовольный отъезд и не беспокоиться; я еду с Ефимовной, а всех и тебя, милая Ксаня, прошу — не поминайте меня лихом. Мое предприятие, может быть, неосуществимо, безумно, но я не отступлю. Вскоре узнаете все. Постараюсь подробнее написать из Серпухова и из других мест, куда меня занесет судьба. Прощайте, дорогие, до свидания, если буду жива. Но если нам в это страшное время не суждено более видеться, помолитесь, прошу, за всех тех истинных патриотов, кто искренне любит и чтит нашу, поруганную теперь, родину, за которую столько пролито крови. Другого выхода нет, я не в силах долее бороться с собой.

Ваша *Аврора*».

Тропинин прочел это письмо, еще раз пробежал его и расспросил Власа, когда, как и в чем уехала барышня. Влас ответил, что была прислана бричка от Петра Андреевича Крамалина, что священник и Ефимовна останавливали барышню, но та ответила, что отлучится ненадолго, догонит бабушку, и уехала. Тропинин бросился к жене.

«Вот они, женщины! — думал он. — Средины нет — либо кроткий ангел, либо демон скрытых и сильных страстей».

Илья и Ксения долго не решались передать этой вести княгине; наконец кое-как, при помощи Маремьяши, они приготовили Анну Аркадьевну и все ей сообщили. Княгиня сперва всполошилась, крикнула приказчика, людей и велела

скакать в погоню за Авророй. Илья ее остановил. Время было упущено, и Аврора, уехавшая в ночь на тройке дяди, в Кашире могла взять свежих ямских и теперь по всей вероятности уже подъезжала к дяде, который, без сомнения, ей даст совет скорее возвратиться домой.

Княгиня раскрыла ридикюль, вынула и понюхала спирту и спросила, который час. Тропинин ответил, что скоро полдень.

— Прикажи, Илюша, подавать завтрак, и едем, — сказала Анна Аркадьевна, — коляску же, мой хороший, оставь, и едва Аврора возвратится, вели приказчику лично проводить ее в Паншино... Такова непоседа была и ее мать, все делала по-своему и не спросясь... Впрочем, Арина — баба разумная, сбережет ее... А этому старому сумасброду, Петру Андреевичу, я, как приедем, сама напишу. Век чуфарился и нас обходил, пренапыщенный. И где ему давать советы о штабе? Это не гонянье с борзыми! Оба они, с покойным братом, только умели заглядывать в чужие цветники, а теперь, видно, застрял в своей трущобе и трусит выглянуть, как мышь.

Аврора с Ефимовной благополучно прибыли в Дединово, имение дяди. Старик Петр Андреевич, разбитый параличом, был неузнаваем. Он, сильно обрадовавшись Авроре, плакал, как дитя, осыпал ее ласками, расспрашивал о ней и о ее горе, жаловался, что крестьяне его не слушают и почти бросили. Беспомощный, седой и исхудалый, он теперь особенно напоминал Авроре ее покойного отца.

«Те же добрые, внимательные глаза и тот же ласковый голос», — думала она, глядя на него.

— Эх, не будь я прикован да будь помоложе, — сказал старик, — сел бы на чубарого и тебе нашел бы скакуна, и полетели бы мы с тобою в штаб светлейшего — искать твоего сокола-молодца!

Пробыв с дядей дня три, Аврора, с его денежной помощью и благословением, отправилась в Серпухов.

По мере удаления от Дединова и с приближением к Серпухову странницы встречали более и более общей

растерянности и суеты. Некоторые селения на пути были уже совершенно безлюдны, так что на Арину напал сильный страх, и она все охала. Покормить лошадей было негде, и Аврора всю дорогу ехала на притомленной тройке дяди, не кормя. В Серпухов она приехала днем. Он поразил ее своей пустынностью. Половина его жителей, особенно позажиточнее, давно бежали в Тулу, Орел и Чернигов. По городу виднелись только военные, двигались полковые фуры, пушки и обозы с продовольствием для армии. Аврора остановилась в лучшем заезжем трактире и послала отыскивать дьякона.

— На что он тебе? — спросила Ефимовна. — Что еще затеяла? И где его тут найти?

— Нужен он мне, знает эти места; его родич здесь под городом держит постоялый.

— Ну, справляйся, матушка, в своих делах, да и домой!.. Эка в какую даль заехали; все военные да пушки... Уж достанется нам от бабушки!

— Она добрая, простит, — ответила Аврора, — а я поговорю с дьяконом, завтра повидаюсь с городничим и с военным начальством и — даю тебе слово — немедленно домой.

Отца Савву разыскали. Крайне удивленный появлением Авроры, он радостно поспешил к ней. Она ему сообщила, что намерена ехать в Леташевку, где была квартира главнокомандующего, и просила его разыскать для нее лошадей и подводу, чтоб пробраться туда. Дьякон ушел и возвратился только вечером. Он был сильно не в духе. Оставшиеся в городе вольные ямщики заломили непомерную цену: сто рублей за два перегона.

— Давайте им, что потребуют, — сказала Аврора.

— Но как же вы поедете туда? Ужели одни?

— Возьму няню, хоть не желала бы подвергать ее опасностям.

Дьякон задумался. Он, повидавшись с шурином, втайне решил: снять рясу и поступить в ополчение.

«Отплачу врагам за жену, — мыслил он, — не одного злодея положу за нее!»

Теперь был случай и ему ехать до Леташевки, и он думал предложить себя в провожатые Авроре, но не решался.

Ефимовна внесла самовар и стала готовить чай. Из общей залы трактира давно несся шум голосов и звон посуды. Там пировали какие-то военные.

«Экие озорники! — подумал Савва. — Так поздно, не сообразят, что здесь девица!»

Он вышел, поговорил с половым и наведался в залу; веселые крики в последней несколько стихли.

— Кто там? — спросила Аврора, когда он возвратился.

— Проезжие гусары, и между ними партизан, подполковник Сеславин, — ответил дьякон, — лихой да ласковый такой, меня угостил ромом.

— Что это за партизаны? — спросила Аврора, наливая дьякону чай.

— Охотники проявились за эти дни. Они составляют доброхотные отряды, следят за врагом и бросаются кучей и в одиночку в самые опасные места. Их немало теперь — Сеславин, князь Кудашев, и о них много говорят.

— Что же о них говорят?

— Не только офицеры, мужики с дрекольем идут на злодеев, стерегут их, поднимают на вилы, топят в колодцах и прудах. Прошка Зернин под Вязьмой, сотский Ключкин... а старостиха Василиса в Сычевках? Чем не героиня? Сущая, можно сказать, Марфа Посадница, а по храбрости — амазонка или даже, по своему подвигу, библейская Юдифь...

— Какой подвиг? — с жадным любопытством спросила Аврора, кутая в мантилью дрожавшие от волнения плечи.

— А как же-с. Эта старостиха собрала сычевских мужиков, с косами, топорами и с чем попало, села верхом на лошадь и во главе их пошла...

— Баба-то? — не стерпев, отозвалась от двери Ефимовна. — И охота тебе, отче дьякон, молоть такое несуразное.

— Право слово, бабушка, вот те Христос.

— Куда же она пошла? — спросила Аврора.

— На французов... Наскочила на них врасплох, убила косою по голове их офицера, а мужики уложили с десяток солдат, и вся их партия была разбита и бежала. Потом, слышно, Василиса пошла лесом к их лагерю.

— Боже, Господи! — воскликнула, крестясь, Ефимовна. — И страха на них нет! Зачем же к лагерю-то?.. Ведь там, чай, их стража, часовые, туда не проберешься.

— Везде, бабушка, коли захочешь, пройдешь.

— Да зачем же так-то прямо, на смерть?

— Сказывают, видела сон в нощи и решила, подкравшись из-за дерева, убить какого-нибудь важного генерала, не то повыше. И как не идти? Злодеи насильничают над всеми; у помещика Волкова, под Смоленском, двух красавиц дочек силою увезли. Я сам недоумеваю, ох, не идти ли в охотники?

Рассказ дьякона о партизанах поразил Аврору. Она молча соображала то, что он ей говорил. Савва стал прощаться.

— Так постарайтесь же, отец дьякон, — сказала Аврора, — что ни потребуют, давайте, лишь бы завтра с утра я могла уехать.

Дьякон ушел. Утром Аврора написала несколько писем и вынула с груди ладанку, в которой был вложен пук крупных ассигнаций. То был подарок, полученный ею на расставание от дяди. Она отложила и подала Ефимовне одну из ассигнаций.

— Вот, няня, — сказала она, — пока я схожу здесь по делам, ты все уложи и приготовься.

— Да зачем же мне деньги-то? — удивилась Арина.

— Сама же ты говорила, что мелких нету: разменяй, понадобятся, купи провизию нам и для кучера дяди, также овса лошадям. Возвращусь, сейчас уедем.

Едва Ефимовна ушла, Аврора упала на колени перед образом, помолилась, приоделась и, позвав трактирного слугу, послала его к подполковнику Сеславину — спросить его: не навестит ли он по нужному делу постоялицу,

девицу Крамалину? К ней, через четверть часа, охорашиваясь, вошел невысокий черноволосый и курчавый партизан Сеславин.

Когда Ефимовна с узлом провизии, запыхавшись, возвратилась в трактир, ее встретил смущенный Савва.

— Я добыл, матушка, крытую кибитку и добрых коней, — сказал он, — но нашей барышни, о Господи, и след простыл.

— Где же она? — спросила, всплеснув руками, Ефимовна.

— Оставила вот эти письма родным, а сама укатила с гусарами.

Арина остолбенела. Она, не помня себя, бросилась в комнату Авроры. Комната была пуста.

XXXVII

В начале октября, незадолго до битвы под Тарутином, главные русские силы, при которых находился Кутузов, стояли в окрестностях села Леташевки.

С утра шел мелкий непрерывный дождь. По небу неслись клочковатые, мутно-серые облака. К вечеру дождь, разогнанный налетевшим ветром, на некоторое время прекратился. Грязь по улицам Леташевки стояла невылазная. Квартира светлейшего находилась вблизи Тарутина, на окраине села Леташевки, у церкви, в более чистой и поместительной избе священника. Начальник главного штаба генерал Ермолов с адъютантами квартировал на другом конце деревни, в служительской избе брошенной помещичьей мызы.

Был одиннадцатый час ночи. Ермолов, кончив обычный вечерний доклад светлейшему, возвратился домой пешком, чуть не по колени увязая в жидкой и скользкой грязи, сопровождаемый вестовым, который нес перед ним фонарь. В непроглядной тьме от надвигавшегося света фонаря направо и налево по улице выделялись то полусломанные плетни и

сарайчики дворов, то почернелые от дождя соломенные крыши изб, с которых еще струилась вода.

Сердитый, в намокшей шинели и в сплюснутой фуражке, едва прикрывавшей копну отросших за войну кудрявых и взъерошенных волос, Алексей Петрович Ермолов сильным взмахом ноги ступил на мокрое крыльцо и оттуда в сени своей избы. У дверей перед ним, в темноте, посторонился ожидавший его адъютант, бывший с кем-то другим, как бы посторонним.

— Кто это еще с вами? — недовольно спросил Ермолов, войдя в освещенную комнату, куда денщик уже вносил приготовленный для генерала ужин.

— Не говорит своего имени; в простом мещанском наряде, но, по-видимому, светский и образованный человек.

— Что же ему?

— Имеет весьма спешное и важное дело к светлейшему.

— Как? К князю? И в эту пору? — изумился Ермолов, сердито вытряхивая об пол мокрую фуражку.

— Говорит, что дело первой государственной важности и без отлагательства.

— Ну, у них все государственные дела, — с досадой произнес Ермолов, искоса глянув на стол, от которого уже доносился приятный запах чего-то жаренного в масле с луком и где стояла бутылка шабли, присланная в тот день Алексею Петровичу в презент от штабного маркитанта, общего любимца и мага по добыванию тонких питий.

Надо было опять возиться с нежданным делом. Хрип невольной досады послышался из широкой, богатырской груди Ермолова.

— Где этот непрошеный гость? Зовите его! — сказал он адъютанту, садясь на скамью.

Из сеней вошел мешковатый высокого роста человек лет тридцати пяти, круглолицый, с приплюснутым носом и большими навыкат серыми глазами. В его лице было что-то бабье; рыжеватые волосы спадали на лоб и на уши, как у

чухонцев, прямыми космами; широко разошедшиеся брови и крупные сжатые губы придавали этому лицу выражение недовольства и как бы испуга. «Баба!» — подумал бы всякий, впервые взглянув на него, если бы не жиденькие бакенбарды, шедшие по этому лицу от ушей до подбородка. Незнакомец был одет в бараний, крытый серым сукном тулупчик и в высокие мещанские сапоги; в руках он держал меховой, с козырьком, картуз.

— Кто вы? — спросил Ермолов.

Вошедший молча оглянулся на адъютанта. Тот по знаку Ермолова вышел.

— Имя ваше, звание? — спросил Ермолов.

— Отставной штабс-капитан артиллерии, Александр Самойлов Фигнер, — негромко произнес незнакомец.

— Что же вам нужно? — спросил Алексей Петрович, досадливо сопя носом и своими сокольими карими глазами вглядываясь в серые, вяло на него смотревшие глаза гостя, имя которого он уже встречал в реляциях.

— Могу уверить, иначе бы не посмел, — дело первой важности и экстренное! — не торопясь и старательно выговаривая слова, ответил Фигнер. — И обратите внимание, генерал, то, что ныне еще возможно и доступно, при медленности может стать недоступным и невозможным. Кроме вашего превосходительства да светлейшего, об этом пока никто не должен знать.

— Без предисловий, излагайте скорее, — произнес Ермолов, сев на скамью и, с понуренной головой, приготовясь слушать, — мы здесь одни. В чем ваше дело?

— Я служил в третьей легкой роте одиннадцатой артиллерийской бригады, а в последнее время состоял в Тамбовской губернии городничим, — начал Фигнер. — Движимый чувством патриотизма и удручаемый всем, что случилось, я бросил службу и семью, обращался в августе к графу Ростопчину и к другим, а этими днями снова проникал, переряженный, в Москву...

— Вы были в Москве? — спросил Ермолов.

— Так точно-с... блуждал, то в мундире французского или итальянского офицера, то в крестьянской одежде, по пожарищу, пробирался и в дома, занятые врагами, все высмотрел и нашел, что легко и возможно разом положить человеческий предел не только занятию первопрестольной, но, можно сказать, и самой войне, всем бедствиям России и человечества.

— Вот как! — сказал Ермолов. — Кончить войну?

— Да-с, войну, — ответил Фигнер, — и это моя тайна...

«Что он, этот чухонец или еврей, нелегкая побрала бы его, сумасшедший? Или нахал и себе на уме, дерзкий хвастун? — подумал Ермолов, гневно глядя на стоящего перед ним незнакомца. — Уж не новый ли воздушный шар Лепиха придумал или что-нибудь вроде этой галиматьи? Возись еще с этим штафиркою!»

— Вы произнесли такие слова... — сказал он. — Легкое ли дело разом кончить громадную войну? Тут ухищрения стратегии, великих, сложных сил... а у вас... Впрочем, в чем же эта ваша, столь заманчивая, великая панацея?

Молча слушавший насмешливые возражения Ермолова, Фигнер ступил ближе к нему.

— Решаясь на самоотверженное и, смею выразиться, — проговорил он, — беспримерное по отваге дело, я все обдумал строго и со всех сторон... Но мой план, как и всякое человеческое предприятие, может не удасться. Могу ли поэтому знать наперед, смею ли питать надежду, что в случае неудачи этого плана, а вследствие того и неизбежной моей гибели, царь и отечество не оставит без призрения моей осиротелой семьи? Я человек недостаточный... мне довольно одного вашего слова...

— Что же вам нужно прежде всего для исполнения вашего предприятия? — спросил нетерпеливо Ермолов.

— Мой тезка, Александр Никитич Сеславин, предложил мне вступить в его отряд, он ждет ответа; но я надумал другое. На основании общего устава о партизанских отрядах

я попросил бы дозволить мне действовать самостоятельно, а именно, предоставить в мое распоряжение и по моему личному выбору хотя бы человек семь-восемь казаков.

— Ваша семья будет обеспечена, — сказал, подумав, Ермолов, — теперь говорите, для чего вам казаки и в чем ваш план?

Серые круглые глаза Фигнера зажглись странным блеском, и он сам оживленно вытянулся и точно вырос. Его лицо побледнело, нижняя челюсть слегка затряслась.

— Мой план очень прост и несложен, — произнес он, судорожно подергивая рукой, — вот этот план... Я — кровный враг идеологов. О, сколько они нанесли вреда! Их глава и вождь...

Он остановился, пристально глядя на Ермолова, и, казалось, не находил нужных слов.

— Я задумал, — проговорил он, помолчав, — и моя мысль бесповоротна... я решился истребить главную и единственную причину всего, что делается... а именно убить Наполеона...

— Что вы сказали? — спросил, привстав, Ермолов.

— Убить вождя французов...

«Да, он не в здравом уме! — подумал, разглядывая Фигнера, Ермолов. — А, впрочем, почему же не в здравом? Не отчаянный ли скорее фанатик, гонимый непреоборимою душевною потребностью? Да и не он один. Лунин тоже предлагал отправить его парламентером к Наполеону и вызывался, подавая ему бумагу, заколоть его кинжалом».

Ермолов поднялся со скамьи.

— Так вы действительно на это решились? — спросил он, все еще недоумевая, что за человек стоял перед ним в эту минуту.

— Решился и не отступлю, — ответил Фигнер.

— Как же вы полагаете исполнить ваше намерение? Одно дело — задумать, а другое — исполнить задуманное.

— Что Бог даст: либо выручит, либо выучит! Я снова переоденусь, смотря по надобности, нищим или мужиком, проберусь в Кремль или в другое место, где будет злодей, и глаз на глаз лично нанесу ему удар. Пособники мне будут нужны только для предварительных разведок и приготовлений.

— Вы говорите, у вас семья? — спросил Ермолов.

— Жена и пятеро детей, мал мала меньше.

— Где они?

— Решась проникнуть в Москву, оставил их в Моршанске.

— Как вы проникли в Москву?

— С французским паспортом; они сами мне его дали, назвав меня cultivateur, помещиком.

— Что вы делали там?

— Следил за выходом оттуда неприятельских фуражиров, разбивал их под Москвой с охотниками и отнимал их подводы... В делах штаба должны быть обо мне упоминания.

— Да, о вас доносили. И вы готовы на такой шаг, не боитесь?

— На всякую беду страха не напасешься — Бог не выдаст, боров не съест! — ответил Фигнер. — Брут убил своего друга Цезаря, мне же корсиканский кровопийца не друг... Я день и ночь молился, клялся.

«Рисуется немчура, — подумал Ермолов, — а впрочем, посмотрим».

— Что же вы желаете получить в случае удачи? — спросил он. — Говорите прямо.

Фигнер слегка покраснел. Его глаза глядели холодно и спокойно.

— Ничего, — ответил он. — Я приношу себя в жертву отечеству. Россия вскормила меня; душою я русский.

— А родом?

— Остзеец.

— Есть с вами бумаги?

— Вот они...

XXXVIII

«Чудеса! — раздумывал, просмотрев бумаги, Ермолов. — Ферфлюхтер, а говорит с пафосом и русскими пословицами, даже слова как-то особенно старательно отчеканивает».

Он задал еще несколько вопросов Фигнеру. Тот на все отвечал здраво и обдуманно.

«Как быть? — терялся в догадках Ермолов. — Умолчать об этом гусе перед светлейшим невозможно... Что бы ни вышло впоследствии, ответственность падает на меня первого... Ну, да его с этой затеей, вероятно, без уважения сплавит сам князь».

Ермолов кликнул адъютанта, сдал ему на руки Фигнера и, снова надев мокрую фуражку, пошел по лужам и скользкой грязи к главнокомандующему. Адъютант было предложил оседлать для него коня; Ермолов, с досадой махнув рукой, отправился опять пешком.

У ворот квартиры Кутузова провожатый вестовой наткнулся на княжеского денщика, шедшего притворять ставни.

— Все спят-с! — сказал денщик, разглядев при свете фонаря фигуру Ермолова, вынырнувшего из темноты.

— А сам светлейший? — спросил Ермолов.

— Тоже в постели, хотя свечи у них еще горят.

— Доложи.

Денщик через сени вошел в темную приемную, оттуда в спальню Кутузова. Ермолов был приглашен в комнату, из которой вышел всего полчаса назад.

Кутузов, в одной рубахе, сидел на постели, спустив на коврик босые ноги, прикрытые бухарским халатом. Перед ним на круглом столике лежала карта России, утыканная булавками, с головками из красного и черного сургуча, изображавшими русские и французские войска. Он перед приходом Ермолова рассматривал эту карту. Комната, по обычаю старого князя, любившего теплоту, была жарко натоплена.

— Что, голубчик? — спросил он, устремив навстречу входившему Ермолову не совсем довольный, утомленный взгляд. — Все ли у вас благополучно?

— Слава Богу, ничего нового; но вот что случилось...

Ермолов неторопливо и в подробностях передал светлейшему о прибытии и предложении Фигнера.

— Я счел священным долгом, — заключил он, — не мешкая, обо всем доложить... Что прикажете? Фигнер у меня, ждет решения.

— Так вот что, — произнес Кутузов, натягивая себе на плечи сползавший с него халат, — штука казусная... все ли ты терпеливо выслушал и расспросил?

— До точности, ваша светлость.

— А как полагаешь, он не насчет перпетуум-мобиле, не из желтого дома? Приметил ты, в порядке ли его мозги?

— Мне этот вопрос прежде всего пришел в голову, — ответил Ермолов, — я его так и этак, на все стороны допрашивал; говорит толково, в глазах змейки не бегают, нет ничего подозрительного... Осуществимо ли его предприятие — дело другое. Отважен же он и смел, кажется, действительно без меры, и его решимость, по-видимому, искренняя и прямая.

Старчески обрюзглое лицо Кутузова поникло. Он задумался. На гладко выбритом жирном и белом его подбородке, от тепла комнаты или от душевного волнения, выступила испарина. Он нервным движением пухлой руки тронул себя за подбородок и, задумавшись, устремил свой единственный зрячий глаз куда-то в сторону, мимо этой комнаты и Ермолова, мимо этой ночи и всего того, что предшествовало и так доныне подавляло дряхлого телом, но бодрого духом старого вождя.

— Ведь вот, шельма, придумал! — разведя руками и опять хватаясь за увлажненное лицо, сказал князь. — А дело, надо признаться, из ряда вон и во всяком случае необычное. Но на чем основаться?

Князь медленно повернулся на подостланной под него перине.

— Разумеется, бывали примеры в древности, и именно в Риме, во время войны Пирра и Фабриция, — продолжал он, — только там, сколько припомню, разыгралось все иначе. Ну, как это было? Пришли и говорят Фабрицию, что некий врач из греков — это в Риме было то же, что в России наши немцы, — с целью разом прекратить войну вызвался, без колебания, отравить Пирра. Ну, Фабриций, как помнишь, выслушал, как и ты, этого немца, да и отослал врага-предателя в распоряжение самого Пирра. Остроумного лекаришку Пирр, разумеется, вздернул на первую осину, или там, по-ихнему, смоковницу, что ли... тем дело и кончилось... Ты что на это скажешь?

Ермолов, нахмурясь, молчал. Догоравшие свечи уныло мигали на столе. Кутузов взглянул в ближайшее к кровати окно, из которого в эту ночь опять виднелось зарево над Москвою.

— Мое мнение, — произнес он, — убей этот чухонец и в самом деле Бонапарта, все скажут — не он, а я да ты, Алексей Петрович, предательски его ухлопали. Ведь правда?

— Положим, ваша светлость, то было давно и в Риме, — ответил Ермолов, еще не угадывавший, куда клонит князь, — и прошлое не всегда урок для настоящего. Но я позволю себе, однако, только спросить, чем этот новый вторгшийся к нам Атилла лучше какого-нибудь Стеньки Разина или Пугачева? Те изверги шли из-за Волги, этот из Парижа — в том вся и разница; сходства же в разрушителях много... Владеть отуманенною ими, раболепною толпой, двигать, при всяческих обманах, полчищами жадных до наживы, одичалых бандитов, вторгаться, для удовлетворения собственного самолюбия, в мирную страну, предавая в ней все грабежу, огню и мечу... Чем же это не отверженец людского общества, чем не Разин или не Пугачев?

Кутузов отодвинул стол, нашел босыми ногами и надел туфли, медленно поднялся с постели и, оставя халат, в одном

белье начал, заложа руки за спину, вперевалку прохаживаться по комнате.

— Именно, отверженец нового сорта! — сказал он, помолчав. — Ты выразился верно!.. Но как разрешить вопрос? Подумай... Если бы я и ты, лично напав на Наполеона, начали с ним драться явно, один на один... дело другое... А тут, выходит, точно камнем из-за угла.

— Как угодно вашей светлости, — почтительно-сухо проговорил Ермолов, как бы собираясь уйти.

— Да нет, погоди! — остановил его Кутузов. — Мы с тобою полководцы девятнадцатого века, вот что я хочу сказать. А наши противники достойны ли этого имени? Я предсказывал, что они будут есть конину — едят... говорил, что Москва для их идола и их армий станет могилой — стала... их силы с каждым днем тают... — Князь опять прошелся по комнате. — Прогоним их, увидишь, — сказал он, — я не доживу, ты дождешься... Те же французы свергнут своего кумира и так же бешено и легкомысленно проклянут его и весь его род, как свергли, казнили и прокляли своего истинного короля... Жалкая нация...

Кутузов, опершись руками о подоконник, глядел на небо, окрашенное заревом.

— Опять огонь... догорает, страдалица! Вспомнят они этот пожар, — сказал он, — поплатятся за эту сожженную Москву!

— Так что же прикажете, ваша светлость, относительно предложения Фигнера? — спросил Ермолов. — Всякие шатаются теперь, и чистые, и темные люди.

Кутузов обернулся к нему и развел руками.

— Дело, не подходящее ни под какие артикулы, — сказал он, — а впрочем, Христос с ним! Знаешь поговорку: смелого ищи в тюрьме, труса в попах... Дай ему, голубчик, по положению о партизанах, восемь казаков, Бог с ним. Глас народа — глас Божий; пусть творит, что хочет, если на то воля свыше, а приказа убивать... я ему не даю!

Партизаны Сеславин и Фигнер, по условию, съехались у деревни князя Вяземского, Астафьева. Фигнер объявил, что ему на время разрешено действовать самостоятельно, и просил наставлений и советов у более опытного товарища. Сеславин уступил ему из своего отряда двух кавалеристов, в том числе молоденького юнкера, который особенно просился к Фигнеру. Невысокий черноволосый и сухощавый, этот юнкер, в казачьей одежде, казался робким мальчиком, но лихо ездил верхом. Купленный им у казаков донской конь Зорька был сильно худ, но не знал усталости. Фигнер в ту же ночь с этим юнкером ускакал по направлению к Москве.

XXXIX

Французы окончательно покинули Москву 11 октября. Известие об этом, напечатанное лишь через девять дней в Петербурге, в «Северной почте» от 19 октября, достигло Паншина, где в это время проживала с семьей княгиня, лишь в конце октября. Газетные реляции, впрочем, были уже предупреждены словесной молвой. Все терялись в догадках, куда скрылась Аврора. Известий от нее, после письма из Серпухова, не приходило. Княгиня была в неописанном горе. Ксения и ее муж не знали, как ее утешить.

Прогремели сражения под Тарутином, где был убит ядром Багговут, под Малоярославцем и Красным, где французы потеряли почти всех своих шедших с ними пленных. Не допущенный русскими к Калуге, Наполеон поневоле бросился на опустошенную им самим дорогу к Смоленску.

Французская армия, гонимая отдохнувшими и окрепшими русскими войсками, шедшими за нею по пятам, вдвинулась в пространство между верховьями Днепра и Двины. Озлобленный неудачами, Наполеон повел эту армию к Березине, теряя от трех, открытых им в России, стихийных сил — невылазной грязи, страшного мороза и казаков — тысячи

солдат и лошадей. Не менее того на этом пути вредили неприятелю и отважные партизаны.

Пронеслись вести о подвигах полковника-поэта Давыдова, Орлова-Денисова, князей Кудашева и Вадбольского, Сеславина, Фигнера и других отчаянных смельчаков. Называли и другие, менее известные имена, в том числе дьякона Савву Скворцова, мстившего за похищенную у него жену. Он в какой-то вылазке, подкравшись из леса, размозжил дубиною голову французскому артиллеристу, готовившемуся выпалить картечью в русский отряд, и небольшая французская батарея стала добычею русских без боя. О партизанах рассказывали целые легенды. Фигнер, по слухам, не застав Наполеона в Москве, усилил свой отряд новыми охотниками и бросился по Можайской дороге. Здесь он отбил обширный неприятельский обоз, захватил более сотни пленных и на глазах французского арьергарда взорвал целый вражеский артиллерийский парк. В толках о партизанах стали упоминаться и женские имена. В обществе говорили об отваге и храбрости девицы Дуровой, принявшей имя кавалериста Александрова, и о других двух героинях, не оставивших потомству своих имен.

Предводительствуя небольшими летучими отрядами из гусаров, казаков и доброхотных разночинцев, смелые партизаны неожиданно появлялись то здесь, то там и день, и ночь тревожили остатки великой французской армии, отбивая у нее подводы с припасами и московской добычей, артиллерию и целые транспорты больных и отсталых. При обозах отбивали и отряды пленных, которых враги гнали с собою в качестве носильщиков и прислуги.

Победы русских под Красным окончательно расстроили французскую армию. В этих сражениях, с 3 по 6 ноября, французы потеряли более двадцати шести тысяч пленными, в том числе семь генералов, триста офицеров и более двухсот орудий. Началось сплошное бегство разбитых и изнуренных бездорожьем, голодом и болезнями остатков Наполеоновых полчищ.

Поля давно покрылись снегом. Начались сильные морозы, сопровождаемые ветром и метелями. Но вдруг снова потеплело. Стужа сменилась туманами. Начало таять. По дорогам образовались выбоины и невылазная грязь. Кутузов, сопровождая свои ободренные победой отряды, ехал то в крытых санях, то в коляске и даже, смотря по пути, на дрожках.

На дневке, 6 ноября, князь, осматривая верхом биваки, часу в пятом дня приблизился к лагерю гвардейского Семеновского полка. Его сопровождали несколько генералов и адъютантов. Все были в духе, оживленно и весело толковали об окончательном поражении корпуса Нея, причем в одном из захваченных русскими обозов был даже взят маршальский жезл грозного герцога Даву.

Вечерело. Густой туман с утра плавал над полями; среди него кое-где, как острова, виднелись опустелые деревеньки и чернели вершины леса. Светлейший подъехал к палатке командира гвардейцев, генерала Лаврова, невдали от которой молоденький офицер в артиллерийской форме снимал карандашом портрет с тяжелораненого, тут же сидевшего своего товарища. Князь и его свита сошли с лошадей. Князю у палатки поставили скамью, на которую он, кряхтя и разминая усталые члены, опустился с удовольствием, поглядывая на смешавшегося рисовальщика.

— Как ваша фамилия? — спросил Кутузов, подозвав его к себе.

— Квашнин, ваша светлость, — ответил, краснея, офицер, — я это так-с, карандашом, для его отца.

— Что же, и отлично. Я вас где-то видел?

— После моего плена в Москве, и ваша светлость еще тогда удивлялась, как я вынес, — заторопился, еще более краснея, офицер, — я был тогда ординарцем Михаила Андреича...

— А с кого рисовали?

— Тюнтин, товарищ... оба мы под Красным...

Кутузов более не слушал офицера. Сопровождавшие князя гвардейские солдаты-кирасиры, сойдя в это время

с лошадей, стали вокруг него с отбитыми неприятельскими знаменами, составив из них для защиты от ветра нечто вроде шатра. Кутузов смотрел на эти знамена. Туман вправо над полем разошелся, и заходящее солнце из-за холма ярко осветило ряды палаток, пушки, ружья в козлах и оживленные кучки солдат, бродивших по лагерю и сидевших у разведенных костров. Денщики полкового командира разносили чай. Кто-то стал читать вслух надписи над знаменами.

— Что там? — спросил, опять глянув на эти знамена, Кутузов. — Написано «Аустерлиц»? Да, правда, жарко было под Аустерлицем; но теперь мы отомщены. Укоряют, что я за Бородино выпросил гвардейским капитанам бриллиантовые кресты... какие же навесить теперь за Красное? Да осыпь я не только офицеров — каждого солдата алмазами, все будет мало.

Князь помолчал. Он улыбался. Все в тихом удовольствии смотрели на старого князя, который теперь был в духе, а за последние дни даже будто помолодел.

— Помню я, господа, лучшую мою награду, — сказал Кутузов, — награду за Мачин; я получил тогда Георгиевскую звезду. В то время эта звезда была в особой чести, я же был помоложе и полон надежд... Есть ли еще здесь кто-нибудь между вами, кто бы помнил тогдашнего, молодого Кутузова? Нет? Еще бы... ну, да все равно... Вот и получил я заветную звезду. Матушка же царица, блаженной памяти Екатерина, потребовала меня в Царское Село. Еду я: приехал. Вижу, прием заготовлен парадный. Вхожу в раззолоченные залы, полные пышными, раззолоченными сановниками и придворными. Все с уважением, как и подобало, смотрят на храброго и статного измаильского героя, скажу даже — красавца, да, именно красавца! Потому что я тогда, в сорок шесть лет, еще не был, как теперь, старой вороной, я же — ни на кого! Иду и думаю об одном — у меня на груди преславная Георгиевская звезда! Дошел до кабинета, смело

отворяю дверь... «Что же со мной и где я?» — вдруг спросил я себя. Забыл я, господа, и Георгия, и Измаил, и то, что я Кутузов. И ничего, как есть, перед собою не взвидел, кроме небесных голубых глаз, кроме величавого, царского взора Екатерины... Да, вот была награда!

Кутузов с трудом достал из кармана платок, отер им глаза и лицо и задумался. Все почтительно молчали.

— А где-то он, собачий сын, сегодня ночует? — вдруг сказал князь, громко рассмеявшись. — Где-то наш Бонапарт? Пошел по шерсть — сам стриженный воротился! Не везет ему, особенно в ночлегах. Сеславин сегодня обещал не давать ему ни на волос передышки, а уж Александр Никитич постоит за себя. Молодцы партизаны, спасибо им!.. Бежит от нас теперь пресловутый победитель, как школьник от березовой каши.

Дружный хохот присутствовавших покрыл слова князя. Все заговорили о партизанах. Одни хвалили Сеславина и Вадбольского, другие — Давыдова, Чернозубова и Фигнера. Кто-то заметил, что в партии Сеславина снова отличилась кавалерист-девица Дурова. На это красневший при каждом слове Квашнин заметил, что и в отряде Фигнера, как он наверное слышал, в одежде казака скрывается другая таинственная героиня. Квашнина стали расспрашивать, что это за особа.

Он, робко взглядывая то на князя, то на хмурые лица огромных кирасирских солдат, стал по-французски объяснять, что, по слухам, это какая-то московская барышня, которой, впрочем, ему не удалось еще видеть.

— Кто, кто? — спросил рассказчика светлейший, прихлебывая из поданного ему стакана горячий чай. — Еще амазонка?

— Так точно-с, ваша светлость! — ответил совсем ставший багровым Квашнин. — Московская девица Крамалина. Она, как говорят, являлась еще в Леташевке; ее привез из Серпухова Александр Никитич Сеславин.

— Зачем приезжала?

— Кого-то разыскивала в приказах и в реляциях... я тогда только что вырвался из плена и не был еще...

— Ну и что же она? Нашла? — спросил князь, отдавая денщику стакан.

— Никак нет-с; а не найдя, упросилась к Фигнеру и с той поры состоит неотлучно при нем... Изумительная решимость: служит, как простой солдат... вынослива, покорна... и подает пример... потому что...

Окончательно смешавшийся Квашнин не договорил.

— Вчера, господа, этот Фигнер, — перебил его, обращаясь к офицерам, генерал Лавров, — чуть не нарезался на самого Наполеона, прямо было из-за холма налетел на его стоянку, но, к сожалению, спутали проводники... уж вот была бы штука... поймали бы красного зверя...

— Да именно красный, матерой! — приятно проговорил, разминаясь на скамье, Кутузов. — Сегодня, кстати, в числе разных, и в прозе, и пиитических, не заслуженных мною посланий я получил из Петербурга от нашего уважаемого писателя Ивана Андреевича Крылова его новую, собственноручную басню «Волк на псарне». Вот так подарок!

Кутузов, заложа руку за спину, вынул из мундирного кармана скомканный лист синеватой почтовой бумаги, расправил его и, будучи с молодых лет отличным чтецом и даже, как говорили о нем, хорошим актером, отчетливо и несколько нараспев начал:

Волк, ночью думая попасть в овчарню,
Попал на псарню...

Он с одушевлением, то понижая, то повышая голос, картинно прочел, как, «чуя серого, псы залились в хлевах, вся псарня стала адом» и как волк, забившись в угол, стал всех уверять, что он «старинный сват и кум» и пришел не биться, а мириться, — словом, «уставить общий лад...»

При словах басни:

Тут ловчий перервал в ответ:
«Ты сер, а я, приятель, сед!» —

Кутузов приподнял белую, с красным околышем гвардейскую фуражку и, указав на свою седую, с редкими зачесанными назад волосами голову, громко и с чувством продекламировал заключительные слова ловчего:

«А потому обычай мой —
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой...» —
И тут же выпустил на волка гончих стаю!

Окружавшие князя восторженно крикнули «ура!», подхваченное всем лагерем.

— Ура! — спасителю отечества! — крикнул, отирая слезы и с восторгом смотря на князя, Квашнин.

— Не мне, русскому солдату — честь! — закричал Кутузов, взобравшись при помощи подскочивших офицеров на лавку и размахивая фуражкой. — Он, он сломил и гонит теперь подстреленного насмерть, голодного зверя...

XL

Снова настала стужа, подул ветер и затрещал сильный мороз.

Голодный, раненый зверь, роняя клочками вырываемую шерсть и истекая кровью, скакал между тем по снова замерзшей грязи, по сугробам и занесенным вьюгою пустынным равнинам и лесам. Он добежал до Березины, остановился, замер в виду настигавших его озлобленных гонцов, готовых добить его и растерзать, отчаянным взмахом ослабевших ног бросил по снегу, для отвода глаз, две-три хитрые, следовые петли, сбил гонцов с пути и, напрягая последние усилия, переплыл за Березину. Что ему было до его гибнувших сподвижников, которых, догоняя, враги рубили и топили в обледенелой реке? Он убежал сам; ему было довольно и этого.

Французы, теряя свои последние обозы, переправились по наскоро устроенным, ломавшимся мостам через Березину у Студянки 14 ноября. Озадаченные их нежданной переправой и уходом, русские вожди растерялись и, взваливая друг на друга вину этого промаха, с новой силой бросились по пятам вражеских легионов, бежавших обратно за русскую границу. Партизаны и казаки, обгоняя беглецов по литовским болотам и лесам, преследовали их, по выражению Наполеона, как орды новых аравитян. Сеславин гнался за французами слева, Фигнер справа. Оба втайне стремились исправить ошибку Березины, схватить в плен самого Наполеона. Сеславину едва не удалось достигнуть этого у села Ряды. Он подкрался ночью, проник в село и даже перерезал пикет, охранявший путь императора. Но вспыхнувший пожар предупредил Наполеона, и он со свитой объехал Ляды сбоку. Фигнер со своим отрядом бросился окольными лесами, вперерез французам, на городок Ошмяны. Туда же, с другой стороны, направился и Сеславин. Каждый из них составил свой собственный план и мечтал о его успешном исполнении.

Измученный и возмущенный рядом неудач, Наполеон в местечке Сморгони нежданно призвал Мюрата и других бывших с ним маршалов и объявил им, что пожар Москвы, стужа и ошибки его подчиненных заставляют его сдать войско Мюрату и что он едет обратно в Париж — готовить к весне новую, трехсоттысячную армию и новый поход против России.

Из Вильны, к которой направлялся Наполеон, была заранее, с фельдъегерем, тайно вытребована для охраны его пути целая кавалерийская дивизия Луазона. Этот отряд, не зная цели нового движения, спешил навстречу бегущему императору, занимая по пути занесенные снегом деревни, мызы и постоялые дворы. Слух о причине похода из Вильны дошел наконец до передового полка этой дивизии, наполовину состоявшего из итальянцев и саксенвеймарцев. Южные солда-

ты, невольные соратники великой армии, с отмороженными лицами, руками и ногами, в серых и дымных литовских лачугах, чуть не вслух роптали за скудной овсяной похлебкой, проклиная главного виновника их бедствий.

— Он снова позорно бежит, предавая нас гибели, как бежал из Египта! — толковали солдаты и офицеры этого отряда. — Недостает, чтобы казаки схватили и посадили его, как редкого зверя, в железную клетку.

Было 23 ноября.

После двухдневной непрерывной бури и метели настала тихая, ясная погода. День стоял солнечный; мороз был свыше двадцати градусов. По белому, ярко блестящему полю столбовой, обставленной вербами дорогой несся на полозьях с обитыми потертым волчьим мехом стеклами еврейско-шляхетский возок, в каком тогда ездили зажиточные посессоры, арендаторы и помещики средней руки. За ним следовала рогожная кибитка, с полостью в виде зонтика. Оба экипажа охраняло конное прикрытие из нескольких сотен сменявшихся по пути польских уланов. Снег визжал под полозьями. Красивые султаны, мелькавшие на шапках прикрытия, издали казались цветками мака на снежной равнине.

В возке, в медвежьей шубе и в такой же шапке, сидел Наполеон. С ним рядом, в лисьем тулупе — Коленкур, напротив них, в бурке — генерал Рапп. На козлах в мужичьих бараньих шубах, обмотав чем попало головы, сидели мамелюк Рустан и в качестве переводчика польский шляхтич Вонсович. В кибитке следовали обер-гофмаршал Дюрок и генерал-адъютант Мутон. Наполеон ехал под именем «герцога Виченцкого», то есть Коленкура.

— Да где же их проклятые села, города? — твердил Наполеон, то и дело высовывая из медвежьего меха иззябший, покрасневший нос и с нетерпением приглядываясь в оледенелое окно. — Пустыня, снег и снег... ни человеческой души! Скоро ли стоянка, перемена лошадей?

Рапп вынул из-под бурки серебряную луковицу часов и, едва держа их в окостенелой руке, взглянул на них.

— Перемена, ваше величество, скоро, — сказал он, — а стоянка, по расписанию, еще за Ошмянами, не ближе как через четыре часа.

— Есть с нами провизия? — спросил Наполеон.

— Утром, ваше величество, за завтраком, — отозвался Коленкур, — вы все изволили кончить — фаршированную индейку и страсбургский пирог.

— А ветчина?

— Остались кости, вы велели отдать проводнику.

— Сыр?

— Есть кусок старого.

— Благодарю; горький и сухой, как щепка. Ну, хоть белый хлеб?

— Ни куска; Рустан подал за десертом последний ломоть.

Верст через пять путники на белой поляне завидели новый конный пикет, гревшийся у костра близ пустой, раскрытой корчмы, и новую, ожидавшую их смену лошадей. Наполеон, сердито поглядывая на перепряжку, не выходил из экипажа. Возок и кибитка помчались далее. Наполеон дремал, но на толчках просыпался и заговаривал с своими спутниками.

— Да, господа, — сказал он, как бы отвечая на занимавшие его мысли, — ко всем нашим бедствиям здесь еще и явственная измена... Шварценберг, вопреки условию, отклонился от пути действий великой армии; мы брошены на произвол собственной участи... И как сражаться при таких условиях?

Возок въехал на сугроб и быстро с него скатился.

— А стужа? А эти казаки, партизаны? — продолжал Наполеон. — Они вконец добивают наши обессиленные, разрозненные легионы. Подумаешь, эта дикая, негодная конница, способная производить только нестройный шум и гам... она бессильна против горсти метких стрелков, а стала грозной в этой непонятной, бессмысленной стране... Наша превосходная кавалерия истреблена бескормицей; пе-

хоту интендантство оставило без шуб и без сапог... все наконец голодают.

На лице нового Цезаря его спутники в эту минуту прочли, что голод действительно скверная вещь. Проехали еще с десяток верст. Вечерело. Наполеон, чувствуя, как мучительно ноют иззябшие пальцы его ног, опять задремал.

— Нет, не в силах, не могу! — решительно сказал он, хватаясь за кисть окна. — У первого жилья мы остановимся. Найдем же там хоть кусок мяса или тарелку горячего.

— Но, ваше величество, — сказал Рапп, — не беспокойтесь, до назначенной по маршруту стоянки не более двух часов. Это замок богатого и преданного вам здешнего помещика... Вонсович ручается, что все у него найдем...

— Черт с вашим маршрутом и замком, я голоден, шутка ли, еще два часа! Не могу...

— Но нам до ночи надо проехать Ошмяны...

Наполеон не вытерпел. Он с сердцем дернул кисть, опустил стекло и высунулся из окна. Верстах в трех впереди, вправо от дороги, виднелось какое-то жилье.

— Мыза! — сказал император. — Очевидно, зажиточный дом и церковь. Мы здесь остановимся.

— Простите, ваше величество, — произнес Коленкур, — это против расписания, и вас здесь не ожидают...

— При этом возможно и нападение, засада, — прибавил Рапп.

— Что вы толкуете! Поселок среди открытой, ровной поляны, — сказал Наполеон, — ни леса, ни холма! А наш эскорт? Велите, герцог, заехать.

Коленкур остановил поезд и для разведки послал вперед часть конвоя. Возвратившиеся уланы сообщили, что на мызе, по-видимому, все спокойно и благополучно. Возок и кибитка направились в сторону, к небольшому, под черепицей домику, рядом с которым были конюшня, амбар и людская изба. За домом, в занесенном снегом саду, виднелась деревянная церковь, за церковью — небольшой пустой поселок.

Обогнув дом, возок подкатил к крыльцу. Во дворе и возле него не было видно никого. Стоявшая на привязи у амбара лошадь в санках показывала, однако, что мыза не совсем пуста.

XLI

В сенях дома путников встретил толстый и лысый невысокого роста ксендз. За ним у стены жался какой-то подросток. Одежда, вид и конвой путников смутили ксендза. Он, бледный, растерянно последовал за ними. Войдя в комнату, Наполеон сбросил на подставленные руки Рустана и Вонсовича шубу и шапку и, оставшись в бархатной на вате зеленой куртке, надетой сверх синего егерского мундира, присел на стул и строго взглянул на Вонсовича.

— Кушать государю! — почтительно согнувшись, шепнул Вонсович священнику.

Пораженный вестью, что перед ним император французов, ксендз в молчаливом изумлении глядел на Наполеона, с которого Рустан стягивал высокие, на волчьем меху, сапоги.

— Чего-нибудь, — продолжал Вонсович, — ну, супу, борщу, стакан гретого молока. Только скорей...

— Нет ничего! — жалостно проговорил ксендз, сложив на груди крестом руки.

— Так белого хлеба, сметаны, творогу.

— Ничего, ничего! — в отчаянии твердил помертвелыми губами священник. — Где же я возьму? Все ограбили сегодня прохожие солдаты.

— Что он говорит? — спросил Наполеон.

Вонсович перевел слова священника.

— Они отбили кладовую, — продолжал ксендз, — угнали последнюю мою корову и порезали всех птиц... Я остался, как видите, в одной рясе и сам с утра ничего не ел.

— Но можно послать на фольварк, — заметил Вонсович.

— О, пан капитан, все крестьяне и мои домочадцы разбежались, и, если бы не мой племянник, только что подъехавший за мной из местечка, я, вероятно, погиб бы с голоду, хотя не ропщу... О, его цезарское величество, я в том убежден, со временем все вознаградит...

Вонсович перевел ответ и заключение ксендза. Наполеон при словах о грабеже и о том, что нечего есть, нахмурился. Но он сообразил, что делать нечего и что таковы следствия войны для всех, в том числе и для него, и решил показать себя великодушным и выше встреченных невзгод. Милостиво потрепав ксендза по плечу, он сказал ему, через переводчика, что рад случаю видеть его, так как в жизни встречает первого священника, который так покорен обстоятельствам и не корыстолюбив.

— Да, — вдруг обратился он по-латыни непосредственно к ксендзу, — у нас есть общий нам, родственный язык; будем говорить по-католически, по-римски.

Священник в восхищении преклонился.

— Я никогда не расставался с Саллюстием, — сказал Наполеон, — носил его в кармане и с удовольствием прочитывал войну против Югурты. А Цезарь? Его галльская война? Мы тоже, святой отец, воюем с новейшими дикими варварами, с галлами Востока... Но надо покоряться лишениям.

Говоря это, Наполеон прохаживался по комнате. Радостно изумленный ксендз и свита благоговейно внимали бойким, хотя и не вполне правильным римским цитатам нового Цезаря. В уютной комнате, кстати, было так тепло. Вечернее же солнце так домовито и весело освещало скромную мебель в белых чехлах, гравюры по стенам и уцелевшие от грабителей горшки цветов на окнах, что всем было приятно.

Наполеон еще что-то говорил. Вдруг он, нагнувшись к окну, остановился. Он увидел на дворе нечто, удивившее и обрадовавшее его. В слуховое окно конюшни выглянула пестрая хохлатая курица. Уйдя днем от грабителей на сенник, она озадаченно теперь оттуда посматривала на новых нахлы-

нувших посетителей и, очевидно, не решалась в обычный час пробраться в разоренный птичник на свой нашест, как бы раздумывая: а что, как поймают, здесь и зарежут?

— Reverendissime, ecce pulla! (Почтеннейший, вот курица!) — сказал Наполеон, обращаясь к священнику.

Ксендз и прочие бросились к окну. Они действительно увидели курицу и выбежали во двор. Уланы справа и слева оцепили конюшню и полезли на сенник. Курица с криком вылетела оттуда через их головы в сад. Офицеры, мамелюк Рустан и Мутон пустились ее догонять. Им помогал, командуя и расставляя полы шубы, даже важный и толстый Дюрок. Наполеон с улыбкой следил из окна за этой охотой. Курица была поймана и торжественно внесена в дом.

— Si item...[1] Если ты такой же умелый повар, — сказал Наполеон ксендзу, — как священник, сделай мне хорошую похлебку.

— С великим удовольствием, государь! (Magna cum voluptate, Caesar!) — нерешительно ответил ксендз. — Боюсь только, может не удаться.

Подросток, племянник священника, растопил в кухне печь, Рустан иззябшими руками ощипал и выпотрошил зарезанную хохлатку.

— Но, ваше величество, — заметил, взглянув на свою луковицу, Рапп, — мы опоздаем; какую тревогу забьют в замке того помещика, где ожидают вас, и в Ошмянах!

— А вот погоди, уже пахнет оттуда! — ответил Наполеон, обращая нос к кухне. — Успеем, еще светло... Расставлена ли цепь?

— Расставлена...

Похлебку приготовили. К дивану, на котором сидел Наполеон, придвинули стол. Ввиду того что вся посуда у ксендза была ограблена, кушанье принесли в простом глиняном горшке; у солдат достали походную деревянную ложку.

---

[1] Если также... (*лат.*).

— Дивно, прелесть! (Optime, superrime!) — твердил Наполеон, жадно глотая и смакуя жирный, душистый навар.

Мамелюк прислуживал. Он вынул куриное мясо, разрезал его на части своим складным ножом и подал на опрокинутой крышке горшка часть грудинки с крылом. Наполеон потянул к себе всю курицу, кончил ее и весь в поту от вкусной еды оглянулся на руки Рустана, державшего походную флягу с остатком бордо.

— Да это, друзья мои, не бивачная закуска, а целый пир! — восторженно сказал Наполеон, допив в несколько приемов флягу. — Я так не ел и в Тюильри.

— Пора, ваше величество, осмелюсь сказать, — произнес Коленкур, — смеркается, мы здесь целый час.

Наполеон улыбнулся счастливой, блаженной улыбкой, протянул ноги на подставленный ему стул, безнадежно махнул рукой и, как сидел на диване, оперся головой о стену, закрыл глаза и в теплой, уютной, полуосвещенной комнате почти мгновенно заснул. Лица свиты вытянулись. Коленкур делал нетерпеливые знаки Раппу, Рапп — Дюроку, но все раболепно-почтительно замерли и, не смея пикнуть, молча ожидали пробуждения усталого Цезаря.

В тот же день, перед вечером, верстах в пяти от большой Виленской дороги, в густом лесу, подходившем к городку Ошмянам, показался отряд всадников. То была партия Фигнера. Усиленно проскакав сплошными трущобами и болотами, она стала биваком в лесной чаще и, не разводя огней, решила до ночи собрать сведения, кто и в каком количестве занимает Ошмяны.

В городе, в крестьянском зипунишке и войлочной капелюхе, на дровнях лесника, прежде всех побывал сам Фигнер. Он, к изумлению, узнал, что здесь стоит пришедший накануне из Вильны отряд французской кавалерии. Ломая голову, зачем сюда пришли французы, он поспешил обратно к биваку, где, посоветовавшись с офицерами, разделил свою партию надвое и одну ее часть

послал, также стороной и лесом, далее, к селению Медянке, а другой велел остаться при себе на месте. В Ошмяны же, для разведки, как велик французский отряд, он разрешил послать собственного ординарца Крама и стоявшего долгое время в Литве, а потому знающего местный язык старого казацкого урядника Мосеича.

Путники уже в сумерки, вслед за каким-то обозом, на тех же дровнях въехали в город. Улицы были почти пусты, лавки и кабаки закрыты, изредка только встречались прохожие и проезжие. Окна светились лишь в немногих домах.

У крайнего, с клетушками и длинными сараями постоялого двора, при въезде в город, оказался большой конный французский пикет. Солдаты, как бы отдыхая, полулежали у забора, держа под уздцы наготове лошадей. Они разговаривали и, очевидно, чего-то ожидали. Завидев их еще издали и плетясь пешком у санок, одетый дровосеком урядник Мосеич шепнул ординарцу, лежавшему в санях на куче дров:

— Ваше благородие, видите, сколько их? Не вернуться ли?

— Ступай, — ответил также шепотом ординарец, — авось пропустят... зайду на постоялый двор, еще кое-что узнаем.

— Да мне не велено вас бросать.

— Ну, как знаешь, заезжай и сам; только не разом, попозже.

Ординарец, миновав стражу, встал и направился на постоялый двор к смежной, с чистыми светлицами рабочей избе. Урядник для отвода глаз направился с дровами окольными улицами на базарную площадь, а оттуда к мосту и, вывалив там дрова, также потом завернул с санями в ворота постоялого двора. Не распрягая лошадь, он поставил ее к яслям, под навес, взял у дворника сена и овса, всыпал овес в торбу, а сам прилег в сани, прислушиваясь к возне и говору на замолкавшем дворе. Окончательно стемнело.

XLII

Одетый мелким хуторянином, в бешмете на заячьем меху и в черной барашковой литовской шапке, ординарец Фигнера был — Аврора Крамалина.

Сперва скитание в оставленной французами Москве, потом почти четырехнедельное пребывание в партизанском отряде сильно изменили Аврору. С коротко остриженными волосами и обветренным лицом, в казацком чекмене или в артиллерийском шпенцере, с пистолетом за поясом и в высоких сапогах, она походила на молоденького, только что выпущенного в армию кадета. Фигнер, щадя и оберегая вверенную ему Сеславиным Аврору, тщательно скрывал ее, известные ему происхождение и пол, и, ссылаясь на молодость и слабые силы принятого им юнкера, почти не отпускал ее от себя. Офицеры сперва звали новобранца — Крамалин, а потом, со слов казаков, просто — Крам. Иные из них в начале знакомства стали было трунить над новым товарищем, говоря о нем:

— Какой это воин? Красная девочка!

Но Фигнер, намекнув на высокое родство и связи новобранца, так осадил насмешников, что все их остроты прекратились, и на юнкера никто уже не обращал особого внимания.

Состоя в ординарцах у Фигнера, Аврора почти не сходила с коня. Все удивлялись ее неутомимому усердию к службе. Голодная, иззябшая, являясь с разведками и почти не отдохнув, она в постоянном, непонятном ей самой, лихорадочном возбуждении всегда была готова скакать с новым поручением. Одно ее смущало: холодная, почти зверская жестокость ее командира с попавшими ему в руки пленными. Тихий с виду и, казалось, добрый, Фигнер на ее глазах, любезно-мягко шутя и даже угощая голодных, достававшихся ему в добычу пленных, внимательно расспрашивал их о том, что ему было нужно, пересыпая шутками, записывал их показания и затем беспощадно их расстреливал. Однажды —

Аврора в особенности не могла этого забыть — он собственноручно после такого допроса пристрелил из пистолета одного за другим пятерых моливших его о пощаде пленных.

— Зачем такая жестокость? — решилась тогда, не стерпев, спросить своего командира Аврора.

— Слушайте, Крам, — ответил он, ероша космы своих волос, — зачем же я буду их оставлять? Ни Богу свечка, ни черту кочерга! Все равно перемерзли бы... не таскать же за собой...

Авроре у ошмянского постоялого двора, при виде жалобно жавшихся друг к другу с обернутыми тряпьем лицами и ногами итальянских солдат, вспомнилась другая сцена. За два дня перед тем Фигнер, с частью своей партии, также отлучился для особой разведки к местечку Сморгони. Возвратясь к остальным, он рассказывал, что и как им сделано.

— Представь, — обратился он к гусарскому ротмистру, бывшему в его отряде, — только что мы выглянули из-за кустов, видим, у мельницы французская подвода с больными и ранеными — очевидно, обломалась, отстала от своего обоза, и при ней такой солидный, и важный в густых эполетах французский штаб-офицер. Мы вторые сутки брели лесом, без дорог, измучились, проголодались и вдруг — что же увидели? Собачьи дети преспокойно развели костер и варят рисовую кашу. Ну, я их, разумеется, и потревожил; смял с налета, всех перевязал и начал укорять; такие вы сякие, говорю, пришли к нам и еще хвалитесь просвещением, такие, мол, у вас писатели — Бомарше, Вольтер... а сами, что наделали у нас? Их командир, в эполетах, вмешался и так заносчиво и гордо стал возражать. Ну, я не вытерпел и был принужден, разложив на снегу попонку, предварительно предать его телесному наказанию.

— Предварительно? — спросил ротмистр. — А после, что ты с ними сделал и куда их сбыл?

Фигнер на это молча сделал рукой такой знак, что Аврора вздрогнула и тогда же решила при первом удобном случае опять проситься обратно к Сеславину. Как она ни

была возбуждена и вследствие того постоянно точно приподнята над всем, что видела и слышала, она не могла вынести жестоких выходок Фигнера.

Более же всего Авроре остался памятен один случай в окрестностях Рославля. Фигнеру от начальства было приказано, ввиду начавшейся тогда оттепели, собрать и сжечь валявшиеся у этого города трупы лошадей и убитых и замерзших французов. Он, дав отдых своей команде, поручил это дело находившимся в его отряде калмыкам и киргизам. Те стащили трупы в кучи, переложили их соломой и стали поджигать. Ряд страшных костров задымился и запылал по сторонам дороги. В это время из деревушки, близ Рославля, ехала в Смоленск проведать о своем томившемся там в плену муже помещица Микешина. Ее возок поравнялся с одною из приготовленных куч. Калмыки уже поджигали солому. Путница видела, как огонь быстро побежал кверху по соломе. Вдруг послышался голос кучера:

— Матушка, Анна Дмитриевна! Гляньте... жгут живых людей!

Микешина выглянула из возка и увидела, что солома наверху кучи приподнялась и сквозь нее сперва просунулась, судорожно двигаясь, живая рука, потом обезумевшее от ужаса живое лицо. Подозвав калмыков, поджигавших кучи, Микешина со слезами стала молить их спасти несчастного француза и за червонец купила его у них. Они вытащили несчастного из кучи и положили к ней в ноги. Возок поехал обратно, в деревушку Микешиных Платоново. Фигнер узнал о сердоболии калмыков. Он подозвал своего ординарца.

— Скачите, Крам, за возком, — сказал он Авроре, — остановите его и предложите этой почтенной госпоже возвратить спасенного ею мертвеца.

— Но, господин штаб-ротмистр, — ответила Аврора, — этот мертвый ожил.

— Не рассуждайте, юнкер! — строго объявил Фигнер. — Великодушие хорошо, но не здесь; я вам приказываю.

Аврора видела, каким блеском сверкнули серые глаза Фигнера, и более не возражала.

«Я его брошу, брошу этого жестокосердого», — думала она, догоняя возок.

Настигнув его, она окликнула кучера. Возок остановился.

— Сударыня, — сказала Аврора, нагнувшись к окну возка, — начальник здешних партизанов Фигнер просит вас возвратить взятого вами пленного.

Из-под полости, со дна возка, приподнялась страшно исхудалая, с отмороженным лицом, жалкая фигура. Мертвенно-тусклые, впалые глаза с мольбой устремились на Аврору.

— О господин, господин... во имя Бога, пощадите! — прохрипел француз. — Мне не жить... но не мучьте, дайте мне умереть спокойно, дайте молиться за русских, моих спасителей.

Эти глаза и этот голос поразили Аврору. Она едва усидела на коне. Пленный не узнал ее. Она его узнала: то был ее недавний поклонник, взятый соотечественниками в плен эмигрант Жерамб. Аврора молча повернула коня, хлестнула его и поскакала обратно к биваку.

— Ну, что же? Где выкупленный мертвец? — спросил ее, улыбаясь, Фигнер.

— Он вторично умер, — ответила, не глядя на него, Аврора.

Об этом Аврора вспомнила, пробираясь под лай цепного пса к рабочей избе постоялого двора. Она остановилась под сараем, в глубине двора. Здесь, впотьмах, она услышала разговор двух французских офицеров кавалерийского пикета, наблюдавших за своими солдатами, которые среди двора поили у колодца лошадей.

— Ну страна, отверженная Богом, — сказал один из них, — не верилось прежде; Россия — это нечеловеческий холод, бури и всякое горе... И несчастные зовут еще это отечеством!.. (Et les malheureux appellent cela une patrie!..)

— Терпение, терпение, — ответил другой, с итальянским акцентом.

К ним подошел третий французский офицер. Солдаты в это время повели лошадей за ворота. Свет фонаря от крыльца избы осветил лицо подошедшего.

— Это вы, Лапи? — спросил один из офицеров.

— Да, это я, — ответил подошедший.

То был статный, смуглый и рослый уроженец Марселя майор Лапи. Он, как о нем впоследствии говорили, стоял во главе недовольных сто тринадцатого полка и давно тайно предлагал расправиться с обманувшим их вождем французов.

— Что вы скажете? Ведь он действительно бросил армию и скачет... припоздал, по пути, в замке здешнего магната; ему тепло и сыто, а нам...

— Я скажу, что теперь настало время!.. Мы бросимся, переколем прикрытие...

Аврора далее не слышала. Сторожевой пес, рвавшийся с цепи на Мосеича и других двух путников, которые в это время въехали во двор, заглушил голос майора. Аврора, сказав несколько слов уряднику, пробралась в черную избу. Полуосвещенные ночником нары, лавки и печь были наполнены спящими рабочими и путниками. Сняв шапку и в недоумении озираясь по избе, Аврора думала: «От кого доведаться и кого расспросить? Неужели ждут Наполеона? Боже! Что я дала бы за час сна в этом тихом теплом углу!»

— Обогреться, паночку, соснуть? — отозвался выглянувший с печи бородатый, лет пятидесяти, но еще крепкий белорус-мужик.

— Да, — ответила Аврора, — мне бы до зари, пока рассветет.

— С фольварка?

— Да...

— Можа, за рыбкой альбо мучицы?

— За рыбой...

— Ложись тута... тесно, а место есть! — сказал, отодвигаясь от стены, мужик.

Он с печи протянул Авроре мозолистую, жесткую руку. Она влезла на нары, оттуда на верхнюю лежанку и протянулась рядом с мужиком, от зипуна которого приятно пахло льняной куделью и сенной трухой.

— Мы мельники, а тоже и куделью торгуем, — сказал, зевая, мужик.

Примостив голову на свою барашковую шапку и прислушиваясь, все ли остальные спят, Аврора молчала; смолк и, как ей показалось, тут же заснул и мужик. В избе настала полная тишина, только внизу, под лавками, где-то звенел сверчок да тараканы, тихо шурша, ползали вверх и вниз по стенам и печке. Долго так лежала Аврора, поджидая условного зова Мосеича, чтобы до начала зари выбраться из города. Она забылась и также задремала. Очнувшись от нервного сотрясения, она долго не могла понять, что с нею и где она. Понемногу она разглядела на лавке, у стола, худого и бледного итальянского солдата, которому другой солдат перевязывал посиневшую, отмороженную ногу. Они тихо разговаривали. Раненый, слушая товарища, злобно повторял:

— Diavolo... vieni[1].

В дверь вошел рослый бородатый рабочий. Он растолкал спавших на нарах и на печи других рабочих. Все встали, крестясь и поглядывая на солдат, обулись и вышли. Итальянцы также оставили избу. Из сеней пахнуло свежим холодом. За окном заскрипел ночевавший во дворе с какой-то кладью обоз.

— Усё им, поганцам, по наряду вязуць! — тихо проговорил, точно про себя, лежавший возле Авроры мужик.

— Откуда везут?

— З Вильны.

— Куда?

---

[1] Дьявол... подойди (*ит.*).

— Насустречь их войску. Кажуть, — продолжал, оглядываясь, мужик, — ихнего Бонапарта доконали, и он чуть пятки унес, ув свои земли удрав.

— Не убежал еще, — произнесла Аврора, — его следят.

— Убяжит! Яны, ироды, уси струсили: як огня боятся казаков, а особь Сеславина, да есть еще такой Фигнер. Принес бы их Господь!..

— А ты, дедушка, за русских?

— Мы, паночку, исстари русские, православные тут; мельники, куделью торгуем.

Мужик опять замолчал. Еще какие-то мужик и баба встали, крестясь, из угла и, подобрав на спину котомки, вышли. В избе остались только Аврора, спавшее на печи чье-то дитя и мельник-мужик. Прошло более часа.

Аврора не спала. Рой мыслей, одна тяжелее другой, преследовал и томил. Она перебирала в уме свой первый, неудачный шаг в партизанском отряде Фигнера, когда она поступила к нему в Астафьеве и в крестьянской одежде проникла в Москву. Фигнер был полон надеждою пробраться в Кремль и убить Наполеона. Она надеялась получить аудиенцию у Даву и, если Перовский еще жив, вымолить у грозного маршала помилование ему, а себе дозволение разделить с ним бедствия плена. Авроре живо припомнилась ночь, когда она и Фигнер, с телегой, как бы для продажи, нагруженной мукой, пробрались через Крымский брод и Орлов луг в Москву и до утра скрывались в ее развалинах. С рассветом их поразила мертвая пустынность сгоревших улиц. Они с телегой направились в провиантское депо, к Кремлю. На Каменном мосту, как она помнила, их оглушил нежданный громовой взрыв, за ним раздались другой и третий. Громадные столбы дыма и всяких осколков поднялись над кремлевскими стенами, осыпав мост пылью и песком. По набережной, выплевывая изо рта мусор, в ужасе бежали немногие из обитателей уцелевших окрестных домов. От

них странники узнали, что Наполеон с главными французскими силами в то утро оставил Москву, уводя с собою громадный обоз и пленных и приказав оставшемуся отряду взорвать Кремль.

XLIII

Аврора посетила в погорелой Бронной пепелище бабки, была и на Девичьем поле. Монахини Новодевичьего монастыря показали ей опустелую квартиру Даву и близ огородов — у берега Москвы-реки — место его страшных казней. Здесь-то, в слезах и отчаянии, Аврора поклялась до последней капли крови преследовать извергов, отнявших и убивших ее жениха. Она было оставила Фигнера и, приютившись у знакомой, пощаженной французами старушки, кастелянши Воспитательного дома, около двух недель оставалась в Москве, разыскивая Перовского между русскими и французскими больными и пленными. Не найдя его, она решила, что он погиб, опять пробралась в отряд Фигнера, рыскавшего в то время у путей отступления французов к Смоленску, и уже не покидала его.

«Но, может быть, он жив? — думалось иногда Авроре о Перовском. — Что, если в последнюю минуту его пощадили и теперь, измученного, по этой стуже, голодного и без теплой одежды, ведут, как тысячи других пленных?»

Аврора на походе с трепетом прислушивалась к известиям из других отрядов и, едва до нее доносился слух об отбитии у неприятеля русских пленных, спешила искать среди них вестей о Перовском. Никто из тех, кого она спрашивала, не слышал о нем и не видел его ни в Москве, ни на пути.

Исполняя поручения неутомимого и почти не спавшего Фигнера, Аврора часто не понимала, зачем именно она здесь, среди этих лишений и в этой обстановке, если ее жениха нет более на свете? Для чего, бросив теплый родной

кров и любящих ее бабку и сестру, забыв свой пол и свое не особенно сильное здоровье, она сегодня весь день не сходит с Зорьки, завтра мерзнет в ночной засаде, среди болот или в лесной глуши? На походе, у переправ через реки и ручьи, в дождь и холод, у костра и в бессонные ночи, где-нибудь в овине или в полуобгорелой, раскрытой избе, ее преследовала одна заветная мечта — отплаты за любимого человека... В минуты такого раздумья, тайком от других, Аврора вынимала с груди крошечный медальон с акварельным, на слоновой кости, портретом Перовского и, покрывая его поцелуями, долго вглядывалась в него.

— Милый, милый, где ты? — шептала она. — Видишь ли ты свою, любящую тебя Аврору?

В эти мгновения ее облегченным думам становилось понятно и ясно, зачем она здесь, в лесу, или на распутье заметенных снегом дорог Литвы, а не у бабки в Ярцеве или в Паншине, и зачем на ней грубый казацкий чекмень или бараний полушубок, а не шелковое, убранное кружевами и лентами платье.

Картины недавнего прошлого счастья дразнили и мучили Аврору. Мысленно видя их и наслаждаясь ими, она не могла понять, что же именно ей наконец нужно и чего ей недостает. Мучительным сравнениям и сопоставлениям не было конца.

«Как мне ни тяжело, — рассуждала она, — но все же у меня есть и защищающая меня от стужи одежда, и сносная пища, и свобода... А он, он, если и вправду жив, ежечасно мучится... Боже! Каждый миг ждать гибели от разбитого, озлобленного, бегущего врага!..»

Аврора дремала на печи. Вдруг ей показалось, что ее зовут. Она приподняла голову, стала слушать.

— Это я, — раздался у ее изголовья тихий голос мужика, лежавшего на печи.

В избе несколько как бы посветлело. У плеча Авроры яснее обрисовалась широкая, окладистая борода белоруса, его худое благообразное лицо и добрые глаза, ласково смотрев-

шие на нее. Посторонних, кроме ребенка, спавшего на печи, не было в избе.

— Паночку, а паночку, — обратился к Авроре, опершись на локоть, мужик, — а что я тебе скажу!

Аврора, присев, приготовилась его слушать.

— Ответь ты мне, — спросил мужик, — грешно убивать?

— Кого?

— Человека... ён ведь, хоть и враг, тоже чувствует, с душой.

— Во время войны, в бою, не грешно, — ответила Аврора, вспоминая церковную службу в Чеплыгине и воззвание синода, — надо защищать родину, ее веру и честь.

— Убивают же и не в бою, — со вздохом проговорил мужик.

— Как? — спросила Аврора.

— А вот как. Мы исстари мельники, — произнес мужик, — перешли сюда из Себежа — землица там скудна. Жили здесь тихо; только усё отняли эти ироды — хлебушко, усякую живность, свою и чужую муку; оставили в чем были. Одной кудели, оголтелые, не тронули, им на что? Не слопаешь! И как прожили мы это с Успенья, не сказать... Отпустили они нас маленько, а тут с Кузьмы и Демьяна опять и пошли видимо-невидимо, это як бросили Москву. Есть у нас тоже мельник и мне сват, Пётра. Добыл он детям у соседа-еврея дойную козу: пусть, мол, хоть молочка попьют; и поехал, это, на днях сюда в город, к куму за мучицей. Возвращается, полна хата гостей... Французы сидят вокруг стола; в печи огонь, а на столе горшки з усяким варевом. Жена, сама не своя, мечется, служит им. Ну, думает Пётра, порешили козу. А они завидели его, смеются и его же давай угощать; сами, примечаем, пьянешеньки... Что же тут делать? А у него никакого оружия.

Аврора при этом вспомнила о своем пистолете и ощупала его на поясе под бешметом.

— Посидел он с ними, — продолжал мужик, — и вызвал хозяйку в сени. Спрашивает· «Коза?» Она так и залилась слезами. «А дети?» — спрашивает и сам плачет. Она указала на кудель в сенях и говорит: «Я тута их спрятала». Вытащил он ребят из-под кудели, посадил их и жену в санки, а сам припер поленом дверь, говорит хозяйке: «Погоняй к куму», да тут же запалил кудель и стал с дубиной у окна. Полохнули сени, повалил дым. Французы загалдели, ломятся в дверь, да не одолеют, и полезли в окна. Какой просунет голову, Пётра его и долбанёт... И недолго возились... Это вдруг все затрещало, и стал, о Господи, один, как есть, огненный столб... Это, скажи, грешно? Накажут Пётру на том свете?

— Бог его, дедушка, видно, простит, — ответила Аврора.

Опять настало молчание. Сверчок под лавкой также затих. Не было слышно ни собачьего лая на дворе, ни шуршанья и возни тараканов. Аврора прилегла и, закрыв глаза, думала, скоро ли позовет Мосеич.

— Паночку, а паночку, — вдруг опять послышался голос, — что я тебе скажу?

— Говори, дедушка.

— За насильников Бог, може, простит, а как ён тебя не трогал?

Аврора слушала.

— Было, ох, и со мною, — продолжал мужик, — встрел я ноне, идучи сюда, глаз на глаз, одного ихнего окаянника-солдата; шел он полем, пеш, вижу, отстал от своих, ну и хромал; мы пошли с ним рядом. Он все что-то лопоче по-своему и показывае на рот, голодный, мол; а при боку сабля и в руках мушкет. Думаю, сколько ты, скурвин сын, загубил душ!

Мужик замолчал.

— Сели мы, — продолжал он, — я ему дал сухарь, смотрю на него, а он ест. И надумал я — вырвал у него, будто в шутку, мушкет; вижу, помертвел, а сам смеется... хочет смехом разжалобить... Ну, думаю, Бог тебе судья!

Показал ему этак-то рукою в поле, будто кто идет; он обернулся, а я ему тут — о Господи! — в спину и стрельнул...

Мужик смолк. Молчала и Аврора.

— Грешно это? — спросил мужик.

Аврора не отвечала. Ей вспомнилось пепелище Москвы, Девичье поле и место казней Даву.

«И что ему нужно от меня? — думала она. — Не все ли равно? Теперь все погибло и все кончено... пусть же гибнут и они».

В избе стало еще светлее; за окнами во дворе слышался говор и двигались люди.

— А я, панок, потому в Ошмяны, — начал было, не слыша Авроры, мужик, — сюда, сказывают, идет генерал Платов с казаками... и я.

Он не договорил. Дверь из сеней отворилась. В избу вошел Мосеич. Осмотревшись и разглядев Аврору, а возле нее мужика, он остановился.

— Не бойся, это наш, — сказала Аврора, спустясь с печи и идя за Мосеичем в сени, — что нового?

— Едем; они ждут своего Бонапарта.

— Где?

— Здесь.

— Ты почем знаешь?

— Все толкуют «анперёр!» и указывают на дорогу...

— Вызови санки; еще успеем доскакать к нашим.

Мосеич пошел за лошадью. Аврора вышла за ворота. Бледное утро едва начиналось; улица у постоялого двора была уже, однако, полна народа. Все в некотором смущении ждали Наполеона, опоздавшего, по расписанию, более чем на три часа.

XLIV

Бургомистр и другие, назначенные от французов, начальники города стояли впереди и, не спуская глаз с дороги на городском выгоне, сдержанно разговаривали. Народ, евреи

и уличные мальчишки напирали сзади или, взобравшись на заборы и крыши соседних дворов, глядели оттуда на выстроившийся конный отряд.

«Да, теперь уже несомненно, ждут самого Наполеона, — подумала Аврора, — гонят его наши!»

Ей вспомнился этот Наполеон на картинке, убивающий оленя.

Она, пробравшись ближе к конвою, узнала по голосу сидевшего впереди других на серой лошади итальянского майора, которого вечером близ нее назвали Лапи и который, как она убедилась из его слов, был готов посягнуть на жизнь Наполеона. Статный и смуглый, с густыми черными бакенами, майор мрачно с седла смотрел в ту сторону, куда были направлены взоры остальных. Его глаза, как ей показалось, горели ненавистью и злобой; нижняя часть лица, стянутого перевязью каски, судорожно вздрагивала.

— Так это — герцог Виченцкий, а не император? — спросил его стоявший с ним рядом другой французский офицер.

— Терпение! Может быть, и он, — сухо ответил Лапи.

«О, если бы это был Наполеон! — подумала Аврора, отыскивая глазами Мосеича. — Не струсь этот офицер, бросься он в это мгновение на ожидаемого злодея, и общим бедствиям конец, мир был бы спасен...»

Толпа, стоявшая у постоялого двора, мешала Мосеичу выехать из ворот. Он, показывая это знаками Авроре, выжидал, пока народ отодвинется. Аврора протиснулась еще далее и впереди кавалеристов увидела заготовленные для ожидаемых путников две четверни лошадей с разряженными в перья и в ленты почтарями.

— Я узнал, что не император, а Коленкур, он едет курьером в Париж, — сказал кто-то из конвоя вблизи Авроры, — стоило из-за того мерзнуть!

Вдруг толпа заволновалась и двинулась вперед. Теснимая напиравшими от забора, Аврора оглянулась на Мосеича. Того уже не было у ворот. С мыслью: «Где же он? Надо

ехать, дать знать нашим!» — Аврора взглянула вдоль улицы. В красноватом отблеске зари, на белой, снеговой поляне выгона показались две черные двигавшиеся точки. Ближе и ближе. Впереди скакал верховой. Стал виден нырявший по ухабам круглый, со стеклами возок, за ним — крытые сани. Форейторы, прилегая к шеям измучившихся, взмыленных лошадей, махали бичами. Послышалась труба скакавшего впереди вестового.

Тысячи мыслей с неимоверной быстротой пролетали в голове Авроры. Ей припомнились слова старосты Клима о французах, засыпанных в колодце, признания мужика-белоруса о подожженной избе и убитом голодном французском солдате. Авроре казалось, что она сама в эти мгновения вынуждена и должна что-то сделать, немедленно и бесповоротно предпринять, а что именно — она не могла дать себе отчета.

— Насильник, насильник, — шептала она, — надругался над всем, что дорого и свято нам... ответишь!

Чувствуя непонятную, ужасающую торжественность минуты, она видела, как в толпе народа, еще недавно встречавшего Наполеона восторженными криками, все смотрели на него молча, с испуганно смущенными лицами. При этом она с удивлением приметила, что и статный, за мгновение мрачный и грозный, майор вдруг как-то преобразился и, вытянувшись, с почтительной преданностью на лице, салютовал шпагой подъезжавшему возку.

«Струсил!» — подумала с горькой усмешкой Аврора.

Она разглядела в толпе благообразное и печально-недоумевающее лицо мужика, говорившего ей за несколько минут на печи:

— Паночку, а паночку, а что я тебе скажу!

Посеребренный инеем, с потертым волчьим мехом на окнах возок в этот миг подкатил к постоялому двору и остановился у заготовленной смены лошадей.

«Герцог Виченцкий или сам император?» — с дрожью вглядываясь в возок, подумала Аврора.

Прямо перед нею в окне возка обрисовалось оливковое, с покрасневшим носом и гневными красивыми глазами лицо Наполеона. Аврора тотчас узнала его.

«Так вот он, плебей-цезарь, коронованный солдат!» — сказала она себе, видя, как важный и толстый, с шарфом через плечо и с совершенно растерянными глазами бургомистр, подойдя к карете, стал с низкими поклонами ломаным французским языком говорить что-то просительное и жалобное, а ближайшие к нему горожане даже опустились рядом с ним на колени. Почтари иззябшими, дрожащими руками наскоро отпрягли прежних и впрягли новых лошадей. Новый конвой, с майором Лапи во главе, молодецки строился впереди и сзади экипажа

— Eh bien, pourquoi ne partons nous pas? (Что же мы не едем?) — громко спросил Наполеон, с досадой высунувшись из колымажки и не обращая внимания ни на бургомистра, ни на его речь. Толпа, разглядев ближе императора, стояла в том же мрачном безмолвии. Офицеры метались, почтари торопливо садились на козлы и на лошадей.

Авроре мгновенно вспомнились ее детство, деревня дяди, бегущая собака и крики: «Бешеная! Спасите!»

«Да, вот что мне нужно! Вот где выход! — с непонятной для себя и радостной решимостью вдруг сказала себе Аврора. — И неужели не казнят злодея? Базиль! Храни тебя Господь... а я...»

Она, перекрестясь, опустила руку под бешмет, рванулась из-за тех, кто теснился к экипажам, выхватила из-под полы пистолет и взвела курок. Бургомистр в это мгновение крикнул:

— Виват!

Толпа, кинувшись за отъезжавшим возком, также закричала. Наполеон небрежно-рассеянно посмотрел к стороне толпы. Его по-прежнему недовольные глаза на мгновение встретились с глазами Авроры.

«А, видишь меня? Знай же...» — подумала она и выстрелила.

Клуб дыма поднялся перед нею и мешал ей видеть, удачен ли был ее выстрел. Она судорожно бросилась вперед, обгоняя толпу. Ей мучительно хотелось узнать, чем кончилось дело. Но отъезжавший конвой, по команде майора, полуоборотясь, направил дула карабинов в ту сторону, где, заглушенный криками толпы, послышался пистолетный выстрел и где бежал в бешмете невысокий и худенький шляхтич. Раздался громкий залп других выстрелов. В толпе повалилось несколько человек, в том числе выстреливший в императора шляхтич. Он, точно споткнувшись о что-нибудь и распластав руки, упал ничком и не двигался.

— Фанатик? — спросил, зевнув, Наполеон, усаживаясь глубже в подушки возка.

— Какой-нибудь сумасшедший! — ответил Коленкур, поднимая окно возка.

Толпа, увидев трупы, в безумном страхе бросилась по улицам. Одни запирались в своих домах, другие спешили уйти из города. Урядник Мосеич, оттертый толпой, успел в общем переполохе доехать переулком до выгона, подождал юнкера, подумал, что тот по неосторожности попал в плен, и, прячась за мельницами и огородами, поскакал к лесу.

Оставшийся за сменою итальянский конвой оцепил постоялый двор и улицу. Из толпы было схвачено несколько человек; арестовали и хозяина постоялого двора. Им стали делать допрос. Тела убитых внесли под навес сарая. Между ними был и мельник-литвин. Полуоборотясь к мертвой Авроре, он лежал с открытыми глазами и, как недавно, будто шептал ей:

— Паночку, а паночку, а что я тебе скажу!

Мосеич достиг леса, куда незадолго перед тем явился с своим отрядом и Сеславин. Оба партизана бросились с двух сторон на Ошмяны. Итальянский конвой был захвачен. Фигнер узнал о смерти Крама. Ругаясь, кусая себе руки и проклиная неудачу, он решил тут же перестрелять арестованных.

Сеславин воспротивился, говоря, что выгоднее всех взять в плен и от них доведаться о дальнейших намерениях неприятеля.

— Ну и возись с ними, пока на тебя же не наскочат другие, — сказал Фигнер. — Ох, уж эти неженки, идеологи!

— Да чем же идеологи? — спросил, вспыхнув, Сеславин. — Вам бы все крови.

— А вам сидеть бы только в кабинете да составлять сладкие и чувствительные законы, — кричал Фигнер, — а эти законы первый ловкий разбойник бросит после вас в печь!

Сеславин стал было снова возражать, но раздосадованный Фигнер, не слушая его, крикнул своей команде строиться, сел на коня и поскакал за город, вперерез по Виленской дороге.

Сеславин освободил корчмаря, разыскал помощника бургомистра и, пока его команда, развьючив лошадей, кормила их и наскоро сама закусывала, распорядился похоронами убитых.

— Слышал? — спросил адъютанта Сеславина пожилой, с седыми усами гусарский ротмистр, выйдя из постоялого, где закусывали остальные офицеры.

— Что такое?

— Убитый-то ординарец Фигнера, ну, этот юнкер Крам, как его звали, ведь оказался женщиной!

— Что ты? — удивился адъютант.

— Ей-Богу! Синтянину первому сказали, а он — Александру Никитичу.

Адъютант Сеславина Квашнин, месяц тому назад, под Красным, поступивший в партизаны, обомлел при этих словах.

«Крам, Крамалина! Ясно, как день! — сказал себе Квашнин. — И я не догадался ранее!»

Ему вспомнилось, как он, в вечер вступления французов в Москву, обещал Перовскому отыскать дом его невесты Крамалиной, как он его нашел и получил от дворника записку этой девушки и с целью отдать ее при первой встрече

Перовскому не расставался с нею. Пораженный услышанною вестью, он без памяти бросился в избу, куда между тем в ожидании погребения перенесли убитых.

— Да-с, господа, женщина, и притом такая героиня! — произнес, стоя у тела Авроры, Сеславин. — Теперь она покойница, тайны нет. Ее жизнь, как говорят, роман... когда-нибудь он раскроется... А пока на ней найден вот этот, с портретом, медальон... Вероятно, изображение ее милого.

Офицеры стали рассматривать портрет.

— Боже! Так и есть... это Василий Перовский! — вскрикнул, вглядываясь в портрет, Квашнин.

— Какой Перовский? — спросил Сеславин.

— Бывший, как и я вначале, адъютант Милорадовича; мы с ним от Бородина шли вплоть до Москвы... он на прощание поведал мне о своей страсти.

— Так вы его знаете?

— Как не знать!

— Где же он?

— Попал, очевидно, как и я в то время, в плен, а жив ли и где именно — неизвестно.

— Ну, так как вы его знаете, — сказал Сеславин, — вот вам этот медальон, сохраните его. Если Перовский жив и вы когда-нибудь увидите его, отдайте ему... А теперь, господа, на коней и в путь.

Партизанский отряд Сеславина двинулся также по Виленской дороге. Квашнин при отъезде отрезал у Авроры прядь волос и, отирая слезы, спрятал их с медальоном за лацкан мундира.

«Какое совпадение! Так вот где ей пришлось кончить жизнь! — мыслил он, миновав Ошмяны, и снова с отрядом въезжая в придорожный лес. — Думал ли Перовский, думал ли я, что его невесте, этой московской милой барышне, танцевавшей прошлою весною на тамошних балах, любимице семьи, придется погибнуть в литовской трущобе?.. Никто ее здесь не знает, никто не пожалеет, и родная рука не бросит ей на безвестную могилу и горсти мерзлой земли».

Слезы катились из глаз Квашнина, и он не помнил, как сидел на коне и как двигался среди товарищей по бесконечному дремучему лесу, охватившему его со всех сторон. Всадники ехали молча. Косматые ели и сосны, усыпанные снегом, казались Квашнину мрачными факельщиками, а партизанский отряд, с каркающими и перелетающими над ним воронами, — без конца двигающейся траурной процессией.

XLV

Наполеон проехал Вильну в Екатеринин день, 24 ноября, а русскую границу — 26 ноября, в день святого Георгия. Эту границу император французов проехал в том еврейско-шляхетском возке, в котором по нем был сделан неудачный выстрел в Ошмянах.

Подпрыгивая на ухабах в этом возке, Наполеон с досадой вспоминал торжественную прокламацию, изданную им несколько месяцев назад, при вступлении в неведомую для него в то время Россию.

«Мои народы, мои союзники, мои друзья! — вещал тогда миру новый могучий Цезарь. — Россия увлечена роком. Потомки Чингисхана зовут нас на бой — тем лучше; разве мы уже не воины Аустерлица? Вперед! Покажем силу Франции, перейдем Неман, внесем оружие в пределы России; отбросим эту новую дикую орду в прежнее ее отечество, в Азию».

Теперь Наполеон, вспоминая эти выражения, только подергивал плечами и молча хмурился. Его мыслей не покидал образ сожженной Москвы и его вынужденный, позорный выход из ее грозных развалин.

«Зато будет меня помнить этот дикий, надолго истребленный город!» — рассуждал Наполеон, убеждая себя, что он, и никто другой, сжег Москву.

Его путь у границы лежал по кочковатому, замерзшему болоту. На одном из толчков возок вдруг так подбросило, что император стукнулся шапкой о верх кузова и, если бы

не ухватился за сидевшего рядом с ним Коленкура, его выбросило бы в распахнувшуюся дверку.

— От великого до смешного один шаг! — с горькой улыбкой сказал при этом Наполеон слова, повторенные им потом в Варшаве и ставшие с тех пор историческими. — Знаете, Коленкур, что мы такое теперь?

— Вы — тот же великий император, а я — ваш первый министр, — поспешил ответить ловкий придворный.

— Нет, мой друг, мы в эту минуту — жалкие, вытолкнутые за порог фортуной, проигравшиеся до нового счастья авантюристы!

А в то время как, не поспевая за убегавшим Наполеоном и падая от голода и страшной стужи, шли остатки его еще недавно бодрых и грозных легионов, в русских отрядах, которые без устали преследовали их и добивали, все ликовало и радовалось.

В пограничных городах и местечках, куда по пятам французов вступали русские полки и батареи, шли непрерывное веселье и кутежи. Полковые хоры пели: «Гром победы, раздавайся!» Евреи-факторы, еще на днях уверявшие французов, что все предметы продовольствия у них истощены, доставляли к услугам тех, кто теперь оказывался победителем, все что угодно. Точно из-под земли, в городских трактирах, кавярнях и даже в местечковых корчмах появлялись в изобилии не только всякие съестные припасы, но даже редкие и тонкие вина. Стали хлопать пробки клико; полился где-то добытый и родной «шипунец» — донское-цимлянское. Офицеры-стихотворцы, вспоминая петербургские пирушки в ресторации Тардива, слагали распеваемые потом во всех полках и ротах сатирические куплеты на французов:

Пускай Тардив
В компот из слив
Мадеру подливает,
А Бонапарт,
С колодой карт,
Один в пасьянс играет...

Ободренные удачей солдаты не отстали в деле сочинительства от начальников.

— Все кузни исходил, не кован воротился! — трунили пехотинцы над гибнущими французами.

— Ай, донцы-молодцы! — гремели на походе пляшущие, с бубнами и тарелками, солдатские хоры.

У границы вся русская армия весело пела на морозе общую, где-то и кем-то сложенную песню:

За горами, за долами
Бонапарте с плясунами
Вздумал равен стать...

Сожженная в нашествие французов Москва стала понемногу оживать.

Первый удар колокола после пятинедельного молчания, вслед за выходом французов из города, раздался на церкви Петра и Павла в Замоскворечье. Его сперва робкий, потом торжественно громкий звон услышали другие уцелевшие ближние и дальние колокольни и стали ему вторить. Народ с радостным умилением бросился к церкви. Преосвященный Августин, войдя в очищенный от вражеского святотатства Архангельский собор, воскликнул: «Да воскреснет Бог! — и запел с причтом: — Христос воскрес».

Молва об освобождении Москвы быстро облетела окрестности. В город хлынули всякого рода рабочие, плотники, каменщики, столяры, штукатуры и маляры; за ними явились мелкие, а потом и крупные торговцы. Толковали, что в первую неделю пожаров в Москве сгорело, по счету полиции, до восьми тысяч домов; всего же за пять недель сгорело около тридцати тысяч зданий и осталось в целости не более тысячи домов. Из подгородних деревень стали подвозить лес для построек, припрятанные съестные припасы и всякий из Москвы же увезенный товар. Хозяева сожженных, разрушенных и ограбленных домов занялись возобновлением и поправкой истребленных и попорченных зданий. Застучал среди пустынных еще улиц топор, зазвенела пила. Цены на вновь подвезенные жизненные припасы сильно вздорожали.

— За этот-то хлебушко — и полтину? — шамкая, говорила продавцу столько времени голодавшая в каком-то подвале старушонка. — Да где же это видано? Христопродавцы вы, что ли?

— А тебя за язык нешто канатом тянут? — презрительно отвечал, постукивая на холоде ногой о ногу, кулак-продавец. — Хочь — бери, хочь — нет... не придушили французы, и за то, бабушка, Богу благодарствуй!

Княгиня Шелешпанская с правнуком на зиму осталась в Паншине. Ксению с мужем она отпустила в Москву, поручив им осмотреть ее пепелище у Патриарших прудов и озаботиться возведением на нем нового дома. Снабженные деньгами из доходов княгини, Тропинины прибыли в Москву в конце декабря и с трудом добыли себе помещение из двух комнат у кого-то из знакомых в уцелевшем от пожара домишке на Плющихе. Илья Борисович вскоре нашел подрядчиков, заключил с ними условие и, хотя деньги сильно упали в цене — рубль ходил за четвертак, — занялся постройкой. Служба в сенате еще не начиналась. Съехавшиеся чиновники приводили в порядок дела, выброшенные французами из сенатских зданий и уцелевшие от костров. Стали снова выходить в свет восстановленные из-под пепла «Московские ведомости»; возвратились в Москву граф Ростопчин и патриот-журналист Сергей Глинка, и снова появились среди москвичей разные жуиры, карточные игроки, аферисты, трактирные кутилы и покровители клубов и цыганок.

На письма Тропининых к знакомым, служившим в армии и в штабе Кутузова, благополучна ли и где находится Аврора, ответов не получалось, так как русские войска вскоре миновали границу и вслед за французами вступили в Германию. Государь, по слухам, выехал в Вильну, день в день через полгода после своего выезда из нее при занятии ее французами.

О Перовском долго не было никаких положительных сведений. Возвратившийся Ростопчин утешил наконец Илью известием, что министр народного просвещения, граф Алексей

Кириллович Разумовский, каким-то путем, через Англию, вошел в переписку с Талейраном и надеялся вскоре получить точные справки о задержанном в плену адъютанте Милорадовича, Василии Перовском. Ростопчин отрекался тогда, в виду свежего пепелища, от сожжения Москвы, затевая статью: «*Правда о Московском пожаре*», которую остряки назвали потом «*Неправдою...*» и пр.

В начале весны 1813 года Тропинин получил от одного из смоленских знакомых письмо, в котором тот извещал его, что недавно был в Рославле и узнал, что в окрестностях этого города у помещицы Микешиной проживает спасенный ею от партизанского костра пленный, Шарль Богез, известный москвичам под фамилией эмигранта Жерамба. В благодарность своей спасительнице он, когда-то учившийся в Италии живописи, хотя и с отмороженными ногами и в чахотке, нарисовал масляными красками портрет ее мужа, бежавшего из плена в Смоленске незадолго до вторичного вступления туда Наполеона. По словам Жерамба, он видел Перовского в Москве, в день вступления туда французов, но о дальнейшей его судьбе ничего не знал.

Тропинин в три месяца на обгорелом каменном фундаменте успел выстроить новый деревянный поместительный дом и хлопотал о возведении к весне временных служб. Ездя ежедневно на постройку с Плющихи на Патриаршие пруды, он направлялся напрямик, снеговыми дорожками, через сожженные и еще не огороженные дворы Бронной и других смежных улиц, стараясь угадать и представить себе очертания недавно еще стоявших тут и бесследно исчезнувших зданий. Извозчичьи санки мчались теперь в сумерки по местам, где каких-нибудь полгода назад, в стоявших здесь уютных и красивых домах, в званые вечера весело гремела музыка, пары танцующих носились в вальсе и котильоне и где все жило беспечно и мирно. Теперь тут, на обнаженных, покрытых снежными сугробами пустырях, раздавался у церквей и лавок лишь стук ночных сторожей да бегали стаями и выли голодные бродячие собаки.

Разоренное семисотлетнее гнездо, мало-помалу собирая своих разлетевшихся обитателей, опять ладилось, чистилось, прибиралось и оживало к новой долголетней, беспечной, мирной жизни. И стали здесь опять щеголихи рядиться и выезжать; мужчины посещать обновленный клуб и цыганок; молодежь влюбляться и свататься; девицы выходить замуж. Лекаря, купцы, модистки и акушерки стали опять зарабатывать, как и прежде.

Наступил 1814 год.

Отторгнутый так долго от родины и близких, Базиль Перовский все еще находился в числе пленных, уведенных французами из России и Германии. Пленных и в первое время содержали очень строго, когда же пронеслась весть о наступлении на Францию шедших за русской армией с криками: «À Paris! À Paris!»[1] — союзников императора Александра Павловича, их подвергали всяческим лишениям и, в предупреждении сношений с иностранцами, постоянно переводили с места на место.

Было начало февраля. Отряд пленных, в котором находился Базиль, вышел под охраной местного гарнизона из Орлеана в Блуа и далее в Тур. Пленных вели на запад от Парижа, к которому стремительно близились союзники.

Отряд шел берегом Луары. Погода стояла теплая и тихая. Солнце светило приветливо. На южных береговых откосах пробивалась молодая трава. С различных озер и заводей Луары взлетали стаи уток и куликов. Берега реки начинали пестреть первыми вешними цветами. Кудрявые белые облачка весело бежали по празднично синему небу.

Пленные подошли к городку Божанси. Здесь стало вдруг известно, что близ Орлеана, который они только что оставили и от которого отошли не более двух переходов, показались русские, что Орлеан в тот же день заняли казаки и что русских вскоре ждут и в Божанси.

---

[1] В Париж! В Париж! *(фр.)*.

Перовский пришел в неописанное волнение. Пленных торопливо повели далее. По выходе из Божанси Базиль открыл свои мысли другому русскому пленному, добродушному и болезненному штаб-ротмистру Сомову, все тосковавшему о двухлетней почти разлуке с женой и детьми. После долгих переговоров он условился с ним, выждал, пока отряд на первом вечернем привале заснул, и оба они бежали обратно в Орлеан.

Беглецы по пути встретили подростка-пастуха и, уверив его, что они — отсталые из партии новобранцев, упросили его быть их проводником до города. Наполеоновских конскриптов все тогда жалели.

«Отсталые или беглые? Как им не помочь?» — подумал подросток и повел их виноградниками и лесами.

Голодные, измученные беглецы к рассвету следующего дня снова приблизились к Орлеану и в утренних сумерках с холма радостно увидели городские фонари, догоравшие на каменном мосту через Луару.

— А далее видите? — указал им за город проводник. — То биваки русских! Остерегайтесь!

Едва пленники двинулись, их приметил стоявший по сю сторону города французский пикет. Они бросились в реку, переплыли ее и скрылись в смежном лесу. Стража, для очищения совести, дала по ним в полумгле залп из ружей.

Император Александр Павлович достиг заветной цели. Он с своими союзниками, пруссаками и австрийцами, разбив у ворот Парижа последних защитников Наполеона, вступил в сдавшуюся ему на капитуляцию столицу Франции. Непрошеный визит Наполеона в Москву был отплачен визитом Александра в Париж.

Русский император 19 марта 1814 года въехал в Париж через Пантенские ворота и Сенжерменское предместье, верхом на светло-сером коне по имени Эклипс. Этот конь был

ему подарен Коленкуром в бытность последнего послом в Петербурге. Александр, в противоположность Наполеону, нес с собою мир.

Французы восторженно сыпали белые розы и лилии под ноги русского царя, ехавшего по бульварам в сопровождении прусского короля и пышной, дотоле здесь не виданной свиты из тысячи офицеров и генералов разных чинов и народностей. Зрители махали платками и кричали:

— Vive Alexandre! Vivent les Russes![1]

«Да неужели же это те самые дикари, потомки полчищ Чингисхана, о которых нам твердили такие ужасы? — удивленно спрашивали себя парижане и парижанки, разглядывая нарядные и молодцеватые русские полки, шедшие по бульварам к Елисейским полям. — Нет! Это не татары пустыни! Это наши спасители! Vivent les Russes! Vive Alexandre! A bas le tyran!»[2]

Весело зажили русские в Париже. Начальство и офицеры посещали театры, кофейни, клубы и танцевальные вечера. У дома Талейрана, где поместился император Александр, по целым дням стояли толпы народа, встречавшие и провожавшие русского царя радостными восклицаниями. У подъезда этого дома и на Елисейских полях, где расположилась биваком русская гвардия, по ночам раздавались русские и немецкие оклики: «Кто идет?» и «Wer da?»[3] В немецком лагере, опорожняя бочками плохое парижское пиво, восторженно кричали: «Vater Blucher, lebe!» («Да здравствует отец Блюхер!»)

Французы изумлялись великодушию своих победителей. В оперном театре готовили аллегорическую пьесу *«Торжество Траяна»*. Русскому губернатору Парижа, генералу Са-

---

[1] Да здравствует Александр! Да здравствуют русские! *(фр.)*.

[2] Да здравствуют русские! Да здравствует Александр! Долой тирана! *(фр.)*.

[3] Кто там? *(нем.)*.

кену, на каждом шагу делали шумные овации. Сенат голосовал лишение престола Наполеона и его династии. Все русское входило в большую моду.

XLVI

Стоял теплый, ясный вечер. В небольшом парижском ресторане на улице Сент-Оноре, после дружеского, с возлиянием обеда засиделись вокруг стола несколько русских офицеров. Все были довольны хорошими винами, вкусным обедом и собственным отличным настроением духа. Говорили, не переставая, об испытанных треволнениях похода, о сражениях в Германии и Франции и о предстоявшем окончании войны. Собеседники угощали товарища, которому хотели этим оказать особенное внимание. Это был очень худой курчавый и сильно загорелый средних лет полковник в казацком кафтане, с трубкой в руке, нагайкой через плечо и в гусарской фуражке.

Особого хмеля в присутствовавших не замечалось.

Они были просто счастливы и веселы. Между ними более других говорил и, размахивая руками, то и дело смеялся черноволосый молодой офицер в адъютантской форме. Заговорили о женщинах и о любви. Черноволосый офицер стал излагать свое мнение и доказывал, что любовь — единственное истинное и прочное блаженство на земле.

— А знаете, Квашнин, — обратился к нему человек с нагайкой, которого присутствующие угощали, — я вас давно слушаю... Вы так милы, но, извините, увлекаетесь. По-моему, на свете нет ничего прочно существенного и положительного.

— Как так? — удивился разрумянившийся и взъерошенный от волнения и собственных речей Квашнин. — Я от души скажу — вы замечательный и храбрый офицер... кто теперь не знает знаменитого партизана Сеславина? Но вы

уж очень мрачно смотрите на жизнь, а женщин, извините меня, вы совсем, по-видимому, не знаете...

Сеславин улыбнулся.

— Ничуть, — сказал он, — все в мире — одни грезы... По искреннему моему убеждению — и это подтверждают многие умные люди — все на свете, как бы это яснее выразить, есть, собственно... ничто.

«Гм! — подумал на это Квашнин. — Твоему другу Фигнеру не удалось убить Наполеона, а тебе взять этого Наполеона в плен живьем, вот ты и злобствуешь, хандришь».

— Позвольте, однако, а герой наших дней? — произнес он, подливая себе и товарищам вина. — Я говорю о созданном могучею здешнею революцией величайшем, хотя теперь и несчастном, военном гении... И он тоже мечта? Этот человек был причиной Бородинской битвы, боя гигантов, а Бородино вызвало появление русских с Дона, Оки и Невы? Где же? В столице мира, в Париже...

— Эх вы, юноша, юноша, — сказал Сеславин, — вы с похвалой упомянули о здешней революции. А знаете ли, что она такое?

Сказав это, Сеславин, как бы раздумав продолжать, молча стал набивать табаком свою пожелтелую, прокуренную пенковую трубку, которую он, в честь прославленного прусского генерала, назвал «Блюхером».

— Говорите, говорите! — воскликнули прочие собеседники, сдвигаясь ближе к Сеславину.

— Ничего в жизни я так не презирал и ненавидел, как спекулянтов на счет человеческого блага, — произнес Сеславин, — а главные спекулянты пока на этот счет — французы... Не прыгайте и не машите руками, Квашнин; не стыжусь я этого мнения, как и того, что обо мне и о покойном Фигнере плели столько небылиц.

— Ах, Боже мой, что вы! — ответил Квашнин. — Я ничего ни о вас, ни о нем и не говорил дурного.

— Разберите здешних излюбленных мудрецов, — продолжал Сеславин, потягивая дым из своего «Блюхера». —

Сентиментальные с виду сегодня, хотя вчера кровожадные в душе, как тигры, эти прославленные герои революции, с мадригалами на устах, с посошком в руке и с полевыми ландышами на шляпе, недавно еще звали своих соотечественников, а за ними и весь мир, то есть и вас, Квашнин, да и меня, в новую Аркадию, пасти овечек и мирно наслаждаться сельским воздухом у ручейка, питаясь медом и молоком. А чем тогда же кончили? Маратом и Робеспьером, всеобщей гильотиной, казнью родного короля и коронованием ловкого и грубого, разгадавшего их солдата, да притом еще и не француза, а корсиканца.

— В чем же, по-вашему, истинное счастье на земле? — спросил пожилой и высокий подполковник из штабных, Синтянин, о котором товарищи говорили, что он во время войны почувствовал призвание к поэзии и стал, как партизан Давыдов, писать стихи. — В чем прочные радости на земле?

— В любви! — не выдержав, опять вскрикнул Квашнин. — Что может быть выше истинной, чистой страсти?..

— Счастья нет на свете, — повторил Сеславин. — Вы лучше спросите меня: в чем главные муки в жизни?

— Говорите, мы слушаем, — отозвались голоса.

— Я объясню примером, — сказал Сеславин. — Граф Ростопчин знал в молодости одну, ныне уже старую и, вероятно, покойную, московскую барыню. Он однажды при ней о ней выразился, что Данте в своем «Аде» забыл отвести для подобных лиц особое, весьма важное отделение.

Сеславин рассказал уже известную остроту графа о грешницах, которые мучатся сознанием того, что пропустили в жизни случай безнаказанно согрешить по оплошности, трусости или простоте.

Дружный хохот слушателей покрыл слова рассказчика.

— Не смейтесь, однако, господа, — заключил Сеславин, — боль тайных душевных мук ближе всего понятна тому, кто испытал особенно жестокую насмешку судьбы... кто, как бедный, утонувший в Эльбе наш товарищ Фигнер,

вызывался лично, глаз на глаз, избавить мир от всесветного изверга, имел к тому случай и этого не достиг...

Сеславин смолк. Замолчали и остальные собеседники.

— А могу ли я, Александр Никитич, узнать, кто эта растопчинская барыня? — спросил, подмигивая другим, Квашнин.

— Дело было давно, — ответил Сеславин, — когда я в один из отпусков гостил в Москве у родных, где бывал Ростопчин... Повторяю, этой особы, по-видимому, уже нет на свете, и ее здесь, вероятно, не знают. Это княгиня Шелешпанская.

— Как? Она? — удивился Квашнин. — Да ведь это бабка покойного партизана вашего отряда, девицы Крамалиной. В ее доме у Патриарших прудов я был в день занятия французами Москвы, помните, когда я было попал в плен? А Крамалина, господа, вы, разумеется, слышали, неудачно стреляла по Наполеону в Ошмянах и при этом убита.

Тем, кто не знал подробностей об этом событии, Квашнин рассказал об Авроре и о Перовском.

— Перовский? — спросил в свой черед подполковник Синтянин. — Постойте, да ведь он жив!.. Именно жив!

— Жив Василий Перовский? — вскрикнул, бледнея, Квашнин.

— Да, я видел нашего Сомова, — ответил Синтянин, — он с ним здесь уже бежал из Орлеана, и оба вчера явились в Париж, измученные, полуживые.

— Вы не ошибаетесь? — спросил, не веря своим ушам, Квашнин.

— Нисколько... Да вот что... вы знаете, где бивак нашего полка?

— Знаю, знаю.

— Ну, и отлично... спросите там штаб-ротмистра Сомова; он тоже, повторяю, был в плену, и его теперь у нас приютили... он вас проведет к Перовскому. Как же, и я знаю этого Перовского; мне и ему наш доктор Миртов, накануне Бородинского боя, как теперь помню, доказывал,

что лучше умереть сразу, в битве, чем мучиться и потом умереть в госпитале.

— А сам Миртов, кстати, жив? — спросил кто-то.

— Жив, но полтора года валялся в разных больницах; все просил отрезать ему ноги, однако выздоровел, догнал армию уже на Рейне, и опять у него своя отличная палатка с походною перинкой, чайник и к услугам всех пунш... Одно горе: такой красавец, жуир, а ходит на костылях.

Квашнин, дослушав Синтянина, бросился в слезах ему на шею, на радости обнял и прочих, в том числе и Сеславина, смотревшего на него теперь с ласковой снисходительной улыбкой, выскочил на улицу и стремглав пустился к биваку русской гвардии, на Елисейские поля.

«Боже мой, — думал он, — я увижу, наконец, его... Но как ему сообщить печальную, тяжкую весть? Как передать? У меня неразлучно на груди ее записочка, волосы и портрет ее жениха... Бедный! А сколько времени он ожидал этой свободы и своего возврата, мечтал увидеть ее, обнять! Говорить ли? Убить ли страшной истиной человека, который теперь счастлив своей любовью и надеждами, счастлив всем тем, чему, как сейчас беспощадно уверяли меня, имя — ничто? Нет, пусть он узнает! Пусть образ погибшей любимой и его любившей женщины светит ему в остальной жизни тихой, хотя и недосягаемой, путеводной звездой».

Квашнин отыскал Сомова и, по его указанию, отправился в переулок у Елисейских полей. Здесь он вошел в небольшой двор, окруженный развесистыми каштанами. Сквозь деревья виднелся невысокий, под черепицей, уютный павильон, где было отведено помещение трем больным русским офицерам. Двое из них, по словам привратника, ушли перед вечером прогуляться в город; третий, особенно, по-видимому, недомогавший, был дома.

Квашнин, мимо хозяйских покоев, робко приблизился к двери из сеней налево и постучал. Ему ответили:

— Entrez!.. Войдите!

Он отворил дверь в небольшую, опрятно прибранную комнату.

Заходившее солнце приветливо освещало в этой комнате стол с разбросанными газетами, два простых стула и кровать под белым, чистым одеялом. На кровати виднелся в штатском платье, очевидно, с чужого плеча, худой и бледный, с густо отросшей черной бородой, незнакомый человек. Он полулежал, опершись на подушки и глядя в раскрытую перед ним газету. Увидев гостя, незнакомец медленно поднялся, шагнул к двери и замер. В его строгих, сухо-удивленных глазах Квашнину вдруг блеснуло нечто близкое, где-то и когда-то им виденное.

— Неужели Квашнин? — тихо спросил, боясь обознаться и внутренне радуясь, незнакомец.

— А вы... неужели Перовский? — спросил, едва помня себя, Квашнин.

Гость и хозяин бросились в объятия друг друга.

— Голубчик, ах, голубчик! — твердил, глотая слезы и удивляя ими растерянного Перовского, Квашнин. — Не верьте, жизнь — радость! Она выше всего, выше всякого горя!

Он передал Перовскому о судьбе Авроры.

XLVII

Прошло много времени, прошло сорок лет.

Был 1853 год.

Русский отряд направлялся в третий, со времени Петра Великого, решительный поход в Среднюю Азию. Во главе отряда шел военный генерал-губернатор Оренбургского края, шестидесятилетний, еще бодрый на вид, но уже с слабым здоровьем, страдавший одышкой, генерал-адъютант, вскоре затем граф, Василий Алексеевич Перовский. В его отряде находился молоденький белокурый и еще безусый офицер в адъютантской форме, как говорили, крестник генерал-губер-

натора. Последний, доверяя ему часть своей переписки, оказывал ему особое расположение. Это был внук Ксении, Павел Николаевич Тропинин. Недавно из кадетского корпуса, он был тайно влюблен где-то в Москве и, состоя при начальнике отряда, с нетерпением ждал конца экспедиции, чтобы ехать и жениться на любимой девушке.

Среди невзгод и тяжестей походов командир отряда, покончив с текущими приемами и распоряжениями, любил беседовать с юношей-крестником о судьбах дикой пустыни, по которой они в это время шли и в глубине которой, сто двадцать пять лет назад, разбитым и покоренным хивинским ханом был так предательски перерезан весь русский отряд князя Бековича-Черкасского.

Под войлочной кибиткой, у спасительного самовара, старым командиром отряда нередко делались поминки о более близкой поре — великой эпопее двенадцатого года, когда рассказчику пришлось вынести тяжелый плен. В седоусом, суровом, а иногда даже деспотически желчном генерал-адъютанте, всегда сосредоточенном, сдержанном и большею частью молчаливом, в эти мгновения пробуждался образ всеми забытого, некогда молодого, говорливого и юношески откровенного Базиля Перовского. Оставшийся по смерть холостым, он любил вспоминать немногих уцелевших своих сослуживцев и приятелей двенадцатого года и диктовал крестнику задушевные письма к ним в Россию.

— Неисчерпаемая, великая эпопея, — говорил, вспоминая двенадцатый год, Перовский, — станет на много лет и на много рассказов. И как подумаешь, голубчик Павлик, все это некогда было и жило: весь этот мир двигался, радовался, любил, наслаждался, пел, танцевал и плакал. Все эти незнакомые новому времени, но когда-то близкие нам весельчаки и печальники, счастливые и несчастливые, имели свое утро, свои полдень и вечер. Теперь они, в большинстве, поглощены смертью... И нам, старым караульщикам, отрадно заглянуть в эту ночь и помянуть добрым словом почивших под ее завесой... Дорогие, далекие покойники!

Но не всех былых приятелей одинаково поминал в душе Перовский. Никому не зримая и не ведомая, глубокая сердечная рана жгла его и сушила вечною, несмолкаемою болью. Эту рану и эти страдания знали только немногие ближайшие его друзья, в том числе старый его сослуживец, «певец в стане русских воинов» — Жуковский. Последний посвятил когда-то Василию Алексеевичу Перовскому трогательное послание:

Я вижу — молодость твоя
В прекрасном цвете умирает,
И страсть, убийца бытия,
Тебя безмолвно убивает...
Я часто на лице твоем
Ловлю души твоей движенье;
Болезнь любви — без утоленья —
Изображается на нем.

Перовский часто вспоминал ту, которую он полюбил в лучшие жизненные годы и которая, из-за любви к нему, погибла. Укоры совести он нередко срывал на крутом, а подчас и жестоком исполнении долга; был беспощаден к измене и расстреливал предателей так же спокойно, как когда-то его самого хотел расстрелять Даву.

28 июля 1853 года после неимоверных усилий была взята штурмом кокандская крепость Акмечеть, названная впоследствии фортом «Перовский». Путь в Туркестан, Хиву, Бухару и позже к Мерву был проложен.

Однажды вечером Павел Тропинин, в кибитке главнокомандующего, перед этой крепостью сказал своему крестному, что в минувшую зиму, едучи на курьерских, по его вызову, оренбургскою степью, он едва не замерз и спасся от смерти только благодаря сибирскому оленьему тулупу и русским валенкам.

— Валенкам? — спросил Перовский. — Дело знакомое... И меня в двенадцатом году также спасли валенки... И представь мою радость — товарищ по плену, великодушно ссудивший меня этою обувью, жив и здравствует доныне.

— Кто же это? — спросил Павлик.

— Бывший крепостной одной графини. Он тогда ранее меня бежал из плена и прямо на Волгу, в плавни; назвался другим именем, остался там и торгует рыбой в Самаре.

— В Самаре? Вот бы повидать, как поеду назад.

— Что же, отыщи его. Имя ему — Семен Никодимыч. Год назад он узнал о моем назначении в Оренбург и являлся с предложением подряда. Седая бородища — по пояс; женат, имеет внуков, стал раскольником, начетчик и усердный богомолец; но подчас тот же, каким я его знал, живой, подвижный Сенька Кудиныч и даже не забыл одной своей песни про сову, которой потешал измученных французами пленных. Он тогда был сосватан и, с горя, смело-отчаянно бежал к невесте.

— Сосватан? — спросил, залившись румянцем и меняясь в лице, Павлик.

— Да, а что? Разве...

Павлик собрался с духом. Заикаясь, он объявил графу, что и он жених, и просил у него благословения и отпуска.

Перовский откинулся на спинку складного стула, на котором сидел, и долго ласково смотрел на юношу.

— Что же, Павлуша, с Богом! — проговорил он. — Хотя я остался всю жизнь холостым — понимаю тебя... С Богом! Завтра же можешь ехать. А благословение я тебе дам особое!

Он обнял крестника.

— Ты не помнишь, разумеется, своей бабки, Ксении Валерьяновны? — сказал он.

— Она умерла, когда мой отец еще не был женат, — ответил Павлуша.

— Была еще у тебя прапрабабка, княгиня Шелешпанская; все боялась грозы, а умерла мирно, незаметно уснув в кресле, за пасьянсом, в своей деревне, когда наши входили в Париж.

— О ней что-то рассказывали.

— Ну да... а слышал ты, что у нее была еще другая, незамужняя внучка... красавица Аврора? Знаешь ли, твой отец был похож на нее, и ты ее слегка напоминаешь.

— Что-то, помнится, говорили и о ней, — ответил Павлуша, — кажется, она была в партизанах... и чем-то отличилась...

«Кажется! — подумал со вздохом Перовский. — Вот они, наши предания и наша история...»

— Иди же, голубчик, с Богом! — произнес он. — Готовься, уедешь, а я кое-что тебе поищу...

Отпустив крестника, Перовский наглухо запахнул полы своей кибитки, зажег свечу, достал из чемодана небольшую, окованную серебром походную шкатулку, раскрыл ее и задумался. В отдельном, потайном ящичке шкатулки, между особенно дорогими для него вещами, было несколько засохших цветков сирени, пожелтевших писем, в бумажке — прядь черных женских волос, образок в серебре и оброненный на последнем свидании платок Авроры. Перовскому как живая вспомнилась Аврора, Москва, дом и сад у Патриарших прудов и последняя встреча с невестой. Он долго сидел над раскрытой шкатулкой, роняя на эти цветы, волосы и письма горячие и искренние слезы.

— Владычица моя, владычица! — шептал он, покрывая поцелуями бренные остатки дорогой старины. Взяв образок, он запер шкатулку и, оправясь, вышел из кибитки. Павлик, дремля на циновке, полулежал у входа.

— Ты еще здесь? — сказал, увидя его, Перовский. — Пойдем, прогуляемся.

Они миновали охранный пикет и мимо лагеря, вдоль серых глиняных стен только что разгромленной крепости, направились по плоскому берегу Сырдарьи.

Душный, знойный ветер тяжело висел над пустынной равниной. В сумерках кое-где желтели наметы бродячего песка. Вокруг зеленоватых, отражавших звезды, горько-соленых луж, как воспаленные глазные веки, краснели болотные лишаи, тощий камыш и полынь. Высоко в воздухе что-то

шуршало и двигалось. То, шелестя сухими крыльями, неслись на жалкие остатки трав и камышей бесчисленные, прожорливые полчища саранчи. Перовскому припомнилось нашествие Наполеона.

— Вот тебе мое благословение, — сказал он, надевая на шею крестника образок Покрова Божьей Матери, — я этому образу усердно когда-то молился в походе... молись и ты.

Перовский и Павел Тропинин прошли еще несколько шагов. Целый мир мучительных и сладких воспоминаний наполнял мысли Василия Алексеевича.

— Ты счастлив, ты спешишь к невесте, — сказал Перовский, снова остановясь и слушая над головою пролет шуршавших крыльями воздушных армий, — а мне, по поводу твоего счастья, припомнилось одно сердечное горе; некоторых из прикосновенных к нему лиц давно уже нет на свете, но мне эта история особенно памятна и близка...

И Перовский, бродя по песку, не называя имен, рассказал крестнику повесть любви своей и Авроры.



Восемьсот двадцать пятый год

1821 - 1825 г. г.

*Отрывки
из неоконченного
романа
М.И.Анненковой*

КАМЕНКА

I

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин посетил Каменку впервые осенью в 1821 году, после своего нежданного перевода в южную армию, в Полтавский полк, из распущенного за неповиновение Семеновского гвардейского полка.

Никогда потом, в немногие годы молодой и бурной, рано погибшей жизни, Бестужев не мог забыть ни своего заезда в этот красивый уголок киевской Украины, ни его радушных обитателей.

Это было в конце ноября.

Его однополчанин по гвардии и теперь ротный командир по полтавскому полку, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, собирался тогда в свое родовое миргородское поместье, село Хомутец.

— Хочешь, Миша, — сказал он ему, — я по пути заеду на именины в Каменку... там, в Екатеринин день, весело — барышни, танцы... а главное, увидишь общество замечательных, истинно умных русских людей.

Ротный любил Мишеля, покровительствовал ему и был рад доставить ему развлечение. Они поехали.

Дорога в этой части Чигиринского уезда шла извилистыми лесистыми холмами. Погода была мглистая, с небольшим

морозом. Дубовые, липовые и грабовые рощи, захваченные ранним снегом, еще не потеряв всех листьев, стояли то темными, то багрово-золотистыми островами среди опустелых белых полян. Редкие села и хутора, с историческими именами: Суббо́тово, Смела, Мотро́нин и Лебединский монастыри, напоминали гетманщину и недавние, последние дни Запорожья.

Верстах в сорока от Чигирина извилистый проселок стал круто спускаться в долину. Под пригорком, пересекая Каменку на две части, текла еще незамерзшая река Тясмин. Сквозь морозную мглу блеснули маковки двух церквей, обозначились новые, вдаль уходящие холмы и обширное, в несколько сотен дворов, населенное малороссами и евреями местечко. На возвышенном взгорье стал виден большой двухэтажный помещичий дом с пристройками, за ним старый сад, красивыми уступами спускавшийся к реке. Барский двор был уставлен возками, санями. Кучера водили упаренных лошадей. Прислуга суетилась меж домов и дворовыми постройками.

— А знаешь ли, кого еще мы можем здесь встретить? — сказал спутник Мишелю при спуске в улицу, называя ему обычных каменских гостей. — Сюда эти дни ждали гостя из Кишинева... он уже навещал Каменку минувшей весной...

— Кто такой?

— Пушкин...

— Может ли быть?

— Увидишь.

Любопытство Мишеля было сильно возбуждено, и он не помнил, как въехал в ворота и как ступил на крыльцо.

Восемнадцатилетний, темно-русый, голубоглазый и среднего роста юноша, Мишель в это время с виду был еще почти ребенок. Сильно впечатлительный, доброго и нежного сердца, он, под надзором страстно его любившей матери, сперва воспитывался в Москве, потом в Петербурге, в пансионе какого-то парижского эмигранта-аббата. Образование

ему было дано в духе того времени, чисто французское, так что до поступления в гвардию он даже с трудом говорил по-русски.

Определясь в полк, изящный, чувствительный и нежный воин не мог равнодушно видеть мучений мухи, комара. Полковая учебная стрельба бросала его в краску и приводила в дрожь. Затянутый в узкий офицерский мундир, с высоким жестким воротником и острыми длинными фалдочками, он, когда был весел, своим звонким, задорным смехом и резвостью, а когда скучал, томностью робких, рассеянных глаз, красиво вьющимися кудрями и вздохами напоминал скорее дикую, несложившуюся девочку, чем сына Марса. Не желая, впрочем, отстать от товарищей, он любил себя показать лихачом, гарцевал по Невскому на красивом скакуне, участвовал в дружеских попойках, в карточной игре и прочих холостых кутежах. Но его любимым занятием было чтение.

Западные, преимущественно французские, историки, философы, романисты, поэты и экономисты были Мишелем с жадностью прочитаны в богатых библиотеках его московской и петербургской родни. С книгой Беккария о преступлениях и наказаниях, с рассуждением о законах Монтескье, с Вольтером и Дидро́ он ознакомился с таким же наслаждением, как и с Плутархом, Гельвецием, Кондильяком, Гольбахом, Вателем и Руссо. Из русских писателей он увлекся фантастическими балладами Жуковского и плакал над «Лизой» Карамзина. Но его идеалом был Пушкин... Мишель знал наизусть почти все его стихи, в том числе его неизданные, смелые и пламенные сатиры, ходившие в то время в бесчисленных списках и читавшиеся нарасхват: «Лицинию», «Деревня», «Кинжал», «Чаадаеву», на Аракчеева, Голицына и другие.

И вдруг этот Пушкин, этот идол молодежи, полубог, мог быть действительно здесь же, в Каменке. Не шутит ли товарищ? Не издевается ли без жалости над юным поклонником любимца парнасских богов?

Виновница именинного съезда, еще сохранившая следы былой замечательной красоты, величественная и любезная семидесятилетняя старушка Екатерина Николаевна Давыдова была урожденная графиня Самойлова, сестра известного канцлера и племянница светлейшего князя Потемкина. От первого брака у нее был сын — известный защитник Смоленска и герой Бородина и высот Парижа, генерал Николай Раевский, два сына которого, ее внуки, были друзьями Пушкина. Ее сыновья от второго мужа, Давыдова, старший — Александр и младший — Василий Львович, жили с матерью. Высокий тучный светло-русый и величавый, от природы неподвижный, ленивый и всегда полудремлющий Александр Львович, как и его мать, весьма схожий с дедом Потемкиным, был женат на красавице француженке, графине Граммон. Василий Львович, совершенная противоположность брату Александру, впоследствии женатый на миловидной и доброй дальней родственнице, Александре Ивановне, был с виду в покойного своего отца — роста ниже среднего, с курчавыми темными волосами, веселый, со всеми общительный, говорливый и живой.

Оба брата воспитывались в петербургском пансионе аббата Николь, служили, как все тогда, в военной службе, один в кавалергардах, другой адъютантом князя Багратиона — в гусарах, отличились в двенадцатом году и теперь находились в отставке, старший — генералом, младший — полковником. Александр Львович с семьей жил в нижней, левой части каменного дома; Василий — в особой пристройке, в правой. Средину нижнего этажа, с своими домочадцами, занимала старушка мать. Она вставала рано, обходила в пристройках разные рукоделия, кружевниц, коверщиц и швей, навещала оранжереи, цветники и сверяла свой брегет по солнечным часам, устроенным на садовой поляне перед домом. Все обедали, пили чай и ужинали внизу у старушки, беседуя в общей, огромной, увешанной фамильными портретами, нижней гостиной. Верхний этаж и один из флигелей служили для приезда гостей.

К Каменке принадлежали семнадцать тысяч десятин земли, унаследованной ее владелицей благодаря дяде, светлейшему Потемкину, то есть чуть не половина Чигиринского уезда, и Екатерина Николаевна заранее решала почти все уездные выборы, говоря одному: ты, батюшка, будешь предводителем, другому: тебе быть исправником или судьей.

В семейные праздники в Каменку съезжались, кроме других соседей, Лопухиных, Орловых, родные хозяев, из Киева — Александр и Николай Раевские, Поджио и другие. А теперь здесь был и недавно женатый на сестре Раевских, служивший в Кишиневе, генерал Михаил Орлов, с своим адъютантом Охотниковым, генерал князь Сергей Григорьевич Волконский и московский гость, также бывший семеновец, капитан Иван Дмитриевич Якушкин.

Мишель с товарищем подъехали к началу молебна. Все гости были в сборе, отслушали исполненное певчими многолетие, поздравили именинницу и в ожидании пирога разместились вкруг хозяйки в гостиной и частью в зале. Слуги разносили чай. Степенный и важный дворецкий Лев Самойлыч с порога поглядывал, все ли в порядке в зале и в столовой.

Прерванный молебном разговор оживленно продолжался. Мишель рассеянно прислушивался к толкам лиц, которым перед тем был представлен. С ним заговорил младший Раевский. Но он и его едва слушал, оглядываясь и ища кого-то счастливыми, смущенными глазами.

Французский говор здесь преобладал, как и во всем тогдашнем обществе. До слуха Мишеля долетали слова: «кортесы решили» — «Меттерних опять» — «силы якобинцев» — «Аракчеев» — «карбонары»... Кто-то передавал подробности о недавнем неудачном, хотя столько пророчившем, вторжении в Турцию из Кишинева грека-патриота, русского флигель-адъютанта князя Ипсиланти.

— Это сильно озадачило, смешало наш кабинет, — произнес в гостиной молодой женский голос, — добрая попытка не умрет...

— Да, но бедная родина Гомера и Фемистокла! — возразил другой голос, и в нем Мишель узнал своего ротного. — Ждите... не скоро вернется законное наследие четырехвековой жертве турецких кинжалов и цепей...

— Австрийцы вторглись в Неаполь, и мы же, им в помощь, стянули войско к границе, — толковали в зале.

— И все Меттерних, Аракчеев.

— Но у нас Сперанский, Мордвинов...

— Придет пора!

— Два года назад Занд расправился с предателем Коцебу...

— А вы знаете новую сатиру Пушкина на Аракчеева? — спросил кто-то Раевского в двух шагах от Мишеля.

— Как не знать!.. «Достоин лавров Герострата»? — отозвался тот.

— Нет, а эти:

Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он, преданный без лести?

— «Просто фронтовой солдат!»... Еще бы! Да где же он сам? Ужли еще спит? — произнес Раевский и, обратясь к Мишелю, сказал: — Вы желали с ним познакомиться... хотите наверх?

— Постой, постой, — крикнул Раевскому младший Давыдов, держа листок бумаги, — Омелько пошел будить Пушкина, а он ему сказал и записал в постели вот этот экспромт...

Давыдов прочел стихи: «Мальчик, солнце встретить должно».

— Мило! Прелесть! — раздавалось со всех сторон.

Мишель пошел за Василием Львовичем.

Поднявшись из сеней по внутренней круглой полутемной лестнице, Мишель и его провожатый остановились вверху, у небольшой двери. Мишель почему-то предполагал увидеть Пушкина не иначе как демонически растрепанного, в стран-

ном и фантастическом наряде, в красной феске и в пестром, цыганском плаще. Раевский постучал в дверь.

— Entrez! — раздался за порогом негромкий, приятный голос.

К удивлению Мишеля, Пушкин оказался в щегольски сшитом черном сюртуке и в белых воротничках. Его непокорные, вьющиеся кудри были тщательно причесаны. Он сидел у стола. Светлая, уютная комната окнами в сад, на Тясмин и заречные холмы, была чисто прибрана. Ни беспорядка, ни сора, ни следов воспеваемого похмелья.

— Бессарабский... он же и бес арабский! — сказал с улыбкой Раевский, представляя Мишелю приятеля.

— Что, пора?.. Разве пора? — торопливо спросил Пушкин, впопыхах подбирая на столе клочки исписанных бумаг, комкая их и пряча в карманы и стол.

Мишель с трепетом вглядывался в эти клочки, в этот стол и в знакомые понаслышке, выразительные черты любимого, дорогого писателя.

— Пирог простынет, — с укором сказал Раевский.

— Ну, вот! — поморщился Пушкин, оглядываясь на дверь. — Душенька, как бы без меня?

— Без тебя! Да что ты? Разве забыл:

Тебя, Раевских и Орлова
И память Каменки любя...

— Оставь, голубушка! Уж лучше и впрямь о пироге, — уныло ответил Пушкин, посматривая, все ли спрятал со стола.

— Нет, — вдруг перебил, заикаясь, краснея и сам себе удивляясь, Мишель, — нет, это неподражаемо, восторг... «Недвижный страж дремал»... я все знаю... или это:

И неподкупный голос мой
Был эхом русского народа...

Пушкин, надевая перчатки, радостно и ласково глядел на худенького и голубоглазого офицерика, в стянутом

воротнике и со вздернутыми в виде крылышек эполетами, неловко и с нерусским выговором произнесшего перед ним его стихи.

— А это? — почти вскрикнул взволнованным, детски сорвавшимся голосом Мишель:

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя?

Пушкин помолчал, взял шляпу.

— Не увидишь, милый, не увидишь, славный! — сказал он с горечью и, обратясь к Раевскому, прибавил: — Объясни ему это, Николай.

— Да почему же? — спросил, замедлясь у двери, Раевский. — Разве тот, в Грузине, не допустит?..

— Малюта Скуратов! Враг честных Адашевых! — проговорил Мишель.

— Да он с искоркой! — вполголоса сказал приятелю Пушкин, спускаясь по лестнице.

Мишель расслышал эти слова и был вне себя, на седьмом небе.

В течение всего того дня, за завтраком, обедом и чаем, Мишель не спускал глаз с дорогого гостя. Он любовался его шутками, остротами и шаловливым ухаживанием за двенадцатилетней быстроглазой и хорошенькой Аделью, дочерью старшего Давыдова, которой Пушкин, как узнал Мишель, перед тем написал известные стихи: «Играй, Адель».

Вечером молодежь танцевала. Соседние дамы и девицы пели итальянские арии и французские романсы. В карты никто не играл, да и некогда было. Общая, дружеская и разнообразная беседа длилась далеко за полночь.

Лежа в постели, в комнате, также отведенной наверху и случайно по соседству с Пушкиным, Мишель долго не мог заснуть.

«Какая разница! — рассуждал он. — Этот дом, это общество и те, где я прежде бывал! Правду сказал товарищ:

вот истинно умные русские люди... И как здесь все просто, без чопорности и праздных затей... Ни лишней, толкущейся, напыщенной челяди, ни всех обычаев старого барства... А разговоры? Давно ли в видных, даже гвардейских семьях как о чем-то обычном шли прения о том, как полезнее наказывать солдат? Часто ли и понемногу, или редко, но метко? Давно ли, не на моих ли глазах, нечистые на руку офицеры жаловались начальству, что товарищ этого назвал негодяем, тому нанес удар по лицу? А здесь — два генерала, Волконский и Орлов, у них в полках, как говорит Сергей Иванович, отменены палки, солдатское хозяйство отдано самим солдатам, заведены батальонные школы, библиотеки. И все у них тихо, солдаты от них без ума. Что это значит? И почему во главе правления стоит ненавистный всем Аракчеев, а не Мордвинов и не Сперанский, которых все так любят и от которых так много ждут? Боже, смилуйся над родиной! Ведь я так ее сильно, так горячо люблю. Ты — высшая правда, наше спасение и любовь!» Мишель заснул, вспоминая книгу Эккартсгаузена, которой некогда так зачитывался: «Dieu est lamour le plus pur».

На другой день, когда часть гостей разъехалась и, кроме двух-трех посторонних, остались близкие друзья хозяев, Пушкин, исполняя желание дам, прочел вслух конченного весной в Каменке «Кавказского пленника» и наброски новой поэмы «Братья разбойники». Восторг слушателей, особенно Мишеля, был неописанный. «Мне душно здесь, я в лес хочу!» — шептал Мишель, забывая окружающих и мысленно следя за узниками, разбивающими цепи. Он сильно обрадовался, когда узнал, что его полковой товарищ, по просьбе хозяев, решил еще погостить в Каменке.

Тесный круг собеседников по вечерам собирался на половине младшего Давыдова. Разговор стал еще увлекательнее, живее. Толковали о недавних столичных новостях: об удалении, по доносу Фотия, министра Голицына, о запрещении книги преосвященного Филарета и «естественного права» профессора Куницына, о голоде в Смоленской губер-

нии, откуда приехал Якушкин, о пророческих радениях модной сектантки Татариновой и о новых движениях в Испании и Пьемонте. Кто-то сказал, что готовится распоряжение о закрытии всех масонских и других, тайных и явных, благотворительных обществ в России. Последняя новость вызвала большие споры.

Более других, горячо и с сердцем об этом говорили младший хозяин, Василий Львович, и его товарищ по петербургскому пансиону аббата Николь, князь Волконский. Старший Давыдов, Александр, слушал общие толки нехотя и рассеянно, то морщась, то снисходительно улыбаясь, куря сигару и лишь изредка, хриплым, ленивым басом, вставляя свое слово.

II

В память Мишеля особенно врезался последний из тогдашних вечеров в Каменке.

Мужчины, как всегда, пообедав, собрались покурить в большом, с мягкою мебелью, кабинете Василия Львовича. Орлов переглянулся с Волконским и, сказав что-то Якушкину, сел в общий круг, к столу, поглядывая на Пушкина. Они втроем как бы о чем-то между собой условились.

— Господа, — сказал Орлов, как всегда, по-французски, — у меня к вам просьба; мы каждый день толкуем, спорим, и все, кажется, без толку. Говорятся умные вещи, а не сходимся ни в чем, и неизвестно, на чьей стороне правда. Попробуем вести разговор по-парламентски.

— Это как? — спросил ничего не подозревавший младший Раевский.

— Выберем председателя... вот, кстати, на столе и колокольчик, — улыбнулся черноглазый и статный красавец Орлов.

— Браво! — подхватил Пушкин, садясь с ногами на диван. — Будет старое вече...

— Республики в Новгороде и Пскове процветали семь веков! — не громко, но решительно, проговорил Мишель.

— Искорка! — рассмеялся Пушкин. — Но кого же в председатели?

— Вам, Николай Николаевич! Вас выбираем! — обратился Якушкин, очевидно, по условию с другими, к младшему Раевскому.

— Тебе, тебе! — крикнул Пушкин, аплодируя другу.

— Избираем, просим! — подхватили остальные.

Все теснее сдвинулись, с трубками и сигарами вкруг большого, укрытого ковром стола. Тяжело из угла, с своей гаваной, подвинулся в кресле и старший, как всегда, плотно поевший, Давыдов.

— О чем же прения? — полушутя и полуважно спросил, берясь за колокольчик, Раевский.

— Да вот, — начал Якушкин, — чего ни коснешься, речь невольно заходит о том же незримом, без видимой должности и власти, человеке, который между тем теперь вся сила и власть... Вы, разумеется, понимаете, о ком говорю?

— Еще бы, — отозвался Василий Львович.

— Протей-министр, — произнес Волконский.

— Дионисиево ухо, — сказал, поджимая под себя ноги, Пушкин.

— Он лазутчески, под личиной скромности, — продолжал Якушкин, — как змей, как тать, вползает всюду, все порочит и хулит, ловко сея недоверие в монархе к лучшим силам страны.

— К нему, в Грузино, — подхватил Василий Давыдов, — уже ездят не только члены Государственного совета, даже министры...

— А ты, Базиль, хотел бы, — хрипло прокашлявшись, перебил брата старший Давыдов, — чтоб все ездили к твоему краснобаю Мордвинову или к этой раскаявшейся семинарской Магдалине — к Сперанскому?

— Не перебивать, не перебивать! К порядку! — послышались голоса.

Раевский позвонил. Александр Львович, брезгливо пыхтя, опустил спину в кресло, а подбородок в жабо.

— Так вот, господа, — продолжал Якушкин, — слыша это, все мы, между прочим, знаем, кто в настоящее время противится и лучшим мыслям государя... в том числе предположению о воле крестьян... Поставим вопрос: возможна ли, желанна ли эта воля?

— Еще бы, — живо ответил Волконский, — дарована свобода завоеванным, прибалтийским эстам и латышам... а сильная, древняя Россия...

— Побежденные ликуют, победители порабощены! — произнес с чувством Орлов.

— Гоняемся за славой освободителей и повелителей всей Европы, — проговорил младший Давыдов, — а дома — военные поселения, Татаринова, Фотий и Магницкий.

— Так тебе, Вася, хотелось бы освободить своих крепостных? — спросил Александр Львович.

— Да, да, и тысячу раз да! — с жаром и твердо ответил младший брат.

Александр Львович грузно повернулся ленивым тучным телом, попробовал опять прокашляться и привстать.

— А кто будет, Базиль, тебе делать фрикандо, суп а-ла тортю и прочее, — спросил он, — если дадут вольную Митьке? И что скажет Лев Самойлыч?

— Всех освобожу, и теперь Мите и Самойлычу я плачу жалованье! — ответил Василий Львович. — Спроси вон Якушкина; ему граф Каменский давал четыре тысячи за двух крепостных музыкантов его отца... а Иван Дмитриевич графу ответил выдачей им обоим вольных.

— Рисуетесь! — брезгливо прохрипел Александр Львович, сося полупогасшую сигару. — В якобинцев играете... мода, жалкое подражание чужим образцам.

— Как мода? Извините! — обратился к спорщику Волконский. — Это постоянная мысль лучших наших умов.

— Где они? — кисло улыбнулся и зевнул Александр Львович.

— Екатерина думала, — ответил Волконский, — граф Стенбок, двадцать лет назад, подавал мнение о вольных фермерах... Малиновский советовал объявить волю всех крестьянских детей, родившихся после изгнания Наполеона.

— Мордвинов предлагал план, — подхватил Орлов, — чтобы каждый, кто внес за себя в казну известную сумму, по таксе, или пойдет охотой в солдаты, был свободен.

— Опять Мордвинов! Но ведь это все галиматья! — нетерпеливо проговорил Александр Львович, — Quelle idée! Воля без земли, без права на свой угол, пашню, дом... ведь фермеры...

— Отстал, отстал! — живо крикнули Давыдову Орлов, младший брат и Волконский. — С землею! Решают дать землю!

— Кто решает? — удивленно спросил и даже приподнялся Александр Львович, глядя на собеседников. Те странно замолчали.

— Ох вы, кроители законов и жизни!.. Скучно!.. Партии! Но ведь и Аракчеев партия... потягайся с ним!

— Так, по-твоему, все хорошо? И военные поселения? — спросил брата младший Давыдов.

— Нет, этого не хвалю.

— Наконец-то! Но почему?

— Да как тебе это сказать? Ну, просто нелепо и глупо устроено! Ну, совсем глупо! — убежденно ответил Александр Львович. — Все эти поселяне, во-первых, никуда не годные солдаты, а во-вторых, вне фронта, постоянно недовольные крестьяне... оттого и бунты...

Проговорив это, Александр Львович, сопя и сердито бурча себе под нос, пересел в глубь комнаты, на другой диван и, как бы решив более не спорить, закрыл глаза.

Шли прения о новом предмете. Сильно горячился Орлов. Ему возражал Якушкин.

— Так как, по слухам, предполагают закрыть масонские и другие тайные, благотворительные общества, — сказал Орлов, — я прошу слова и предлагаю вопрос: насколько

уместна и нужна эта мера и может ли самый способный, благомыслящий чиновник заменить, в смысле общей пользы, частного, свободного деятеля?

— Парадокс! — произнес, очевидно, условно, Якушкин.

— Далеко не парадокс, — возразил Муравьев, — понятия народа грубы; насилия всякого рода, продажность судей, воровство и грабительство снизу доверху и общая нравственная тьма, разве это не возмутительно?

— У нас, кто смел — грабит, кто не смел — крадет, — сказал Василий Львович.

— Отслужили когда-то честную службу масоны, — произнес Волконский, — но их учение перешло в нечто, низшее нашего века, в мистицизм. Волтерьянство предков заменилось исканием всемирной, следовательно, опять не нашей, не насущной истины. А время не ждет.

— Именно так, — сказал Василий Львович, — нам надо отплатить низшим, страждущим слоям за все, что мы через них имеем, за наше богатство, почести, образование, за превосходство во всем...

— Так, так! — отозвались голоса.

— Поэтому-то и в виду наших просвещенных соседей-немцев, — произнес Орлов, — ценя усилия и труды высокорыцарского общества Тугендбунд, этого борца за права человечества, я, господа, предлагаю вопрос: насколько было бы полезно и у нас учреждение подобного... тайного общества?

Все на мгновение замолчали. Старший Давыдов раскрыл глаза. Пушкин сидел бледный, взволнованный. Мишель отирал смущенное, раскрасневшееся лицо.

— Какие цели этого общества? — спросил, взглянув на Волконского, Якушкин.

— Благотворительность в самых широких размерах, — ответил Орлов, — ну, просвещение ближних, облагорожение службы на всех жизненных ступенях.

— Разумеется, такое общество полезно! — сказал Василий Львович.

Его поддержал Охотников.

— О еще бы! И скорее, господа! — с жаром отозвался Пушкин. — Не откладывайте! При избытке сил, при глухой и ничтожной нашей обстановке... да это будет клад...

— Патриоты, члены такого общества, — прибавил младший Давыдов, — обновят заглохшую жизнь, укрепят, зажгут любовь к родине у всех...

— Я против тайных обществ, — сказал, как бы дождавшись своей очереди, Якушкин.

— Почему? — удивились некоторые.

— Да очень просто, — продолжал Якушкин, — буду говорить откровенно... Все тайные общества у нас вскоре будут запрещены, а это, по существу своих целей, высоких и сокровенных, не может быть явным... И потому, вы меня поймете, учреждать такое общество — значит, прямо идти под грозный ответ Аракчееву...

— Не боюсь я вашего сатрапа! — запальчиво крикнул Пушкин. — Ученик Лагарпа, став императором Европы, не переставал быть нашим царем... Он выслушает нас, поймет...

— А если граф к нему не допустит? — сказал, улыбаясь, Орлов.

— Допустит! — произнес Пушкин, сверкнув глазами.

— Понимаю решимость Курция и Винкельрида! — проговорил охваченный дрожью Мишель.

— Enfants perdus, — досадливо пробасил с дивана Александр Львович.

— Так ты и в этом против нас? Говори, против? — обратился к нему младший брат.

— Еще бы... все фарсы! Пересадка то немцев, то Франции...

— Какая?

— Да эти-то подземные рыцари... все игра в конституцию, в партии... и все для успеха толпы...

— Но эта толпа — родное общество, — убежденно сказал Орлов, — мы же его ближайшие, кровные вожди...

— А я не согласен, — подзадоривал Якушкин.

— Пора достроить старое, великое здание, — произнес Волконский.

— Рано, князинька, захотели быть на виду, карнизом! — возразил старший Давыдов. — Не только наши стены, фундамент ползет по швам.

— Стыдно, слушай! Ужли не понимаешь? — обратился к брату Василий Львович. — Ведь одно спасение в таком обществе.

— Vous périrez, cher frère...

— Mais en honnête homme... voilà.

— Et moi, moi, — заговорил, горячась и сверх обычая сильно волнуясь, старший брат, — je vous dis... vous fairez bien du mal à la Russie — с этим вашим тайным обществом!.. Вы нас отодвинете на пятьдесят лет назад...

Прошло несколько мгновений общего молчания.

— Так как же? Поставим прямо вопрос: полезно ли учреждение такого общества? — спросил Орлов. — Решайте!

Стали собирать голоса. Большинство, в том числе сам председатель, ответили утвердительно.

— Мне же нетрудно доказать противное, а именно что вы все здесь шутите, — вдруг сказал Якушкин, — и первый нам это докажет наш председатель.

— Как так? — спросил, краснея, Раевский.

— Дело просто, — продолжал Якушкин, — ну, положим, мы вас обманывали... или нет, иначе говоря... ну, представьте, что союз, или там тайное политическое общество, о котором сейчас шла речь... уже теперь существует и что вы среди его членов...

— Ну, и что же? — спросил не совсем решительно Раевский.

Пушкин, Мишель и другие впились глазами в Якушкина.

— Так вот я к вам, Николай Николаевич, обращаюсь, — проговорил Раевскому Якушкин, — если такое общество существует, вы, наверное, отказались бы вступить в его члены?

— Напротив, из первых бы к ним присоединился, — ответил Раевский.

— Ой ли? В таком случае, — торжественно произнес Якушкин: — знайте, общество существует... вашу руку...

— Вот она! — несколько подумав, сказал Раевский.

— И моя! — с жаром вскрикнул Пушкин.

— И моя! — радостно присоединился Мишель.

Волконский тревожно, из-за спины Орлова, делал незаметные другим знаки Якушкину. Последний опомнился.

— Я пошутил, — сказал, смеясь, Якушкин, — мы условились с Орловым: неужели можно было принять это за правду? Тайного общества в России нет и быть не может.

Орлов, Василий Давыдов и Волконский также смеялись.

— Ну, и браво! — проговорил весело, поворачиваясь в кресле, Александр Львович. — А то вы, господа, совсем было меня напугали... глупая мода — эти общества! Пустая и опасная.

Пушкин встал.

— Как? Так это и впрямь была только шутка? — вскрикнул он взволнованным, обрывавшимся голосом. — Вы издевались над нами? Шутили!

Всех поразил вид Пушкина. В его гневно пылавших глазах дрожали слезы. На бледном лице выступили красные пятна. Весь он был взбешен и раздражен.

— Я никогда... о, никогда, — произнес он с чувством и сбиваясь на каждом слове, — в жизни я ни разу не был так несчастлив, как теперь...

Все слушали молча...

— Я верил, — продолжал Пушкин, — говорю среди честных людей... я замечал, почти был убежден, что тайный союз патриотов уже учрежден или здесь же, среди нас, получит свое начало... Я видел высокую цель, видел жизнь мою облагороженною, нужною и полезною для других.

— Александр Сергеич! Саша! Полно, успокойся! — перебил его Раевский. — Да твоя слава, жизнь...

— И все это была только шутка! Или я не стою такой чести? — вскрикнул, дрожа и глотая слезы обиды, Пушкин. — Идеал мой разбит! Спасибо! Зло шутите, господа...

Сказав это, он бросился из комнаты, надел в передней шубу и шапку и вышел в сад. Видя его настроение, никто из друзей не решился его остановить или следовать за ним. Сделал было движение Волконский. Князю было жаль Пушкина, хотелось ему что-то сообщить, чем-то его утешить. Но и он остановился под влиянием тайного, грустного раздумья и почти священного благоговения к общему, пылкому другу.

Погода по-прежнему была тихая, с легким морозом. Туман поднялся. Звездная ночь искрилась на оледенелых деревьях и кустах, на крыше дома и садовых полянах. Окрестность молчала. Изредка только снизу, через сад, доносился шум колес водяной, на Тясмине, мельницы, работавшей на все камни, благодаря недавнему половодью пруда и реки.

Пушкин шагал сквозь кусты, по поляне, на шум мельницы.

Его ноги легко скользили по хрупкому снежному насту. Не замечая бивших его ветвей и падавших на него клочьев инея, он думал горькие и вместе отрадные думы. В его мыслях носился север — шум и блеск им оставленного столичного мира — и его молодые, праздно улетающие годы. Слезы кипели в его душе. Он чувствовал, как они текли по его лицу, и не видел, что невдали от него, по темной, скрытой в деревьях дорожке, шел другой человек.

То был Мишель.

Сам не сознавая, зачем он, без шинели и фуражки, также вышел из сада, Мишель с замиранием сердца следил дорогую тень и думал: «Тайные союзы, общества!.. Члены клянутся на шпагах, на яде... и все для ближних, для блага страждущего человечества! Боже, как это страшно и вместе как возвышенно! И как бы я был счастлив, если бы удо-

стоился этого выбора! Они смеются... Нет, всякий обязан выполнить долг к родине, к низшим, угнетенным слоям. Опасность, гибель?.. Но если я и без того военный, а следовательно, всегда готовый на смерть? И не все ли равно, какая и где смерть за других? А это... о! Подобный подвиг выше всех подвигов Наполеона...»

III

Безумные мечты Мишеля сбылись.

Через четыре года он снова и не раз навестил Каменку. Но под какими впечатлениями? Об этом он не мог думать без сладкого и радостного трепета.

Это было в 1825 году.

Мишель в то время уже состоял членом тайного «Союза благоденствия», заменившего прежний «Союз спасения или истинных и верных сынов отечества». Более того: он в этом тогда уже прошел все степени — братий, мужей и даже бояр, имеющих право принятия других членов. Его бывший ротный командир и покровитель Сергей Муравьев-Апостол получил батальон Черниговского полка, в то время состоял председателем одной из южных управ союза, именно Васильковской, где Мишель также состоял чем-то вроде товарища блюстителя. Председателями другой управы, собиравшейся в Каменке, были Василий Давыдов и, в том году женившийся на другой сестре Раевских, князь Волконский. Мишель знал теперь, что четыре года назад Волконскому в Каменке было поручено принять Пушкина в члены тайного общества. Он вспоминал, как тогда, ничего не подозревая, тот сидел среди вожаков союза, и ему было понятно великодушие Волконского, скрывшего от Пушкина роковое поручение.

Мишель также знал, что в «Союзе благоденствия», будто бы распущенном в Москве, указания всему давала Тульчинская, или коренная, дума. Председатель этой думы и всего

Южного союза не любил нерешительных и малодеятельных. Мишель был деятелен и смел, но по молодости лет попадался в необдуманных выходках и болтовне, а недавно еще к тому сильно влюбился.

Случилось это так. Ездивши в Киев по делам союза, Мишель на какой-то станции переменил лошадей и, едва миновал чей-то лес, услышал в древесной чаще топот всадников. На поляну из просеки выскочили, по-видимому, догоняя его, две наездницы.

— Arretez vous, Paul! — кричали они, махая платками. — Что за глупости, воротитесь!

Мишель остановился. В рассеявшемся облаке пыли ему предстали две незнакомки: одна молоденькая, красивая, в синей амазонке, блондинка, другая — в зеленой, постарше, очевидно, ее гувернантка. Обе, разглядев остановленного, сильно смешались.

— Извините, — сказала гувернантка, — обе мы очень близоруки; здесь почтовая дорога, и мы вас приняли за только что уехавшего кузена этой девицы... Не я ли, Зина, тебя предостерегала?

Мишель, встав с телеги, вежливо поклонился.

— С кем имею честь? — спросил он.

— Зинаида Львовна Витвицкая, — ответила гувернантка, указывая на спутницу, — я Элиза Шон...

Мишель назвал себя.

— Извините и меня, — сказал он, обращаясь к гувернантке, — как любитель верховой езды не могу утерпеть... ваш мундштук сильно затянут, лошадь дерет голову, может опрокинуться...

— Ах! — расхохоталась Зина, давно насилу сдерживавшая смех. — Вот любезно!.. А без этого вы, Элиз — вы... упали бы!.. ха-ха!

Раскатистый, звонкий смех девушки увлек и гувернантку, и Мишеля. Все засмеялись. Гувернантка встала с лошади. Солнце светило весело. Жаворонки реяли в безоблачной синеве. От леса несло душистою прохладой.

Пока Мишель возился с мундштуком, из-за деревьев показался шарабан, в нем трое мужчин и между ними один военный.

— Вот вы где... в чем дело? — спросили подъехавшие.

— Мишель, ты какими судьбами? — вскрикнул военный.

В последнем Мишель узнал бывшего товарища по Семеновскому полку, Трепанина. Они дружески обнялись.

— Вот и кавалер! Будет кадриль, — сказал Трепанин, представляя Мишеля прочему обществу.

— Отлично, милости просим к нам! — заговорили мужчины. — Отдохнете, повеселитесь...

— Нельзя, спешные дела, очень благодарен! — твердил Мишель.

— Полно тебе, — возразил Трепанин, — так давно не виделись — а это у моего дяди... уехал под арест просрочивший мой брат... нет кавалера: будь любезен... до Ракитного рукой подать. И тетушка будет так рада...

Новых отговорок Мишеля не приняли. Он отпустил почтовых. Его вещи сложили в шарабан. Дамских лошадей взяли на повод, и все общество направилось в Ракитное, через лес, пешком.

В тот же вечер Мишель танцевал в доме Витвицких, где было несколько соседних барышень. На другой день была прогулка верхом и в экипажах, на пасеку, в какое-то лесистое займище, завтрак на траве под стогами и рыбная ловля в озере. А вечером опять гремел домашний оркестр и снова танцевали. Мишель не отходил от Зины. Он забыл и неотложные поручения управы, и поездку в Киев, и весь союз. Так он здесь прогостил тогда с неделю. Съездив в Киев, он на обратном пути вновь свернул в Ракитное. «Неужели? — твердил он себе. — И что это значит? Ни покоя, ни сна... все Зина, все она и ее светлые, добрые, смеющиеся глаза!» Еще через неделю Мишель сделал предложение Витвицкой и стал ее женихом. Свадьба была назначена в январе следующего года. В наступающем декабре Витвицкие соби-

рались с дочерью в Москву — делать приданое и познакомиться с матерью жениха. Мишелю, как штрафному, бывшему семеновцу, въезд в столицы был воспрещен, и он все обдумывал, как бы исхлопотать отпуск и побывать в Москве вместе с невестой.

В коренной думе косились на молодого собрата, слали за него Васильковской управе замечания и даже выговоры. «Это бестолковый, невозможный мальчик, — говорил о нем вожак южных членов, — он решителен до безумия, это правда; но у него голова не в порядке». Муравьев, умеряя Мишеля, отстаивал его, ссылаясь на его искреннее служение общему делу, и даже, по поводу его сватовства, указывал, что он более посвящает времени делам союза, чем своей невесте.

Мишель торжествовал: любовь и тайный союз!.. Романтических клятв на кинжале и яде в союзе он уже не застал. При вступлении давалась простая собственноручная расписка. Мишель помнил то сильное и страшное волнение, которым он был охвачен при подписании подобной расписки. И хотя он знал, что, по уставу прочтенной им «зеленой книги», эта его расписка была вслед за ее подписью сожжена, но с того мгновения уже не считал себя жильцом этого мира, а самоотверженным и верным слугой того, скрытого для остальных и сильного человека, который тогда руководил почти всем союзом. Он о нем не говорил даже невесте, хотя, вздыхая, намекал, что жизнь — бурная волна, не всегда щадящая пловцов.

Наконец, Мишель увидел и этого вожака, два года назад, на съезде в Тульчине, в имении Мечислава Потоцкого. Члены съезда собрались в квартире генерал-интенданта второй армии Юшневского, и все были как бы не в себе. Говорили рассеянно, вяло, посматривая то на дверь, то на часы. Мишель, впрочем, был в духе. Он уже не боялся, что его, как случалось прежде, не знают и что о нем могут обидно спросить соседа: «Qu'est ce que c'est que cet homme, qu'on ne voit nul part?» Он был всем известен, и, хотя казался все

еще восторженным мальчиком, его уже называли не просто Мишель, а Михаил Павлович.

Кроме председателя, ждали еще двух-трех запоздавших товарищей. В назначенный час дверь отворилась.

Вошел невысокого, даже несколько ниже среднего роста, плотный и на крепких ногах, смуглый и с приятным строгим лицом, темноволосый, коротко остриженный и черноглазый, тридцатидвухлетний человек. Сдержанный и вместе приветливый на вид, он сразу приковал к себе внимание.

— Здравствуйте, господа, не опоздал? — спросил он, пожимая руки направо и налево.

Мишель при этом голосе с внутренней дрожью сказал себе: это Пестель.

Сын бывшего сибирского губернатора, воспитанник лучших дрезденских профессоров, потом Пажеского корпуса, Пестель в двенадцатом году был ранен в ногу, двадцати лет уже имел шпагу за храбрость, был любимым адъютантом князя Витгенштейна, затем служил в мариупольских гусарах, во время греческого восстания был отряжен для разведок в Бессарабию и оттуда прислал государю Александру замечательную записку, смысл которой выразился в новых и тогда смелых словах: «Нынешняя борьба греков против ига угнетателей то же, что некогда была борьба русских против ига татар». Теперь Пестель был командиром Вятского пехотного полка, состоянием которого, на последнем смотре государь был так доволен, что сказал: «Superbe; c'est comme la garde!» — и командиру вятцев подарил три тысячи душ крестьян.

Пестель вошел с толстым портфелем под мышкой, выслушал приветствия сочленов, сказал: «К делу, mes chers camarades» — и разложил бумаги на столе.

— Это опыт кодекса будущих законов, — произнес он самоуверенно и просто. — Я позволил себе назвать это... в память другой попытки, при Ярославле... «Русской правдой».

И он стал читать почти конченный труд, о котором в союзе было столько говору и ожиданий. Введение, распре-

деление страны на области, округи, волости, на русских и подвластные племена, статьи о правах гражданства и о свободе крестьян текли плавно и легко. Мишель слушал с напряжением, хотя вскоре был несколько утомлен. «Однообразное и длинное чтение, — подумал он, — но предмет первой важности, глубокий, хотя поневоле сухой». Он не без удивления и с некоторым ужасом заметил, что кое-кто из слушателей морщился, как бы заглушая зевок, а иные даже усиленно мигали, стараясь отогнать непрошеную дремоту. «Такое дело — целый подвиг, — мыслил Мишель, — а мы относимся так легко...»

Чтение обширного политико-юридического трактата было кончено. Его составитель попросил высказаться о своем многолетнем труде, и на два-три замечания, перебив других, заговорил сам.

— Я никому в жизни не желал зла, — сказал, между прочим, Пестель, — ни к кому не питал ненависти и ни с кем не был жесток... Я бы желал, чтобы и эти мысли привились мирно к каждому, чтоб они были приняты добровольно и без потрясений. Вы, добрые товарищи, помогите мне в том...

«И как это ясно и просто!» — рассуждал Мишель, поняв то неотразимое и сильное влияние, каким Пестель пользовался в среде союза. Умно и дельно, по его мнению, говорили относительно прочитанного Юшневский и Муравьев, Волконский, Барятинский и Басаргин. Но дар слова блюстителя Южного союза был выше всех. Пестель перешел к обсуждению тогдашнего положения России.

— Мы не ищем потрясений, — говорил тогда Пестель. — Наше стремление исподволь подготовить, воспитать, своим примером пересоздать общество... Становясь на разные поприща, будем лучшими, надежными людьми и вызовем к делу таких же других...

Любуясь его голосом, смелым и ясным изложением задушевных мыслей, Мишель невольно тогда вспоминал отзывы товарищей о суровом, почти отшельническом образе

жизни Пестеля, о его богатой классической библиотеке, о заваленном бумагами и книгами рабочем столе и о его упорном, беспрерывном труде. И ему становилось понятно, почему сухой, положительный и степенный Пестель верил в свои, казалось, неосуществимые выводы и мечты, как в строго доказанную, математическую истину.

— Мы воздух, нервы народа! — выразился, между прочим, Пестель.

— Светочи! — с жаром прибавил Юшневский. — Нас оценят, особенно, Павел Иванович, вас...

Одно поражало Мишеля. Некоторые из сочленов в глаза Пестелю говорили одно приятное, согласное с его мнениями и редко ему противоречили, а в его отсутствие не только оспаривали его философские, казалось, неопровержимые доводы, но говорили о нем с нерасположением, порочили его меры и тайком издевались над ним. От него, как, например, на московском съезде, даже просто хотели избавиться. По слухам, и Пушкин отзывался о Пестеле неладно. «Не нравится мне этот сухой, философский ум, — будто бы он сказал про него, — и я бы с ним не сошелся никогда; умом я тоже материалист, но сердце против него...»

Самый проект уравнения крестьян с прочими гражданами, составленный Пестелем, многие из членов общества, особенно титулованные богачи, находили разорительным для страны и невозможным.

— Так быстро! Это нелепость! По крайней мере десять или двенадцать лет переходной барщины! — говорили некоторые, забыв, что по этому предмету повторяли мнение динабургских дворян, одобрявшееся, по слухам, тем же ненавистным им Аракчеевым.

Даже силу влияния Пестеля на некоторых из членов союза, в том числе на близкого ему Сергея Муравьева-Апостола, в среде союза объясняли посторонней причиной, а именно месмеризмом. Как многие тогда, волтерьянец и энциклопедист Муравьев был, по словам некоторых, не чужд мистических увлечений. Он, между прочим, верил в

какую-то модную гадальщицу, близкую кругу Татариновой, которая ему предсказала «высокую будущность». Поклонник Канта и Руссо, Пестель в глубине души был также мистиком и несмотря на свой материализм не в шутку считал себя одаренным силой месмеризма. Он допускал сродство душ и ясновидение и, под глубокой тайной, в домашнем кругу, занимался магнетизированием двух-трех из близких друзей, в том числе Муравьева. На этих усыплениях, по слухам, он проверял важнейшие из предположенных мер и будто бы узнавал чрезвычайные указания о будущем.

Мишель наконец услышал о своем председателе и такое выражение одного сочлена: «Наш вождь — невозможный самолюбец и деспот... он ищет покорных сеидов, слуг, а не преданных друзей...»

«Зависть, соперничество, — мыслил Мишель, разбирая в уме мнения товарищей, — увы! — недоброжелательство вкрадывается и в нашу возвышенную среду... Что за причина? Павел Иванович первый ясно и твердо определил нашу сокровенную, высокую цель и, кажется, неуклонно к ней ведет. Все должно объясниться. В Каменке назначены съезды южных управ. Там все узнаю...»

Мишель посетил Каменку.

Это было в августе 1825 года. Незадолго перед тем, навестив свою невесту, Мишель побывал в Киеве и от тамошних членов узнал, что их союз открыл существование двух других тайных обществ: «Соединенных славян» и «Варшавского патриотического». Славяне тотчас слились с союзом. Польское общество колебалось. Здесь были громкие имена: князь Яблонский, граф Солтык, писатель Лелевель и член другого, виленского общества «Филаретов» — Мицкевич. Патриоты-поляки на первых же совещаниях с русскими основой общего согласия выставили возврат Польше границ второго раздела, и самую подчиненность польских

земель России желали отдать на свободное решение своих губерний. В этих переговорах участвовал и Мишель.

— Никогда! — вскрикнул, услышав о польских требованиях, Пестель. — Россия должна быть нераздельна и сильна.

Мишель также с этой поры стал за нераздельность России.

Все знали, что Пестель из-за этого вопроса недавно ездил в Петербург, где, между прочим, должен был проведать о деятельности северных членов, и что теперь он был под Киевом на личном и окончательном свидании с польским уполномоченным Яблоновским. В Каменке нетерпеливо ждали его с отчетом об этом свидании.

— Да не махнул ли наш президент опять на север? — сказал гостям Василий Львович. — А то, пожалуй, заехал опять на отдых в свое поэтическое Mon Bassy...

Так сам Пестель называл в шутку и в память «Méditations poetiques» Ламартина Васильево, небогатую и глухую смоленскую деревушку своей матери, где старик Пестель, некогда грозный и неподкупный генерал-губернатор Сибири, проживал теперь в отставке, в долгах и всеми забытый. Между членами союза ходила молва, что в Васильеве есть озеро, а на озере укромный, зеленый островок, и будто Павел Иваныч, этот новый русский Вашингтон, как называли тогда Пестеля, навещая родителей, любил уединяться на этом островке, мечтая о будущем пересоздании России, и даже, как уверяли, писал французские стихи.

— Этак он своего соперника, Рылеева, заткнет за пояс! — говорили злые языки.

— Нерон тоже служил музам, — прибавляли завистники. Все эти толки сильно смущали и бесили Мишеля, и он с неописанной радостью узнал, что в «одну из суббот» Пестель, наконец, явится на съезд в Каменку, с последним, решительным словом поляков.

Пестель приехал.

Члены тульчинской, васильковской и каменской управ были в сборе. Субботние заседания, по обычаю, происходили в кабинете Василия Львовича Давыдова. Александр Львович уже несколько недель отсутствовал по делам другого имения. Женская часть общества Каменки не подозревала причины этих съездов. Гости Василия Львовича являлись как бы на отдых, в конце недели, присутствовали при общем чае и ужине, беседовали в кабинете хозяина или наверху и на другой день, после завтрака или обеда, разъезжались.

Мишелю отводили наверху ту комнату, где четыре года назад гостил Пушкин, ныне находившийся в ссылке, в псковской деревне родителей. Из окон этой комнаты, обращенной в тенистый, теперь роскошно зеленеющий сад, Мишель в бессонные ночи, мечтая о Ракитном и о своей невесте, прислушивался к шуму мельничных колес на Тясмине, но они молчали.

— Что с вашей мельницей? — спросил он как-то Василия Львовича.

— Старый мельник умер, — ответил тот. — Колеса и весь ход расстроились; теперь ее починяет англичанин-механик.

— Откуда взяли?

— Гревс прислал из Новомиргорода... умелый и способный — из вольноопределяющихся солдат.

В один из приездов, гуляя по саду, Мишель увидел этого воина-механика и сперва не обратил на него особого внимания: солдат, как солдат, вежливый, приличный, в белом кителе с унтер-офицерскими погонами и в белой же без козырька, набекрень, фуражке. Встретясь с офицером, солдат снял фуражку и, вытянувшись во фронт, прижался к дереву, пока тот, кивнув ему, прошел мимо. В другой раз Мишель заметил этого механика во дворе, через который тот нес в кузницу какую-то железную мельничную вещь. Теперь он его разглядел лучше. Механик был в полном смысле красавец английского образца: белолицый, сильный и статный, с рыжеватым отливом густых коротко острижен-

ных волос, в бакенбардах, веснушках, с несколько длинными передними зубами и вздернутой верхней губой. Его красивый мясистый рот гордо улыбался, а большие светло-серые глаза смотрели смело, даже нагло.

Женской части общества Каменки этот механик, оказавшийся образованным человеком и даже любящим музыку, был знаком. Он починял хозяйкам замочки к ридикюлям, выпиливал тамбурные иголки и вязальные крючки, склеивал детям игрушки и вообще оказывал разные услуги, за что бывал приглашаем на женскую половину к чаю и кофе.

Мужчины, толкуя в своих совещаниях о мировых задачах, о пересоздании человечества вообще и родины в особенности, кроме озабоченного делами хозяина и случайно Мишеля, даже не подозревали о существовании этого лица в Каменке. А между тем в крошечном флигельке, скрытом под тенистыми грабами, на заднем черном дворе, переживались, как и в сокровенных беседах большого дома Каменки, такие острые, жгучие думы...

Мишель, в последнее время невольно задумываясь о своем положении, старался быть с виду покойным, не мыслить ни о чем мрачном. Он понимал, какая страшная опасность грозила ему; видел, что все, чем отныне его манила жизнь, может нежданно, как и сам он, погибнуть, и отгонял эти суждения. В собраниях он особенно выделялся, сыпал смелыми до крайности словами, предлагал дерзкие, безумные меры. Его рассеянно слушали. Все ждали иного, более призванного голоса.

У невесты Мишеля в Петербурге жила приятельница, ее бывшая гувернантка, француженка Жюстина Гебль. Дочь убитого испанскими гверильясами полковника, Жюстина теперь содержала в столице швейный магазин и также собиралась выйти замуж за члена союза, знакомого Мишелю кавалергардского поручика Анненкова. Приятельницы дружно и весело переписывались, вовсе не думая ни о чем печальном, тяжелом и грозном.

— Как зовут вашего механика? — спросил однажды Мишель Василия Львовича.

— На что вам?

— Вещь одна распаялась... он сумеет починить.

— Иван Иваныч Шервуд.

IV

Джон Шервуд, или, как его называли в России, Иван Иваныч Шервуд, был сыном известного англичанина-механика, вызванного в Россию при Павле, для устройства обширных суконных фабрик в селе Старой Купавне, в Богородицком уезде, близ Москвы. Управляя купавинскими фабриками, отец Шервуда обогатился, нажил несколько домов в Москве и дал отличное, с технической практикой, воспитание своим сыновьям. Счастье Шервудам изменило. Ссора с властями повела к возбуждению следствия, потом суда. Старик Шервуд потерял место. Его дома были описаны, забракованный суконный товар опечатан, испортился в фабричных складах и продан потом за ничто. Шервуды обеднели, впали в нищету. Старшие сыновья фабриканта кое-как пристроились на чужих заводах. Младший — Джон — сперва работал у мелких ремесленников, потом попытался поступить в военную службу, но без связей ничего не добился и, чуть не побираясь милостыней, шатался без дела по Москве.

Однажды, в то голодное, тяжелое время, он зашел к земляку, московскому шорному торговцу. К лавке, шестерней, в богатой карете, подъехал пожилой помещик. Купив два женских седла, он при выходе, как бы что-то вспомнив, потер лоб и спросил купца: нет ли, между его земляками образованного и способного человека, который мог бы давать его детям уроки английского языка? Шервуд не вытерпел. Видя, что его земляк молчит, он сам предложил незнакомцу свои услуги. Помещик взглянул на купца. Этот поддержал

Шервуда, сказав, что молодой человек, кроме природного английского и французского языков, хорошо знает также и немецкий и несколько музыку. Помещик сделал по-английски несколько вопросов молодому человеку, объявил свои условия и дал визитную карточку. Шервуд, узнав от купца, что это был известный богач Ушаков, на другой день простился с родителями, уложил свой убогий чемоданчик и, явясь к Ушакову, уехал с ним в его смоленское поместье.

Шервуд впоследствии, и теперь в Каменке, часто вспоминал эту дорогу, приезд в большой и роскошный барский дом, толпу слуг и двух красивых взрослых дочерей помещика, которые с любовью бросились навстречу отцу. Барин отрекомендовал сиротам-дочерям и их надзирательнице, пожилой экономке-француженке, нового преподавателя. Дворецкий указал Шервуду помещение недавно уволенного французского учителя. Уроки английского языка начались успешно. Ретивый наставник был обворожительно услужлив. За английским начались упражнения в немецком языке, а по временам игра в четыре руки на фортепьяно. Учитель, попав в теплый угол, на сытый, даже роскошный стол, обзавелся из первого жалованья приличным, модным платьем. Девицы были очень любезны и внимательны, особенно младшая, живая и резвая, почти ребенок.

Надзирательница-экономка, страдавшая то нервами, то флюсом, более сидела в своей комнате. Ученицы во время уроков говорили с преподавателем на языке, непонятном для нее и прочей прислуги. Отец был занят хозяйством, выездами в гости и охотой.

Прошел год. Шервуд влюбился в младшую ученицу. Последняя страстно увлеклась красивым и угодливым наставником.

Деревенская скука и глушь, отсутствие надзора рано умершей матери и доверчивость наемной приставницы сделали свое дело. Сперва робкие письменные признания, вздохи, полуслова; потом прогулки в поле, встречи в саду...

«Увлеклись и забылись», — сказал себе однажды, в оправдание, Шервуд, когда уже было поздно. Что предпринять? Как и чем спастись? Медлить было нельзя. Ни отец, ни старшая сестра и никто в доме пока еще не подозревали ничего. «Ужас! Что, если догадаются? — мыслил он. — Ей ли быть за мной, за ничтожным, наемным учителем, почти слугой? Никогда... Отец не вытерпит, не снесет позора. Из своих рук убьет меня и ее... Пока есть время, надо найти средство, скрыться куда-нибудь, бежать...»

Шервуд обдумал решение. Брак был возможен только с ровней. Он решил поступить в военную службу, поскорее добиться офицерского звания и тогда искать руки девушки. Строя радужные грезы, полные надежд, они простились. Шервуд сослался на домашние обстоятельства, сказал отцу девушки, что переменяет род занятий, попросил у него расчета и уехал.

Как иностранец и сын разночинца Шервуд мог определиться в армию только простым рядовым. Он придумал другое средство: поступил опять учителем к детям известного, со связями, генерала Сталя, и заискал его расположение. Воспользовавшись поездкой генерала по делам в Одессу, он в Елизаветграде обратился к нему с просьбой, помочь ему для поступления вольноопределяющимся в Новомиргородский уланский полк. Командир полка Гревс был дружен с Сталем, и Шервуда вскоре приняли, на тогдашних правах — двенадцатилетней выслуги на офицерский чин.

Двенадцать лет солдатской, жесткой лямки! Да это целая вечность для самолюбивого и избалованного в детстве человека, который еще недавно вкушал спокойную и так хорошо обставленную жизнь иностранца-учителя в богатых барских домах. Шервуд подумал: «Ну, для меня будет исключение; очевидно, примут во внимание мою недюжинную образованность, знание приличий и внешний лоск. Двенадцать лет выслуги писаны для других; меня скоро заметят, оценят и отличат». Но тянулись недели, месяцы, прошел год, другой и третий. Шервуда не замечали. Он с трудом, в конце дол-

гих усилий, добился одного: из фронта, узнав его грамотность и хороший почерк, его взяли писарем в канцелярию полкового комитета. Вести из Смоленской губернии приходили редко, а вскоре и вовсе прекратились. Переписка шла через экономку, которую теперь, очевидно, рассчитали. Из Москвы от родителей шли нерадостные известия: та же беспомощность, те же горе и нищета. А тут еще строгое и требовательное начальство, вечное корпение в душной комнате, с пером, и ни проблеска лучших надежд.

Шервуд не вынес служебных невзгод. При всей своей сметливости, пронырливом и вкрадчивом нраве, он потерял обычное спокойствие духа, стал пренебрегать занятиями в канцелярии и наконец безобразно запил.

Небритый и нечесаный писарь, с протертыми локтями и в дырявых, с голыми пальцами, сапогах, случайно привлек к себе внимание майора, начальника канцелярии.. Арест и всякие штрафы не помогли. Майор, узнав о происхождении писаря, призвал его к себе и стал усовещивать, стыдить.

— Да что с тобой? — спросил он, после долгих распеканий, вглядываясь в заспанное и опухшее лицо писаря. — Не знаешь разве? Да я рапортом... Да ты у меня...

Слезы брызнули из глаз Шервуда. Вытянувшись перед начальником, он судорожно мял в руках фуражку и молчал.

— Ты, батенька, отличных способностей, — произнес майор, желая несколько его ободрить. — Шутка ли! Знаешь арифметику, языки... Ну, разные там ремесла... Прежде вел себя прилично, барышней... А теперь! Откуда такая блажь?

Губы писаря дрогнули.

— Ваше высокоблагородие! — проговорил он. — Вы обратили на меня милостивый взор...

— Ну, да, да!

— Хотите знать причину... Вот она...

И Шервуд без утайки рассказал майору все свое прошлое, в том числе и роковой смоленский случай.

Майор развел руками.

— Пять лет я бился, — заключил Шервуд. — Извольте узнать, на смотрах обходили; что было — издержался, а производства все не видать... Хотел я и руки на себя наложить — вот как перед Богом! — и дезертировать за границу, в Грецию, где люди бьются за свою свободу... Горе сломило, не стерпел...

Шервуд говорил с чувством, толково и умно. Майор сперва было вспылил: «Вот вы, головорезы! А! Куда дернул! У меня, братец, тоже семья, дети...» Он не щадил доводов, укорял.

— Через головы других затеял, вертун, перескочить! — горячился майор, пыхтя и расхаживая по комнате. — Назначено двенадцать лет, ну и терпи. Где твои такие заслуги, права? Теперь, батенька, не военное время. И родовые дворяне вон, не тебе, иностранцу, чета, ждут, переносят! Я сам, братец ты мой, не из богатых, сколько тянул.

Мысль об оставленной, страдающей девушке смягчила майора.

— Изволь, помогу, — проговорил он наконец, подумав, — но прежде сам исправься, приведи себя в должный вид. О рюмке более ни-ни...

— Явите божескую милость.

— Попытаюсь, говорю; есть аудиторские дела, кое-что, может, найду и по механике... А пока вот тебе приглашение, — заключил майор, — приходи каждый день ко мне обедать. Отличишься, то ли тебя, по способностям, ждет?

Слова майора подействовали. Шервуд остепенился, стал исполнять казенные и неурочные частные поручения, обзавелся инструментом, ободрился и принял прежний приличный вид. Ему дали унтер-офицерские погоны, и он уж запросто бывал у майора. Летом 1825 года в Новомиргороде к полковнику Гревсу заехал его приятель, Александр Львович Давыдов. За обедом разговорились о хозяйстве. У полковника в это время сидел и майор. Гревс подсмеивался над помещичьими доходами. Ели устриц.

— Полковые командиры, cher ami, хе-хе, не знают неурожаев, — сказал он, попивая шабли. — Сравни хоть бы меня... Ведь я живу, как бы владея восемнадцатью тысячами душ.

— Хорошо тебе! — возразил Александр Львович. — У нас с братом в Каменке иное... Третье лето засуха, недород. Была отличная, доходная мельница и та теперь без дела.

— Почему?

— Мало у нас ученых механиков; купишь хорошую заграничную машину, испортилась и валяется, хоть брось! Мельницу нам наладил немецкий мастер; пока он жил, не было отбоя от помола, на весь околоток работала, а умер, некому поправить, стоит.

Майор вспомнил о Шервуде. Он сказал о нем полковнику.

— Какой это? — спросил Гревс. — Белолицый такой, смелые, красивые глаза?

— Он самый... Отличный, могу сказать, знающий и способный механик... У меня по аудиторской, в канцелярии... Вашу коляску намедни, как починил...

— Ну, да, именно! — с удовольствием произнес полковой командир. — Возьми его, Александр Львович, что ему тут мотаться... Пусть этот годде́м заработает у тебя. Пришлю с ним и устриц.

Шервуд был отпущен в Каменку. Там ему дали помещение во флигеле дворецкого, мастерскую, и вскоре он занялся исправлением мельницы. «Угожу Давыдовым, заслужу и у полковника! — рассуждал он, — Майор поддержит; скоро высочайший смотр. Авось вывезет судьба».

В Каменке сметливый и ловкий Шервуд, став опять на путь частных отношений и услуг, ко всему внимательно прислушивался и все замечал. Возвращаясь с мельницы на рабочий двор, где стоял флигель дворецкого, он толковал с барскими и приезжими слугами: что делают господа и куда ездят, кто барские гости, богаты ли, знатны ли и где живут? Угождая господам, Шервуд не забывал и прислуги: тому

оправлял женины серьги, этому лудил чайник для сбитня, паял колечко или починял сундучок. Пожил он так недели три. Ел опять сытно, спал вдоволь, в работе на мельнице ничем не был стеснен. Скучно бывало подчас и не предвиделось впереди ничего особенного, чем он мог бы сразу и неожиданно выбиться из тесной, обыденной колеи. Лучшее общество было недоступно. В барский дом хотя изредка его пускали, но как рабочего и с черного крыльца. Сажали его и в столовой, но особо в углу, за перегородкой.

Был на исходе июнь. Шервуду дали починить седло старшей барышни. Он выпилил новый ленчик, поправил и щегольски, заново отделал все седло. Черноглазая семнадцатилетняя красавица Адель, на глазах снявшего фуражку механика, села, в соломенной шляпке с алыми лентами, на серого с куцым хвостом скакуна и, в сопровождении старого берейтора, поскакала за Каменку, в лес, на зеленеющие холмы. Шервуд только вздохнул, вспоминая улетевшие былые годы, иную деревню, леса и холмы и иную, теперь также недосягаемую красавицу. Он ушел на мельницу бледный, едва помнивший себя, и там чуть не плакал, грыз с бешенства ногти и мысленно проклинал всех и все.

Шервуда уже давно поразило одно обстоятельство: он стал замечать, что в Каменку, где за отсутствием старшего брата хозяйничал Василий Львович Давыдов, в определенные дни, и именно по вечерам, каждую субботу, съезжались одни и те же гости, почти исключительно военные. Он стал узнавать от прислуги их имена. Тут были: генерального штаба поручик Лихарев, штаб-доктор Второй армии Яфимович, подпоручик Полтавского пехотного полка Бестужев-Рюмин, подполковник, командир конно-артиллерийской роты Entальцев, ныне батальонный командир Черниговского полка, подполковник Муравьев-Апостол, отставной штабс-капитан гвардии Поджио и другие. Шли толки, что ждут и других гостей, в том числе командира Вятского пехотного полка, полковника Пестеля.

— Что бы это значило? — начал рассуждать Шервуд, прислушиваясь к толкам семьи дворецкого о посетителях Каменки. — В карты они не играют, не кутят, не пьют... с дамами видятся только за чаем, за ужином, сидят в пристройке Василия Львовича либо наверху и на другой день разъезжаются... Военные! Уж не затевается ли куда поход? Что-то, по слухам, неладно в Польше и как бы опять на австрийской границе... Что, если и впрямь война, поход? Очевидно, держат в тайне, готовятся... Узнать бы и заранее попроситься в действующий отряд».

Однажды, в субботу, Шервуд после ужина ходил по двору. Его мучили сомнения, неизвестность. Таинственные беседы приезжих дразнили его любопытство. Он прошел в сад, миновал несколько дорожек, возвратился к калитке и поднял голову. Часть верхнего этажа была освещена. Одно из окон было не совсем прикрыто занавеской. Ночь была звездная, но без месяца. Часть неба застилалась облаками.

Шервуд оглянулся, приметил вблизи лестницу, служившую для закрытия ставень, прислонил ее к стене и полез к верхнему окну. Он уже был невдали от подоконника, видел тени, колыхавшиеся по раме, и готовился из-под занавески разглядеть, что́ происходит в комнате. На дворе, за калиткой, послышались шаги. Шервуд быстро спустился на землю.

«Нет, — сказал он себе. — Хоть от деревьев здесь и темно, на белой стене легко могут разглядеть...» Он опять прошел в сад. Походив по ближней поляне, он долго приглядывался к свету в верхних окнах. Его руки и ноги дрожали, любопытство было до крайности возбуждено.

Обычная вечерняя возня во дворе понемногу затихла. Перестали скрипеть и хлопать двери в доме, на кухне и в людских. Прислуга мало-помалу разбрелась по своим углам. У амбара перестал постукивать в доску сторож. На деревне все также смолкло. Наступила полная тишина.

Шервуд вышел из сада, поднялся на переднее крыльцо и, подождав с минуту, бережно отпер дверь в сени. Осмотревшись в полутьме, он нащупал крутую каменную лестницу,

подумал: «Это наверх... если наткнусь на кого-нибудь, скажу, что по делу к хозяину!» — и, чуть касаясь ступеней, стал медленно подниматься. Несколько раз он останавливался, прислушиваясь. Его тревожил скрип собственных сапог. В верхней передней не было никого. «Прислуга, очевидно, с расчетом услана вниз!» — мелькнуло в уме Шервуда. Из смежной комнаты в дверную щель передней пробивалась полоска света; из-за двери ясно слышались оживленные голоса.

«Так и есть, — подумал Шервуд, — обсуждение похода... готовится война... Но как бы не попасться, получше расслышать?» Он осмотрелся, снял сапоги, чтобы не скрипели, взял их под мышку, подошел на цыпочках к заманчивой двери и, замирая, приложил к замочной скважине сперва глаз, потом ухо. Он наблюдал несколько мгновений, отрывался от двери и опять жадно к ней припадал. Кровь бросилась ему в голову. Сердце билось так сильно, что он схватился за грудь и едва устоял на ногах.

V

Вокруг большого, заваленного бумагами стола, как разглядел Шервуд, помещались все обычные посетители Каменки. Ближе других, у левой стены, сидел хозяин, Василий Львович Давыдов. Вправо и боком, также у двери, располагался, приехавший в тот день, коренастый и строгий лицом полковник Пестель. За ним, с пером в руке, над бумагой, сидел в свитском мундире длинноволосый и худощавый с выразительными глазами поручик Лихарев. Пестель, с решительно протянутой рукой, что-то кончил объяснять. Лихарев, взглядывая на говорившего, наклонялся, быстро записывая.

Шервуд затаил дыхание и стал слушать. Первые слова Пестеля бросили его в холод и жар. «Он председатель, отбирает голоса... что за диво?» — подумал Шервуд. Пестель кончил. Началось общее рассуждение. Французский, с при-

месью русских выражений, говор то затихал, то обновлялся с новою силой. Шервуду становилось понятно и ясно нечто совершенно неожиданное, изумительное, повергшее его в нервную дрожь. До него долетали слова: «Да ведь так решено» — «в Польшу ответить от имени союза» — «Наше общее дело» — «Васильковская и Тульчинская управы» — «Мордвинов что? Аристократ!» — «Петербургу дать новый совет! К черту Аракчеева!» — «На голоса!» Говорили речи Поджио, Бестужев-Рюмин и Муравьев. Лихарев записывал решения.

— Ценз избирателей, — произнес Юшневский, — до пятисот фунтов серебра, избираемых — до трех тысяч фунтов... Это дико! Где у нас серебро?

— Крестьян освободить с землей, — кричал Яфимович.

— Не все согласятся! Без земли, с одними дворами! — возражали Поджио и Ентальцев. — Еще назовут грабежом.

— К черту тупое меньшинство! Вече! Вспомните Новгород, Псков! — кричал, покрывая голоса прочих, Мишель.

Сомнения не было. Перед Шервудом происходило заседание тайного политического общества.

Он перевел дыхание, хотел еще слушать. Но Василий Львович встал и, со словами: «Итак, воля крестьян, в общем, решена!» — взялся за шнурок звонка. Остальные также, отодвигая кресла, встали. Шервуд отпрянул от двери и опрометью, чуть помня себя, сбежал по лестнице. В сенях он в ужасе прижался к углу. Мимо него, зевая и охая, снизу прошел разбуженный звонком Емельян.

Пропустив слугу, Шервуд дрожащими руками надел сапоги, еще прислушался, выскользнул на крыльцо и стремглав бросился в свой флигель. Не зажигая свечи, он быстро разделся, лег в постель и старался заснуть. Сон от него бежал. «Тайное общество! Заговор против правительства!» — думал он, задыхаясь. Дрожа и не попадая зубом на зуб, он разбирал свое невероятное открытие. «Так вот что, — мыслил он, — не поход, не война... вот цель этих собраний... и кто же? Высшее офицерство, батальонные, полковые командиры.

Недовольны, возмущены; строят тайные ковы. А я, затерянный в этой глуши, без их богатства и прав, всеми обходимый чужеземец... И мне терпеть еще семь долгих, унизительных лет?..»

Тяжелые, несбыточные мысли вертелись в голове Шервуда. Он неподвижно глядел с кровати в окно. Мухи жужжали и бились в тесной, душной комнатке. А за окном стояла тихая, звездная ночь. «Бежать от этого ужаса! — вдруг подумал Шервуд. — Убить соблазнительный, дерзкий призрак... А там, вдали? Там ведь еще надеются, ждут... Можно отличиться, возвратить потерянное счастье. Нет выслуги выше; почести, богатство... но ведь это предательство!»

Шервуд вскочил, стал ощупью одеваться. «Тьфу, черт! Да как же дрожат руки! — мыслил он с отвращением. — Точно украл что-нибудь... Кончено, решено! — сказал он себе, выйдя на воздух и бессознательно вновь направляясь в сад. — О! Подлая ловушка, выдача головой, за гостеприимство приютившего меня человека... И ужели я буду этим предателем, злодеем, убийцей из-за угла?»

Долго Шервуд бродил по темным уступам и дорожкам сада, подходил к реке, ложился в кусты, на полянах. Верхи деревьев посветлели. Стали видны холмы и ближний лес за Тясмином. Чирикнула и с куста на куст перелетела, разбуженная каким-то шорохом птичка. Спящий, с пристройками и крыльцами, белый дом отчетливее вырезался среди пирамидальных тополей и развесистых старых лип.

«Сытые бесятся, что им! Из моды, от жиру! — злобно стиснув зубы, подумал Шервуд. Он даже плюнул запекшимися губами. — Чужое ведь, не мое... — прибавил он, с бледной усмешкой, вставая и возвращаясь домой. — Отличия... награды засыпят... Это верно, ни колебания, ни шагу назад!»

— Что, ваши едут сегодня? — спросил он чьего-то кучера, ведшего утром к реке лошадей.

— Едем, будем в ту субботу.

В следующую субботу Шервуд решил получше и толком все сделать, смазать сапоги, выждать, когда все угомонится, вновь пробраться к заманчивой двери, все терпеливо выслушать, запомнить и записать в особую тетрадь. «Смельчаки! На Аракчеева строят подкопы! — рассуждал он. — В лагере под Лещином собираются все решить... волю крестьянам хотят объявить!»

В ожидании этого дня, чтоб не дать подозрений, Шервуд притворился рассеянным, беспечным; никого, как прежде, более не расспрашивал и в свободные часы ходил с ружьем дворецкого по окрестностям и приносил хозяйкам дичь. А чтобы продлить свое пребывание в Каменке, он даже нарочно несколько испортил уже конченый мельничный ход.

Вторая суббота пришла. Шервуд узнал еще более. В свою тетрадь он занес имена и адреса многих членов союза, их тайные намерения и цели и даже вскользь кем-либо сказанные, необдуманно смелые слова, вроде ребяческой, безумной похвалы Мишеля, с пеной у рта: «Убивать! Резать всех... Нечего щадить врагов!»

Собрание на этот раз окончательно обсуждало вопрос о некоторых мерах, в том числе чье-то предложение не откладывать свободы крестьян. Шервуд жадно слушал.

— Отдельные, единичные попытки каждого из нас не приведут ни к чему, — сказал чей-то голос за дверью. — Вон Якушкин давно написал общую и безусловную вольную своим. Он даже возил ее в Петербург, министру. И что же вышло? После всяких отсрочек и мытарств ему удалось добиться свидания с Кочубеем. Удивленный министр его выслушал и ответил: рассмотрим, обсудим. И обсуждают до сих пор, скоро пять лет...

— Моего предположения, — произнес Пестель, — о подаренных мне деревнях я уж никуда и не посылал.

— Да и не для чего! — отозвался Бестужев-Рюмин. — Еще сочтут нарушителем общего спокойствия... Ведь у нас как!

— И будут правы! — сказал Поджио. — Строго говоря, как члены тайного общества, даже для таких возвышенных целей, мы все же заговорщики, преступники. Надо говорить правду... Как ни перебирай, а все наши работы, подтвержденные даже собственным доблестным почином, — одни слабые попытки непрошеного меньшинства... отвлеченные философские тезисы... отмена цензуры, шутка ли, сокращение воинской службы....

— Что же предпринять? — спросил Яфимович. — Диагноз сделан, где лекарства? И как узнать мнение большинства, если наши стремления и здесь называют идеальными, идущими не из опыта, а из головы?

— Я так не говорил, — возразил Поджио.

— Нет, вы это сказали...

— Советуют, — произнес Пестель, — подать общее прошение от дворян.

— С сотнями, тысячами подписей, — вскрикнул Мишель, — можно все в тайне, не узнает никто!

— Но не все подпишутся, — возразил Поджио. — Многие против дарового освобождения: из наших даже — Волконский, Нарышкин, Трубецкой, да и другие — Александр Барятинский, стояли за выкуп крестьян от казны.

— И верно, если хотите, — произнес Яфимович, — даже Мордвинов, помните, советовал платить, смотря по возрасту, от пятидесяти до двухсот рублей за душу.

— Алтынники! — вскрикнул Мишель.

— Но с ними могут согласиться, и рядом с нашим прошением пошлются другие, в обратном смысле. Да и как собирать подписи?

— Выбрать смелую когорту! — проговорил Мишель. — Я и другие возьмемся, в месяц, в полгода объездим пол-России в привезем сто тысяч подписей.

— Увлечем, заставим и Аракчеева, — сказал Ентальцев. — Ведь он сам предлагал особую комиссию и пять миллионов в год дворянству на выкуп крепостных.

— Но он стоял за две десятины надела всякой душе, и его мысль отвергли. Он против общинного управления деревень....

— К черту его! Обойдемся и без него! — произнес кто-то.

— Нет, нельзя пренебрегать услугами и врага, — возразил Давыдов.

— Долой врагов! — крикнул Поджио. — Им будет особый расчет.

— Кинжал, — произнес Мишель.

— Позвольте, — опять вмешался Яфимович. — Не подготовим исподволь общего мнения, Кочубей введет ни то ни се... Полумеры восемьсот пятого года...

— На голоса!

— Что же решать? — спросил Пестель.

— Все решать... нечего откладывать!

— Отложить, — сказал Ентальцев, — надо списаться, узнать.

— А публикация в газетах о продаже людей? — проговорил Давыдов. — Ведь это Африка, торг неграми!

— Отложить, не соберем подписей!

— Нечего откладывать, на голоса!

Обсуждались и другие меры, диктовались разные бумаги.

«Какие открытия! — рассуждал Шервуд, пробираясь в эту вторую ночь обратно во флигель. — Стремятся к образованию простого народа, к уменьшению сроков военной службы, к устройству общинного управления, отмене цензуры и к освобождению крестьян... Прямо письмо к государю, — сказал он себе. — Меня, разумеется, вызовут, и я все объясню... Но спросят: где доказательства? И что, если эти люди отопрутся, спутают, собьют? Все ведь такие умники, тузы... Завтра воскресенье — все разъедутся. Не ехать ли и мне? Осталось только исправить шестерню и испытать ход колеса...» Шервуд то решался исполнить задуманное, то падал духом и отступал. Рано утром он пошел на мельницу.

Погода стояла знойная. Пользуясь утренней прохладой, к реке на мельницу пришли купаться каменские гости. Степенный говор прерывался изредка шутками. Слуга разостлал ковер, положил мыло и простыни, поставил тазы с водой и ушел. Шервуд, припиливая стержень шестерни, сидел в мельнице у окна. Ему было видно, как пришли гости, как они расселись на ковре и по траве и стали раздеваться. Кто-то приятным голосом запел французскую песню. «Марсельеза!» — с дрожью подумал Шервуд, услышав знакомый по Москве напев. Он следил за купающимися. Мишель с размаха бросился в реку. За ним медленно сошел к воде плечистый, с полосой загара вокруг шеи Пестель. Сергей Муравьев-Апостол сидел на обрыве берега, щуря против солнца усталые добрые глаза. Его красивое полное лицо, с прямым носом, улыбалось.

— Tiens, cher ami, — сказал Муравьев Пестелю. — Как загорела твоя шея...

— Точно ожерелье! — проговорил, плеская себе водой на грудь и бока, Поджио.

— Типун вам на язык, — добродушно усмехнулся всегда чопорно сдержанный Пестель.

«Петля!» — пронеслось в голове Шервуда. Он видел, как довольный теплой погодой и купанием Пестель с удовольствием ступил в воду.

— Странно, — сказал Пестель, собираясь погрузиться в реку с головой. — Я всегда думал одно, как бы не утонуть... не плаваю...

— Наше не тонет и не горит, — произнес Поджио, оттолкнувшись от берега и плывя на спине. — Мужество и стойкость, не правда ли, наш девиз?..

— А слышали о новом женском подвиге? — отозвался Лихарев, покачиваясь на мельничном шлюзе и оттуда собираясь вниз головой броситься в реку.

— Нет, не слыхали.

— Девица Куракина, увлекшись в Москве католицизмом, в доказательство преданности к новой вере сожгла себе палец в камине...

— Мишель, это по твоей части! Любовь... Жених! — крикнул, ныряя, веселый Поджио. Все засмеялись.

— Как это у Шеридана о женщинах? — спросил Муравьев Давыдова. — Твой отец перевел его «Облака»...

— И... «Школу злословия», — тонко прибавил в защиту друга Муравьев.

«Шутите, шутите!» — думал у окна мельницы Шервуд.

К реке в это время подошел только что подъехавший из другого имения старший Давыдов.

— Вот они, республиканцы! Здравствуйте! — сказал он, дружески кланяясь и присаживаясь на берегу.

Часть купающихся уже одевалась.

— Что нового? — спросил Поджио.

— Это у вас спрашивать, вы перестроители судеб.

— Какое! Мы военные!

— Хороши воины... Ну, да не вмешиваюсь, — пробурчал Александр Львович, — а не умолчу, побьют вас за прожекты ваши же Фильки да Ваньки.

— Что же, однако, нового? — спросил брата младший Давыдов. — Ты писал, что думаешь быть в Киеве?

— Ну, был... Скука, жара и отвратительно кормят.

— Не по кулинарной части... Был же у кого-нибудь?

— А вот что, — вспомнил Александр Львович. — Это касается вас: ожидаемые смотры на юге отменены.

— Почему? Какая причина? — заговорили слушатели.

— Государыня нездорова; ей предписано ехать в Таганрог. Государь располагает ее провожать.

— А правда ли, — спросил Мишель, — что столицу из-за прошлогоднего наводнения в Петербурге думают обратно перенести в Москву?

— Давно бы пора, — заметил Лихарев.

— И это говорите вы? — обратился к нему Александр Львович. — Да Москва глушь, спячка, орда! Ни дышать, ни есть, ни жить... Ох, вы, простите, Сен-Жюсты да Демулены, — кряхтя прибавил он, вставая и идя за первыми одевшимися. — Вы дети, не практики... Ну, хоть бы эти

толки об émancipatoin... Все это, говорю откровенно, вздор! Вы подзадориваете из моды друг друга и преждевременными задираниями только мешаете жить остальным. Служи я да поставь меня начальство с полком против вас, я бы вам показал...

Часть купающихся ушла. Шервуд опять услышал голоса. У шлюза замедлились Пестель и Муравьев.

— Да! Я все думаю, — сказал Пестель. — Такая разноголосица... Уж не открыть ли всего государю?.. Право, он один в силе... Ему бы все наше передать...

«Так вот что! — сказал с дрожью себе Шервуд. — Нет, опоздали... Я вас предупрежу!» Купание кончилось. Река опустела. «Завтра сдам работу и уеду!» — решил Шервуд.

Он обедал в тот день в своем флигеле, медленно доедая ломоть бараньей грудинки, принесенной из кухни дворецкого, когда к нему вошел офицер. То был Мишель.

— Извините, — сказал вошедший, — вы опытный механик: не можете ли починить это?

Он подал Шервуду золотой тельный крестик.

— У нас, видите ли, в штабе нет мастеров... Жалкое местечко... А это для меня дорого, отпаялось ушко.

Шервуд отер влажные, жирные губы и поднял глаза на офицера.

— Крест, — проговорил он, в раздумье поворачивая поданную вещь.

— Да, память, благословение... Моей maman, — несмело пояснил офицер.

— Помилуйте, ваше благородие, — злобно нахмурился Шервуд, — разве я золотых дел мастер? У меня ни припая, ни инструментов для того...

— Но вы Самойлычу исправляли кольцо, мамзель Адели серьги.

— У вас... матушка? — спросил Шервуд.

— Да... И я ее так люблю, — с счастливой улыбкой и искренно произнес Мишель.

Шервуд задумался. В его мыслях мелькнуло его открытие и все, что он так ловко подслушал и записал, в том числе и об этом юноше, смело поднимавшем палец за пальцем при счете намечаемых жертв. Ему вспомнилось и утреннее купание у мельницы, статные, спокойные и красивые тела, «Марсельеза» и шутка о загорелой шее. Он бессознательно продолжал рассматривать крестик. Что ожидало стоявшего перед ним юношу и всех этих, по-видимому, беспечных и смелых, сильных духом и веривших в свою звезду? «У него мать, — подумал Шервуд, — а у меня невеста... да и он, кажется, жених... от одного шага, слова...»

Злобный огонь сверкнул в глазах Шервуда.

— Извините, ваше благородие, — сказал он нехотя, как бы еще пережевывая недоеденный вкусный кусок. — Я не ювелир, но для вас, как могу, смастерю... Принесу вечером...

— О, я вам буду очень благодарен! — сказал Мишель. — Вы истинный джентльмен... По-русски, это гражданин... Вашу руку, гражданин Шервуд.

И он горячо пожал мозолистую руку Шервуда, счастливый всем: и утренним купанием, и тем, как он смело «поробеспьеровски» говорил в ту ночь на заседании, до того смело, что Поджио ему сказал: «Вы — Марат!» — и тем, наконец, что он скоро будет в Ракитном, где жила его невеста Зина и где в конце августа, в день рождения ее матери, был назначен бал с охотой на волков и диких коз.

Гости из Каменки вечером разъехались. Утром следующего дня уехал и Шервуд, щедро награжденный за исправление мельницы.

Полковник Гревс, получив благодарность Давыдова за Шервуда, дал последнему поручение к своему брату, в Вознесенск, оттуда ловкий на все руки техник был приглашен для осмотра овечьих заводов и стад к соседнему помещику,

Булгари. Шервуд взглянул в свой список: Булгари был туда занесен в числе членов союза.

Из Вознесенска Шервуду в конце июля было предложено съездить по делу в Харьковскую губернию, в ахтырское поместье родных жены Гревса. В Ахтырке он, по поручению Булгари, отыскал офицера Вадковского. Взглянув в свой список, он убедился, что и Вадковский также был членом тайного общества. Он его нашел у кого-то на крестинах.

Булгари в свиданиях с Шервудом не проговорился ни в чем. Намеки на Каменку, на общее дело и на общих будто бы товарищей даже заставили осторожного Булгари в письме к Вадковскому, через Шервуда, прибавить оговорку: «Берегись этого человека — подозрителен; выдает себя за нашего члена, но кем и где принят, не знаю». Шервуд в дороге вскрыл это письмо, прочел его и опять ловко подпечатал.

Подвижной и нервный, как женщина, Федор Федорович Вадковский воспитывался в пансионе при Московском университете, служил в кавалергардах и теперь был сослан, за какую-то вольную песню, в Нежинский полк, стоявший в Ахтырке. Прочтя письмо, привезенное Шервудом, он сделал доставителю несколько быстрых, веселых вопросов, предложил запросто позавтракать к себе и, разговорившись за угощением, улыбнулся.

«Экие трусы! — подумал он, — Своей тени боятся... А это такой милый, дельный человек...»

— Оставим друг друга обманывать, — сказал он вдруг, протянув гостю от всего сердца руку. — Вижу, мы союзники. Будем братьями общего дела.

Вадковский и Шервуд чокнулись рюмками.

— Что нового в Каменке? — спросил Вадковский. — Что предпринимают дорогие товарищи и наш новый, смелый Вашингтон?

— Вашингтон? — проговорил гость. — Ошибаетесь. Пестель метит в Кромвели, в Наполеоны.

— Ой ли?

Гость засыпал анекдотами. Чего он только по этой части не знал, а еще более не придумал. Чувствительный, смешливый и простодушный Вадковский, встретив в богомольной и скучной ахтырской глуши собрата по общему делу, был вне себя от радости. Выпили шампанского. Говорили долго, несколько часов, и еще выпили. С анекдотов перешли к важной стороне дела. Перебирали последние тревожные вести, общее недовольство, слухи о предстоящих переменах к худшему.

— И все Аракчеев! Все он! — твердил, охмелев, в искреннем негодовании, быстроглазый, миловидный и с черным распомаженным и завитым в колечко хохолком Вадковский.

— И нет кары на этого злого, жадного и ядовитого паука! — поддакнул, с английским ругательством, Шервуд.

— Найдется! И скоро! — многозначительно качнув головой, проговорил Вадковский. — Здесь, в Ахтырке, скажу вам, нам не сочувствуют; все спит и даже враждебно смотрят на нас... Но мы им предпишем, их вразумим!

Еще перекинулись словами.

— Я вижу, дорогой товарищ, — сказал, пошатываясь, Вадковский. — Вы не знаете всех наших членов... Я вас удивлю... Таков мой нрав... Я вас принимаю в бояре, и в знак моего к вам доверия извольте... Готов вам сообщить даже список всего нашего союза...

— Очень благодарен... Позволите списать? Я возвращу его через час.

— Сделайте одолжение, — ответил Вадковский, окончательно забыв предостережение Булгари. — Долго ли пробудете в Ахтырке?

— Надо покончить порученное дело; еду сегодня.

Список был в тот же день возвращен Вадковскому.

На обратном пути в полк Шервуд остановился ночевать в Богодухове, заперся на постоялом дворе и стал что-то писать. Он писал всю ночь, разрывая в клочки бумагу, ходя

по комнате и опять садясь к столу. На другой день отсюда отходила почта в Харьков и далее на север. Шервуд утром написанное запечатал в большой форменный пакет, сунул его на грудь под мундир, застегнулся, сжег черновые наброски и пошел на почту.

Это было в половине августа.

День стоял сухой, с знойным ветром. Пыль носилась клубами по улицам бедного, соломой крытого городка, разбросанного по песчаным болотам и буграм. Истомленный тряской на перекладной и бессонной ночью, проголодавшийся и мучимый сомнениями, Шервуд сумрачно шагал вдоль пустынных заборов. Усталые ноги, в побуревших, жавших сапогах, вязли в песке. Улицы были пусты. Свиньи хрюкали из грязных луж, пересекавших дворы и улицы. Полунагие и грязные ребятишки валялись под воротами, швыряя в прохожего комками навоза. Шервуд остановился, прикрикнул, даже погнался было за оборванным шершавым мальчуганом. У кабака он встретил пьяного седого мещанина, шедшего под руку с пьяной бабой и оравшего песню на всю улицу. «И этим гражданам они затеяли свободу, права!» — трясясь от злости, подумал Шервуд, отирая потное лицо. Он побрел до почтовой конторы, у которой уже стояла телега, запряженная тройкой исхудалых кляч. Толстый и заспанный почтмейстер принял поданный ему пакет. Прочтя на нем надпись, он удивленно поднял глаза на Шервуда.

— Это ваше? — спросил он, вертя в руках пакет.

— Так точно... прошение о пособии, заболел дорогою...

Почтмейстер вынул табакерку, опять взглянул на подателя, понюхал табаку, со вздохом приложил к пакету печать и бросил его в почтовую сумку.

Шервуд вышел и стал на соседнем перекрестке. Из-за забора он видел, как вынесли сумку, как подтянутый ремнем почтальон сел, и тройка помчалась, поднимая клубы пыли. За спинку телеги ухватился и повис в изорванной рубашонке мальчик; на толчке его бросило лицом в грязь. «Не удержишь! Поделом! — усмехнулся искривленной улыбкой

Шервуд. — Те также думали остановить то грозное и им ненавистное чудовище».

На пакете была надпись: «Новгородской губернии, в село Грузино, графу Алексею Андреевичу Аракчееву, в собственные руки».

Вадковский, по отъезде Шервуда, опомнился, что погорячился и был чересчур откровенен с гостем. Он старался оправдаться в собственных мыслях: одиночество, скука, завтраки с возлияниями... «Экие мы ребята, право!.. Понравился, и я принял его в общество, — рассуждал он, — Меня увлек его характер вообще английский — непоколебимый и полный чести (imbu d'honneur, — досказал он себе по-французски). Он с виду холоден, но исполнен горячей преданности и способен оказать важные услуги нашему семейству. Если я преступил свои права, пусть их отнимут у меня, так им и напишу, но пусть их отдадут для пользы дела Шервуду».

В то время, когда из Богодухова было послано письмо Шервуда Аракчееву, Пестель с Сергеем Муравьевым-Апостолом возвращался с последнего в то лето съезда из Каменки. Оба они были скучны. Легкая венская коляска Пестеля мягко катилась по зеленым полям. Сытая четверня полковых саврасок бежала бодро. Бубенчики приятно позванивали.

— Как твои стихи? — задумчиво спросил товарища Пестель. — Ну те, что ты, помнишь, написал в Каменке? Скажи еще раз; я так их люблю...

Неразговорчивый и робкий, нежный нравом Сергей Иванович Муравьев помедлил, слегка покраснел и негромко, с чувством прочел желаемое шестистишие:

Je passerai sur cette terre,
Toujours rêveur et solitaire,
Sans que personne m'ait connu
Ce n'est qu'à la fin de ma carrière
Que par un grand trait de lumière
On verra ce qu'on a perdu...

— Превосходно и верно! — сказал Пестель. — Это напоминает Ламартина... Ты в душе поэт... Верно выразился... Все мы одинокие, неизвестные миру мечтатели, и только потомство нам произнесет верный суд...

Путники некоторое время проехали молча. Солнце клонилось к закату. Душистая вечерняя мгла понемногу застилала желтеющие украинские степи. Бесчисленные кузнечики стрекотали в траве, заглушая бубенчики лошадей.

Пестель сообщил, что, в бытность в Петербурге, он навестил сочлена по союзу Анненкова, который собирается жениться на красавице Жюстине.

— Ты не поверишь, как счастливы эти голубки! — сказал Пестель. — Глядя на них, я мыслил: когда же кончатся наши бури?

Муравьев, слушая товарища, задумался о сватовстве Мишеля. Его сердце невольно сжималось при мысли: угадывает ли возлюбленная этого горячего и безрассудно смелого мальчика, принятого им в члены и, наконец, в бояре, какая судьба может его ждать и ему грозить?

— Знаешь ли, я думаю, — вдруг сказал, как всегда, по-французски, Пестель, — пожалуй, хорошо, что решили оставить эти безумные попытки в лагерях, под Белой Церковью и Бобруйском... Эти военные заявления... Преторианство! Ох, не нравится все это мне... Как бы не напортили нетерпеливые, особенно в Петербурге...

Муравьев с удивлением взглянул на спутника.

— Слушай, — продолжал более оживленно Пестель, высовываясь из коляски и как бы ища свежего воздуха, простора. — Я страстно любил и люблю отечество и всегда горячо желал ему счастья. Если бы мирно удались наши предположения, если бы мирно... О! Клянусь, я хоть не православный, удалился бы в Киевскую лавру и кончил бы жизнь, с благодарностью Богу, монахом. Меня подозревают в честолюбивых, суровых замыслах. Говорят, что я против демократа Сперанского и за олигарха Мордвинова! Партии!.. Дайте нам только свободу мнений и речи — не будет ни

Аракчеева, ни других своекорыстных, темных сил, будет одна неподкупная и всем ясная истина. Ты, мой друг, лучше других знаешь, что во всех моих увлечениях и подчас не в меру горячих словах всему виной наша горькая, тяжкая доля. Клянусь, мое сердце не участвовало в том, что порою творила голова.

Муравьев горячо пожал руку товарища.

— Я всегда был против твоих врагов, — сказал он голосом, в котором дрожали слезы, — ты не из тех слабосердых, оставивших нас, что между тем предлагали устройство тайных типографий и выпуск фальшивых денег. Ты всегда ясно определял цель и шел к ней прямо.

— От меня, как слышу, — произнес Пестель, — некоторые наши хотели избавиться... Знаешь ли? Тебе одному откроюсь как другу... Я давно уже колеблюсь... И тебе о том намекал... Наши силы — обоюдоострый меч. Выскочат, прорвутся нетерпеливые, и наши мирные цели погибли... Во мне зреет иное, высшее убеждение... Прав Николай Тургенев. Он пишет мне: ничто все наши усилия перед вопросом освобождения крестьян; с него надо начать, в нем спасение...

— В чем же ты колеблешься? — спросил Муравьев, удивленный необычайною откровенностью и волнением товарища.

— Не поехать ли прямо к государю? — проговорил и замолчал Пестель. — Не сознаться ли ему во всем, объявив, что мы покидаем свои замыслы и отдаем наши труды и цели на его суд? Кто сильнее его? Он один в силах, никто более его... А его ум и доброта... Ты не веришь, думаешь, что я боюсь измены, гибели? Смерть приму с радостью, с наслаждением. Меня пугает иное: не дерзко ли, выходя из прямых, положительных прав, так искушать Провидение?

Муравьев не отвечал. Слова председателя союза подавили его, потрясли.

— Надо подумать, — сказал он. — Час добрый! Вопрос очень важный... Только, ты слышал, государь едет в Таганрог и смотров не примет. Где его увидишь?

— Не удадутся наши стремления — нас обвинит, предаст и проклянет тот же общественный суд, будут возмездия — скажут, вы отбросили общество вглубь, во времена Анны, а то и далее... Отпрошусь в Таганрог, поеду туда и все передам государю; он спасет наши труды.

Коляска мчалась так же плавно. Трещали кузнечики, гремели бубенцы. Вечер надвигался на темневшие окрестности. На одном повороте выглянула и опять скрылась Каменка.

Ответ Аракчеева последовал скоро. В Богодухов прискакал фельдъегерь, нашел в указанном месте Шервуда и в несколько дней домчал его в Грузино.

1881 г.

II

ШЕРВУД У АРАКЧЕЕВА

Донос Шервуда об открытии тайного «Союза благоденствия» — будущих декабристов — сильно взволновал графа Аракчеева.

Посланный за доносчиком фельдъегерский поручик Ланг без отдыха, на курьерских, домчал его из Богодухова в Грузино на третий день.

Аракчеев с нетерпением поглядывал в окна, ожидая смельчака — уланского унтер-офицера, написавшего графу, что им открыт и выслежен важный и несомненный против правительства заговор.

Молчавший и пивший всю дорогу, огромного роста, мрачный, с деревянным белобрысым лицом фельдъегерь, за-

видев Грузино, оживился. Толкнув локтем Шервуда, он к нему нагнулся и что-то ему сказал вполголоса.

— Не слышу, — сердито отозвался Шервуд.

— Шкапчик-капканчик, шкатулочка с секретом, — проговорил еще тише Ланг, указывая с холма на открывшиеся верхи графской усадьбы.

— Какой шкапчик?.. Что врете?

— Поселенский Могол, — продолжал поручик, самодовольно осклабляя курносое, в веснушках лицо. — Силища! Готовься, братец, пропишет...

— Дурак! — презрительно фыркнул Шервуд, не стеснявшийся с пьяным, нечистым на руку провожатым. — Выпытывает!.. Сам берегись...

Фельдъегерь крякнул, подтянулся и стал глядеть вдаль.

Тройка мчалась широкой лесной просекой. Прогремел длинный, высокий мост. Далеко раскидывались луга, за ними — река Волхов. Длинным, правильным фронтом потянулись конченные и начатые разнообразные постройки.

Везде копошились землекопы, каменщики, кровельщики, стучали топоры. Всюду были заметны непомерный порядок и чистота. Над каждым зданием, над казармой, амбаром, даже ничтожным хлевушком, красовались надписи и номера. Все лоснилось новой, в большинстве желтой либо серой краской. Березы и липы вдоль дороги были подстрижены; они, как и строения, стояли также навытяжку, в ранжир.

Завидев двор и церковь, фельдъегерь опять нагнулся к Шервуду. Он ему указал на небольшой флигель, обок с главным домом.

— Графская душенька, Настасья Федоровна, — проговорил он. — Прими к сведению, если обратит око, с дороги-то какие наливки, пироги... Баба здоровенная, всему командир.

«Экая дрянь, болтун! — подумал Шервуд, нервно содрогаясь от нечеловеческой усталости и всяких дорожных дрязг. — Проклятая деревяшка! Когда разговорился... Мелет вздор...» Было раннее утро. На улице, кое-где на звон

колокольчика и гром телеги выглядывали сонные, испуганные лица. За решеткой по двору шагал обходный рунд. У главного подъезда шла смена часовых.

Телега подскочила к крыльцу, на фронтоне которого красовалась бронзовая надпись: «Без лести предан».

— Прощай, Иван Иваныч, не поминай лихом, — сказал дружески тепло фельдъегерь, ссаживая Шервуда и подавая ему чемоданчик его и шинель.

Он ввел привезенного в дом и сдал дежурному адъютанту. В ту же минуту из графского кабинета послышался звонок.

— Ждал, увидел в окно, — прошептал, робко озираясь, фельдъегерь.

— За мной! — сказал Шервуду адъютант. — Не робей... Прибыл в срок...

«Не робей! Да нечего и трусить! — подумал Шервуд, осиливая подступавшую дрожь. — Еще посмотрим, кому кланяться и кого просить...»

Ощупав боковой карман кителя, он по пути глянул в зеркало, обтянул измятые, запачканные грязью фалды, оправил волосы и смело шагнул из коридора в полуотворенную невысокую дверь, у которой на лавочке, с чулком в руках, сидела какая-то немолодая, но еще красивая женщина.

За дверью стояла ширма, за ширмой стол. У стола сидел сгорбленный, коротко остриженный человек.

Шервуд стоял у порога навытяжку, руки по швам. Перед ним был граф Аракчеев...

Сутуловатый, среднего роста, в солдатской, нараспашку, серой куртке поверх артиллерийского мундира, граф сидел над кучей бумаг, не удостоив взглядом вошедшего. На его груди висел, осыпанный брильянтами, портрет государя Александра I. Прошло несколько минут молчания.

Шервуд успел разглядеть густую щетку темных волос Аракчеева, жирными толстыми змейками падавших на его виски, и низкий, тупой лоб, разглядел его длинный красноватый, в виде груши, нос, твердый, точно каменный, подбо-

родок и плотно сжатые, крупные, до глянца выбритые губы. На столе лежали фуражка и трость. Граф, очевидно, только что возвратился с прогулки.

Медленно сложив прочтенную бумагу, он поднял на Шервуда небольшие, холодные и странно мутные глаза.

«Вылитый старый писарь-кантонист!» — шевельнулось в уме Шервуда.

— Ты донес об открытии какого-то тайного общества? — послышался негромкий гнусливый голос. — Заговор против правительства? Так ли?

— Точно так, ваше сиятельство! — отчетливо и громко ответил Шервуд.

— Понимаешь ли, на какое важное дело ты отважился? — еще тише и более в нос спросил граф. — И знаешь ли, чему подвергаются за лживый извет?

— Понимаю и знаю.

— Ведь доносчику, слышишь ли, первый кнут... Коли не докажешь, не пощадят... Сообразил?

Граф поднял тонкий костлявый палец.

— По долгу присяги, ваше сиятельство, все взвешено наперед.

— То-то... Все вы по долгу... Легко и врать... А можешь ли доказать свои слова; подойди ближе... Что стоишь, как пень?

Шервуд, вытягиваясь в струну и подбираясь, молодецки ступил от ширмы и, как вкопанный, стал у стола, глаза на графа, руки по швам.

— Ну, теперь говори, — произнес Аракчеев. — есть доказательства, свидетели, улики?

— Есть, — ответил Шервуд.

Аракчеев молча на него посмотрел.

— Где и как ты узнал?

— В армии графа Витта, в Киевской губернии, — проговорил Шервуд, — открытое мною общество распространено по всей России... В Киеве, Москве, в Петербурге, везде, смею доложить, есть важные, сильные лица.

— Ой ли? — насупился граф.

— Так точно... Все открыто случайно, по Божеской милости... И я могу не токмо словесно, письменно подтвердить...

— Давай доказательства, — произнес Аракчеев, похлопывая пальцами одной руки по пальцам другой, — увидим, из кого состоят эти важные лица... Ну, называй...

— Не могу, ваше сиятельство, — почтительно ответил Шервуд, глядя на графа.

— Как не можешь? — даже привскочил Аракчеев.

— Не в праве... Могу все доложить токмо одному государю, и то лично.

Аракчееву показалось, что он ослышался.

— Как ты сказал? Государю?.. Повтори...

— Точно так.

— Да ты, да мне... — начал Аракчеев.

Недосказанные слова замерли в его горле, щеки дрогнули, глаза изумленно и растерянно забегали по сторонам.

— Только его величеству, ему одному! — решительно и твердо проговорил Шервуд.

— Но разве ты, скотина, не знаешь, кто я? — заревел, вскакивая, трясясь и грозя кулаками, Аракчеев. — Как, негодяй? Ты не знаешь, что я в особом, отменном доверии монарха? Что нет другого... Слышишь ли? Нет и быть не может... И что мне открыты все тайны государства, весь ход!

— Знаю, ваше графское сиятельство, — не понижая голоса и еще более вытягиваясь, ответил Шервуд, — всем ведомо... Как не знать!

— Так говори же, дубинище, болван, говори! — кричал граф, комкая в руке какую-то схваченную бумагу и стуча кулаком по столу.

— Убейте, не могу...

Аракчеев вырвался из-за стола, подскочил к носу Шервуда и с трясущимся, искривленным ртом уставился на него мутными, точно мертвыми глазами.

Шервуд молчал.

— Не скажешь? — прохрипел граф, хватая его за горло. — Арестант! Арестантом будешь... В кандалы, в тюрьму... В Сибирь...

«Шалишь, — подумал Шервуд, сжимаемый твердыми пальцами взбешенного старика, — не поддамся... Ты арестант, и вид у тебя арестантский! Не я, вы у меня накланяетесь... Вся судьба на карте... Чего захотел!..»

Злоба кипела в душе Шервуда; но он не произнес ни слова, смело и нагло глядя на изуродованное гневом, покрывшееся багровыми пятнами лицо графа.

Аракчеев его выпустил, отошел пыхтя в глубь комнаты и, будто пристально глядя куда-то, молча припал лицом к окну.

— Из вольноопределяющихся? — спросил граф, не оборачиваясь и раздумывая. — Вот отчаянный, чем его осилить?

— Так точно, — ответил Шервуд.

— Что же сразу не сказал... А?.. Хотел подвести?

— Никак нет... Не изволили спрашивать.

Аракчеев обернулся, ткнул ногой стул и сел у окна. «У Витта все они таковы!» — пронеслось у него в мыслях.

— Садись! — произнес он, указывая против себя на другой стул.

Шервуд медлил.

— Садись! — повелительно крикнул граф.

Шервуд размеренным, фронтовым шагом приблизился, вежливо постоял на месте и сел.

— Извините, сударь! — заговорил граф, с своей стороны усиливаясь быть не только вежливым, но и ласковым. — Не предусмотрел, ваша милость... Прозевал...

Грозное выражение лика Аракчеева исчезло, а его голос напоминал виноватое ворчание загнанного в конуру, напроказившего, злого цепного пса.

— Родители? Прошлое? — спросил он. — Удостойте доложить.

Шервуд ответил.

— Так-с... Дворянин... Захотелось отлички... Впрочем, уважаю! — проговорил граф, медвежьи неуклюже раскланиваясь со стула. — Лямка приелась, понятно... Ремешок мозоли натер...

Сердито сопя носом, он опять похлопал пальцами по пальцам.

Шервуд молчал.

— Так осчастливьте, что знаете, для доклада государю! — проговорил еще ласковее граф.

— Не могу, ваше сиятельство, казните — не могу! — ответил, вставая, Шервуд.

— Как ты смел без приказа встать? — закричал Аракчеев. — Ослушание нижнего чина? Бунт?

— Нижний чин, сидя, не смеет ответствовать начальнику.

— Да садись же, скотина... Садись, коль приказывают.

Глаза Шервуда сверкнули. Поборая прилив злобы, кипевшей в его груди, он, со сжатыми кулаками, опять присел на кончик стула.

«Зверь, лютый зверь, — пробегало в его мыслях, — прихлопнуть, мокренько бы стало. Не то сотрет, проглотит, как муху... Нет, черт, терпел, еще подожду! Сдамся, все выпытают, дороются, и я останусь в том же ничтожестве, в тени».

Аракчеев прокашлялся.

— Так вы, сударь, затрудняетесь, — спросил он, — иному поведать государеву тайну?

— Так точно-с.

— Резон, сознаюсь... Где подначальному, хоть и преданному рабу, ревновать царевым правам?

Аракчеев помолчал.

— Постой, однако, какой нынче у нас день? — произнес он. — Да, тринадцатое число... Чертова дюжина... Эк в какой день изволил пожаловать, нехорошо. Ну, да, впрочем,

ладно... Ступай, пообедай, чай, проголодался, и будь готов. Можешь теперь встать.

Шервуд поднялся.

— Уж так и быть, предоставлю тебе случай видеть государя, — объявил Аракчеев. — Только, молодец, берегись: при мне будет свидание... Посмотрю, что ты там станешь говорить.

Кивком головы он указал гостю, что тот может удалиться.

Шервуд сделал налево кругом и тем же петушьим, размеренным шагом, вывертывая колени и вытягивая носки, двинулся к ширме.

За дверью его принял и провел в особую комнату дежурный лакей. Здесь уже был накрыт стол.

Шервуд принялся за миску с борщом, жареную рыбу и подовые пироги. Голод, возбужденный трехсуточной ездой и объяснением с графом, был утолен. Пот валил с раскрасневшегося лица Ивана Ивановича.

Запивая яства холодным мятным квасом, он услышал стук подъехавшего рессорного экипажа.

За окнами шла какая-то суета. Мелькнула казацкая пика, послышался барабанный бой, прискакал, в высоком уланском кивере, ординарец. Кто-то крикнул: «Трогай». Карета, шестерней коренастых вороно-пегих, с кучером в солдатской шинели, быстро пронеслась у окон к воротам.

Шервуд услышал скрип двери в соседнюю комнату. Он оглянулся. На пороге стояла, виденная им в коридоре, лет под сорок, статная женщина, в белом чепце и в таком же переднике. Ее большие черные строгие глаза заботливо оглядывали стол, непринятые кушанья и гостя.

«Графская фаворитка, Настасья Шумская! — подумал Шервуд. — Вот она грозная поселенская Бобелина».

— Покушал ли, батюшка, вдоволь? — спросила Настасья Федоровна, переставляя посуду.

— Покорнейше благодарствую, — ответил, кланяясь, Шервуд.

Шумская присела у стола.

— Что это на тебя он так-то кричал? Чем его прогневил? — спросила она, оглядываясь.

— На то их графская воля, — смиренно ответил, утираясь, Шервуд. — Веник в бане — всему господин.

— Так, так, — проговорила Шумская, недоверчиво поглядывая на гостя. — Молод, а знаешь пословицы... На узде и лошадь умна; с горки, милый, виднее... А что, скажи, за дело ты открыл?.. Мне можно, не выдам...

«Черт баба, все знает, — подумал Шервуд, — допытала и такую тайну...»

— Худое, сударыня, дело, — сказал он.

— Бунт, заговор?

Шервуд кивнул головой.

— Есть и большие господа, генералы? — спросила, понижая голос, Шумская.

— Первые, можно сказать, люди.

— И графу грозят? Опасно ему?

— Не могу, матушка... Избавьте, дал зарок...

— Да ведь все же открыто.

— То-то, что не все.

Шумская задвигалась на стуле. Ее щеки покрылись румянцем, нос странно побелел. В руках она мяла платок.

— Скажи, голубчик, век не забуду, — проговорила она, всхлипывая. — Опасно графу? Не таи...

Шервуд, пошевеливая носком сапога, злорадно молчал.

— Да что же это? Ведь живодерам завидна наша доля, — растерянно шептала Настасья. — Роются изверги, готовы разорвать, живых в гроб уложить... Не сдается он, смел — да к добру ли? Объясни, родной; спрячу, увезу графа в верное место, а тебя озолотим...

Она схватила Шервуда за руку, повторяя: «Скажи, милый, скажи...»

За дверью послышались бряцанье сабли и звон шпор.

Шумская торопливо встала.

— Подумай, батюшка, уважь! — прошептала она, уходя. — Не токма кому, графу не скажу...

«Кланяются, чуют свой конец, — подумал он ей во след, — а те силы, их жизнь и смерть... в моей воле».

Вошел новый, черномазый, с бакенбардами и еще более рослый фельдъегерь.

— Граф изволил отправиться в Петербург, — пробасил он, неся под мышкой кивер и натягивая перчатки. — Лошади, пожалуйте, готовы и для вас...

— Могу ли умыться, переменить белье? — спросил Шервуд.

Фельдъегерь удивленно глянул на него через губу, покрутил плечом.

— Не велено! — сказал он. — Нет приказа.

— Да чемоданчик тут, мигом переменю.

— Ни секунды...

Шервуд двинулся. В конце коридора отворилась дверь.

— Нет уж, батюшка, извини, дозволь ему хоть глаза промыть! — сказала фельдъегерю Шумская, останавливая Шервуда. — Грязищи на нем с пуд.

— Иди, иди, — толкала она гостя в какую-то боковушку. — Не убудет его, подождет. Танька, Пашка, кто тут?

Вбежала испуганная девушка Паша, без косы.

— Умываться, подлая, живо! — крикнула Шумская.

Паша принесла рукомойник и полотенце.

— Слей ему, да что хнычешь, идол! — шепнула, уходя, Настасья.

Шервуд скинул китель, подставил руки.

— Что плачете? — спросил он, взглянув на миловидное, в синяках, личико девушки.

Та молчала, только ее плечи подергивало.

— Обижают? — спросил Шервуд.

— Нашенское житье, что-с? — произнесла девушка. — Лещу на сковороде легче; либо себе, либо иному кому нож...

Опять вошла Шумская.

— Это тебе на дорогу, — сказала она, тыкая Шервуду узелок с съестным, — а уж насчет того... Отец родной, спаси, помоги.

Настасья низко кланялась.

У крыльца стояла запряженная телега. Чемодан и шинель Шервуда уже лежали на ней. Он и фельдъегерь сели. Тройка с места понеслась вскачь.

Едучи опять фронтом раскрашенных, с надписями и номерами зданий, Шервуд невольно вспомнил только что виденную, плачущую, в синяках, с остриженной косой девушку. Он вспомнил о ней и впоследствии, когда разнеслась страшная весть о насильственной смерти Шумской.

К вечеру того же дня, ругаясь, грозя и бешено гоня ямщиков, фельдъегерь довез Шервуда в Петербург, прямо на Литейную, к дому Аракчеева. Здесь привезенного заперли в большой освещенной зале. Его даже не спросили, хочет ли он есть, да ему было не до того; узелок Настасьи он бросил в передней.

Прислушиваясь к гулу и грохоту затихавшей столичной езды и к дребезжанию хрустальных подвесок в висящей зальной люстре, Шервуд мрачно шагал из угла в угол по зеркальному паркету. Жар и холод пробегали по его телу. Жгучие до боли, себялюбивые, гордые мысли о близком счастье, о достижении намеченной цели роились, путались в его воспаленной голове, сменяясь раздумьем о возможности потерпеть поражение, неуспех.

«Члены тайного, громкого «Союза благоденствия», столпы затеянного переустройства страны, — рассуждал он, — и я, ничтожный, никому не ведомый, жалкий унтер-офицер... Они упорно, во мраке трудились, созидали, надеялись, верили, клали в дело всю душу... А я подошел... Тронул — и все рухнет, пойдет ко дну... Вместо Пестелей, Бестужевых, Волконских, Трубецких и иных останется тот же батюшка Аракчей, да пожиже влей...»

Шервуд не выдержал и в полутемной, казарменно пустынной зале, точно сорвавшись, злобно вполголоса захохотал.

Он приметил неуклюжий изразцовый камин, с протянутой головатой трубой, в конце залы. «Тот же арестант-писарь, тот же Аракчей! — подумал он, — И распахнутые дверцы... Точно его куртка». Фронтом расставленные жиденькие стулья и ломберные столики напоминали длинную грузинскую улицу; клетка с какой-то птицей — плачущую Пашу.

«Э, черт! Лес рубят, щепки летят... — сказал он себе, сердито отплевывая из пересохшего горла липкую, досадную слюну. — Хорош выбор — острог или воля, плеть или отличия... Разумеется, воля, счастье... И... богатая, давно ожидающая там, вдали, невеста»...

Шервуду вспомнились смоленское поместье Ушаковых, его тамошнее учительство, кавалькады в поле, прогулки в парке, объятия, клятвы.

Где-то послышался мерный, приятно-протяжный, ласкающий бой нортоновских часов.

Шервуд вспомнил такие же часы в другой, киевской деревне Давыдовых, Каменке. Эта Каменка теперь живо ему представилась, с ее домом, роскошным южным садом, мельницей на реке Тясмине, в которой он работал, и таинственными давыдовскими субботами, в одну из которых он подслушал совещания членов «Союза благоденствия».

Было за полночь. Шервуд ходил по зале.

«И через час, может быть, ближе, через минуту, — мыслил он, — я, никому не известный, с своим открытием, последний нижний чин, предстану перед лицом могущественного в мире монарха... Ужели это сбудется, не сон?..»

Замок в двери тихо щелкнул. Дверь отворилась. Вошел щеголеватый, молодой, перетянутый рюмочкой генерал, с тоненькими и белокурыми от ушей ко рту, в виде ленточек, бакенбардами. То был бессменный адъютант графа, начальник его штаба, Петр Андреевич Клейнмихель.

Ступая мягко, с особым гвардейским перевальцем, и распространяя вокруг себя запах модных духов, Петр Андреич остановился среди залы.

— Шервуд? — спросил он в нос, подражая своему принципалу.

— Так точно, ваше превосходительство.

Клейнмихель смерил глазами диковинного человека, который так понадобился графу.

— За мной... Во дворец! — объявил Клейнмихель.

Шервуд бессознательно двинулся вперед.

В передней кто-то ему накинул на плечи шинель и подал его солдатскую фуражку. Клейнмихель усадил его с собою в карету.

Стекла задребезжали... Карета понеслась по набережной Невы, в Зимний, кое-где еще освещенный, дворец.

— Но разве, ваше превосходительство, государь не на даче? — по пути спросил Шервуд.

— Изволил нарочно прибыть из Царского, — соткровенничал Клейнмихель, ожидая, что увозимый им проговорится о чем-либо, что не было ему известно.

Шервуд молчал.

Дверь салтыковского подъезда растворилась. Дворцовый лакей принял шинель с Клейнмихеля. Шервуд сам снял и повесил свою.

В то время, когда они стали подниматься по лестнице, с нее спускался пожилой, с большой лысиной сановник в синем фраке с золотыми пуговицами, в звезде и ленте, и рядом с ним красивый, с моложавым задумчиво-строгим лицом гвардейский полковник.

Клейнмихель, пропуская их, вежливо остановился. Они, продолжая разговор, рассеянно и сухо ему поклонились.

То были Сперанский и член открытого Шервудом тайного общества, князь Сергей Трубецкой.

1881 г.

III

В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Граф Аракчеев предупредил императора Александра Павловича о тайном обществе «Союзе благоденствия», открытом Шервудом на юге России, и доставил последнего в Петербург.

Шервуду было велено явиться в Зимний дворец. Он и его вожатый, генерал Клейнмихель, прошли ряд полуосвещенных зал дворца.

Они остановились в небольшой приемной зале, украшенной картинами из войны двенадцатого года.

Заставленная цветами, дверь налево вела во внутренние государевы покои. Ее охранял, одетый в расшитую золотом красную куртку и в тюрбан с страусовыми перьями, дежурный арап. На диване дремал добродушный, гладко выбритый, в чулках на толстых икрах и в башмаках, немец камер-лакей.

— Доложи, — вежливо шепнул по-немецки последнему Клейнмихель.

Лакей молча исчез за дверью. Едва был слышен шорох его удаляющихся беззвучных шагов. Клейнмихель, сдвинув брови и тревожно подтянув поясной шарф, не шелохнувшись, вглядывался через цветущие фуксии и гелиотропы в притворенную дверь.

В мыслях Шервуда пролетало недавнее прошлое: его учительство, невеста, мамзель Ушакова, стремление выбиться из неизвестности, отличиться. Вспомнилось ему и его подслушивание заговорщиков в Каменке, их купание у мельницы, слова Пестеля и Бестужева, его донос в Грузино и трехсуточная гоньба на фельдъегерских.

В комнате была полная тишина. На столе у зеркала лежали государева треуголка с плюмажем и его смятые замшевые перчатки. «Где же я, наконец? — подумал

Шервуд. — Неужели это — вещи государя, его собственные, жилые покои? Неужели я, после стольких усилий, испытаний, в Зимнем дворце?»

Дверная ручка, в виде спящего льва, повернулась. Дверь тихо отворилась.

— Пожалуйте, — вполголоса сказал лакей из-за цветочной заставки, указывая Шервуду дверь и пропуская его вперед себя.

Клейнмихель хотел следовать за ним; лакей отрицательно качнул ему головой. Клейнмихель, поднявшись на цыпочки, замер в почтительном смирении.

Шервуд вошел за лакеем в смежную комнату, уставленную книжными шкафами, со стеклами, задернутыми зеленой тафтой. Среди комнаты стоял бильярд. Миновав последний, лакей остановился, помедлил, как бы к чему-то прислушиваясь, взялся за ручку новой двери и, оглянувшись на Шервуда, сказал еще тише:

— Прямо ступайте... Налево у камина.

Шервуд вошел в государев кабинет.

Восковые свечи на рабочем столе и в высоких канделябрах, у зеркала, не вполне освещали высокую, увешанную портретами и оружием, комнату.

Император Александр Павлович, в расстегнутом мундире, из-под которого виднелся белый пикейный жилет, стоял вполоборота у темного мраморного погасавшего камина, облокотясь левой рукой о выступ его карниза. Вправо, с другой стороны камина, брезгливо сгорбившись и слушая государя, стояла мрачная, в наглухо застегнутом узком мундире, с большими мясистыми ушами, торчавшими над коротко остриженной головой, высокая и сутуловатая фигура Аракчеева. «Обезьяна в мундире!» — невольно подумал Шервуд, увидев большую голову графа, с длинной шеей, впалыми щеками и тусклыми, впалыми глазами, которыми граф вяло всматривался в вошедшего.

Шервуд не сразу разглядел государя. Его внимание привлекло ярко освещенное канделябром, улыбающееся, с вздер-

нутым носиком и полными щечками изображение над камином миловидной молодой женщины. «Кто она?» — подумал Шервуд. Ему вспомнились прощание с невестой, клятвы, надежды. «Любовь толкает на злодеяния, на убийства, — пронеслось в его уме, — а здесь подвиг, отличие, бессмертная услуга России, царю...»

На шорох шагов государь повернул голову в направлении к порогу.

— Подойди, — раздался ласковый, грудной, как бы женский голос.

Шервуд понял, что его зовет государь, тот государь, которого так приветствовала когда-то освобожденная Европа. Он, вытянувшись, медленным фронтовым шагом, осторожно минуя дремавшую собаку, прошел по ковру к камину.

— Ты открыл тайный заговор против правительства? — спросил государь, поднося к носу флакон со спиртом и брызгая им себе на чуть прикрытую волосами, широкую, бледную лысину. Вид государя был усталый, встревоженный.

— Точно так, ваше величество, — ответил Шервуд.

— Доказательства? Ты знаешь, так нельзя, — сказал Александр. — Дело такой важности... И я говорил графу... Голословные указания в подобном случае опасны... Ты касаешься таких вещей, армии, долга присяги... Быть не может! Не верится...

Шервуд задыхался и медлил, чувствуя, как кровь подступала к его горлу, давила его, билась в висках. Из-за камина в него впивались два круглых тусклых глаза, точно две свинцовые пули. Шервуд невольно оглянулся на Аракчеева, разглядев, как на длинной шее графа вздулись жилы и как судорожно морщился его гладко выбритый, точно отшлифованный, каменный подбородок.

«Не докажу — все кончено! Не удастся сразу убедить — пропал! — проносилось в мыслях Шервуда. — Выхода нет. О! Будь, что будет, пусть другим плаха, виселица... Мне надо счастья, жизни!»

Стоя навытяжку перед государем, в перепачканной от дороги мундирной куртке, он как-то вдруг передернулся, точно сломило его; дрожащими пальцами торопливо отстегнул пуговку на груди, с искаженным, испуганным лицом вынул из бокового кармана сплюснутый лист бумаги и протянул его государю.

— Что это? — нерешительно спросил Александр, оглядываясь на Аракчеева.

— Список заговорщиков... Все имена, вот... По губерниям и полкам, — прошептали белые губы Шервуда.

— Откуда ты получил?

— Из рук соучастника.

— Кто-нибудь раскаялся, выдал?

— Добыл хитростью, — ответил Шервуд. — Один из заговорщиков, Вадковский, доверил бумагу... Я ее тайно списал.

Александр развернул поданную бумагу, прочел первые ее строки и невольно отвел от них глаза; в списке мелькали имена крупных чинов: генерал-интендант, начальник штаба армии, командиры эскадронов, дивизионов, полков, обер-прокурор сената, Муравьевы, Пестель, князь Волконский, князь Трубецкой.

— Бог мой! Какие открытия! — произнес с содроганием Александр, обращая к Аракчееву покрывшееся багровыми пятнами, встревоженное лицо. — Алексей Андреич, читай! Ты и не ожидаешь, что здесь написано, кто назван... Думали ли мы дожить до такого позора, измены — и где же? Среди первых, ближних защитников.

Аракчеев, поднеся бумагу ближе к камину, стал ее медленно читать. Жилы на его шее вздулись еще более. Тень от его головы колыхалась на стене.

— Как ты узнал эту страшную тайну? — обратился Александр к Шервуду. — Сообщи подробнее... Говори смело, не таи ничего...

Шервуд, оправясь и стараясь не проронить ни одной важной подробности, начал рассказ. Он изложил до мелочи,

как был послан из полка в киевское имение Давыдовых, Каменку, как там исправлял водяную мельницу, случайно узнал о субботних съездах тайного общества, по ночам, подслушал их совещания; как, выследив их преступную, раскинутую по всей южной армии, сеть, решил сам проникнуть в их состав и как его замысел удался...

— С риском жизни все это исполнено, — прибавил, переводя дыхание, Шервуд, — и все лишь с одною мыслию — угодить вам, государь, в надежде на милостивое монаршее внимание.

Александр давно уже как бы перестал слушать рассказчика. В его затуманенных глазах виднелись слезы. Он смотрел в погасший камин; его мысли были далеко.

— Монаршая милость — лучшая награда верных слуг, — произнес Шервуд, — до последнего издыхания, до последней капли крови...

Государь очнулся, велел Шервуду выйти, подождать в ближайшей комнате.

— И за что? За что? — едва Шервуд стал за дверью, проговорил Александр Аракчееву, как бы в ответ на волновавшие его вопросы. — Я ли не стремился к благу отечества? Я ли не отдавал всего себя?.. Забыто все, что сделано после суровых годов отца... Сколько вольностей, льгот! И разве Россия теперь та, чем была, когда оплакивали бабку Екатерину? Ты, Алексей Андреич, свидетель — новых законов, процветания промыслов, литературы, наук... А двенадцатый, тяжкий год...

— Им, кровопийцам, всего мало, — прохрипел, прокашливаясь, Аракчеев. — Тут, государь-батюшка, одно врачеванье — кнут и веревка, веревка и кнут.

Говоря это, Аракчеев думал: «Вот он — ученик Лагарпа, из русского царя ставший повелителем освобожденной им Европы... К чему привели эти идеальные стремления, эта филантропия?»

Государь прошелся по комнате, опять остановился у камина и сказал графу:

— Зови его.

Аракчеев, отворив дверь, кликнул Шервуда.

— Что им нужно? Скажи ты мне... Ты спрашивал их? — обратился Александр к Шервуду. — Говорили они тебе, в чем их главные домогательства?

— Воля... Освобождение крепостных крестьян.

— Но воля, Бог мой, без образования... Разве это воля? — возразил, опять покраснев, государь. — Нужно прежде подготовить, смягчить нравы, просветить умы. Иначе сегодняшние рабы завтра бросят работу, перестанут платить подати, слушаться властей. Пример Франции, Германии... Что же? Они хотят крестьянских бунтов, внутренних войн?

Государь смолк и задумался. В его смущенных, опечаленных мыслях проносилось недавнее светлое прошлое — картины общей к нему любви и преданности, торжество над врагами России, мировая слава.

Он обратил глаза к портретам отца и бабки. Один на него смотрел из глубины комнаты холодно, точно с укором и недоверием; взгляд второй был мягок и светел. Александр вертел в руках поданный ему графом список заговорщиков и, видимо, колебался.

Вспомнились ему политический погром Франции, рассказы о нем свидетелей, в том числе его учителя Лагарпа. «Там это все кончилось военной диктатурой, — мыслил он, — Марат, Сен-Жюст и Робеспьер сменились Бонапартом. Но и сам Наполеон, чем кончил... Что же им, безумцам, надо?..»

— Благодарю за преданность мне и престолу, — сказал Александр Шервуду. — По чести, ты сделал важные открытия... И если сказанное тобою правда, ты будешь награжден.

Шервуд упал на колени, целуя руки государя.

— Твоей услуги не забуду, — продолжал Александр, ласково поднимая его, — но я не ожидал, мне и теперь не верится, пойми — да... Не хочется верить...

Шервуд взглянул на Аракчеева. Тот молча стоял с опущенным, сердитым, как бы почернелым лицом.

— Ваше величество, — проговорил Шервуд, — я стремился, ночей не спал... Имею неоцененное счастье лично... Клянусь, все мною сказанное верно... Отдайте приказ, повелите — все откроется, повелите... Вся их адская измена... На смотру, под Белою Церковью, заговорщики условились, поклялись нанести роковой удар... Они смелы, все ими задуманное рассчитано, распределено...

Шервуд произнес последние слова громко, без запинки, горячо. Аракчеев, слушая непривычно-возвышенный и, как он решил в уме, дерзкий голос смельчака унтер-офицера, судорожно сжимал пальцы рук. Государь снова не слышал произнесенного Шервудом. Его мысли были не здесь, не в этой его рабочей комнате, где столько пережилось встреч, докладов и бесед. Перед Александром проносились его детские и юношеские годы, воспитание у бабки, великой Екатерины, ее ласки, заботы — «бабушкина азбука» и «бабушкины» то трудовые у письменного стола, то пышно торжественные дни, приемы, выходы, пудреные, в бархате и позументах министры, острословы, докладчики, писатели, послы. Вспомнились Александру его женитьба, путешествие, знакомство с Европой, смерть бабки, потом отца, первые годы его царствования и первые молодые, пылкие и свободолюбивые его сподвижники — Новосильцев, Чарторыжский, Сперанский и Кочубей, учреждение министерств, комиссии составления законов, появление басен Крылова и первых томов истории Карамзина. Память подсказала ему в этот миг и стихи Державина на его рождение:

Гении к нему слетели —
Тот принес ему телесну,
Тот душевну красоту...

Вспомнились императору Александру и смутная година нашествия Наполеона, падение Сперанского, Парижский мир, сейм в Варшаве, конгрессы в Троппау, Лайбахе и Вероне, бунт в Семеновском полку и закрытие масонских лож.

— Еще слово, ваше величество, — раздался перед ним отчаянный, как бы о чем-то моливший, голос. Александр очнулся.

— Говори, — произнес он, опять разглядев перед собою Шервуда.

— У южных заговорщиков немало пособников и в Петербурге, — сказал Шервуд. — Здесь много можно узнать, открыть... Нить в этом списке... Повелите, государь! Все откроется, все в вашей воле...

— Но не верится мне, слушай ты, чтоб в России нашлись изменники! — сказал, выпрямляясь, Александр, и в его голосе дрожали слезы острой скорби и обиды. — Чем я, по правде, и кому вредил? Кого обидел, кем пренебрег? Тяжелый, страшный, невероятный сон... Граф! Ты видел, ты видишь мою душу...

Аракчеев, неуклюже, подобострастно склонив верхнюю часть своего туловища, что-то пробормотал, чего не расслышал Шервуд.

— Ну, чему быть, того не миновать! — продолжал государь, тряхнув головой. — Отпусти его, Алексей Андреич, к месту; дай ему на дорогу и все средства к дальнейшему раскрытию злодеев, если только они действительно существуют не в одном воображении этого преданного молодого человека... А ты, Шервуд, действуй, как тебе укажет твоя совесть, и относись во всем прямо... к графу, — заключил, помедлив и как бы заикнувшись, государь.

Легкий поклон головы Александра показал Шервуду, что его аудиенция кончилась. Но слова, тысячи слов еще рвались из его груди. Горло сжималось; губы и руки тряслись. Ему хотелось так много еще высказать, посоветовать государю, убедить его. Делать нечего, надо было удалиться.

С стесненным сердцем, Шервуд по правилам сделал налево кругом, двинулся от камина к выходу, взялся за ручку двери и на мгновение оглянулся. Государь беспомощно, прикрыв рукой лицо, в изнеможении упал в кресло и, очевидно,

плакал: его голова тряслась. Аракчеев, склонясь, что-то говорил ему в утешение. «Ах, забыл, надо еще сказать важное, неотложное! — подумал вдруг Шервуд, остановясь в полуосвещенной бильярдной. — Но, что сказать, не вспомню!» Он простоял с минуту.

«Кончено бесповоротно! Ужели все потеряно, или победа?» — мыслил Шервуд, подходя к цветочной перегородке, у которой его поджидал дежурный лакей. Раздраженный долгой аудиенцией низшему чину, Клейнмихель встретил его еще суше и надменнее и молча опять отвез его в дом Аракчеева на Литейную. «Победа! Обращено внимание!» — мелькнуло в уме Шервуда, когда он, не раздеваясь, упал на жесткую, вроде больничной койки, железную, пахнувшую новой краской, постель на антресолях Аракчеева.

Рано утром Шервуда разбудили и снова позвали к графу. Он снова увидел обширный, суровый и пустынный рабочий кабинет грозного временщика. У окон и кое-где вдоль стен стояла плетеная, неуклюжая мебель; большой письменный стол среди кабинета был завален грудами бумаг. У стола сидел тот же холодно-каменный старик, с каменным лицом на длинной шее и вялыми, арестантскими глазами.

— Насвистался соловей! Доволен ли? — проговорил в нос, стараясь, впрочем, говорить мягко и даже ласково, Аракчеев. — Ну, вот, батенька, не хотел мне, малому, открывать, захотелось самому царю... Ан и удалось, что ж! Да ба! Вот опять-таки все было при мне и ко мне же пришло.

Шервуд ждал, что будет далее. Аракчеев зевнул и потянулся, потирая руки. В комнате было прохладно. Шервуд спросонок и голода также чувствовал позыв к дремоте и дрожь.

— Ну-с, ты все открыл, это похвально... Вот и твой документ! — продолжал граф, похлопав костлявыми пальцами по груде бумаг, сверху которых лежал доставленный

Childы Шервудом список заговорщиков. — Это уже называется не устный, а письменный донос. Теперь еще более помни: не докажешь — кнут, а не то виселица. Понимаешь?

Шервуда начинал бесить этот грубый и насмешливый голос. «Скотина! Солдафон!» — шевелилось на его побледневших, злобно сжатых губах. Он чуть повел плечами и молча переступил с ноги на ногу.

— Начнем по пунктам, — продолжал Аракчеев, расправляя перед собой согнутый пополам лист чистой бумаги. — У тебя тут стоит, во-первых, командир Вятского полка Пестель и далее генерал-майор князь Волконский. Говори, что вообще и в приватном отношении ты дознал о них?

Шервуд начал рассказывать. Аракчеев взял перо и принялся записывать показания, задавая новые вопросы. При одном из имен граф искоса взглянул на допрашиваемого.

— Анненков, говоришь ты? — сказал он. — Какой Анненков? Как звать?

— Иван Александрович, поручик.

— Где служит?

— В кавалергардах...

— Кто тебе о нем сказал?

— Прапорщик Вадковский.

— И ты это в точности помнишь? Получше сообрази.

— Помню верно. Федор Федорович, тот самый Вадковский, передавая мне в Ахтырке список, сказал: премилая бабенка у Анненкова в Петербурге, то есть бабенка или девица, в точности не припомню... — Жюстин или Полин, выскочило из памяти, но верно, что француженка... И у нее в Петербурге модный магазин.

— Да, да, — произнес задумчиво Аракчеев, — тут что-то есть... Есть.

Шервуд силился еще нечто вспомнить. В его лице выражалась тревога. Со лба катился пот.

— Не вспомнишь? Ну-ка, сообрази, нет ли тут еще каких зацеп? — ободрял его Аракчеев, поскребывая концом пера по небритой еще щеке.

— Вспомнил! — произнес, отирая лицо, Шервуд.

— Говори, сударь, слушаю.

— Ближайший соучастник Пестеля — Бестужев-Рюмин, я его видел в Каменке; горячая, отчаянная голова... Он на все вызывался, на образ клялся...

— Это ты о нем уже говорил... Далее!

«Вот анафемская память, как все приметил, затвердил!» — злобно подумал Шервуд.

— Так что же этот Бестужев?

— У него в Ракитном, у помещиков Витвицких, невеста.

— Невеста? — прогнусил Аракчеев.

— Да, — продолжал, оживляясь, Шервуд. — Когда прапорщик Вадковский в Ахтырке, вы знаете, принял меня в члены тайного союза, он сообщил мне и об этом сватовстве. Позвольте, ваше сиятельство, я вспомнил и имя невесты Бестужева.

Аракчеев, не глядя на говорившего, что-то писал.

— Ее звать Зинаида, — сказал Шервуд.

— Ну?

— Зинаида Львовна Витвицкая...

— Так что же?

— В конце этого августа у Витвицких в деревне был назначен бал, съезд всей губернии, охота на волков и диких коз... Федор Федорович еще жалел, что ему, как высланному на житье в Ахтырку, трудно попасть на все эти веселости... А у невесты Бестужева в деревне гувернантка, тоже француженка, и она дружна и в сокровенной, частной переписке с этой самой, здешней приятельницей гвардейца Анненкова.

Аракчеев, презрительно зевнув, продолжал писать.

— Ну вот, — процедил он, — не только рапорт по форме, а и целый, с амурными придатками, роман.

Он, тщательно выводя слова, что-то набросал на обрывке бумаги, позвонил и отдал написанное ординарцу.

— Петру Андреичу! — сказал он, облокачиваясь о высокую и жесткую спинку кресла. — Вот для тебя и зацеп-

ка, — обратился он к Шервуду, — ариаднина в этом лабиринте нить.

Глаза Аракчеева сузились, точно растаяли от удовольствия. Шервуд приметил, что на тонкой шее графа еще более вздулись жилы, как бы от смеха, подпиравшего его горло.

Шервуд вздрогнул.

Он вдруг сообразил, как далеко зашел с своими признаниями: ни с того ни с сего припутал к доносу семью Витвицких, указал на сношения и переписку двух очевидно неповинных ни в чем француженок, наконец, назвал даже имя невесты Бестужева. А у него, доносчика, у самого была невеста, и он так к ней рвался, разделенный с нею цепью роковых, непреоборимых событий. «Другие могут сказать, какая подлость, гадость! — подумал он, соображая, как другой на его месте при этом плевал бы на себя. — Эк зарвался — и кой черт просил? А впрочем, не худо...» Пот, как вчера, прошиб его и выступил на его лице. Истомленный досадным допросом, он с усилием переводил дыхание и едва стоял на ногах.

Ординарец подал графу записку Клейнмихеля и вышел.

— Так и есть, — сказал Аракчеев, пробежав записку, — она самая... Полина Гебль! Белошвейный магазин, на углу Демидова переулка и Мойки...

— Кто такой? — спросил, теряя нить соображений, Шервуд.

— Приятельница поручика Анненкова. Вот тебе и предлог... Уедешь во всяком случае не сразу: будут нужны еще необходимые показания... Вот ты мог бы воспользоваться.

— Чем?

— А ты думаешь, донес и кончено? — сказал Аракчеев. — Нет, брат: нужны справки, подтверждения. Вот ты выложил целый ворох имен, все немалые военные чины; почитай, вся южная армия. А есть в подозрении и штатские. Подобает добраться и до них; а все ли ты верно сказал?

— Клянусь, по долгу присяги.

— То-то, любезный, все вы, и те вон тоже присягнули, а играете на присяге, как на балалайке. Поживи здесь, отдохни, получишь прогоны, подъемные. Подумай, может, подвернется случай узнать и об этом Анненкове... Он давно в подозрении за мысли и невоздержанность в словах. Дружен с здешним стихоплетом Рылеевым. Слыхал про последнего? Не слыхал? Рылеев Кондратий... Вольные вирши пишет и на меня дерзостный пасквиль сочинил, да я на псиный лай плюю... Так посуди об Анненкове: он в домах сенатора Мордвинова и у бывшего министра Сперанского бывает. Все это разбери на досуге... Не откроешь ли чего по части и этой негоции?

Получив обещанное на подъем, Шервуд переехал на постоялый двор, заказал себе новую форменную пару, купил белья, приоделся и, в ожидании командировки обратно на юг и прогонов, стал прогуливаться по столице. Между прочим, он обошел Зимний дворец, разглядывая его с любопытством и соображая с улицы, где та комната, в которой он удостоился говорить с государем. У салтыковского подъезда он узнал вахтера, снимавшего в дворцовых сенях с Клейнмихеля шинель. Вахтер выбивал в это время на панели коврик. Он с ним поздоровался.

— Узнал, землячок? — спросил Шервуд.

Вахтер на него покосился.

— Как не узнать, с генералом в карете... Еще кучера едва добудились...

— А кого, земляк, тогда встретили мы на лестнице, помнишь? Полковник и штатский со звездой сходили, когда мы поднимались вверх?

Вахтер молча выколачивал ковер.

— Так, вспомнил! — проговорил он, подумав. — Эка память, точно решето... Полковник был князь Трубецкой, а штатский — постой, должно, сенатор Сперанский... Он и есть... В сенях тут долго еще лопотали не по-нашему... Сенаторы, сенат... А что деется кругом?

— Что же деется?

— Нешто не знаешь? Кто смел — грабит, не смел — крадет. Ворам только и житье...

Зайдя как-то в трактир на Литейной закусить и послушать орган, Шервуд изрядно выпил, сыграл с кем-то на бильярде и опять хотел выпить, но одумался. Его недавний, с отчаяния, почти годичный запой в Новомиргороде, после бегства из имения Ушаковых, вспомнился ему во всем ужасающем безобразии. Он бросился из трактира, прошел несколько смежных улиц и очутился у Аничкова моста.

Был вечер.

Свежий осенний воздух с Фонтанки, запруженной барками и лодками, освежил Шервуда. Он постоял на мосту, облокотясь о его каменную ограду и бессознательно поглядывая на веселые и пестрые кучи рабочих, выгружавших дрова, доски и кирпич, оправил на себе мундир, отер лицо и направился обратно к Летнему саду.

В тот день он от кого-то допытался в трактире о стихах Рылеева на Аракчеева и изумился смелой сатире поэта, возбуждавшей в обществе неслыханное сочувствие и ужас за судьбу обличителя.

Вдруг Шервуд заметил, что встречные прохожие на набережной Фонтанки снимали почему-то шляпы, а рабочие, глядя с барок на мост, низко кому-то кланялись. Шервуд обернулся по направлению этих поклонов.

По окраине Аничкова моста, вдоль каменной ограды, у которой он стоял несколько мгновений тому назад, медленной рысью ехала высокая открытая, запряженная четверней серых орловских рысаков, коляска. В коляске сидел рослый военный, в шинели и треуголке, с белым плюмажем: ехавший добродушно глядел на реку, залитую заходящим солнцем, на барки и лодки, ласково кланяясь на приветствие судорабочих, прохожих и проезжих.

Шервуд узнал императора Александра Павловича, снял фуражку, вытянулся и замер, усиливаясь выправлением плеч

и глазами обратить на себя внимание государя. Но было далеко, более ста шагов; между мостом и частью тротуара, где остановился Шервуд, появились новые прохожие, заслонившие его. «Нет, он меня и отсюда приметит, узнает и подзовет, — пробегало в мыслях у Шервуда. — Не может быть... Он спросит, и я ему скажу, что за него, за любимого монарха, готов жизнь положить, умереть... О, пусть прикажет, брошусь на эту толпу с моста, брошусь под его колеса. Он повелит не тянуть отсылки: дороги дни, часы...»

Коляска, плавно колыхаясь на высоких рессорах, съехала с моста; кони прибавили рыси и понеслись по Невскому. Шервуд, злобно толкая и чуть не сбивая с ног удивленных прохожих, бросился следом за коляской, выскочил на мост, пробежал несколько десятков шагов по улице и, запыхавшись, путая несвязные слова, стал нанимать извозчика.

— Куда, барин? — отозвался ванька на одиночной гитаре-дрожках.

Шервуд указывал путь, где чуть виднелся мелькавший между другими проезжими белый плюмаж императора.

— Четвертачок, ваше сиятельство.

Шервуд остановился.

«Тьфу ты, черт, глупости, безумие! — сказал он себе, опомнившись. — Разве можно? И кто решился бы обгонять государя? Еще заметят, арестуют, потащат к тому же Аракчееву...» Он оглянулся: два другие извозчика, подойдя с развальцем, косились на него, перемигиваясь. От ближней будки, важно опершись на рыцарскую алебарду и позевывая, щурился на него сонный, в веснушках и рыжий чухонец-городовой.

Шервуд бросился на другую сторону улицы, вмешался в толпу, прошел мимо театра на набережную, добрался до Гороховой и снова без цели пустился по смежным улицам и переулкам.

«Такой был счастливый, редкий случай, — рассуждал он с бешенством, — и пропал, пропал без следа. Вот проклятая судьба! И из-за чего медлит этот Аракчеев?

Какие еще нужны ему справки, допросы? И хоть бы звал; нет, молчит. Или государь охладел к моему важному открытию, раздумал, все по доброте забыл? Вот она, невероятная, сонная страна — все сносит... В другом месте почтили бы, озолотили б!»

Миновав Сенную и Мещанскую, Шервуд направился к Синему мосту, отсюда повернул опять вправо, по набережной Мойки. Темнело, зажигались фонари.

Сквозь решетку небольшого двора он увидел уютный садик, красную черепичную кровлю одноярусного дома и под крыльцом вывеску: «Магазин мод мадам Полин». Он остановился у калитки и долго смотрел во двор и на растворенные окна дома, из которых глядели горшки с цветами и неслось щебетание канареек. Шервуд рассуждал: войти или не войти? Но под каким предлогом и с какою целью? Причину выдумать нетрудно; мало ли что можно сказать? «Явился, мол, для передачи поклона от соотечественницы». Ему вспомнилась даже фамилия гувернантки Витвицких, мамзель Шон. Но он не видел этой семьи, ничего о них не знает. «Пустяки... Все так ловко можно сплести, представиться под чужим именем, наговорить любезностей и между тем много разнюхать и узнать. Нет, — сказал себе, раздумав, Шервуд, — много опасностей, да и дело такое; у других и впрямь не повернулся бы язык... Предательство против чуждых заговору, посторонних женщин. Прочь, прочь от проклятого нового соблазна! — прибавил он, уходя. — Вон из этого мертвого Петербурга, от этих каменных, могильных громад, и чем скорее, тем лучше».

Шервуд ускорил шаги, дошел до Литейной, заперся у себя в комнате на постоялом и старался заснуть. Сон бежал от него. Его мысли дразнил намек Аракчеева — еще что-либо проведать и разузнать в Петербурге... «Ведь можно бы, отчего не попробовать?»

«И в самом деле, — рассуждал он, — не оттого ли замедлялось и мое отправление обратно на юг? Почему, разбирая все поистине, меня так долго не звали ни к графу, ни

в штаб? Почему не снабжали прогонами и последними инструкциями по открытому мною делу? Неужели и по правде могли меня окончательно забыть, мною пренебрегли?» Данные ему подъемные деньги были давно на исходе. Он немало потратился на обмундировку, еще более рассорил без толку, проиграл на бильярде. Надо, однако, терпеть, надо ждать.

И опять начались шатания по Петербургу.

Шел однажды Шервуд поздно вечером, после долгого сидения в каком-то трактире, где спустил за вкусным обедом с приправой изрядной выпивки немало из последних денег. Он шел нехотя, тяжело. В голове был досадный туман. Пыльный воздух душных улиц теснил его дыхание.

— Иван Иваныч! Отец родной! Вас ли имею удовольствие видеть? — послышался сзади его знакомый голос.

Шервуд оглянулся. У его ног был спуск в винный подвал. На нижней ступеньке спуска стоял с шапкой в руке седой, сгорбленный старикашка в синем фраке с потертыми бронзовыми пуговицами. В другой руке старика была связка копченой рыбы и еще каких-то припасов.

Шервуду вспомнилось что-то отдаленное, щемившее его сердце, и он вздрогнул от радости: перед ним был столько благоволивший к нему дворецкий Ушаковых, Антипыч.

— Какими судьбами? — спросил Шервуд. — Вот неожиданно... Здесь?..

Маленькое, гладко выбритое лицо Антипыча, в длинных пушистых белых бакенах, блаженно улыбалось.

— Вот, сударь, Иван Иваныч, — ответил дворецкий, указывая шляпой на навьюченную бричку, стоявшую невдали у перекрестка двух улиц, — на своих, батюшка, доморослых прибыл... Барин с поручениями и за покупками изволил прислать из деревни. Ну, справившись, запасся в дорогу харчишками... Выпил бутылочку пивца, да и еще захотелось вот на дорогу прихватить; ан, гляжу, вы и шествуете... Батюшка, отец родной!

— Очень рад, Антипыч, позволь мне тебя на радости угостить! — сказал, спускаясь по стоптанным ступенькам

подвала, Шервуд. — Вот сюда, сюда... Иди, поговорим, угощу!.. Рад...

Он ввел Антипыча в особую заднюю горенку погреба, ощупал в кармане несколько уцелевшей мелочи, усадил ликующего старика у столика и потребовал польского пива. Пиво со стойки подали теплое, пена брызнула на стол и на платье Шервуда

— Не верится! — сказал он, вглядываясь в знакомого ушаковского приятеля.

Столько дорогих, сладких воспоминаний зароилось в его мыслях.

— И я, сударь, Иван Иваныч, — произнес Антипыч, осушивая стакан и утираясь клетчатым, бережно сложенным платком, — смотрю — ан и правда, вы же; как здесь? Чай в гвардии, скоро в офицеры?

— Нет, еще не в гвардии, но есть, понимаешь, верная надежда перейти... А ты, старина, ну-ка расскажи о ваших... Что барышня? Ох, наболело сердце... Ты ведь знаешь.

— Как, сударь, не знать! Изошли горем и мы все по вас с нею... Было барышне от тятеньки такого, что Боже помилуй и упаси... Натерпелась, сердечная!

Шервуд молча и мрачно слушал. Он кое-что уже знал о роковой развязке с соблазненной им девушкой, о гонениях, перенесенных ею, о ее муках и отчаянии. Слова Антипыча били по нем, как раскаленное железо.

— Проклятая судьба, — вскрикнул он, стукнув рукой по столу, — чем поправить дело, как его повернуть? Скажи, где она теперь?

— Дома-с... Где же барышне и быть? В ту пору увозили их к тетушке в Москву, теперь на зиму собираются сюда, в Питер. Я и квартиру барину нанял, в Коломне, если знаете, у Сухарного моста. Дяденька их тут поблизости на службе, в моряках генералом. Думают барышню вывозить, замуж выдать; есть и жених, — прибавил Антипыч, хмелея.

Лицо Шервуда покрылось багровыми пятнами.

— Пей, голубчик, пей, — шептал он, слушая и подливая Антипычу.

Тот не отказывался и без умолку говорил. За бутылкой подали еще пару и еще. Когда знакомцы вышли из погреба, было уже совсем темно. Нагруженная бричка Антипыча чуть виднелась в глубине улицы, со спавшим на козлах конюхом.

— Кланяйся барышне, скажи ей, — проговорил Шервуд и смолк, — скажи: нерадостно, плохо пока и мне...

Злоба и бешенство душили его.

— С нашим удовольствием... Благодарим за угощение, — раскланивался Антипыч, сев в бричку и оттуда помахивая шляпой, — оченно по вас скучают... И все ждут... Скоро ли будете.

— Скоро, — крикнул Шервуд вслед за бричкой, загремевшей по опустелой улице: — теперь уж скоро... Так и скажи.

Антипыч что-то ответил, высунувшись из-под низкого кузова и даже стукнувшись о него головой, но его голоса уже не было слышно.

«Так вот оно что! — сказал себе Шервуд, оставшись на тротуаре. — Сюда переезжают, дядя сулит женихов... А я с моими ожиданиями, замыслами, борьбой? Неужели же все кончено, и я, как глупый камень, иду ко дну? Нет, не поддамся, не быть ей за другим. Померяемся еще с судьбой...»

Иван Иваныч помедлил, как бы что-то соображая, разглядел место, где стоял, осведомился у прохожего, озабоченного чиновника, который час, и повернул прямо к недальней Мойке. Через несколько минут он снова стоял у двора, с садом и решетчатой оградой, и взошел на крыльцо магазина мод. Шервуд позвонил, вышла горничная.

— Вам кого? — спросила она.

— Мадам Полин.

— От кого вы?

— Из Малороссии; скажите, с поклоном от знакомой приятельницы вашей хозяйки.

Горничная скрылась. В огне, ближнем к крыльцу, поднялась занавеска, окно отворилось. Из него, со свечой в руке, выглянула красивая высокая и смуглая особа с живыми, плутовскими черными глазами и с черными усиками, лет двадцати пяти, в нарядном чепчике и модном белом капоте.

— От кого? — спросила она по-русски, с иностранным выговором.

— От вашего друга, мамзель Шон, — ответил, тоже раскланиваясь и старательно отчеканивая слова, Шервуд. — Я случайно в Петербурге, мне поручено передать вам поклон... И я с особым удовольствием...

— Прошу, войдите, — сказала хозяйка.

Шервуд, не задумываясь, вошел. Мадам Полин перед тем хлопотала у чайного стола.

— Как и где вы видели Элиз Шон? — спросила она, поглядывая на гостя.

Шервуд в общих словах легко и весело передал ей целую легенду о том, как он будто бы ехал по службе из Киева в Петербург, как у его тележки сломалась ось и как он, совершенно случайно попав в деревню Витвицких, застал у них своего сослуживца Бестужева-Рюмина и прогостил там целые сутки, причем познакомился с невестой Бестужева и с ее гувернанткой, мамзель Шон. «Боже, как вру!» — думал он, сыпля этими уверениями.

— Да, Витвицкая сговорена, и скоро их свадьба, — сказала Полин, наливая гостю чай. — Вы от Элиз, верно, знаете — и я выхожу замуж.

— Слышал и от души поздравляю, — произнес, вежливо кланяясь, гость.

— Вы сейчас, вероятно, увидите и моего жениха, — с гордой радостью объявила хозяйка.

Шервуд помертвел. Он не ожидал возможности встретить здесь самого Анненкова, притом с ужасом он стал замечать, что пиво, распитое с Антипычем, начинало сильно в нем отзываться. Его голова кружилась, в глазах прыгали

огоньки. Веселая уютная комната колыхалась перед ним, и голос милой, болтливой хозяйки звучал где-то не здесь, далеко. Он увидел себя в зеркале, близ которого сидел: его лицо было бледно, волосы в беспорядке. Он с улыбкой стал разглаживать себе виски, стараясь сидеть прямо и не потерять сознания.

— Что же там, на юге, лучше, чем здесь? Не правда ли, там теплее? — спросила Полин. — Элиз пишет мне, что тамошние места напоминают нашу Францию... Я, мосье, из Нанси, — лепетала разговорчивая француженка, — мой отец был полковник старой гвардии, убит в Испании, в войне с гверильясами, когда мне пошел четвертый год... Он был храбрый, красивый офицер... И я помню моего отца... Таких храбрецов мало на свете. После него мы обеднели, я стала учиться шить, попала в Россию и в Москве поступила первой мастерицей в магазин мод Дюмонси на Кузнецком мосту.

Шервуд, вглядываясь в черные, сверкавшие перед ним глаза и красивые усики Полин, делал невероятные усилия, чтобы слушать ее и не задремать. «Кузнецкий мост, гверильясы... Усики!» — вертелось в его уме.

— О. я все это знаю! — вдруг сказал он, странно улыбаясь. — Знаменитая гвардия, великий император, храбрые патриоты... Вам, вероятно, скучно здесь? Такая дикая, холодная страна... Лед, даже пиво здесь... Теплое... Право...

Где-то ему послышался звонкий, раскатистый хохот. Шервуд в удивлении очнулся и раскрыл глаза. Перед ним, откинувшись на стул, заливалась смехом Полин.

— О, мой Бог! — хохотала она. — Вы устали, у вас, верно, было много хлопот?

— Нет, ничего... Напротив... Но позвольте, где вы познакомились с Иваном Александровичем Анненковым?

— Он был в Москве, за ремонтом... Не хотите ли чаю? Я бы послала за извозчиком, — произнесла Полин, подавляя смех и стараясь ободрить растерявшагося гостя. — О какая я несносная, смешливая...

Шервуд встал. «Скорее отсюда, скорее! — думал он. — Еще придет этот ее жених, догадается, уличит».

— Поручений каких не будет ли? — спросил он, вежливо раскланиваясь.

— Разве мосье скоро едет?

— Завтра же... Экстренно... На фельдъегерских.

— И вы опять будете там, у Витвицких?

— Сочту, сударыня, священным долгом заехать.

От природы добрая, Полин с участием смотрела на статного, утомленного и, как она угадывала, несколько охмелевшего молодого воина.

Почему-то ей припомнился ее отец, также когда-то, как она слышала, особенно в походах, любивший водить компанию и выпить с друзьями.

— Зайдите завтра, — сказала она, подав руку гостю. — Я приготовлю к Элиз письмо.

Шервуд ловко шаркнул, даже поцеловал протянутую ему руку и вышел. От ворот ему навстречу показались двое, штатский и офицер; они сошлись у угла палисадника. Свет от крылечного фонаря дал им возможность несколько разглядеть друг друга. Ночной воздух быстро освежил Шервуда. Увидев офицера, он снял фуражку и вполоборота стал во фронт. «Не Анненков», — подумал он, узнав в офицере того преображенского полковника, князя Трубецкого, которого встретил в памятный вечер на лестнице Зимнего дворца и о котором ему сказал дворцовый сторож.

— Иван Александрович здесь? — спросил, отдавая честь, Трубецкой, видевший, что стоявший перед ним унтер-офицер вышел с крыльца Полин.

— Никак нет-с... их ожидают.

— Et vous, cher, vous attendrez? — проходя к двери, спросил спутника князь Трубецкой.

— Могу, если недолго, — ответил тот также по-французски, — впрочем, ведь здесь я сосед...

«Кто этот второй? — продолжал рассуждать о штатском Шервуд. — Ужли оба они, как и Анненков, члены тайного

общества, заговорщики? И этого преображенца допускают во дворец! Какая неосторожность! Но штатский? Трубецкой тогда во дворец тоже шел с штатским... Этот моложе, чернявый; то был лысый и в звезде... Есть ли их имена в моем списке? Как узнать, кого спросить?»

Шервуд перешел на другую сторону Мойки и стал бродить по набережной, от Синего моста до Гороховой, поглядывая на оставленный дом. Прошел час, другой. Месяц взошел давно, но был в облаках. Улицы более и более стихали; ни пеших, ни проезжих. Изредка доносился грохот колес с Невского проспекта.

Вдруг стукнула калитка. Из наблюдаемого двора вышли три фигуры. Шервуду через реку было видно, что двое из вышедших были в военных шинелях, третий в гражданской бекеше; один из военных направился вправо, к Гороховой, другой военный, в сопровождении штатского, пошел влево, к Синему мосту. «Теперь узнаю», — решил Шервуд.

Он, с забившимся сердцем, направился за последними путниками и в одном из них опять разглядел Трубецкого. Они миновали за Синим мостом первый дом от угла по набережной и у подъезда второго дома остановились. Военный пошел далее, а штатский вошел в дверь подъезда, над которым была вывеска: «Российско-американская компания». До слуха Шервуда донеслись лишь некоторые выражения из разговора этих двух лиц. «Так он едет?» — спросил штатский. «Уже уехал», — ответил военный. «И Дионисиево ухо?» — «И он... Уже вторые сутки в деревне! Но, вероятно, увидятся; тот заедет по пути».

«Надо разузнать фамилию штатского», — решил Шервуд, увидев дворника, подметавшего у крыльца набережную.

— Скажи, любезный, как отсюда пройти в Коломну? — спросил он.

Дворник объяснил. Шервуд вынул из кармана и дал ему медный пятак.

— Благодарствую... Не здешние? — спросил, кланяясь, дворник.

— На побывку, из лагеря, — ответил Шервуд. — Дяденька тут у Сухарного моста... А кто этот барин?

— Какой?

— Что вошел сейчас на подъезд.

— Вам на что?

Шервуд смешался, но, приняв добродушный вид, даже поднял с мостовой какую-то соринку и стал ее рассматривать.

— Так, — ответил он, — его тоже хотел спросить про дорогу, да не посмел.

— Чего не сметь?.. Да-а-бреющая душа! Секлетарь наш... Рылеев барин, — проговорил дворник, подбрасывая на ладони пятак.

Шервуд при этом имени чуть не вскрикнул от радости. Он вспомнил слова Аракчеева. Точно пук ярких лучей вдруг вспыхнул перед ним. Радужные горизонты, один другого ярче и заманчивее, мгновенно встали, заволновались перед его воображением. «Наконец-то, еще, и какое открытие, какое! — сказал он себе. — Связь ясна... Вот место их сходок — все, и сатирик, и будущий диктатор. Теперь окончательно меня выслушают и решат!»

— Ты говоришь, Рылеев? — спросил он дворника.

— Так точно.

— А имя?

— Кондратий Федорович... Тутошный, петербургский, из деревни Батово, что возле Рожествина. Матушка у него там, а он тут служит.

— Женат?

— С женой и махонькой дочкой.

— И барин хороший? Можно, коли надо, просить?

— Приди, увидишь... Всякому помогает, нищему, по делу и так... Да-а-бреющая душа...

Шервуд дал дворнику еще пятак и сперва тихо, потом шибче пошел к Поцелуеву мосту, обогнул угол, пустился бегом, добрался до Офицерской, крикнул встреченному извозчику: «На Литейную, будет на водку!» — сел и помчался, полный радостных надежд.

Сунув извозчику полтинник — последний и окончательно последний, как он рассчитал в уме, — Шервуд вбежал в свой номер, не зажигая свечи, наскоро разделся и лег на жесткий продавленный диван, служивший ему постелью. Его мучила жажда. Он встал, ища воды, заметил какую-то бутылку и жадно из нее потянул. Ему обожгло горло. В бутылке был остаток рома от пунша, которым он изредка себя угощал. «А, черт!» — подумал он и, еще вдоволь потянув из бутылки, опять лег. Комната весь день не освежалась, и воздух в ней, от недалекой кухни и смежного коридора, полного заезжей прислуги, был спертый, душный. Шервуд этого не заметил. Хмель туманил его отяжелевшую голову; в руках и ногах он чувствовал жар, а стиснутые зубы постукивали в нервном ознобе несмотря на давящее комнатное тепло.

Месяц вышел из облаков. За тусклым, испачканным мухами, окном виднелся трактирный двор, запруженный телегами, лошадьми у коновязей и всяким хламом. Под окном торчала старая, с обломанными ветвями береза. Сквозь ее тощую, покрытую слоем пыли листву в комнату наискось светили бледные лунные лучи.

Шервуд лежал с закрытыми глазами. Он с злобной досадой следил, как билась кровь в его висках и как тяжелое, мучительное содрогание леденящим гнетом пробегало по нем с головы до пят.

«Все кончено, все открыл! Проверил, уличил! — радостно думал он, с трудом сдерживая трясущийся подбородок. — И ведь как успешно, без запинок, на чистоту! Им хотелось Сперанского, вот он; Трубецкой, с этим Сперанским, удостоился в тот вечер быть во дворце, а сегодня этот же Трубецкой у Полины, то есть Анненкова... Граф зол на Рылеева за пасквиль... И этот попался здесь же... Все свои... Ха, ха! Вожаки, будущие республиканские министры, Мараты, Робеспьеры... Ха, ха!»

Шервуд отрывисто и громко рассмеялся, но вдруг поднялся на диване и сел. «Вспомнил, вот когда вспомнил, о чем надо было тогда сообщить государю! — сказал он себе с досадой. — Этого самого Трубецкого — да! — именно его прочили в Каменке, на случай бунта войск, в диктаторы... Пестель так именно и говорил. И его-то я тогда встретил на лестнице! Завтра же, пораньше, чуть свет, все запишу и к графу... Вот открытие, вот сцепление счастливых, редких обстоятельств... Только нет, кажется, и бумаги, и чернил, все вышли... Придется будить этих олухов; пойдут в контору, поднимут из-за такой мелочи хозяина, а я ему задолжал за комнату и харчи... Чернильница, впрочем, есть, но окончательно высохла; ткнешь перо, а оно сухое, только муха окаянная вылетит и жужжит, проклятая, так противно... Тьфу, сколько мух!» — мыслил Шервуд, плюя и гадливо прислушиваясь к шороху и неугомонной возне мух, по обычаю толкавшихся в духоте у окна и под потолком.

На секунду ему показалось, что он успокоился и заснул. Настала такая отрадная, ласкающая тишина. Мухи и собственные назойливые мысли исчезли.

Озаренная месяцем комната, с огромной изразцовой печью, комод, где торчало зеркальце, и допитая бутылка с ромом, расшатанный стул у двери, с брошенною на него солдатскою шинелью — все это также будто застлалось туманом и куда-то скрылось. Шервуд почувствовал, как выступал на его лице пот, медленно скатываясь крупными каплями по носу и щекам. Он думал: «Так капает теплая, свежая кровь».

Ему вдруг представилось страшное зрелище казни, виденной им весною, в бытность в Новомиргороде.

Военный полевой суд осудил тогда пойманного дезертира-поляка. Это был еще молодой белокурый и простодушный с виду рекруток. Его схватили где-то на границе с Австрией и возвратили для суда и наказания в полк. Приговор аудиториата к расстрелянию был заменен прогнанием сквозь две тысячи человек. С хмурыми, строго понуренными лицами,

солдаты молча взмахивали рукой. Свежие, с зелеными почками прутья лозы, нарезанной в ближних плавнях, притонах голосистых иволг и соловьев, страшно взвизгивали в теплом, пахучем воздухе. Рекрут уже не шел. Его полумертвого, с бледным, кротко-покорным лицом и слипшимися, отросшими в тюрьме волосами, везли между рядов на какой-то двухколесной дыбе. Удары падали.

«Стой! — вдруг раздался чей-то властный, громкий голос. — Не так бьете! Артиллерию, пушки сюда, картечь!» Толпа расступилась. Шервуд понял, что это скомандовал он сам, и увидел на себе офицерский мундир и красивые, торчавшие крыльями, эполеты. Выдвинулись откуда-то две полевые пушчонки. Испуганные артиллеристы стали с зажженными фитилями. Рекрута более не было видно. На его месте была кучка офицеров разного оружия, капитаны, полковники, интенданты, генералы. Они в расстегнутых мундирах, без шпаг, шляп обнимались, что-то говорили друг другу и что-то кричали удивленным солдатам. Шервуд узнал между ними Муравьевых, Вадковского, Пестеля и Бестужева. «Предатель! Вон он, изменник! — закричал из толпы, указывая на него товарищам, Вадковский. — Чрез него мы гибнем!» Шервуд оглянулся на пушки и махнул рукой. Раздался визг картечи. В толпе офицеров упало несколько человек. Чем-то теплым брызнуло в глаза и на щеки Шервуда...

Он очнулся, хотел встать, раскрыть глаза и не мог пошевелиться. «Боже, хоть бы каплю воды!» — мучительно подумал он, томимый жаждой, будучи не в силах отереть мокрого, потного лица. С усилием он оглянулся по комнате и не узнал ее. Что-то странное, новое на мгновение обрисовалось перед ним и опять исчезло.

Та же ночь. Но где это?.. Шервуд увидел, что он лежит в приятно сырой, росистой траве, между деревьев. Сквозь нависшие ветви чуть светил месяц. Пахло болотом, слыша-

лось журчание студеного лесного ключа. Шервуду и пить страшно хотелось, и он кого-то, с замиранием сердца, как бы ожидал. Сюда, в лесную глушь, должна была к нему прийти Зина Ушакова. «Еще успею, — мыслил он, с страстным содроганием, — а теперь хоть бы глоточек...» Он бросился сквозь чащу деревьев и очутился на круглой, чуть освещенной полянке. Сверкала свинцовою зыбью одна поверхность ключа, обросшего сочными, длинными травами и камышом. Он присел на корточки, ухватился за траву, жадно припал ртом к воде и увидел нечто ужасное, необъяснимое.

По зыбкой глади воды суетливо бегали какие-то с мохнатыми лапами и брюхами серые проворные пауки. Они шныряли в одну сторону; им навстречу и наискось, шевелясь, скользили другие. Шервуд вспомнил, как солдаты на постое у крестьян пьют квас с тараканами. Он, усмехнувшись, подул на пауков; те разбежались. Он еще ниже склонился к ручью и в ужасе замер.

То, что он принимал за воду, оказалось не водой, а сплошным комом гадов, которых он от рождения так всегда боялся. Клубки серых больших и малых змей шевелились круглыми, лоснящимися спинами. Некоторые змеи высовывались плоскими головками из кучи других и шипели. Шервуду в то же время послышался за деревьями голос Зины: «Сюда, сюда! Да где же ты?» Он рванулся, выпутался из травы и в диком страхе бросился бежать, но попал, очевидно, не туда. Деревья преграждали ему путь. Он пробирался сквозь их цепкие ветви, явственно слыша настигавший его противный шелест гадов. Плоские головки мелькали в листьях, хрустели под ногами Шервуда; он с бешенством их давил. Сделав последнее усилие, он вырвался на опушку темного леса.

Рассвет еще не начинался. Над болотистым полем кое-где висел туман. Шервуд побежал — трусливым зайцем, как он сам подумал в это мгновение. Вода шлепала и брызгала из-под его ног. Ступни вязли в тине. Он завидел дом Ушаковых, домчался до лестницы, вскочил в комнату, но

негде деться. Весь пол укрыт змеями, по стенам ползают пауки. Он взобрался на диван, поджал под себя мокрые, испачканные грязью ноги и накрылся с головой шинелью, даже для удобства прихватил край шинели зубами. Шелест гадин не прерывался.

«В коридор, на чердак! — подумал он. — Там у кухни лестница; заберусь на самый верх». Он бегал впотьмах по чердаку, ощупью забился в угол, под печную трубу, и в трепете притаился. На чердаке была тьма. И вдруг он почувствовал, что под его рубашку вползает что-то холодное, скользкое и, расправляясь, шевелится по его спине. На плечи ему упала какая-то безобразная, мертвящая тяжесть.

Шервуд отчаянно, дико вскрикнул и проснулся. Начиналось утро. Перед диваном стоял с разносной книгой будочник, теребя Шервуда за плечо.

— Пакет вам, — произнес босой, в одном белье, заспанный половой, стоя возле будочника.

Шервуд опомнился, встал, протер глаза и поднес пакет к окну. То была повестка из штаба явиться в тот же день за получением подорожной и «экстраординарной суммы» на немедленный отъезд.

Расписавшись в книге, Шервуд отпустил будочника, прошелся по комнате, надел шинель и взглянул на полового. Усталость и хмельный бред мигом бросили его.

— Видишь, брат? Будут деньги, и большие! — сказал он, тормоша озадаченного полового и смеясь торжествующей, гордой улыбкой. — Самовар, пуншику... Бриться, мыться... Мигом!

В чистом белье и в новой паре, Шервуд, щеголем, к началу присутствия явился в штаб, получил заготовленные бумаги, пересчитал пачки врученных ему ассигнаций, расписался в их получении и с легким сердцем вышел в переднюю, наполненную просителями и сторожами.

«Нет, шутишь, сразу не выеду! — думал он, тыча деньги в карман. — Теперь прежде всего закусочка; ловится лосо-

сина; соляночку с перцем и огурцами, из селедки форшмак... На углу Караванной вкусно делают, да рюмочку-другую полынной, да бальзамцу... А там и к графу с новым, дорогим для него открытием».

В кучке сторожей-инвалидов в передней штаба шел разговор.

— Позавчера он, сердечный, был именинник, а нынче уже и в путь.

— Кто именинник? — надевая перчатки и рисуясь в перетянутом мундирчике, шутливо и весело спросил Шервуд. — Может, и я именинник, угощу.

Инвалиды молча и недоверчиво на него поглядели.

— Да кто же, братцы, именинник? — повторил Шервуд, чувствуя, что ему особенно весело, и желая, чтобы так же весело было и другим.

— Тезоименитство его величества было третьего дня, — ответил старший, в седых бакенах, инвалид, вставая перед молодцеватым унтером, — да вот ребята маракуют, едет уже нынче его величество.

— Куда? — удивился Шервуд.

— В Таганрог.

— И это верно?

— Второй день подстава готова до самого Новгорода; сказывали намедни фельдъегеря, что к графу заедет.

— Разве граф не в городе?

— В Грузине. Со вчерашнего дня ему туда все бумаги шлют.

— А его величество?

— Должно быть, в Царском.

Шервуд вышел. Забыв о закуске, он бросился на постоялый двор, расплатился с хозяином, уложил свои вещи, послал за тройкой, сел в телегу и помчался кратчайшим проселком в Царское Село.

«Беспосредственный корреспондент его величества, так им и скажу! — рассуждал он, подпрыгивая на телеге. — Сам государь соизволил — должны допустить...»

В конце августа в Петербурге знали, что государь Александр Павлович уезжает с больною императрицей на осень в Таганрог.

Под влиянием вести о болезни государыни по городу ходило немало тревожных толков. Многих смутил недавний пожар, истребивший церковь Спаса-Преображения. На небе явились, одна вслед за другой, двигаясь с севера на юг, две кометы. Первая вскоре угасла. В этом увидели дурное предзнаменование.

Последние дни августа стояли между тем ясные, теплые. В Царском Селе все было давно готово к отъезду, но государь почему-то медлил. Ему как-то не хотелось расставаться с любимым царскосельским дворцом, с светлыми прудами, тенистыми садами и рощами. Он кончал неотложные дела, принимал прощальные доклады министров и, переписываясь с родными в чужих краях, был особенно пасмурен и неразговорчив.

Тридцать первого августа, накануне отъезда, государь встал рано, прошелся по ближним аллеям, постоял у озера, под дубом, где любила отдыхать и читать его бабка Екатерина, бросил корму рыбам, полюбовался лебедями, сказал несколько слов старому садовнику Никитичу, и на доклад камердинера Федора: «Кофий готов, пожалуйте» — нехотя и медленно возвратился во дворец.

После кофе государь, по обычаю, заперся в кабинете, сел за письменный стол и вынул из особой обложки пачку бумаг. Он над ними задумался.

Из окон был виден край синего неба, часть озера и развесистый старый дуб, где государь только что стоял; были видны одетые красками осени, хотя еще в листьях, но уже кое-где тронутые золотом и пурпуром деревья сада.

Государь не смотрел ни на небо, ни на деревья и озеро. Он стал просматривать верхнюю из лежавшей перед ним пачки бумаг. То был роковой список заговорщиков, привезенный Шервудом. Прочтя список и дополнительные замет-

ки Аракчеева, государь взял перо и лист бумаги и начал писать.

Неразлучная с ним датская собака Лорд дремала у его ног. Исписав страницу, Александр вздохнул и остановился. Перо падало из его рук. Вдруг он почувствовал, что почему-то видит плохо: слова, которые он набрасывал, сливались перед ним и путались. Он поднял голову.

Внезапно нашедшие тучи закрывали весь небосклон. Государь позвонил.

— Огня, — сказал он вошедшему слуге, снова принимаясь писать.

Слуга ушел, но медлил возвращением. Александр нетерпеливо позвонил опять. Были принесены две зажженные восковые свечи.

«Вот она, северная природа и северные порядки! — подумал Александр, с досадой продолжая писать и мысленно уносясь к югу. — Осень в начале, завтра только первое сентября, а здесь уже темно, как зимой. И ехать за теплом, за светом в такую даль! Великая ошибка Петра... Отчего не быть столице в Одессе, в Таганроге, в Крыму?»

Облака между тем рассеялись. Солнце снова явилось и весело глядело в окна. Александр не видел солнца. Его рука скользила по листу.

Лежавший у стола Лорд сердито, как бы сквозь сон, зарычал. Государь оглянулся и увидел, что вошедший в кабинет слуга осторожно из-за него убирал свечи со стола.

— Что это ты делаешь, Федор? — спросил Александр.

— Так следует, ваше величество.

— Но ты по крайней мере хоть бы подождал, пока кончу писать... Мешаешь, опять могут найти тучи...

— Не годится днем, ваше величество, зажигать свечей.

— Право? А я и не знал. Почему?

— Днем зажигают свечи только над покойниками.

Слуга ушел. Александр сидел неподвижно. Очнувшись, он изорвал написанное, вложил заботившие его бумаги, без всякой резолюции, в пакет, сунул его в портфель, приготов-

ленный для пути в Таганрог, и снова вышел к озеру, к развесистому дубу. Ни в Грузине, ни в Таганроге Александр более не касался рокового пакета. Он был найден, в числе прочих бумаг, без его пометы, уже после его кончины...

Часу в третьем пополудни первого сентября Шервуд подъехал к Царскому Селу. Оставив извозчика с чемоданом, он направился ко дворцу. У ворот его остановили.

— Куда? — спросил часовой.

— К самому государю... Дело важное...

— Нельзя.

— Почему?

— Спроси начальство.

Шервуд увидел толстого гусарского поручика, сидевшего на крылечке гауптвахты. Поручик удивил Шервуда: он был в полотняном, нараспашку, кителе, курил из витого в бисерном чехле чубука и беззаботно забавлялся с стоявшею перед ним на задних лапах рыжей, лохматой и бесхвостой собачонкой.

— Ваше благородие, — громко сказал, подойдя к поручику и снимая фуражку, Шервуд, — важное дело — беспосредственный его величества корреспондент.

— Что-о? — рассмеялся офицер, выпустив изо рта клуб дыма и весело закашливаясь.

Шервуд повторил свои слова.

— Ну, соколик, опоздал, — произнес поручик, принимаясь опять посасывать из чубука, — государь еще с вечера уехал в Петербург, а теперь уж, чай, и под Новгородом... А чтоб беспо... Тьфу!.. Не выговоришь... Беспо... средственному тебе, или как ты там себя называешь, не наплести спьяну еще какой чепухи, — ну-ка, Кузьков, на покой его, прохладиться! — крикнул поручик, полуобернувшись жирной белой шеей в сени кордегардии, откуда уже выглядывал усатый и черный, в сажень ростом, гусарский фельдфебель.

— Да я, ваше благородие... Тут вещи, важные бумаги, помилуйте...

— Ну, там уже решат, — заключил поручик, опять подзывая рыжую лохматую собачонку, которая тем временем вежливо уселась было в стороне.

К ночи, осмотрев бумаги Шервуда, дело разобрали, подумали и отпустили его. Он уже не возвращался в Петербург, а выехал на юг прямо из Царского. Государь на пути из Петербурга заехал в Невскую лавру. Отслужив здесь панихиду, он навестил лаврского схимника, постелью для которого служил обитый черным, с атрибутами смерти, гроб.

«Послушались бы меня, было бы иначе! — мыслил Шервуд, ближе и ближе подвигаясь к югу. — Успеют ли проследить, выловить виновных?»

Пошли степи. Вот река Сейм, города Харьков, Богодухов, Новомиргород. Везде было тихо, жизнь катилась, повидимому, мирно, без забот. «Эх, землица, страна! — злобно сказал себе Шервуд, завидев длинные знакомые заборы, пустынные улицы и крышу полкового двора. — И этакой услуги, такого открытия не оценить!»

Осенью 1825 года из Таганрога разнеслась печальная весть о тяжкой болезни императора Александра Павловича. Девятнадцатого ноября того же года он скончался. О доносе Шервуда заговорили уже после четырнадцатого декабря.


Воспоминания

ЗНАКОМСТВО С ГОГОЛЕМ

(ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

I

Впервые в жизни я увидел Гоголя за четыре месяца до его кончины.

Это случилось осенью, в 1851 году. Находясь тогда, в конце октября, в Москве, с служебным поручением бывшего в то время товарищем министра народного просвещения А. С. Норова, я получил от старого своего знакомого, покойного московского профессора О. М. Бодянского, записку, в которой он извещал меня, что один из наших земляков-украинцев, г-н А-й, которого перед тем я у него видел, предполагал петь малорусские песни у Гоголя и что Гоголь, узнав, что и у меня собрана коллекция украинских народных песен с нотами, просил Бодянского пригласить к себе и меня. Нежданная возможность выпавшего мне на долю свидания с великим писателем сильно меня обрадовала. Автор «Мертвых душ» находился в то время на верху своей славы, и мы, тогдашняя молодежь (мне в то время было двадцать два года), питали к нему безграничную любовь и преданность. У меня с детства не выходило из головы добродушное обращение к читателям пасечника Рудого Панька. «Когда кто из вас будет в наших краях, — писал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» веселый пасечник, — то заверните ко мне; я вас напою удивительным грушевым квасом».

Это забавное приглашение, как я помню, необыкновенно заняло меня в деревне моей бабки, где ее слуга Абрам, учившийся перед тем в Харькове переплетному мастерству и потому знавший грамоте, впервые прочел мне, шестилетнему мальчику, украинские повести Гоголя; но я не мог принять приглашения Рудого Панька. В 1835 году у меня был один только конь — липовая ветка, верхом на которой я гарцевал по саду, и в то время я отлучался из родного дома не далее старой мельницы, скрип тяжелых крыльев которой слышался, с выгона, в моей детской комнате.

Я тогда был в полной и искренней уверенности, что на свете действительно где-то в сельской, таинственной глуши существует старый пасечник Рудый, то есть рыжий, Панько и что он в длинные зимние вечера сидит у печи и рассказывает свои увлекательные сказки. Перед моим воображением живо развертывалась дивная история «Красной свитки», проходила бледная утопленница «Майской ночи» и на высотах Карпатских гор вставал грозный мертвый всадник «Страшной мести».

А теперь, в 1851 году, мне предстояло увидеть и автора не только «Вечеров на хуторе», но и «Мертвых душ», и «Ревизора».

В назначенный час я отправился к О. М. Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. Бодянский тогда жил у Старого Вознесения, на Арбате, на углу Мерзляковского переулка, в доме ныне Е. С. Мещерской, № 243. Он встретил меня словами: «Ну, земляче, едем; вкусим от благоуханных, сладких сотов родной украинской музыки». Мы сели на извозчичьи дрожки и поехали по соседству на Никитский бульвар, к дому Талызина, где в квартире графа А. П. Толстого в то время жил Гоголь. Теперь этот дом, № 314, принадлежит Н. А. Шереметевой. Он не перестроен, имеет, как и тогда, 16 окон во двор и 5 на улицу, в два этажа, с каменным балконом, на колоннах, во двор.

Было около полудня. Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его «Переписку с друзьями». По рукам в Петербурге ходило в списках его неизданное письмо к Гоголю, где знаменитый критик горячо и беспощадно бичевал автора «Мертвых душ», укоряя его в измене долгу писателя и гражданина.

Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербургского университета П. А. Плетнева, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнева, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнев, защищая Гоголя, делал, что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос: прав ли был Гоголь, издавая то, о чем он счел долгом открыто высказаться перед родиной? «Его зовут фарисеем и ренегатом, — говорил нам Плетнев, — клянут его как некоего служителя мрака и лжи; оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим... И за что же? За то, что одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим... Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он — помешанный!» — так говорил нам Плетнев.

Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрекся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живет, как монах, читает только Ветхий и Новый завет и жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще.

Все эти мысли по поводу Гоголя невольно проносились в моей голове в то время, когда извозчичьи дрожки по Никитскому бульвару везли Бодянского и меня к дому Талызина. Одно меня несколько успокаивало: Гоголь пригласил к себе певца-малоросса; этот певец должен был у него петь народные украинские песни, — следовательно, думал я, автор «Мертвых душ» не вполне еще стал монахом-аскетом, и его душе еще доступны произведения художественного творчества.

Въехав в каменные ворота высокой ограды, направо, к балконной галерее дома Талызина, мы вошли в переднюю нижнего этажа. Старик слуга графа Толстого приветливо указал нам дверь из передней направо.

— Не опоздали? — спросил Бодянский, обычной своей ковыляющей походкой проходя в эту дверь.

— Пожалуйте, ждут-с! — ответил слуга.

Бодянский прошел приемную и остановился перед следующею, затворенною дверью в угольную комнату, два окна которой выходили во двор и два на бульвар. Я догадывался, что это был рабочий кабинет Гоголя. Бодянский постучался в дверь этой комнаты.

— Чи дома, брате Миколо? — спросил он по-малорусски.

— А дома ж, дома! — негромко ответил кто-то оттуда.

Сердце у меня сильно забилось. Дверь растворилась. У ее порога стоял Гоголь.

Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове и что с им, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнева.

— А где же наш певец? — спросил, оглядываясь, Бодянский.

— Надул, к Щепкину поехал на вареники! — ответил с видимым неудовольствием Гоголь. — Только что прислал извинительную записку, будто забыл, что раньше нас дал слово туда.

— А может быть, и так, — сказал Бодянский, — вареники не свой брат.

Что еще при этом некоторое время говорили Гоголь и Бодянский, я тогда, кажется, не слышал и почти не сознавал. Ясно помню одно, что я не спускал глаз с Гоголя.

Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек, а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности.

Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое длинное пальто и в темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи, у которой, поверх атласного черного галстука, виднелись белые мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие темные шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которыми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно, и не улыбаясь, даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты.

Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме в 1841 году

знаменитым Ивановым. Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими.

Успокоясь от невольного, охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским...

— Надо, однако же, все-таки вызвать нашего Рубини, — сказал Гоголь, присаживаясь к столу. — Не я один, и Аксаковы хотели бы его послушать... Особенно Надежда Сергеевна.

— Устрою, берусь, — ответил Бодянский, — если только тут не другая причина и если наш земляк от здешних угощений не спал с голоса... А что это у вас за рукописи? — спросил Бодянский, указывая на рабочую красного дерева конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которой Гоголь перед нашим приходом, очевидно, работал стоя.

— Так себе, мараю по временам! — небрежно ответил Гоголь.

На верхней части конторки были положены книги и тетради; на ее покатой доске, обитой зеленым сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.

— Не второй ли том «Мертвых душ»? — спросил, подмигивая, Бодянский.

— Да... Иногда берусь, — нехотя проговорил Гоголь, — но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.

— Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо.

— Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму уехать в Крым, к Княжевичу, там писать; думал завернуть и на родину, к своим — туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны...

Ел. В. Гоголь тогда вышла замуж за саперного офицера Быкова.

— Зачем же дело стало? — спросил Бодянский.

— Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился, да и времени пришлось бы столько

потратить на одни переезды. А тут еще затеял новое, полное издание своих сочинений.

— Скоро ли оно выйдет?

— В трех типографиях начал печатать, — ответил Гоголь, — будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части «Мертвых душ». Пятый том я напечатаю позже, под заглавием «Юношеские опыты». Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из «Арабесок» и прочее.

— А «Переписка?» — спросил Бодянский.

— Она войдет в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные... Но это уже, разумеется, явится... после моей смерти.

Слово «смерть» Гоголь произнес совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, в виду полных его сил и здоровья.

Бодянский заговорил о типографиях и стал хвалить какую-то из них. Речь коснулась и Петербурга.

— Что нового и хорошего у вас, в петербургской литературе? — спросил Гоголь, обращаясь ко мне.

Я ему сообщил о двух новых поэмах тогда еще молодого, но уже известного поэта Ап. Ник. Майкова: «Савонаролла» и «Три смерти». Гоголь попросил рассказать их содержание. Исполняя его желание, я наизусть прочел выдержки из этих произведений, ходивших тогда в списках.

— Да это прелесть, совсем хорошо! — произнес, выслушав мою неумелую декламацию, Гоголь. — Еще, еще...

Он совершенно оживился, встал и опять начал ходить по комнате. Вид осторожно-задумчивого аиста исчез. Передо мною был счастливый, вдохновенный художник. Я еще прочел отрывки из Майкова.

— Это так же законченно и сильно, как терцеты Пушкина, — во вкусе Данта, — сказал Гоголь. — Осип Максимович, а? — обратился он к Бодянскому. — Ведь это праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды: и вождь от чресл его... А выбор сюжета, а краски, колорит?

Плетнев присылал кое-что, и я сам помню некоторые стихи Майкова.

Он прочел, с оригинальной интонацией, две начальные строки известного стихотворения из «Римских очерков» Майкова:

> Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!
> Под этаким небом невольно художником станешь!

— Не правда ли, как хорошо? — спросил Гоголь.

Бодянский с ним согласился.

— Но *то*, что́ вы прочли, — обратился ко мне Гоголь, — это уже иной шаг. Беру с вас слово — прислать мне из Петербурга список этих поэм.

Я обещал исполнить желание Гоголя.

— Да, — продолжал он, прохаживаясь, — я застал богатые всходы...

— А Шевченко? — спросил Бодянский.

Гоголь на этот вопрос с секунду промолчал и нахохлился. На нас из-за конторки снова посмотрел осторожный аист.

— Как вы его находите? — повторил Бодянский.

— Хорошо, что и говорить, — ответил Гоголь, — только не обидьтесь, друг мой... вы — его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления...

— Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? — с неудовольствием возразил Бодянский. — Это постороннее... Скажите о таланте, о его поэзии...

— Дегтю много, — негромко, но прямо проговорил Гоголь, — и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык...

Бодянский не выдержал, стал возражать и разгорячился. Гоголь отвечал ему спокойно.

— Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, — сказал он. — Надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. До-

минантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня — язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров. А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить ь уровень с Мольером и Шатобрианом!

— Да какой же это Жасмен? — крикнул Бодянский. — Разве их можно равнять? Что вы? Вы же сами — малоросс.

— Нам, малороссам и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, — продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной, — нетленная поэзия правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная побрякушка и не раздражающий личными намеками и счетами рыночный памфлет. Поэзия — голос пророка... Ее стих должен врачевать наши сомнения, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближним и прощения врагам. Это — труба пречистого архангела... Я знаю и люблю Шевченка как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо Того, Кто дал нам вечное человеческое слово...

Долго еще Гоголь говорил в этом духе. Бодянский молчал, но, очевидно, далеко не соглашался с ним. «Ну, мы вам мешаем, пора нам и по домам!» — сказал наконец Бодянский, вставая.

Мы раскланялись и вышли.

— Странный человек, — произнес Бодянский, когда мы снова очутились на бульваре, — на него как найдет! Отрицать значение Шевченка! Вот уж, видно, не с той ноги сегодня встал.

Вышеприведенный разговор Гоголя я тогда же сообщил на родину близкому мне лицу в письме, по которому впоследствии и внес его в мои начатые воспоминания. Мнение Гоголя о Шевченке я не раз при случае передавал нашим землякам. Они пожимали плечами и с досадой объясняли его посторонними, политическими соображениями, как и вообще все тогдашнее настроение Гоголя.

Вторично я увидел Гоголя вскоре после первого с ним свидания, а именно 31 октября. Повод к этому подала новая моя встреча у Бодянского с украинским певцом и полученное мною вслед за тем от Бодянского нижеследующее письмо, сохраненное у меня в целости, как и другие, нижеприводимые письма.

«*30 октября 1851 года, вторник.*

Извещаю вас, что земляк, с которым вы на днях виделись у меня, поет и теперь, и охотно споет нам у Гоголя. Я писал этому последнему; только пение он назначил не у себя, а у Аксаковых, которые, узнав об этом, упросили его на такую уступку. Если вам угодно, пожалуйте ко мне завтра, часов в 6 вечера; мы отправимся вместе. Ваш О. Б.»
В назначенный вечер, 31 октября, Бодянский, получив приглашение Аксаковых, привез меня в их семейство, на Поварскую. Здесь он представил меня седому плотному господину с бородой и в черном, на крючках, зипуне, знаменитому автору «Семейной хроники», Сергею Тимофеевичу Аксакову; его добродушной, полной и еще бодрой жене, Ольге Семеновне; их молодой и красивой, с привлекательными глазами дочери, девице Надежде Сергеевне, и обоим их сыновьям, в то время уже известным писателям-славянофилам, Константину и Ивану Сергеевичам. О моем дальнейшем знакомстве с этой замечательной литературной семьей я расскажу когда-нибудь в другое время. Здесь же ограничусь рассказом только о том, что касается моих встреч с Гоголем.

Гоголь в назначенный вечер приехал к Аксаковым значительно позже Бодянского и меня. До его приезда С. Т. Аксаков и его сыновья, разговорясь со мною о Петербурге, расспрашивали о Норове, Плетневе, Срезневском и других знакомых им писателях. Все посматривали на дверь, ожидая Гоголя и приглашенного певца. Ни тот, ни другой еще не являлись. Пока Бодянский говорил со стариками, ко мне подсел Иван Сергеевич. Сообщив ему о моем заезде с Бодянским к Гоголю, я спросил его, что слышно о втором томе «Мертвых душ», который всех тогда занимал. И. С. Аксаков ответил мне, что в начале октября Гоголь был у них в деревне Абрамцове, под Сергиевской лаврой, где читал отрывки из этого тома их отцу и потом Шевыреву, но взял с них обоих слово — не только никому не говорить о прочитанном, но даже не сообщать предмета картин и имен выведенных им героев.

— Батюшка нам передавал одно, — прибавил И. С. Аксаков, — что эта часть поэмы Гоголя, по содержанию, по обработке языка и выпуклости характеров, показалась ему выше всего, что доныне написано Гоголем. Надо думать, что Чичиков в конце этой части, вероятно, попадет за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири. С весны он затевает большое путешествие по России — хочет на многое взглянуть самолично, собственными глазами, назвучаться русскими звуками, русскою речью — и затем уже снова выступить на литературной сцене, с своими новыми образами. Все твердит: «Жизнь коротка, не успею»; встает рано, с утра берется за перо и весь день работает; ночью, в одиннадцать часов, — уже в постели.

— Мы видели у него груду исписанных бумаг, — сказал я.

— Он марает целые дести, — сказал И. С. Аксаков, — переделывает, пишет и опять обрабатывает; как живописец с кистью, то подойдет и смотрит вблизи, то отходит и вглядывается: не бросается ли какая-либо час-

тность слишком резко в глаза? Его только смущают несправедливые нападки.

— За «Переписку с друзьями»? — спросил я.

— Да, эти злобные клеветы, будто он возгнушался искусством, считает его низким и бесполезным! Вы его видели — это ли не истинный, преданный долгу художник? А его чуть не в глаза называли, за его душевную исповедь, изменником, обманщиком; приписывали ему низкие и подлые цели. Жалкая, оторванная от родной почвы кучка западников-либералов! Им чужда Россия, чужд ее своеобразный, верящий народ.

Подошел старик Аксаков. Он передал, что Гоголь все ждет от него живых «птиц», говоря, что и свои «души» он постарается сделать столь же живыми. Подъехал, наконец, Гоголь. Любезно поздоровавшись и пошутив насчет нового запоздания певца, он, после первого стакана чаю, сказал Над. С. Аксаковой: «Не будем терять дорогого времени» — и просил ее спеть. Она очень мило и совершенно просто согласилась. Все подошли к роялю. Н. С. Аксакова развернула тетрадь малорусских песен, из которых некоторые были ею положены на ноты с голоса самого Гоголя.

— Что спеть? — спросила она.

— «Чоботы», — ответил Гоголь.

Н. С. Аксакова спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни.

Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа. Заговорили о малорусской народной музыке вообще, сравнивая ее с великорусской, польской и чешской. Бодянский все посматривал на дверь, ожидая появления приглашенного им певца.

Помню, что спели какую-то украинскую песню даже общим хором. Кто-то в разговоре, которым прерывалось пение, сказал, что кучер Чичикова, Селифан, участвующий, по слухам, во втором томе «Мертвых душ», в сельском хороводе, вероятно, пел и только что исполненную песню. Гоголь,

взглянув на Н. С. Аксакову, ответил с улыбкой, что несомненно Селифан пел и «Чоботы», и даже при этом лично показал, как Селифан высоко-деликатными кучерскими движениями, вывертом плеча и головы, должен был дополнять среди сельских красавиц свое «заливисто-фистульное» пение. Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе. Но не прошло после того и десяти минут, Гоголь вдруг замолк, насупился, и его хорошее настроение бесследно исчезло. Усевшись в стороне от чайного стола, он как-то весь вошел в себя и почти уже не принимал участия в общей длившейся беседе. Это меня поразило. Зная его обычай, Аксаковы не тревожили его обращениями к нему и, хотя, видимо, были смущены, покорно ждали, что он снова оживится.

Что вызвало в Гоголе эту нежданную перемену в его настроении, новая ли, непростительная небрежность приглашенного певца, который и в этот вечер так и не явился, или случайное напоминание, в дорогой ему семье, о неоконченной и мучившей его второй части «Мертвых душ», — не знаю. Только Гоголь пробыл здесь еще с небольшим полчаса, посидел молча, как бы сквозь дремоту прислушиваясь к тому, о чем говорили возле него, встал и взял шляпу.

— В Америке обыкновенно посидят, посидят, — сказал он, через силу улыбаясь, — да и откланиваются.

— Куда же вы, Николай Васильевич, куда? — всполошились хозяева.

— Насладившись столь щедрым пением обязательного земляка, — ответил он, — надо и восвояси. Нездоровится что-то. Голова — как в тисках.

Его не удерживали.

— А вы долго ли еще здесь пробудете? — спросил Гоголь, обратившись, на пути к двери, ко мне.

— Еще с неделю, — ответил я, провожая его с Бодянским и И. С. Аксаковым.

— Вы, по словам Осипа Максимовича, перевели драму Шекспира «Цимбелин». Кто вам указал на эту вещь?

— Плетнев.

— Узнаю его... «Цимбелин» был любимой драмой Пушкина; он ставил его выше «Ромео и Юлии».

Гоголь уехал.

— Вот и ваш певец! Это он причиной! — напустились дамы на Бодянского. — Второй раз не сдержал слова.

Бодянский не оправдывал земляка.

— Действительно, из рук вон, даже вовсе грубо и неприлично! — сказал он с сердцем. — То я винил Щепкина и его вареники; а тут, вижу, нечто иное, — затесался, вероятно, в какую-нибудь невозможную компанию... Я же ему задам!

Был уже десятый час вечера. Подъехали еще некоторые знакомые Аксаковых, очевидно, также рассчитывавшие услышать малорусское пение и повидать здесь, кстати, лишний раз Гоголя, который всех тогда занимал. В числе последних я впервые в тот же вечер здесь увидел состоявшего в звании адъюнкта философии в Московском университете, белокурого, с небрежной прической и оживленными глазами, скромного моложавого человека в синем университетском вицмундире с серебряными пуговицами. Он сюда приехал с какого-то заседания. То был близкий знакомый Аксаковых, будущий знаменитый редактор-издатель «Русского вестника» М. Н. Катков.

На другой день после этого вечера тогдашний сотрудник «Москвитянина» Н. В. Берг пригласил меня, от имени С. П. Шевырева, на вечер к последнему. Здесь зашла опять речь о Гоголе, и Шевырев сообщил, что Гоголь, оставшись на днях недоволен игрой некоторых московских актеров в «Ревизоре», предложил, по совету Щепкина, лично прочесть главные сцены этой комедии Шумскому, Самарину и другим артистам.

Прошло еще два дня. Я уже со всеми простился и собирался уехать из Москвы, когда получил от Бодянского следующее письмо.

«4 ноября 1851 года, воскресенье. Мне поручили просить вас завернуть к Аксаковым. Они имеют к вам просьбу о доставке одного письма к кому-то в Малороссию. Ваш весь — О. Б.» К этому письму, доставленному мне слугой Аксаковых, была приложена следующая записка, писанная, в третьем лице, Н. С. Аксаковой, от имени ее матери: «Ольга Семеновна Аксакова, узнав, что г-н Данилевский еще в Москве, просит его очень заехать к ней, если только у него есть свободная минута». Я ответил Бодянскому, что уезжаю 6 ноября и что завтра постараюсь быть в назначенное время у О. С. Аксаковой.

Вечером 5 ноября, в понедельник, я подъехал на Поварской к квартире Аксаковых. Вышедший на мой звонок слуга объявил, что О. С. Аксакова очень извиняется, так как по нездоровью не может меня принять, а просит, от имени Сергея Тимофеевича и Ивана Сергеевича, пожаловать к Гоголю, куда они оба только что уехали и куда, по желанию Гоголя, они приглашают и меня. «Что же там? — спросил я слугу. — Чтение какое-то?» Я вспомнил слова Шевырева о предположенном чтении «Ревизора» и, от души обрадовавшись случаю не только снова увидеть Гоголя, но и услышать его чтение, поспешил на Никитский бульвар.

Это чтение описано И. С. Тургеневым, в отрывках из его литературных воспоминаний. В описание И. С. Тургенева вкрались некоторые неверности, особенно в изображении Гоголя, на которого он в то время глядел, очевидно, глазами тогдашней враждебной Гоголю и дружеской ему самому критики. Он не только в лице Гоголя усмотрел нечто хитрое, даже лисье, а под его «остриженными» усами ряд «нехороших зубов», чего в действительности не было, но даже уверяет, будто в ту пору Гоголь «в своих произведениях рекомендовал хитрость и лукавство раба». Вечер чтения он, также ошибочно, отнес к 22 октября; оно, как удостоверяют сохраненные у меня письма, было 5 ноября.

Чтение «Ревизора» происходило во второй комнате квартиры графа А. П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя. Стол, вокруг которого на креслах и стульях уселись слушатели, стоял направо от двери, у дивана, против окон во двор. Гоголь читал, сидя на диване. В числе слушателей были: С. Т. и И. С. Аксаковы, С. П. Шевырев, И. С. Тургенев, Н. В. Берг и другие писатели, а также актеры М. С. Щепкин, П. М. Садовский и Шумский. Никогда не забуду чтения Гоголя. Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», — произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришепетывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка невольно прерывал его. Высокохудожественное и оживленное чтение под конец очень утомило Гоголя. Его сил как-то вообще хватало не надолго. Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял чтеца и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова. Я подошел к С. Т. Аксакову и спросил его, какое письмо он или его жена, по словам Бодянского, предполагали доставить через меня в Малороссию.

— Не мы, а вот Николай Васильевич имеет к вам просьбу, — ответил С. Т. Аксаков, указывая мне на Гоголя. — Бодянский не понял слов моей жены, ошибся. Нам поручили вас предупредить, если вы еще не уехали.

— Да, — произнес, обращаясь ко мне, Гоголь, — повремените минуту; у меня есть маленькая посылка в Петербург, к Плетневу. Я не знал вашего адреса. Это вас не стеснит?

Я ответил, что готов исполнить его желание, и остался. Когда все разъехались, Гоголь велел слуге взять свечи со

стола из комнаты, где было чтение, и провел меня на свою половину. Здесь, в знакомом мне кабинете, он предложил мне сесть, отпер конторку, вынул из нее небольшой сверток бумаг и запечатанный сургучом пакет.

— Вы когда окончательно едете из Москвы? — спросил он меня.

— Завтра; уже взято место в мальпосте.

— Отлично; это как раз устраивает мое дело. Не откажите, — сказал Гоголь, подавая мне пакет, — если только вас не затруднит, вручить это лично, при свидании, Петру Александровичу Плетневу.

Увидев надпись на пакете «со вложением», я спросил: не деньги ли здесь?

— Да, — ответил Гоголь, запирая ключом конторку, — небольшой должок Петру Александровичу. Мне бы не хотелось через почту.

Видя усталость Гоголя, я встал и поклонился с целью уйти.

— Вы мне читали чужие стихи, — сказал Гоголь, приветливо взглянув на меня, и я никогда не забуду этого взгляда его усталых, покрасневших от чтения глаз. — А ваши украинские сказки в стихах? Мне о них говорили Аксаковы. Прочтите что-нибудь из них.

Я, смутясь, ответил, что ничего своего не помню. Гоголь, очевидно, желая во что бы то ни стало сделать мне что-либо приятное, опять посадил меня возле себя и сказал: «Кто пишет стихи, наверное их помнит. В ваши годы они у меня торчали из всех карманов». И он, как мне показалось, даже посмотрел на боковой карман моего сюртука. Я снова ответил, что положительно ничего не помню наизусть из своих стихов.

— Так расскажите своими словами.

Я передал содержание написанной мной перед тем сказки «Снегурка».

— Слышал эту сказку и я; желаю успеха, пишите! — сказал Гоголь. — В природе и ее правде черпайте свои кра-

ски и силы. Слушайте Плетнева... Нынешние не ценят его и не любят... А на нем, не забывайте, почиет рукоположение нашего первоапостола, Пушкина...

Я простился с Гоголем и более в жизни уже не видел его. Возвратясь в Петербург, я в тот же день вечером отвез врученные мне сверток и пакет к Плетневу. О свертке он сказал: «Знаю», и положил его на стол. Распечатав пакет и увидев в нем пачку депозиток, Плетнев спросил меня: «А письма нет?» Я ответил, что Гоголь, передавая мне пакет, сказал только: «Должок Плетневу». Плетнев запер деньги в стол, помолчал и с обычной своей добродушной важностью сказал: «Как видите, он и здесь верен себе; это — его обычное, с оказиями, пособие через меня нашим беднейшим студентам. Фицтум раздает и не знает, откуда эти пособия». А. И. Фицтум был в те годы инспектором студентов Петербургского университета.

При отъезде из Москвы мне и в голову не приходило, что дни Гоголя сочтены. Он на глаза мои и всех, видевших его тогда и говоривших со мною о нем, был на вид совершенно здоров и только изредка впадал в недовольство собою и в хандру и легко уставал.

Помня обещание, данное мною Гоголю при Бодянском, а именно о присылке ему новых произведений А. Н. Майкова, я обратился к последнему с просьбою дать мне, для снятия верной копии, рукопись его поэм. А. Н. Майков, по совету общего нашего ментора, профессора А. В. Никитенко, решил дать мне эти вещи, для доставления в Москву, не прежде, как он ознакомит с ними тогдашнего нашего общего начальника, А. С. Норова. Он прибавил, что, кстати, в это время займется и окончательной отделкой поэм. В конце января 1852 года я получил обещанное и известил Бодянского, что на днях высылаю Гоголю обе поэмы А. Н. Май-

кова, которые перед Новым годом, как я писал Бодянскому, были посылаемы от Плетнева Жуковскому и заслужили большие похвалы последнего. Бодянский на это ответил мне нижеследующим письмом, которое лучше всего может показать, как мало в то время московские друзья Гоголя помышляли о близкой утрате последнего. Это письмо писано за 19 дней до смерти Гоголя и, упоминая о нем «вскользь», как об «источнике сладостей», тем самым как бы говорило, что в обиходе этого источника все пока обстояло благополучно.

«*Москва, 1852 года, февраля 2.* Да, почтеннейший земляк, время летит, а с ним и мы летим и улетучиваемся. Славные часы были по осени у нас, редкие часы! Хотя и тут же, у источника этих сладостей, а все с тех пор ни разу не привелось отведать от него. Причина простая — семейство певуньи (Н. С. Аксаковой) живет большею частью в подмосковной. Что до Гоголя, то он, как вы знаете, живет на Никитском бульваре, в доме Талызина. Посылая ему произведения Майкова, не обойдите и меня. Я так мало имею случаев отведывать подобного плода. Вкус Жуковского хорош; стало быть, вдвойне наслаждение — познакомиться с хвалимым и проверить хвалителя. Не забывайте вашего земляка. О. Б-й».

Недели через две с половиной, по получении мной этого письма, в Петербурге нежданно, с особым упорством, заговорили о болезни Гоголя. Хотя этой болезни в то время не придавали особого значения, 18 февраля я обратился с письмом к И. С. Аксакову, прося его сообщить, чем именно заболел Гоголь и что сталось с его дальнейшей работой над «Мертвыми душами»? Ответ от Аксакова не приходил. И вдруг 24 февраля, разнеслась потрясающая весть, что Гоголь 21 февраля скончался. Пораженный этим, я тогда же написал к Бодянскому, прося его скорее сообщить хотя некоторые сведения об этой нежданной великой утрате. Вот ответ Бодянского:

«*28 февраля 1852 года, Москва.* Вы желаете, чтобы я написал вам о последних минутах Гоголя, о моих последних свиданиях с ним, о его смерти и бумагах на Москве, поте-

рявшей его. Не скажу, добродию, не скажу! И теперь я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь никоим путем. Все он, один он — в уме и в глазах! Когда-нибудь, может быть, соберусь с духом — порассказать вам. Нынче же замечу только: недели за две до смерти покойник видимо чах; он предчувствовал недоброе и потому на масленой говел и приобщился. В половине первой недели поста соборовался, а 21-го, в четверг, в 8 часов утра, его не стало. Болезнь — несварение желудка, от которой он не хотел вовсе лечиться. Последовало воспаление, за коим он впал в беспамятство. Всем нам едино — умрети. Но вот беда: он в ночь, часу во 2—3-м, сжег все свои бумаги дотла. Премного провинились окружавшие его, из коих одному он отдавал весь свой портфель, туго набитый; а тот, разумеется, поцеремонился, как сам потом имел еще дух рассказывать. Нема нашего Рудáго Панька больше, да и не буде, пóки свит стоять буде. Не забывайте вашего щираго земляка, О. Бодянского». После я узнал, что Гоголь свои бумаги отдавал было хозяину своей квартиры, графу А. П. Толстому, но тот, не желая показать виду, что считает положение своего гостя опасным, отказался их принять.

И. С. Аксаков на мои вопросы о болезни Гоголя ответил мне в том же феврале, но послал свой ответ уже в начале марта. Вот этот ответ: «Ваше письмо, любезнейший Г. П., было получено мною 21 февраля, в самый день смерти Гоголя. И как странно было мне читать это письмо, в котором вы беспрестанно о нем говорите, в котором вы просите матушку помолиться за Гоголя и за «Мертвые души». Ни того, ни другого больше не существует. «Мертвые души» сожжены, самая жизнь Гоголя сгорела от постоянной душевной муки, от беспрерывных духовных подвигов, от тщетных усилий отыскать обещанную им светлую сторону, от необъятности творческой деятельности, вечно происходившей в нем и вмещавшейся в таком скудельном сосуде. Сосуд не выдержал. Гоголь умер без особенной болезни. Со временем вы узнаете все подробности его жизни, мученичества и кончины. В настоящее время едва

ли прилично будет рассказывать о нем печатно нашему языческому обществу. Гоголь был истинный мученик искусства и мученик христианства. Художественная деятельность этого монаха-художника была истинно подвижническая. Теперь нам надо начинать новый строй *жизни — без Гоголя. — Весь ваш душою — Ив. Аксаков*».

Началась жизнь — «без Гоголя»... Отлично помню тогдашнее наше настроение. Мы, искренние поклонники великого писателя, были в неописанном горе еще потому, что он умер, осыпаемый бессердечными, злыми укоризнами и клеветами, не успев довести до конца своей главной, заветной работы. Вышла литография с изображением Гоголя в гробу. Ее раскупили нарасхват. Вслед за похоронами Гоголя произошел известный арест при полиции И. С. Тургенева и его высылка в деревню, за напечатание им в Москве заметки об умершем Гоголе, не пропущенной цензурою в Петербурге. Некоторые придавали этому объяснение, будто бы Тургенев поплатился за то, что в своей невинной заметке назвал «великим» Гоголя, которого, как сатирика, недолюбливало тогда высшее начальство. Дело было несколько иначе. Автор заметки поплатился не за ее содержание, а за несоблюдение формальностей цензурного устава. Когда статью И. С. Тургенева цензура не пропустила в «С.-Петербургских ведомостях», я получил от тогдашнего издателя последних, А. А. Краевского, следующее письмо: «Мне бы очень нужно было сказать вам два слова, Г. П. Не можете ли вы завернуть ко мне сегодня между 6 и 7 часами вечера? Пятница, 29 февраля. Ваш А. Краевский». Навестив г-на Краевского, я узнал от него, что статью Тургенева, после задержания ее цензором, не одобрил и М. Н. Мусин-Пушкин, тогдашний попечитель с.-петербургского учебного округа и председатель с.-петербургского цензурного комитета. Мусин-Пушкин, к сожалению, как и некоторые другие его сверстники, смотрел тогда на Гоголя глазами враждебной последнему «Северной пчелы» и потому не особенно высоко ценил произведения автора «Мертвых душ» и «Ревизора». А. А. Краевский го-

рячо восстал в защиту как Гоголя, так и И. С. Тургенева, автора поминальной заметки о нем. Он, вручив мне оттиск задержанной статьи Тургенева, обратился ко мне с просьбой сообщить о ее задержании высшей инстанции, а именно товарищу министра просвещения А. С. Норову, при коем я тогда состоял на службе, и просить о его ходатайстве за пропуск этой вполне невинной статьи перед министром просвещения князем П. А. Ширинским-Шахматовым, которому в то время был предоставлен высший надзор за цензурою. Норов, совершенно разделяя взгляд г-на Краевского, охотно взялся исполнить желание последнего и при первом же своем докладе сообщил это дело министру, ходатайствуя о пропуске остановленной статьи. Князь Ширинский-Шахматов не согласился на отмену распоряжения Мусина-Пушкина. Издатель «С.-Петербургских ведомостей А. А. Краевский и их редактор А. Н. Очкин покорились этому решению. Но задержанная статья, однако, мимо них, 13 марта явилась в «Московских ведомостях», где ее пропустил к печатанию попечитель московского учебного округа В. И. Назимов. Послали запрос в Москву. Назимов ответил, что ему не было известно о задержании статьи попечителем с.-петербургского учебного округа и самим министром просвещения. Начальство сочло себя обиженным. Статья, остановленная в одном цензурном округе, не могла явиться в другом. Нашли, что автор заметки сознательно нарушил это цензурное правило, и ему, после его ареста в середине апреля, предложили даже выехать из Петербурга в его орловское поместье. Я был тогда уже вне Петербурга. Эта высылка всех поразила. Толковали не о простом нарушении цензурных формальностей, а о том, будто автор «Записок охотника» написал по поводу кончины Гоголя нечто невозможно резкое. Его статья недавно помещена в его «Воспоминаниях». В ней, кроме нескольких сердечных, теплых слов о Гоголе, ничего более нет.

Проездом в отпуск через Москву я навестил Бодянского и съездил с ним в Данилов монастырь, на могилу Гоголя.

— Вы едете в Харьковскую губернию? — спросил меня при этом Бодянский.

— Да, в окрестности Чугуева.

— Что бы вам с вашего Донца проехать в Полтаву? Побывали бы в деревне Гоголя. Там теперь его мать и сестры. Им будет приятно услышать о нем, вы лично видели его осенью.

— А и в самом деле, — сказал я. — Рудый Панько не одного меня, с нашего детства, звал к себе на хутор. Но как туда проехать?

Бодянский вызвался справиться о пути на родину Гоголя, предупредить о моем заезде его мать и сестер и прислать мне к ним письмо, а также подробный туда маршрут, по почтовой дороге и проселкам. Он сдержал слово. Недели через две по прибытии на родину я получил от него обещанное письмо и маршрут и решил навестить с детства меня манивший «хутор близ Диканьки».

II

Это было через два с половиною месяца по кончине Гоголя, в мае 1852 года.

Из-под Чугуева, где я гостил у своей матери, я отправился на почтовой перекладной, через Харьков, в Миргород, а оттуда на Колонтай, Опошно и Воронянщину, в село Яновщину (Васильевка тож), на родину Гоголя, близ Диканьки. Дорога от реки Ворсклы шла кочубеевскими степями. Поля в ту весну еще не видели косы и пышно зеленели. Цветы пестрели роскошными коврами. Голова кружилась от их благоухания.

Был полдень. Лошади лениво тащились, срывая на ходу головки махровых султанчиков. Из тележки, слегка нагибаясь, я нарвал целый их букет. Невольно вспоминались картины из «Тараса Бульбы». Те же пышные кусты репейника, будто косари в алых шапках, торчали над травой, с своими

колючими косами, тот же длинный желтый дрок и белая кашка. Огромная дрофа, как страус, подняв голову, осторожно пробиралась по зеленеющей пшенице, невдали от телеги. Стаи кузнечиков, поднимаясь с дороги, перед лошадьми, летели и падали в траву голубыми и розовыми крылатыми ракетами.

— Где хутор Гоголя? — спрашивал я изредка встречавшихся путников.

— Гоголя? Не знаем! — отвечали они.

Я догадался объяснить, что хутор называется Васильевка или Яновщина.

— Яновщина? Знаем, пане, знаем! Вот туда дорога.

И мне указали проселок к Гоголю-Яновскому, в село Васильевку «Ру́даго Панька».

От Опошни до села Воронянщины я ехал, вследствие нестерпимого жара, почти шагом. Всю дорогу за мной, сидя на возу с корзинами спелой шелковицы, ехал на волах толстый поселянин-казак, свесив ноги с воза, лениво сгорбясь, напевая и покачиваясь от одолевавшей его дремоты. Встречавшиеся на пути толчки будили его; он просыпался и снова пел одно и то же.

Стало прохладнее. Я поехал рысью.

До села Яновщины оставалось версты три. Оно было спрятано за косогором.

Я остановился в соседнем хуторе Воронянщина, вследствие соскочившей колесной гайки, которую ямщик пошел отыскивать. Я присел в тени, на призбе ближайшей хаты. Ее хозяйка, с грудным ребенком на руках, приветливо разговорилась со мной из сеней, где в прохладе сидели еще другие дети. Зашла речь о их соседе, Гоголе-Яновском.

— То не правда, что толкуют, будто он умер, — сказала она. — Похоронен не он, а один убогий старец; сам он, слышно, поехал молиться за нас в святой Иерусалим. Уехал и скоро опять вернется сюда.

Странная вещь. Соседние хуторяне, как я удостоверился в то время, действительно, может быть, ввиду частого и

продолжительного пребывания Гоголя за границей, долго были убеждены, что он не умер, а находится в чужих краях. Некоторые из них, обязанные ему чем-нибудь в жизни, даже гадали по нем, ставя на ночь пустой поливянный горшок и сажая в него паука. Об этом мне передала мать Гоголя, которую все соседи близко знали и любили. По местному поверью, если паук вылезет ночью из горшка с выпуклыми, скользкими стенками, то человек, по котором гадают, жив и возвратится. Паук, на которого хуторянами было возложено решить, жив ли Рудый Панько, ночью заткал паутиной бок горшка и по ней вылез; но Гоголь, к огорчению гадавших, не возвратился.

Хутор Яновщина выглянул, наконец, между двух зеленых отлогих холмов. С дороги стала видна на широкой поляне каменная церковь с зеленой крышей. За церковью, спадая в долину, виднелись белые избы хутора вперемежку с садами; слева от церкви — левада, род огромного огорода, обсаженная со стороны хутора липами и вербами. Ограда церкви — сквозная, в виде решетки, из окрашенных желтой и белой краской кирпичей. На пути к церкви, примыкая к избам хутора, виднелась другая ограда. За нею показался господский деревянный дом, с красной деревянной крышей, в один этаж; направо от него — флигель, налево — хозяйские постройки, кухня, амбар и конюшня. За домом, спускаясь к болотистому логу, зеленел старый, тенистый сад; за садом виднелись вырытые в долине пруды, за ними — неоглядные зеленые равнины украинской степи. Пруды вырыл отец Гоголя, бывший усердным хозяином.

Я въехал во двор. По его траве бегали дворовые ребятишки. Телега остановилась у крыльца. Я встал, отряхивая с себя густую дорожную пыль. Никто не слышал стука телеги, и я тщетно посматривал, к кому обратиться с вопросом о хозяевах. Все было тихо. Чуть шелестели листья ясеней у садовой ограды. Звонко куковала кукушка в деревьях за церковью. Я вошел в дом. Меня встретили в трауре мать и две девицы — сестры покойного Гоголя, Анна Васильевна

и Ольга Васильевна. Его третья сестра, Елизавета Васильевна, при его жизни, минувщею осенью, вышла замуж за г-на Быкова и тогда находилась в Киеве. Я вручил матери Гоголя письмо Бодянского. После первых приветствий мне дали умыться, переодеться, закусить. В гостиной, за чаем, меня осыпали вопросами о моих осенних встречах с Николаем Васильевичем. Оказалось, что Шевырев, видевшийся с Бодянским после моего проезда через Москву, предупредил мать Гоголя о моем заезде и меня здесь уже ожидали. Эти черные шерстяные платья, эти полные горькой скорби лица и эти слезы близких великого писателя потрясли меня до глубины души. Марья Ивановна, мать Гоголя, говорила о сыне с глубоким, почти суеверным благоговением.

— Моего сына, — сказала она, отирая слезы, — знал сам государь и за его писательство велел считать его на службе и отпускать ему жалованье. Не пожил покойный, не послужил родине!

— Ваш сын долго отсутствовал за границей?

— Почти восемнадцать лет; но он и там служил пером своей родине.

Мы прошли в сад. Но прежде опишу дом. Гоголь в последние четыре года, в свои приезды к матери, обыкновенно помещался во флигеле, направо от большого дома. Здесь он, по словам его близких, работал и над вторым томом «Мертвых душ», с 20 апреля по 22 мая 1851 года, в последнее свое пребывание в Яновщине.

Флигель — низенькое продолговатое строение, с крытой галереей, выходящей во двор. Ветхие ступени вели на крыльцо; из небольших сеней был вход в просторную комнату, род залы, а отсюда в гостиную.

В этой гостиной и в кабинете поочередно работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда, заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Также точно он, по ее словам, не мог несколько ночей сряду и спать в одной и той же комнате. Трудно это приписать, как это объяснили

впоследствии, мухам, которых на юге весною почти не бывает, или беспокойству от солнечных лучей; во всех комнатах флигеля я застал в мой заезд на окнах занавески. Окна гостиной выходили в особый палисадник у флигеля, огражденный высокими тополями. За ними был вид на избы хутора и на степь.

Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания и имел особый выход в сад. Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда не выходил иногда по целым дням, являясь в дом только к обеду и вечернему чаю. Это комната в десять шагов длины и в четыре шага ширины. Два небольших ее окна выходят во двор, между ними зеркало. На окнах белые кисейные занавески. Влево от двери — печь; вправо — дубовый шкаф для книг. Этот шкаф был заказан Гоголем летом 1851 года и окончен уже без него. Влево от печи стояла деревянная простая кровать, покрытая ковром. Кроме писания, во флигеле Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров — сам рисовал для них узоры, — и это занятие, с разведением деревьев в саду, составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха. Над кроватью в углу висел образ св. угодника Митрофания. Рабочий стол Гоголя помещался между печью и кроватью, у забитой, лишней двери. Это на высоких ножках конторка, из грушевого дерева, с косой доской, покрытой кожей. На верхней части конторки с двух сторон вделаны чернильница и песочница. На стене, над конторкой, висел привезенный Гоголем из Италии Нерукотворенный образ Спасителя, писанный масляными красками.

Дом, где помещались мать и сестра Гоголя, выстроен удобно. По стенам были развешаны старинные портреты Екатерины Великой, Потемкина и Зубова и английские гравюры, изображающие рыночные и рыбачьи сцены в Англии. В зале стоял рояль, за которым Гоголь, по словам его матери, иногда любил наигрывать и петь свои любимые украинские песни, особенно веселые и плясовые.

— Он иногда смешил нас до упаду, — сказала мне М. И. Гоголь, — сам казался весел, хотя в душе оставался постоянно задумчивым и печальным.

Кстати, о матери Гоголя. Она — урожденная Косяровская, дочь чиновника. Когда я впервые увидел ее по приезде в Яновщину, меня поразило ее близкое сходство с ее покойным сыном: те же красиво очерченные, крупные губы, с чуть заметными усиками, и те же карие нежно-внимательные глаза. Она была в белом чепце и без малейшей седины. Ее полные, румяные, без морщин щеки говорили, как была в молодости красива эта еще и в то время замечательно красивая женщина.

— Покойный брат, — сказала мне старшая сестра Гоголя, когда мы вышли в сад, — все затевал исправить, перестроить дом — переделать в нем печи, переменить двери, увеличить окна и перебрать полы. Зимою у вас холодно, писал он, надо иначе устроить сени. Оштукатурили мы дом особым составом, по присланному из-за границы рецепту. Сам он не выносил зимы и любил лето — не натопленное тепло.

Старый дедовский сад, где так любил гулять Гоголь, расположен во вкусе всех украинских сельских садов. Его деревья высоки и ветвисты. По сторонам тенистой дорожки, идущей вправо от садового балкона, Гоголь в последнее здесь пребывание посадил с десяток молодых деревцев клена и березы. Далее, на луговой поляне, он посадил несколько желудей, давших с новой весной свежие и сильные побеги. Влево от балкона другая, менее тенистая дорожка идет над прудом и упирается во второй, смежный с ним пруд. По этой дорожке особенно любил гулять Гоголь. Возле нее на пригорке стояла деревянная беседка, разрушенная бурею вскоре за последним отъездом Гоголя из Яновщины. Тут же, недалеко, в тени нависших лип и акаций, был устроен небольшой грот с огромным диким камнем у входа. На этом камне Гоголь, по словам его матери, играл, будучи еще ребенком по третьему году. Через сорок лет после этой поры

он любил садиться на этот камень, любуясь с него видом прудов и окрестных полей.

На дальнем пруде, за садом, стояла купальня. К ней ездили на небольшом двухвесельном плоте. Купальню Гоголь устроил для себя, но пользовался ею не более трех раз. За прудом — широкая поляна, обсаженная над берегом вербами и серебристыми тополями, за которыми Гоголь ухаживал с особым участием.

— Вон туда, за церковь, — заметила Марья Ивановна, указывая за сад, — сын любил по вечерам один ходить в поле.

Это был проселок в деревни Яворщину и Толстое, куда нередко в прежнее время, бывая здесь, Гоголь хаживал пешком в гости, своеобразно рассказывая друзьям, как он совершал возвратный путь, пополам «с подседом на чужие телеги», а потом опять «с напуском пехондачка». За последние годы он почти никого не посещал из соседей. Гоголь в деревне вставал рано; в воскресные дни посещал церковь; в будни тотчас принимался за работу, не отрываясь от нее иногда по пяти часов сряду. Напившись кофе, он до обеда гулял. За обедом старался быть веселым, шутил, рассказывал импровизированные анекдоты и все предвечернее время оставался в кругу семьи, хотя иногда среди близких, как и среди знакомых, любил и просто помолчать, слушая разговоры других. Вечером он опять гулял, катался на плоту по прудам или работал в саду, говоря, что телесное утомление, «рукопашная работа» на вольном воздухе освежают его и дают силу писательским его занятиям. Гоголь в деревне ложился спать рано, не позже десяти часов вечера. Оставаясь среди семьи, он в особенности любил приниматься за разные домашние работы; кроме рисования узоров для любимого его матерью тканья ковров, он кроил сестрам платья и принимал участие в обивке мебели и в окраске оштукатуренных при его пособии стен. Я застал гостиную в доме его матери, раскрашенную его рукой, в виде широких голубых полос по белому полю, зал — с белыми и желтыми полосами.

Из соседей Гоголя не многие посещали его. Иные боялись обеспокоить его среди литературных занятий; другие, из старых друзей, в то время не жили в своих поместьях; а третьи, по странному мнению о характере сатирических писателей, просто боялись его. Вообще соотечественники-полтавцы чуждались и недолюбливали его. Да и Гоголь, особенно после изданной им «Переписки с друзьями», упорно избегал свидания с соседями, говоря в шутку сестрам, что прежде, чем явится кто-либо из окрестных знакомых, того и гляди уже выскочит «длинноязыкий бестия-черт», распускающий сплетни. Посторонними собеседниками Гоголя из его соседей изредка были большей частью простолюдины-хуторяне, убогие и несчастные, которым он часто помогал. Оба священника села Васильевки в последние заезды сюда Гоголя были отъявленные пьяницы. Поневоле он переписывался с отдаленным священником города Ржева.

К украшениям дома в Яновщине в последнее здесь пребывание Гоголя прибавились его чрезвычайно схожий портрет, писанный в 1840 году масляными красками Моллером (этот портрет был привезен Гоголем в подарок матери из Петербурга), и трость из пальмовой ветви, с которою Гоголь путешествовал по Святой Земле.

— Мы его с прошлой осени ждали на всю зиму в деревню, — сказала мне мать Гоголя, — он сперва думал ехать в Крым, хотя говорил, что Крым прелесть, но без людей там — тоска. Зимою он почти никогда не жил в деревне.

— Почему?

— Он это объяснял тем, что в деревне в ненастную погоду он более хворает, чем в городе. Ему каждый день были нужны прогулки, и он предпочитал Москву, где все дома просторнее и теплее и где для прогулок пешком устроены хорошие тротуары.

— Он и при мне выражал сожаление Бодянскому, — сказал я, — что не попал на свадьбу сестры — по нездоровью и из-за осенней погоды.

— А уж как он этого хотел, — заметила мать Гоголя. — Мечтал в подарок новобрачной купить небольшую коляску и в ней приехать на свадьбу. На покупку у него, очевидно, не хватило денег.

Гоголь, пославший через меня Плетневу пособие бедным студентам, действительно, сам нуждался в средствах к жизни. Надо вспомнить, что в то же время книгопродавцы, скупившие остатки последнего издания его сочинений, распускали слух, что нового издания почему-то не будет, и продавали каждый его экземпляр по сто рублей.

Гоголь, по словам его матери, родился 19 марта 1809 года в селе Сорочинцах, в двадцати верстах от Яновщины. Через три года исполнится восемьдесят лет со дня его рождения. Марья Ивановна Гоголь имела до него других детей, из которых ни один не жил более недели, вследствие чего появления на свет нового дитяти она ожидала с грустным и тяжелым раздумьем: будет ли ему суждено остаться в живых? Родился мальчик, которого назвали Николаем. Новорожденный был необыкновенно слаб и худ. Долго опасались за его жизнь. Через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину. Несмотря на слабый организм, он, однако, скоро показал, что не в теле сила человека. Трех лет от роду он уже сносно разбирал и писал слова мелом, запомнив алфавит по рисованным, игрушечным буквам.

Пяти лет от роду Гоголь, по словам его матери, вздумал писать стихи. Никто не понимал, какого рода стихи он писал. У его домашних осталось воспоминание, что известный украинский литератор Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось, просьбами и ласками, склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил о содержании выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: «Из него будет большой та-

лант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» Склонность Гоголя к стихам проявлялась в нем впоследствии еще не один раз. По словам его матери, он в нежинском лицее написал стихотворение «Россия под игом татар». Эту никогда не напечатанную вещь Гоголь тщательно переписал в изящную книжечку, украсил ее собственными рисунками и переслал матери из Нежина по почте. Из всего содержания этой поэмы, увезенной им впоследствии из Яновщины и, вероятно, истребленной, мать покойного вспомнила мне только окончание, а именно следующие два стиха:

Раздвинув тучки среброрунны,
Явилась трепетно луна.

Гоголь, начав впоследствии писать исключительно прозой, обыкновенно молчал о своих первых стихотворных попытках. О сожжении им изданной своей поэмы «Ганс Кюхельгартен» мне рассказал свидетель этого аутодафе, его бывший камердинер и повар Яким, состоявший во время моего приезда в Яновщину дворецким и ключником. Застенчивый и робкий Яким передал мне, что его покойный барин однажды в Петербурге пришел домой сильно не в духе и послал его скупать и отбирать по книжным лавкам отданные на комиссию книгопродавцам синенькие книжки, на которых было заглавие: «Ганс Кюхельгартен». Были собраны, привезены и без всякого сожаления сожжены около шестисот этих книжек. Кстати, об этом Якиме. Узнав, в 1837 году, о смерти Пушкина, он неутешно плакал в передней Гоголя.

— О чем ты плачешь, Яким? — спросил его кто-то из знакомых.

— Как же мне не плакать... Пушкин умер.

— Да тебе-то что? Разве ты его знал?

— Как что? И знал, и жалко. Помилуйте, они так любили барина. Бывало, снег, дождь и слякоть в Петербурге, а они в своей шинельке бегут с Мойки, от Полицейского моста, сюда, в Мещанскую. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи.

Зная об этом слуге Гоголя от Плетнева, я стал расспрашивать Якима о времени знакомства Гоголя с Пушкиным. По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: «Пишите, пишите», а от его повестей хохотал и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе. Накануне отъезда Гоголя, в 1836 году, за границу, Пушкин, по словам Якима, просидел у него в квартире, в доме каретника Иохима, на Мещанской, всю ночь напролет. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее свидание великих писателей. В 1837 году Пушкин скончался. Гоголь по возвращении из чужих краев уже не застал его в живых.

Мать Гоголя мне передавала, что первые годы отрочества он провел со своим младшим, рано умершим братом Иваном. Отец Гоголя, ездя в поле с сыновьями, иногда задавал им дорогой темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи. Гоголь-отец сам сочинял театральные комические пьесы для домашней сцены в семействе Трощинских, которые оказывали особое внимание ему и его старшему сыну. Комедии своего покойного отца Гоголь взял с собой от матери при отъезде в Петербург, для того чтобы их напечатать. Неизвестно, какой участи они подверглись, так как впоследствии никто их не видел, за исключением выписок из них, послуживших эпиграфами к некоторым из повестей Гоголя.

Смерть младшего брата до того поразила отрока-Гоголя, что были принуждены отвезти его в нежинский лицей, чтобы отвлечь мысли его от могилы брата. Здесь Гоголь вскоре оправился и из хилого, болезненного ребенка стал сильным, веселым и падким до разных потех и шалостей юношей. Страстный поклонник всего высокого и изящного, он на школьной скамейке тщательно переписывал для себя на самой лучшей бумаге, с рисунками собственного изобретения, выходившие в то время в свет поэмы «Цыгане», «Полтава»,

«Братья разбойники» и главы «Евгения Онегина». По окончании курса в нежинском лицее Гоголь у матери отпросился в Петербург, где некоторое время усердно занимался живописью и иностранными языками.

В 1829 году Гоголь неожиданно уехал за границу. Добравшиись до Любека, он написал матери покаянное письмо (она мне давала его читать), изложил в нем свои разочарования в местах, к которым он так жадно стремился, приложил к письму очерк улицы, в которой остановился, и, увидев близкий конец своих скудных денежных средств, с грустью возвратился в Петербург.

Мать Гоголя, на расставание со мной, узнав, что я еду в Киев, просила меня доставить туда письмо и небольшую посылку ее замужней дочери, Ел. В. Быковой, от которой она давно в то время не получала известий. Местожительство г-жи Быковой в Киеве мне помог найти тамошний, тогда уже известный профессор медицины, доктор Ф. С. Цыцурин, знавший и не однажды лечивший Гоголя, от которого у него бережно хранился экземпляр «Мертвых душ» с дружеской на нем надписью автора. У доктора Цыцурина, кстати сказать, я застал при этом молодого тогдашнего ученого, впоследствии киевского профессора и нынешнего министра финансов Н. Х. Бунге.

Прошло более тридцати четырех лет. С тех пор из семейства Гоголя я никого не видел. Мне в год смерти Гоголя привелось набросать и напечатать в одной из газет очерк его родной усадьбы. Других, более подробных о ней сведений я после того не встречал в печати. Часто думалось мне с тех пор: «Что ныне сталось с Яновщиною-Васильевкою? Целы ли в ней дом и флигель, где в последнее время жил великий писатель, сохраняются ли тамошние сад и пруды, и благополучно ли растут посаженные руками Гоголя деревья?»

Набросав давно эти воспоминания, я не решался их печатать, не собрав сведений о дальнейшей судьбе семейства Гого-

ля. Меня также занимал вопрос: почему ни в одном из наших иллюстрированных изданий доныне не помещено изображений усадьбы знаменитого автора «Тараса Бульбы» и «Вечеров на хуторе близ Диканьки»? В Полтаве и в Киеве с его смерти перебывали многие наши даровитые художники; фотография в этих городах развилась с тех пор и процветает. Неужели же никому из местных фотографов, рассуждал я, не пришло в голову снять для печати виды Васильевки? Время не ждет и легко может снести последние следы деревенского жилища дорогого писателя, которому между тем мы собираемся ставить памятник. Летом 1886 года я узнал, что в Полтавской губернии благополучно здравствуют две сестры Гоголя, которых я тридцать четыре года назад видел в Яновщине, а именно: Анна Васильевна Гоголь — в городе Полтаве и Ольга Васильевна Головня — в родном их селе Васильевке.

На мои обращения с вопросами в Полтаву я получил от почтенной Анны Васильевны Гоголь ответ, за который приношу ей глубочайшую признательность. Привожу отрывки из ее писем ко мне, давших мне возможность значительно дополнить мою статью. Анна Васильевна Гоголь мне сообщила, между прочим, следующее:

«Как я вам благодарна, что вы прислали мне прочесть ваши воспоминания! Отвечаю по пунктам на ваши вопросы.

Наша мать умерла 76 лет, в 1868 году, в деревне Васильевке, скоропостижно, на первый день Светлого праздника; вероятно, не побереглась после семинедельного поста. Она до смерти была очень моложава и бодра; у нее не было морщин и седины. С нею тогда жила меньшая наша сестра Ольга, с мужем, отставным майором Головня, который держал наше имение в аренде. Сестра Ольга с тех пор овдовела и имеет трех детей, замужнюю дочь и двух сыновей, Николая и Василия Яковлевичей, служащих в Ахтырском драгунском полку, в Белой Церкви. Наша деревня Васильевка разделилась на две части — сестре Ольге и старшему сыну покойной сестры Елизаветы Васильевны Быковой, Ник. Влад. Быкову, который женат на Марье Александровне Пушкиной, внучке поэта.

По жребию, старая усадьба (двор, сад и пр.) досталась сестре Ольге, а племянник, Николай Быков, построил себе новую усадьбу, за прудом, в другом саду, где теперь и живет, имея двух малолетних детей, сына Александра и дочь Елизавету. Он служил в Нарвском гусарском полку, во время командования им А. А. Пушкиным (сыном поэта), где женился на его дочери.

Старая наша усадьба в запустении, особенно флигель для гостей, в котором брат останавливался в последнее время. Сад запущен, заглох; гротик завалился. Старый повар Яким умер в прошлом, 1885 году в деревне, у женатого своего сына, а его дочь Наталья с десятилетнего возраста у меня в услужении. Она была некоторое время замужем, но, овдовев, опять поступила ко мне.

Портрет брата масляными красками (работы Моллера) у меня; он попорчен, и потому я никому его не даю. У меня же его шкап для книг и конторка. Из прочих вещей брата почти ничего не сохранилось. Имение (Васильевка) не было во владении брата. Мать владела им пожизненно, по завещанию свекрови. Крестьяне-соседи звали ее «барыня из Яновщины». Это имение некогда было заложено, но выкуплено уже давно. В нем, за наделом крестьян, осталось на две части около 700 десятин. Я удовольствовалась частью выкупной ссуды и живу в Полтаве, близ племянницы М. В. Рахубовской. Ее меньшой брат, Ю. В. Быков, в Петербурге служит в лейб-казаках (в лейб-атаманском Е. И. В. Наследника Цесаревича полку).

Н. П. Трушковский, сын старшей нашей сестры Марьи Васильевны, умершей в 1844 году, остался круглым сиротой с одиннадцати лет; учился в гимназии, потом в Казанском университете, по факультету восточных языков; кончил курс в С.-Петербургском университете кандидатом. Он занимался изданием сочинений покойного брата, но заболел и умер в помешательстве. Я с моею матерью ездила за ним в Москву. Это была славная личность! Я его очень любила.

Из соседей, знакомых брата, никого уже нет в живых. В деревне Толстое, в шести верстах от нас, жили Черныши, ко-

торых брат любил. Особенно же был дружен с детства с А. С. Данилевским[1]. Не знаю, жив ли последний. Он ослеп и жил в Сумском уезде, у родных жены; у них было трое детей. Приезжая в деревню летом в последние четыре года, брат прежних знакомых уже не нашел, а новых знакомств не любил, рад был, что наша деревня в глуши, не на большой дороге.

Сестра Елизавета Васильевна вышла замуж, как вы знаете, при брате; она овдовела, после его смерти через десять лет; прожила вдовою еще четыре года и умерла, оставив пятерых детей. Теперь самому меньшему из них, Ю. В. Быкову, 25 лет.

Брат никогда не любил говорить о своих сочинениях, даже намека о них не допускал. Если, бывало, кто-нибудь заговорит о них, он хмурился, переменял разговор или уходил. В последнее время его письма были всегда грустные и строгие, а прежде в институт он нам писал веселые письма и часто шутил, особенно с сестрою Ел. В. Быковой. Письма брата к нам, потом в деревню, были наполнены наставлениями. Он боялся, чтобы мы не скучали — весь день были бы в занятиях и более делали бы моциона; боялся, чтобы нас не занимали наряды, и внушал нам, что очень стыдно при ком-нибудь говорить о нарядах.

Сестра Ел. Вас. Быкова в 1862 году была у нас с детьми в деревне, когда ее муж, подполковник, командовавший саперным батальоном в Тифлисе, был назначен на такую же должность в Гури-Кальварию, близ Варшавы, куда и уехал заготовлять квартиру, чтобы взять свою семью. Вдруг получаем известие, что он умер... Бедная сестра чуть не потеряла рассудка! Я с нею переехала в Полтаву. Ее старшая десятилетняя дочь Марья Влад. (впоследствии Рахубовская) поступила в полтавский институт. Через четыре года сестра Елиз. Васильевна умерла. По ее смерти я с ее детьми жила в Полтаве.

[1] Имя жены А. С. Данилевского, Юлия, Улинька, дало Гоголю, как слышно, мысль назвать героиню второй части «Мертвых душ» Улинькою. — *Г. Д.*

Еще о старой усадьбе. На месте теперешнего нашего деревенского дома был другой; там брат провел детство, Его рисунок, работы брата, хранится у меня. Теперешний дом, где вы когда-то были, я помню, долго стоял недостроенный. На нем был мезонин, который потом сняли. На этом мезонине одна комната была наскоро отделана, для приезда брата из Нежина, и я помню, что мы, сестры, детьми ходили к нему туда по узенькой лесенке.

Из посаженных братом деревьев в обоих садах сохранилось несколько кленов. Это было его любимое дерево. Дубки он садил желудями; они почти все пропали. Я редко езжу в деревню. Грустно видеть разрушение. Новая усадьба племянника Николая иногда интересует; но я езжу туда только с кем-нибудь; одной скучно и сорок верст от Полтавы.

Брат считал нас двух сестер (Елизавету и Анну) своими воспитанницами, потому что сам поместил нас в институт в Петербурге. Он заставлял нас переводить. Дал мне раз немецкую статью, где сравнивали брата с Погодиным. И когда я затруднилась перевести фразу: «Pogodin ist ein umgekehrter Gogol», он посоветовал мне перевести так: «Погодин — вывороченный Гоголь». При этом он старался нас уверить, что наши переводы «очень нужны», сам их поправлял и давал нам награды за них. Бумаги брата, бывшие в его чемодане, пропали; цел один чемодан».

Желательно было бы видеть в печати те «веселые» письма Гоголя к его сестрам, о которых упоминает почтенная Анна Васильевна. То была лучшая, светлая пора Гоголя, когда он писал С. Т. Аксакову: «О себе скажу вам, что моя природа совсем не мистическая». Живя летом близ Петербурга, на Поклонной горе, на даче Гюнтера, и избегая журнальной среды, он писал друзьям, что журнальные занятия «выветривают душу», и стремился к родному югу, к южной весне. «Что это такое весна? — писал он тогда. — Я ее не знаю, не помню! Позабыл совершенно, видел ли ее когда-нибудь?» В светлые

часы Гоголь любил шутить не только с сестрами, но и с друзьями, утешая их, по-своему, в их жизненных неудачах. «Это все дело нашего общего приятеля — черта, — писал он друзьям, — бейте эту длиннохвостую скотину по морде. Дайте грусти киселя, да еще с пидплеснем...» (т. е. с пришлепкой). Невольно вспоминается чернильница, пущенная Лютером в беса. Приятелям-сверстникам Гоголь щедро раздавал шутливые советы и прозвища, оставшиеся необъясненными в изданных его письмах: Барончик, Доримончик, Фононтик, Купидончик, Хопцики и пр. «О, моя юность! О, моя свежесть!» — восклицал впоследствии великий писатель об этой своей веселой и светлой поре.

Анна Васильевна Гоголь обязательно прислала мне также фотографию дома и части усадьбы села Васильевки, исполненную В. А. Волковым, имевшим недавно собственную фотографическую мастерскую в Полтаве. При этой фотографии она доставила мне, по моей просьбе, и исполненный Н. В. Гоголем акварельный рисунок «старого дома» Васильевки, где Гоголь провел свое детство. Оба эти рисунка переданы мною редакции «Исторического вестника».

Русские читатели, без сомнения, с особым удовольствием узнают из вышеприведенных мной писем Анны Васильевны Гоголь, что внучка великого нашего поэта Пушкина сочеталась браком с племянником Гоголя, бывшего некогда в искренней дружбе с Пушкиным. Последний, как известно, еще при жизни уже духовно сроднился с Гоголем: он дал ему сюжеты лучших его произведений — «Мертвых душ» и «Ревизора».

1886 г.

СТОРИЯ О ГОСПОДЕ И О ЗЕМЛЕ

(К ВОСПОМИНАНИЯМ О ГОГОЛЕ)

Осенью 1851 года Гоголь в разговоре со мной в Москве о собирании народных малорусских песен, преданий и былин, спросил меня, слышал ли я когда-нибудь любопытную украинскую легенду о том, как Господь создал землю. На мой ответ, что этого мне не удавалось слышать, он сказал: «Интересно было бы найти и записать эту легенду. В моей памяти осталось о ней кое-что, совершенно отрывочное и смутное; а надо думать, что у народа об этом сохранилась целая своеобразная космическая поэма. И если теперь, когда забывается многое, слышанное от дедов, трудно найти эту легенду целиком, то хорошо было бы записать ее хотя бы по частям». На мой вопрос, что же именно осталось у него в памяти из этой легенды, Гоголь ответил: «Не спрашивайте; так, какие-то осколки, труха, без связи, начала и конца... Что-то тут, помню, проделывал сатана, был уличен, и только...»

После смерти Гоголя я не раз вспоминал о своем разговоре с ним и в разъездах по Новороссии и Малороссии тщетно допытывался о занимавшей его легенде. Те, кого я о ней спрашивал, отзывались неведением. И вот однажды, совершенно случайно, мне удалось услышать простодушный народный рассказ не только о том, как Господь сотворил землю, но и как он потом, в виде нищего, ходил по ней — спасать грешных людей. Я тогда же записал и переслал слышанное М. А. Максимовичу, известному собирателю украинских преданий, вскоре потом, к сожалению, умершему. Что

сделал последний с моим рассказом и куда попали его бумаги, между которыми мог сохраниться и записанный мною рассказ, — мне неизвестно.

Перебирая недавно свои старые письменные материалы, я среди них нашел черновой набросок слышанной мною легенды. Привожу его здесь в том виде, как я тогда его записал.

...Это случилось в половине апреля, во время половодья, у Екатеринослава. Мне пришлось долго ожидать переправы через Днепр. Был канун Пасхи, вечер страстной субботы. Стояла бурная, студеная погода. Вздувшаяся река несла белогривые, пенистые волны. По небу стремительно бежали серые, разорванные клочками облака. Изредка срывался дождь, косыми полосами застилая окрестности. Смеркалось.

Кучка перезябшего народа, с котомками и топорами пробиравшегося на другой, едва видный в тумане берег, сидела у лоцманского куреня. Иные, греясь у костра, толковали и спорили, будет ли еще к ночи с той стороны паровой баркас или на веслах паром; другие молча и сумрачно глядели на реку, в неоглядном разливе катившую опустелые, хмурые воды.

Высокий седой и загорелый, коротко остриженный лоцман, с длинными белыми усами, в высоких сапогах и в накинутой на плечи короткой сермяге, расхаживал по берегу, то подкладывая щепок и хвороста в костер, то ворча на волны, хлеставшие в бока его сторожевой лодки, привязанной у песчаного берега к вербе.

— А что, паноче, не погрелись бы в курене? — сказал, подойдя ко мне, с иззябшим и намокшим лицом, лоцман. — Переправы сегодня уже не будет.

Я вошел в курень, где сохранялась моя ручная поклажа, улегся на соломе и от сильной усталости скоро заснул...

Долго ли я спал, не помню. Меня разбудили какие-то голоса. Я прислушался. Под куренем снаружи разговаривали

двое. Кто-то спрашивал; ему отвечал другой. В последнем я узнал густой и басистый голос лоцмана. Приподнявшись на локте, я взглянул в отверстие куреня. Буря смолкла; ветер затих. Ночь была на исходе. Прояснившееся небо сверкало тысячами звезд. С вечера, когда я заснул, очевидно, из города приплывало что-нибудь сюда, так как ожидавших переправы здесь уже не было видно. Берег опустел. С лоцманом, пустившим меня в курень, разговаривал кто-то из подошедших позже.

— Боже милостивый, Боже правый, — слышалось из-за куреня, — шестой десяток живу... День-деньской маешься, все ноженьки отобьешь; а пришел, вот и дом, рукой, кажется, подать, в церквах Божие служение, всяк разговеться поспешает, а сам, когда попадешь? Ты говоришь — конь; был, да покрали. Ну, и ходи... И все вода, вода! Где ее нужно людям, в степи, там нету, а тут — сущий потоп.

— Из воды, друже, Господь и землю сотворил, — возразил голос лоцмана. — Не будь воды, не было бы и земли!

— Ну?! — удивился путник. — Как же так из воды? То вон что, жидкое, а то земля...

— А также... Про то люди старые знают; есть такая сто́рия.

— Какая же она такая сто́рия?

— Про Господа и про землю.

— Расскажи, Андрий Петрович.

Лоцман помолчал.

— Прежде, спокон веку, — сказал он, — везде была одна вода, как есть, вода. Бог летал над тою водою, а за ним его главный, верный ангел. И сказал Господь ангелу: «Нырни на дно, захвати в горсть илу; пора быть земле». Ангел нырнул; долго был под водою, а как выплыл, едва переводит дух; говорит: «Не достал, Господи, дна; очень глубоко!» — «Нырни еще раз!» Опять нырнул ангел, был под водою еще долее и достал илу. Начал Бог сеять землю. Куда, на восход солнца, ни кинет — там становятся горы, долины, поля. Так он летал и сеял; а на тех полях, горах и

долинах вырастали травы, деревья и зацвели цветы. Бог оглянулся и видит: у ангела распухла губа. «Что это у тебя?» — спрашивает Бог. «Ошкрябнулся, Господи, как нырял». Стало благословиться на свет: взошло и покатилось по небу солнце. Был первый на свете день. Оглянулся Бог, перед вечером, и видит, ангел из-за губы тоже вынимает что-то, кидает на запад солнца, и из того киданья также становятся долины, горы и поля, только без травы, без цветов и деревьев, голые, как в позднюю осень, пустые и точно проклятые. «Что это ты делаешь позади меня?» — спросил Господь ангела. Тот молчит. «Признайся, ты украл илу, утаил от меня?» Ангел клянется, что не брал и не утаил. «Ну, будь же ты, — сказал Господь, — не моим первым и верным ангелом, а сатаниилом, и чтоб тебе от сего часу опочину не было до конца века и земли!» Бог полетел выше и дальше, на восход солнца, а сатана низом, на запад. От Божьего сеянья стали добрые люди и земли, а от дьяволова — злые и всякая неправда и грехи. С тех пор сатана с своими подпомощниками больше и держится над водою, в омутах, у мельниц и у переправ; водяные-то — все его дети.

— А кто их видел? — усомнился собеседник. — Может, оно и не так.

— Были такие... Вот хоть бы мой батько — Царство ему Небесное — видел, да не одного, а двух водяных, молодшего и старшего.

— Где он их видел?

— То было давно. Батько тоже держал перевоз, только не тут, а в Никополе. Погода, рассказывает, бывало, стояла тогда еще хуже — дождь и буря, да такая, что он черпал, черпал воду из челна да и руки опустил. И вдруг видит: перед ним вырос незнакомый, черномазый такой человек, не то мещанин из города, не то приказный фертик. Дождь сыпал, как из решета, а тот черномазый подошел чистый и сухой, точно с иголки снятый. «Добрый вечер, старче, — говорит, — перевези, будь ласков, на ту сторону». — «Да как же везти, — ответил батько, — в такую темень, не то,

что я, сам черт тебя не переправит, не намочив хвоста». Черный усмехнулся. «Не бойся, — говорит, — со мною не замочишься!» Батько видит: буря, дождь еще сильнее, а черный стоит сухой, как порох, сапоги так и блестят, и еще пыль с них палочкой он сбивает. Перекрестился батько и стал развязывать лодку; возился, копался, никак не раскрутит узла. Оглянулся, а возле него уже не один, а двое; откуда-то взялся еще сивенький дедок, весь в тине, с зеленою бородою и кнутиком. «О чем, — спрашивает, — толкуешь, рыбаче?» — «Да вот, человек просится на тот бок; только боюсь, не скупаться бы в такую бурю и тьму». Дедок посмотрел на фертика, да как крикнет: «А? Так это ты? Шебарда — барда! А на свое место, пьяниц в шинки таскать — не знаешь?» И ну его чесать кнутом по бокам... Черный в воду, дед за ним, и побежали оба, в перегонку, по Днепру, точно по полю... То и были водяные!.. Шебарда!.. С тех пор и батьку так все и прозвали Шебардой.

— Так, выходит, — отозвался голос за куренем, — где сеял сатана, там уже только грешные люди и земли?

— Так оно было и долго, пока милосердый Господь опять не спустился с неба и стал нищим ходить по земле.

— Для чего нищим?

— Узнать, кто праведный, кто грешный, как люди живут и кому что воздать по делам.

— Расскажи на милость... Сколько живу, немало внукам рассказывал, а про такое, о, Господи, не доводилось слышать.

Лоцман встал, подложил щепок в костер и опять сел.

— Ходил, это, Бог с апостолом Петром, — сказал он, — оба пешие, с котомками и клюками, как старцы-нищуны. И пришли они раз, против ночи, в большое село. Видят, стоит новая, богатая хата. Петр и говорит: «Господи! Мы вконец изморились, попросимся тут ночевать». Бог ответил: «Богач даром не пустит, еще заставит утром молотить снопы». — «Так пойдем на постоялый». — «И туда не след, — сказал Господь, — там, наверное, много всякого

народа; кто-нибудь хмельной еще чоботом под лавку подопхнет». Не послушался Петр, пошел в хату к богатому. Тот говорит: «Пока жены нету дома, заходите, ложитесь за печкой, в углу; жена у меня бедовая, гуляет в гостях; а может, как вернется, и не заметит». Господь улегся за печкой, подальше к стене, а Петр с краю, кнаружи. Середь ночи возвратилась жена, да хмельная. Напустилась спьяну на мужа: «Такой-сякой, пускаешь всяких бродяг!» Ухватила метлу и давай ею стегать по спине праведного Петра. Умаялась, заснула. Лежит, охает Петр: «Господи, когда бы уже скорее рассвело!» Рано утром старцы встали, поблагодарили хозяина и ушли. Им навстречу мужик из шинка, а из церкви поп. «Боже правый, — говорит мужик, — еле бреду, упился, хоть вались!» А поп говорит: «Вот до беса было детей в церкви! Руки отбил, их причащаючи». И сказал Богу Петр, «Такая-то правда на свете; мужик пьян и поминает Господа, а поп, только что причащал, поминает беса!» — «Молчи, — сказал Господь, — не то еще услышишь и увидишь». Ходили они целый день, к ночи зашли на хутор. Там жила бедная вдова. Хатенка у нее такая, что ни стать, ни сесть; сама хозяйка хворая лежит, а детей куча, да все маленькие, — ползают, пищат вокруг нее. Обрадовалась вдова гостям; встала через силу, затопила печку, достала в торбочке последней муки, наварила вареников, накормила гостей, чем Бог послал, и уложила их спать на полатях, а сама с детьми легла наземь, под лавку. Отдохнули старцы, поблагодарили утром хозяйку и ушли. Идут полем. Смотрит Петр, над Богом летит белое кудрявое облако — то был с крыльями серафим. И говорит Бог серафиму: «Лети вон на тот хутор, где мы ночевали, там живет праведная, убогая вдова; вынь из нее и принеси мне ее душу!» Серафим полетел и воротился один. «Не могу, — говорит, — Господи! Рука не поднялась! Жалко бедной вдовы; дети так пищат и ползают вокруг нее, что приступу нет! Что будет с малыми детьми, как возьмем у нее душу?» — «И правда, Господи, — сказал Петр, — как ее не пожалеть! Она так ласково нас приняла

и накормила; дай ей, милостивый, пожить, хоть несколько годков, пока дети подрастут!» Господь ответил: «Слушай, Пе́тре! Ты еще не все знаешь, не все видишь! Узнаешь и увидишь после. А теперь иди вон в тот лес; там стоит хата — еще хуже, чем у той вдовы, — дырявая и нетопленная, — и в ней живет такая старая старица, что от старости совсем поцвела и мохом поросла. Коли она согласится теперь же помереть, дам той вдове жизни — она еще поживет на земле для своих детей!» Отправился Петр, нашел непокрытую дырявую хату и в ней старуху. «Здорово, — говорит, — бабуся!» — «Здоров будь и ты!» — «Тяжко тебе, бабуся, жить тут одной?» — «Ох, тяжко!» — «Так ты бы, бабуся, лучше померла!» — «Э-ге, — говорит старая, — умирай лучше ты сам; только еще лето подошло, солнышко пригрело, цветики зацвели, а ты о смерти!» Доложил Господу Петр. «Ну, теперь видишь?» — сказал Господь и велел серафиму лететь ко вдове. Тот махнул крыльями, зашумел, понесся, вынул и принес Богу душу вдовы. «Пусти ее в рай, — сказал Господь, — она лучшее место заслужила!» И полетела праведная душа в рай; малые дети осиротели. Удивился Петр и осмелился укорить Бога: «Не по правде, Господи, ты решил!» — «Не по правде? — спросил Господь. — Хорошо же; пойдем на суд к тому, кто не покривит душой, к праведному Семиону!» — А тот Семион долго был судьей, состарился и сказал людям: «Ни сильному, ни богатому я не угождал; а вы все думали, что я потакал зажиточным да своим. Хотите, чтоб я вас еще судил, выжгите мне глаза!» Люди подумали, потолковали и согласились. Ослеп Семион. Петр взял серебряный дукат, а Бог хлеб, и пошли к Семиону. Сидит слепец за столом и спрашивает: «Что вам, добрые люди, надо?» — «Мы пришли к тебе, — говорит Петр. — Рассуди наше дело!» — и подсунул слепому дукат. Семион ощупал его и отодвинул по столу прочь. Бог положил на стол хлеб; Семион ощупал хлеб, поцеловал его, но тоже отодвинул. Поклонился Петр и стал говорить, как неправедно Божий серафим вынул у бедной вдовы душу

и как осиротил неповинных перед Богом ее малых детей. Семион выслушал, задумался и ответил: «Вы пришли ко мне судиться?» — «Так, честный отче! — «Вы заспорили?» — «Заспорили». — «Ну, слушайте же, добрые люди; не нужно мне ни вашего сребра, ни злата, ни всякого яства; а скажу вам по чистой, по правде; у отца-матери, а особливо еще с достатком, дети выходят иной раз куда хуже злых, ненасытных псов — лентяи, негодники и моты, — а как сами станут трудиться, в поте лица добывать Божий хлеб — куда скудное сиротство бывает лучше богатого родства! Бог ответил: «Праведно рассудил ты, Семионе! И как суд твой светел, чтоб и ты так же увидел свет!» Семион тем же часом прозрел. А когда спустя несколько лет Бог и Петр опять шли по земле и завернули в большое село, на ярмарку, смотрят, им навстречу едет судия, с ним полковник и богатый купец. Перед церковью они снимают шапки, Богу молятся, нищим милостыню подают. «Угадай, — сказал Господь Петру, — что это за люди едут?» — «Важные, видно, господа». — «Важные? То дети-сироты убогой той вдовы, — сказал Господь. — Тебе думалось, я их за добро матери покарал, а видишь, стали на свои ноги, трудились и в люди вышли... Мог ли я помиловать их лучше?»

Лоцман замолчал. Не отзывался некоторое время и его собеседник.

— Сто́рия опять-таки важная, — проговорил он. — Только как же это? Милосердный Господь сотворил землю, небо и весь великий мир... Зачем же ему было о людях узнавать от других? Разве и так он не знает всего?

Лоцман не ответил. С реки в это мгновение донесся странный звук, точно вдали, в темноте, кто звал на помощь и тихо стонал. У берега, как бы от проплывшей где-то лодки, плеснула волна.

— Чайки уже проснулись! — сказал, вслушавшись, лоцман. — Завтра будет тихо и тепло... Ты говоришь, зачем? И я так бы думал, а знающие толкуют не то... На что батько был разумный, а раз тоже, как и мы теперь, перед

самою светлою заутреней, сидит, это, на берегу и думает: люди по Божьим храмам, скоро «Христос воскресе» запоют, понесут кресты и свечи вкруг церквей, а он один, как перст... И вдруг видит... Одначе стой! Что-то и в самом деле плывет... Так и есть... Почта!

Лоцман направился к берегу. В тишине ясно слышался мерный плеск весел. Что-то темное близилось и надвигалось от реки. У песчаной отмели обрисовался борт казенного баркаса. На берег стали выгружать почтовые тюки.

— А кому ехать? Садись! — послышался оклик от реки.

Я взял свою поклажу, вышел из куреня, поблагодарил лоцмана за ночлег и в предрассветных сумерках поплыл через стихшую, плавно колыхавшуюся реку.

Баркас чуть переваливался. На палубе стоял низенький бородатый дед, очевидно, собеседник лоцмана. Опершись на посох, он пристально вглядывался за реку и крестился. На противоположном, еще невидном в тумане берегу, вправо и влево по взгорью, двигались огоньки церковных, крестных ходов. Благовест воскресной заутрени торжественно гудел и далеко разносился над городом и по реке.

1888 г.

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(ПОМЕСТЬЕ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО)

Из письма к редактору: «Вы мне предложили рассказ для читателей «Исторического вестника» о моем недавнем посещении Ясной Поляны, поместья графа Л. Н. Толстого. Охотно беру из моей записной книжки относительно этой поездки то, что в праве был бы, не нарушая чужой скромности, рассказать всякий, посетивший жилище знаменитого отечественного писателя».

Это было минувшей осенью. Стояла теплая, тихая погода. Легкие белые облачка редели и таяли над зелеными холмами, долинами и желтеющими лесами Крапивенского уезда Тульской губернии. Солнце готовилось выглянуть. Был полдень 22 сентября.

Скорый поезд Курской дороги, не доезжая Тулы, остановился на две минуты у станции Ясеньки. Я вышел из вагона и пересел в тарантас.

Каждый, кому дорого имя любимейшего из русских писателей, творца «Войны и мира» и «Анны Карениной», поймет, с каким чувством, получив на пути пригласительную телеграмму, я ехал навестить хозяина Ясной Поляны.

Иностранцы, в особенности англичане, с особенною любовью встречают в печати описания жилищ и домашней обстановки своих писателей, художников, общественных и государственных деятелей. В «Graphic», «Illustrated London

News» и других изданиях давно помещены превосходные фотогравюры и описания деревенских жилищ Теннисона, Диккенса, Гладстона, Вальтера Скотта, Коллинза и других. Здесь изображены не только «рабочие кабинеты», «приемные» и «столовые» лучших слуг Англии, но и места их обычных сельских прогулок, скамьи под любимыми деревьями, виды на поля и пруды и прочее. Нельзя не пожалеть, что наши художники еще не ознакомили русского общества с видами поместий Гоголя, Аксаковых, кн. П. А. Вяземского, Островского, Хомякова, Григоровича, Фета, Л. Н. Толстого и других. Это в особенности приходит в голову при посещении Ясной Поляны.

Едучи в это поместье, я невольно вспомнил и другое обстоятельство, а именно те странные и противоречивые толки и слухи, которые в последнее время возникли о графе Л. Н. Толстом, не только в обществе, но и в печати. Еще недавно, в изданной весной 1884 года в пользу литературного фонда переписке Тургенева, все с недоумением прочли трогательное, предсмертное письмо карандашом автора «Дворянского гнезда» к графу Л. Н. Толстому. Умирающий Тургенев обращался к последнему (в июне 1883 года, из Буживаля) с такими загадочными последними словами: «Милый и дорогой Лев Николаевич! Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель Русской земли, внемлите моей просьбе...» Разнообразные толки и пересуды о графе Л. Н. Толстом, как известно, выросли, наконец, в целые легенды. Иностранная печать подхватила эти толки и пошла еще далее. В одном из выпусков известного парижского журнала «Le Livre» (№ 70, 1885 г., стр. 549) под заглавием «Россия» явилось даже такое чудовищное известие: «Уверяют, что граф Лев Николаевич Толстой постигнут умопомешательством и что его должны подвергнуть заключению». В этом известии удостоверяется, между прочим, будто Л. Н. Толстой «бросил перо писателя, чтобы лично заняться усовершенствованием обуви и одежды», и проч., и проч.

Нам, русским, не в диковину подобные разглашения о людях с самостоятельным, сильным умом, переживающих душевную борьбу. «Миллион терзаний» Чацкого кончился известною сценой:

С ума сошел? — А, знаю, помню, слышал!
Как мне не знать? примерный случай вышел...
Схватили в желтый дом, и на цепь посадили!
— Помилуй! он сейчас здесь в комнате был, тут...
— Так с цепи, стало быть, спустили!

Помню, что под впечатлением подобных же ложных толков я ехал когда-то с покойным О. М. Бодянским впервые к Гоголю. Об этом свидании я расскажу в другое время. Надо надеяться, что известный острый эпизод с отношениями русской критики пятидесятых годов к Гоголю, по поводу его «Переписки с друзьями», будет когда-нибудь заново пересмотрен и решен другим, более спокойным и беспристрастным составом «присяжных» ценителей. Былые разглашения о Гоголе, как и о Чаадаеве, в сущности та же трагикомедия Чацкого. Неудивительно, что злые пересуды коснулись и современного нам своеобразного русского писателя.

Резвые, сытые лошадки, погромыхивая бубенцами, весело неслись с холма на холм, между жнивьев и свежих озимей, по которым паслись овцы и скот.

— Что это за поселок? — спросил я на пути возницу.

— Кочаки.

— Помещичий?

— Купцы.

— А та, вон, вдали деревня на взгорье? Чей дом за лесом, с зеленой крышей?

— Ясная Поляна... Дом графа Льва Николаевича.

Тарантас свернул с шоссе, понесся большой дорогой.

Скажу несколько слов о моей первой встрече с графом Л. Н. Толстым. Я с ним познакомился в Петербурге в конце пятидесятых годов, в семействе одного известного

скульптора-художника. Тогда автор «Севастопольских рассказов» только что приехал в Петербург и был молодым и статным артиллерийским офицером. Его очень схожий портрет того времени помещен в известной фотографической группе Левицкого, где вместе с ним изображены Тургенев, Гончаров, Григорович, Островский и Дружинин. Граф Л. Н. Толстой, как теперь помню, вошел тогда в гостиную хозяйки дома во время чтения вслух нового произведения Герцена. Тихо став за креслом чтеца и дождавшись конца чтения, он сперва мягко и сдержанно, а потом с такою горячностью и смелостью напал на Герцена, на общее тогдашнее увлечение его сочинениями и говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе впоследствии я уже не встречал изданий Герцена. Надо вспомнить, что это суждение было сказано задолго до поры, когда русское общество, а под конец и сам Герцен разочаровались во многом, чему тогда так от души поклонялись.

Припоминается мне и другой случай разногласия графа Л. Н. Толстого с признанными авторитетами былого времени, где он опять явился победителем. Это было лет десять спустя.

В конце шестидесятых годов сперва в отрывках — в «Русском вестнике», потом отдельным полным изданием вышел в свет знаменитый роман графа Л. Н. Толстого «Война и мир». Вскоре затем в «Военном сборнике» явился разбор этого произведения А. С. Норова, под заглавием: «Война и мир, 1805—1812 гг., с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника». Приехав с юга в Петербург, я осенью 1868 года навестил в Павловске А. С. Норова, при котором незадолго перед тем я служил в качестве его секретаря. Он прочел мне свой отзыв о романе графа Л. Н. Толстого.

Увлеченный достоинствами романа, я с досадой слушал разбор А. С. Норова и спорил с ним чуть не за каждое его замечание. На мои возражения Норов отвечал одно: «Я сам был участником Бородинской битвы и близким очевидцем картин, так неверно изображенных графом Толстым, и переубедить меня в том, что я доказываю, никто не в силах.

Оставшийся в живых свидетель Отечественной войны, я без оскорбленного патриотического чувства не мог дочитать этого романа, имеющего быть историческим». На это я ответил Норову, что не всегда отдельные участники и очевидцы крупных исторических событий передают их вернее позднейших исследователей, хотя бы и романистов, получающих доступ к более всесторонним и разнообразным источникам, и что, между прочим, художественная правда произведения графа Толстого вовсе не зависит только от того, стояла ли именно такая-то колонна во время описанного им боя направо или налево от полководца, и проч., и проч.

Более всего Норов нападал на одно место в романе.

— Граф Толстой, — говорил он мне, — рассказывает, как князь Кутузов, принимая в Цареве-Займище армию, более был занят чтением романа Жанлис «Les chevaliers du Cygne», чем докладом дежурного генерала. И есть ли какое вероятие, чтобы Кутузов, видя перед собою все армии Наполеона и готовясь принять решительный, ужасный с ним бой, имел время не только читать роман Жанлис, но и думать о нем?

— Но что же тут невозможного? — возразил я критику. — Быть может, это был расчет со стороны Кутузова, чтобы видимым своим спокойствием ободрить окружающих. Да притом так свойственно всякому человеку стремление подчас чем-либо совершенно посторонним, чтением книги или не идущим к делу разговором, успокоить потрясенные свои чувства и, через это внешнее отвлечение, хотя бы на миг оторваться от тяжелой и роковой действительности.

Я приводил Норову примеры из жизни великих людей: Цезаря, Петра I, Александра Македонского и других. При этом я ему напомнил, что Александр Македонский в персидском походе не расставался с Гомером и среди столкновений с азиатскими кочевниками переписывался с своими друзьями в Греции, прося их о высылке ему произведений греческих драматургов. Наконец, указывая Норову на описания последних дней приговоренных к смертной казни, я просил его вспомнить, что иные из них за несколько часов

до неминуемой смерти искали беседы с тюремщиками о театре и других новостях дня или с увлечением читали своих любимых поэтов.

— Все это так, мой милый, все это могло случиться, но с другими людьми и в иные времена! — возражал мне Норов. — Мы же в двенадцатом году не были искателями приключений, вроде Цезаря или македонского героя, а тем паче производителями пышных, шарлатанских эффектов, наподобие гильотинированных во время французской революции клубистов. До Бородина, под Бородином и после него мы все, от Кутузова до последнего подпоручика артиллерии, каким был я, горели одним высоким и священным огнем любви к отечеству и, вопреки графу Льву Толстому, смотрели на свое призвание как на некое священнодействие. И я не знаю, как посмотрели бы товарищи на того из нас, кто бы в числе своих вещей дерзнул тогда иметь книгу для легкого чтения, да еще французскую, вроде романов Жанлис.

А. С. Норов через два месяца после напечатания своего отзыва о романе графа Толстого скончался. В январе 1869 года, после его похорон, мне было поручено составить для одной газеты его некролог. Каково же было мое удивление, когда, собирая источники для некролога, я в семействе В. П. Поливанова, родного племянника покойного, случайно увидел крошечную книжку из библиотеки Норова «Похождения Родерика Рандома» («Aventures de Roderik Random, 1784») и на ее внутренней обертке прочел следующую собственноручную надпись А. С. Норова: «Читал в Москве, раненый и взятый в плен французами, в сентябре 1812 г.» («Lu á Moskou, blessé et fait prisonnier de guerre chez les français, au mois de septembre, 1812»).

То, что было с подпоручиком артиллерии в сентябре 1812 года, забылось через сорок шесть лет престарелым сановником в сентябре 1863 года, так как не подходило под понятие, невольно составленное им с течением времени о временах двенадцатого года. Нельзя, разумеется, утверждать, что роман о Родерике Рандоме Норов держал под подушкой у

Царёва-Займища, где Кутузов читал роман Жанлис. Но нельзя отвергать и предположения, что Норов мог читать роман о Рандоме даже под самым Бородином, как впоследствии раненый он дочитал его во время занятия Москвы французами, в голицынской больнице, из окон которой он, по его же словам, с таким искренним презрением смотрел потом воочию на уходившего из Москвы Наполеона.

Это обстоятельство я тогда же подробно записал и сообщил графу Л. Н. Толстому.

Тарантас, миновав поселок Ясной Поляны, повернул между двух кирпичных сторожевых башенок влево и въехал в широкую аллею из красивых развесистых берез. На взгорье, в конце аллеи, обрисовалась графская усадьба.

Каменный, в два этажа яснополянский дом, в котором теперь граф Л. Н. Толстой живет почти безвыездно уже около двадцати пяти лет (с 1861 г.), переделан им из отцовского флигеля. Большой же отцовский дом, в котором родился автор «Войны и мира» (в 1828 г.), был им сломан. Место, где стоял этот старый дом, левее и невдали от нового. Оно заросло липами, обозначаясь в их гущине остатком нескольких камней былого фундамента. Здесь под липами стоят простые скамьи и стол, за которыми в летнее время семья графа собирается к обеду и чаю. Колокол, прицепленный к стволу старого вяза, созывает сюда, под липы, из дома и сада членов графской семьи.

У этого вяза обыкновенно, между прочим, собираются яснополянские и другие окрестные жители, имеющие надобность переговорить с графом о своих деревенских нуждах. Он выходит сюда и охотно беседует с ними, помогая им словом и делом. Не все, однако, соседи умеют, как слышно, ценить внимание и щедрость графа. Он вдали от своего двора лет пятнадцать назад посадил целую рощицу молодых елок. Елки поднялись почти в два человеческих роста и немало утешали своего насадителя. Недавно граф вздумал

пройти в поле, полюбоваться елками, и возвратился оттуда сильно огорченный: более десятка его любимых, красивых елок оказались безжалостно вырубленными под корень и увезенными из рощи. Он досадовал и на происшествие, и на свое неудовольствие. «Опять вернулось мое былое, старое чувство, досада за такую потерю!» — говорил он и, узнав, что, по домашним разведкам, виновником дела оказался домашний вор, тайно свезший елки под праздник в город, просил об одном, чтобы этот случай не был доведен до сведения графини — его жены.

Тарантас, обогнув левый угол дома, остановился у небольшого крыльца, ведущего в сени нижнего этажа. Не успел я здесь, внизу, войти в переднюю, в нее отворилась дверь из смежного графского кабинета, и на ее пороге показался граф Лев Николаевич. После первых приветствий он ввел меня в свой кабинет.

Давно не видя графа, я тем не менее сразу узнал его — по живым, ласково-задумчивым глазам и по всей его сильной и своеобразной фигуре, так художественно схоже изображенной на известном портрете И. Н. Крамского. Помню, как на парижской всемирной выставке, восемь лет назад, в отделе русской живописи, все любовались этим портретом, где граф Л. Н. Толстой написан с длинной темно-русой бородой и в темной суконной рабочей блузе. С такой же бородой и в такой же точно блузе я увидел графа и теперь. Ему в настоящее время пятьдесят семь лет, но никто, несмотря на седину, проступившую в его окладистой красивой бороде, не дал бы ему этих годов. Лицо графа свежо; его движения и походка живы, голос и речь звучат юношеским жаром.

При входе в яснополянский дом невольно вспоминаются всем известные картины «Детства» и «Отрочества» его владельца: его покойная мать, в голубой косыночке; живший здесь когда-то его учитель Карл Иванович, с хлопушкой на мух; дворецкий Фока, ключница Наталья

Саввишна и ее сундуки, с картинками внутри крышек; дядька Николай, с сапожной колодкой; учительница музыки Мими, и юродивый Гриша, за ночною трогательною молитвой которого дети с испугом и умилением однажды наблюдали из темного чулана.

Граф провел меня через переднюю часть своего кабинета за перегородку из книжных шкафов. Мы сели у его рабочего стола, он на своем обычном рабочем кресле, я — на другом кресле, против него, за столом, оба закурили папиросы и стали беседовать.

Опишу вкратце кабинет графа.

Это светлая, высокая и скромно убранная комната, аршин 12 длины и около 6 аршин ширины. Два больших книжных шкафа из лакированной белой березы разделяют эту комнату пополам — на нечто вроде приемной и уборной графа и на его рабочий кабинет. Окна и стеклянная дверь этой комнаты выходят на невысокое садовое, покрытое каменными плитами крыльцо. Мебель в обеих половинах — старинная и, очевидно, не только отцовская, но и дедовская.

В приемной — мягкий, широкий и длинный диван, покрытый зеленой клеенкой, с зеленой сафьянной подушкой. Перед диваном — круглый стол, с грудой разбросанных на нем английских, немецких и французских книг. У стола и возле стен — с полдюжины кресел. На этажерке — опять книги. Между дверью в сад и окном — умывальный стол. Вправо от окна, в углу, березовый комод с зеркалом. Над ним — оленьи рога, с брошенным на них полотенцем. На задних стенах книжных шкафов висят разные вещи — верхнее платье, коса для кошения травы и круглая мягкая шляпа графа. В углу, за этажеркой, несколько простых, необделанных, с суковатыми ручками палок для прогулки. Стена над диваном увешана коллекцией гравированных, фотографических и акварельных портретов родных и знакомых графа — его жены, отца, братьев, старшей дочери и друзей. Между последними — фотографическая группа Левицкого, с портретами Григоровича, Островского и других, и отдельные

портреты Шопенгауэра, А. А. Фета, Н. Н. Страхова и других. В стенной нише — гипсовый бюст покойного старшего брата графа, Николая. На окне разбросаны сапожные инструменты; под окном — простой деревянный ящик с принадлежностями сапожного мастерства — колодками, обрезками кожи и проч.

В рабочем кабинете, за перегородкою, направо — у другого окна в сад, письменный стол графа, налево — железная кровать с постелью для гостей. Полки березовых шкафов с стеклянными дверцами, обращенные в эту часть комнаты, снизу доверху уставлены старыми и новейшими иностранными и русскими изданиями. За рабочим креслом графа, в большой стенной нише — открытые полки, с подручными книгами, справочниками, словарями, указателями и проч. Остальные свободные стены этой части комнаты также заняты полками с книгами. Здесь, как и в шкафах и в нише, виднеются в старинных и новых переплетах и без переплетов издания сочинений Спинозы, Вольтера, Гёте, Шлегеля, Руссо, почти всех русских писателей, затем — Ауэрбаха, Шекспира, Бенжамена Констана, де Сисмонди, Иоанна Златоуста и других иностранных и русских, духовных и светских мыслителей. Жития святых, «Четьи-Минеи», «Пролога» — перевод на русский язык «Пятикнижия» Мандельштама, еврейские подлинники Ветхого завета и греческие тексты Евангелия, «Мировоззрение талмудистов» с немецкими, французскими и английскими комментариями — уставлены на полках, рядом с известными русскими проповедниками и русскими, и иностранными, духовно-нравственными, дешевыми изданиями для народа[1].

---

[1] В числе последних виднеются на полках: «Progress and Poverty», by Henry George (1884); «God and the Bible, dy Mattehew Arnold» (1885), «Israel Sack» (1885); «A discourse of matters, partaining to religion, by Theodore Parker» (1875); «The twenty essays of Ralf W. Emersen» (1877); «Litterature and Dorma, an essay towards a better apprehension of the Bible, by M. Arnold» (1877) и др.

Простой письменный стол графа, аршина в два длины и в аршин ширины, покрытый зеленым сукном и обведенный с трех сторон небольшой решеткой, известен обществу по новейшему прекрасному портрету графа работы профессора Н. Н. Ге. На этом портрете, бывшем на передвижной выставке, граф изображен пишущим за этим именно столом. Справа и слева чернильницы разбросаны рукописи, книги и брошюры. Здесь лежат Новый завет в греческом переводе Тишендорфа и новейшее издание еврейского подлинника Библии. На окне — несколько портфелей с рукописями и опять книги.

Верх окна прикрыт зеленой шерстяной занавеской. Перед окном — лужайка с клумбами еще свежих, нетронутых морозом цветов. За цветником — столб с веревками для так называемой игры «гигантские шаги». Кучка яснополянских ребятишек, свободно проникая в сад, бегает в эту минуту у названного столба.

Из окна — вид на сад, спускающийся к пруду, и на живописные окрестности. Вправо из окна виднеются вершины густой березовой аллеи, по которой дорога поднимается к дому. Влево — аллея из старых, громадных лип. Прямо — просторный, гладкий скат к пруду, у которого красиво зеленеет несколько высоких, живописно разбросанных елей. Между липовой и березовой аллеями, за низиной, в которой прячется пруд, вид на шоссе, на дальние поля, холмы и голубоватые леса, а между холмами и лесами — на полосу железной дороги, по которой время от времени извивается дым и проносятся московско-курские поезда.

У этого окна, в дедовском кресле, работы XVIII века, с узенькими, ничем не обитыми подлокотниками и с потертой зеленой клеенчатой подушкой, граф Л. Н. Толстой писал свои знаменитые произведения. Здесь, на этом простом столе, днем, поглядывая на синеющую даль, а вечером и ночью — при свечах, в старинных бронзовых подсвечниках, он писал историю Наташи Ростовой, Андрея Болконского и Пьера Безухова. Здесь же он рассказывал поэму любви Китти Щербацкой и Левина, рисовал образы Вронского и

Стивы Облонского, набрасывал очерки лошади Фру-фру и собаки Ласки и с такой глубиной рассказал полную трагизма судьбу Анны Карениной.

Беседу с графом о прошлом и настоящем прерывает, вбегая, красивая рыжая легавая собака. Она ложится у ног хозяина.

— Это не Ласка? — спрашиваю я, вспоминая Анну Каренину.

— Нет, та пропала; эта охотится с моим старшим сыном.

— А вы сами охотитесь?

— Давно бросил, хотя хожу по окрестным полям и лесам каждый день... Какое наслаждение отдыхать от умственных занятий за простым физическим трудом! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косой, рубанком или иным инструментом.

Я вспомнил о ящике с сапожными колодками под окном приемной графа.

— А работа с сохой! — продолжал граф. — Вы не поверите, что за удовольствие пахать! Не тяжкий искус, как многим кажется, — чистое наслаждение! Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в жилах, голова светла, ног под собой не чуешь; а аппетит потом, а сон? Если вы не устали, не хотите ли пока, до обеда, прогуляться, поискать грибов? Недавно здесь перепали дожди: должны быть хорошие белые грибы.

— С удовольствием, — ответил я.

Граф надел свою круглую мягкую шляпу и взял лукошко; я тоже надел шляпу и выбрал одну из палок за этажеркой. Мы, без пальто, вышли с переднего крыльца, невдали от которого, у ворот на черный двор, стоял станок для гимнастики.

— Это также для вас? — спросил я графа, указывая на станок.

— Нет, это для младших моих детей; у меня здесь другие упражнения, — ответил он, поглядывая за ворота, где виднелась груда свеженарубленных дров.

Неудивительно, что при постоянном физическом труде граф так сохранил свое здоровье. Этому в значительной степени помогло и то обстоятельство, что большую часть своей жизни Л. Н. Толстой провел в деревне. Лишившись в ранние годы матери, урожденной княжны Волконской, он 9 лет от роду, в 1837 году, был увезен в Москву, в дом бабки, потом опять жил в деревне, в 1840 году поступил в Казанский университет, где был по восточному, затем по юридическому факультету, с 1851 по 1855 год провел в военной службе на Кавказе, на Дунае и в Севастополе и с 1861 года почти безвыездно живет в Ясной Поляне. Из 57 лет он, следовательно, более 35 лет провел в деревне.

Пройдя через смежный с усадьбой молодой плодовый сад, насаженный графом, мы вышли в поле и направились в ближний лес. От этого леса, за небольшим ручьем, виднелись другие лески и поляны. От одной лесной чащи, то взгорьем, то долинкой, мы переходили к другой, останавливаясь и разговаривая. Солнце выглянуло и опять спряталось за легкие, пушистые облачка. Свежий воздух был напоен лиственным влажным запахом. Золотившийся лист медленно сыпался с деревьев. Ни одна ветка не шелохнулась в безветренной тишине.

Я шел рядом с графом, любуясь его легкой походкой, живостью его речи и простотой и прелестью всей его так сохранившейся могучей природы. «Боже мой, — думал я, глядя на него и слушая его, — его прославили потерянным для искусства, мрачным, сухим отшельником и мистиком... Посмотрели бы на этого мистика!»

Граф с сочувствием говорил об искусстве, о родной литературе и ее лучших представителях. Он горячо соболезновал о смерти Тургенева, Мельникова-Печерского и Достоевского. Говоря о чуткой, любящей душе Тургенева, он сердечно сожалел, что этому, преданному России, высокохудожественному писателю пришлось лучшие годы зрелого творчества прожить вне отечества, вдали от иск-

ренних друзей и лишенному радостей родной, любящей семьи.

— Это был независимый, до конца жизни пытливый ум, — выразился граф Л. Н. Толстой о Тургеневе, — и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник, не унижавшийся до сознательного служения мимолетным потребам минуты. Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренни.

Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем, как в художнике-писателе, неподражаемого психолога-сердцеведа и вполне независимого писателя, самостоятельных убеждений которому долго не прощали в некоторых слоях литературы, подобно тому как один немец, по словам Карлейля, не мог простить солнцу того обстоятельства, что от него в любой момент нельзя закурить сигару.

Коснувшись Гоголя, которого Л. Н. в своей жизни никогда не видел, и ныне живущих писателей, Гончарова, Григоровича и более молодых, граф заговорил о литературе для народа.

— Более тридцати лет назад, — сказал Л. Н., — когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских и городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата, с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа, родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; пишите для нас, жаждущих живого литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, милордов Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стóит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще.

Мы стали возвращаться из леса, где граф рассчитывал найти много хороших белых грибов и где они уже отошли.

— Как тепло и как пахнет листвой, — сказал он, подходя к ветхому, полуразрушенному мостику через узкий ручей, — удивительная сила непосредственных впечатлений от природы. И как я люблю и ценю художников, черпающих все свое вдохновение из этого могучего и вечного источника! В нем единая сила и правда.

При этих словах графа я вспомнил его рассказ «Севастополь в мае 1855 г.». «Герой моей повести, — сказал в заключение этого рассказа Л. Н., — которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — *правда*».

Мы разговорились о различных художественных приемах в литературе, живописи и музыке.

— Недавно мне привелось прочесть одну книгу, — сказал, между прочим, граф Л. Н., останавливаясь перед бревнышками, перекинутыми через ручей. — Это были стихотворения одного умершего молодого испанского поэта. Кроме замечательного дарования этого писателя, меня заняло его жизнеописание. Его биограф приводит рассказ о нем старухи, его няни. Она, между прочим, с тревогой заметила, что ее питомец нередко проводил ночи без сна, вздыхал, произносил вслух какие-то слова, уходил при месяце в поле, к деревьям, и там оставался по целым часам. Однажды ночью ей даже показалось, что он сошел с ума. Молодой человек встал, приоделся впотьмах и пошел к ближнему колодцу. Няня за ним. Видит, что он вытащил ведро воды и стал ее понемногу выливать на землю, вылил, снова зачерпнул и опять стал выливать. Няня в слезы: «Спятил малый с ума». А молодой человек это проделывал с целью ближе видеть и слышать, как в тихую ночь, при лунном сиянии льются и плещутся струйки воды. Это ему было нужно для его нового стихотворения. Он в этом случае проверял свою память и заронившиеся в нее поэтические впечатления —

той же природой, как живописцы, в известных случаях прибегают к пособию натурщиков, которых они ставят в нужные положения и одевают в необходимые одежды. Читая своих и чужих писателей, я невольно чувствую, кто из них верен природе и взятой им задаче и кто фальшивит. Иного модного и расхваленного, особенно из иностранных, не одолеешь с первой страницы, как ни усиливаешься. Даже угроза телесным наказанием, кажется, не могла бы заставить меня прочесть иного автора...

В одной из критических статей Н. Н. Страхова о «Войне и мире» говорится, что если Достоевский был психолог-идеалист, то графа Л. Толстого следует назвать психологом-реалистом. «Война и мир», по выражению почтенного критика, «подымается до высочайших вершин человеческих мыслей и чувств, до вершин обыкновенно недоступных людям. Граф Л. Толстой — поэт, в старинном и наилучшем смысле слова. Он прозревает и открывает нам сокровеннейшие тайны жизни и смерти. Его идеал — в простоте, добре и правде. Он сам говорит: нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Голос за простое и доброе против ложного и хищного — вот существенный, главнейший смысл «Войны и мира». Кто умеет ценить высокие и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время».

Беседующий с графом Л. Н. Толстым об искусстве невольно вспоминает эти выражения его лучшего истолкователя.

Мы приблизились обратно к усадьбе, мимо молодых собственноручных насаждений графа. Красивые, свежие деревца яблонь и груш, с круглыми, сильными кронами ветвей, стояли в шахматном порядке на обширной плантации невдали от усадьбы. Крестьянские девочки, с серпами в руках, копались над чем-то в бурьяне у соседних хлебных скирд. Граф разговорился с ними, называя каждую по имени.

— Знаете ли, что́ они делают? — спросил он. — Жнут крапиву для обставки на зиму стволов плодовых деревьев; это лучшее средство против зайцев и мышей, которые не любят крапивы и бегут даже от ее запаха.

Вот и дом. Я взглянул на часы. Мы провели в прогулке около трех с половиной часов и прошли пешком не менее шести-семи верст. Граф после такого движения смотрел еще более молодцом и, казалось, был готов идти далее. Но был уже шестой час: жена графа, Софья Андреевна, возвратилась из Тулы, куда возила на почту просмотренные графом и ею корректуры нового Полного собрания его сочинений, и нас ждали обедать.

— Вы не устали? — спросил Л. Н., весело посматривая на меня и бодро всходя по внутренней лестнице в верхний этаж своего дома. — Для меня ежедневное движение и телесные работы необходимы, как воздух. Летом в деревне на этот счет приволье; я пашу землю, кошу траву; осенью, в дождливое время, — беда. В деревнях нет тротуаров и мостовых — в непогоду я крою и тачаю сапоги. В городе тоже одно гулянье надоедает; пахать и косить там негде, я пилю и рублю дрова. При усидчивой умственной работе — без движения и телесного труда сущее горе. Не походи я, не поработай я ногами и руками в течение хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь: ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать других, голова кружится, а в глазах — звезды какие-то, и ночь проводится без сна.

В московском, недавно купленном, своем доме (в Долго́хамовническом переулке) Л. Н. обыкновенно с утра сам рубит для печей дрова и, вытащив воды из колодца, подвозит ее в кадке на санях к дому и к кухне.

«А досужие-то вестовщики, свои и чужие, в особенности свои? — подумал я, слушая эти простые откровения знаменитого писателя. — Чего они не наплели? И литературу то он оставил для шитья платьев и сапогов, и якшается с чернью под видом рубки дров на Воробьевых горах!»

Верхний этаж яснополянского дома занят семейным помещением и столовою графа. По деревянной лестнице, на средней площадке которой стоят старинные, в деревянном футляре английские часы, мы поднялись направо в зал. Здесь у двери стоит рояль, на пюпитре которого лежат раскрытые ноты «Руслана и Людмилы». Между окон — старинные высокие зеркала, с отделанными бронзой подзеркальниками. Посредине залы — длинный обеденный стол. Стены увешаны портретами предков графа. Из потемнелых рам глядят, как живые, представители восемнадцатого и семнадцатого веков: мужчины — в мундирах, лентах и звездах; женщины — в робронах, кружевах и пудре. Один портрет особенно привлекает внимание посетителя. Это портрет, почти в рост, красивой и молодой монахини, в схиме, стоящей в молитвенной задумчивости перед иконой. На мой вопрос граф Л. Н. ответил, что это — изображение замечательной по достоинствам особы, жены одного из его предков, принявшей пострижение вследствие данного ею обета Богу. В комнате графини, смежной с гостиною, мне показали превосходный портрет Л. Н. также работы И. Н. Крамского. Этим портретом семья Л. Н. особенно дорожит.

Вошла жена графа; возвратился с охоты его старший сын Сергей, кончивший в это лето курс в Московском университете и несколько дней назад приехавший из самарского имения отца; собралась и остальная наличная семья графа: взрослая старшая дочь Татьяна, вторая дочь Мария и младшие сыновья. Все, в том числе и маленькие дети, сели за обед. Всех детей у графа ныне восемь человек (второй и третий его сыновья в мой заезд в Ясную Поляну находились в учении в Москве; младший ребенок, сын, скончался в минувшем январе). Нежный, любящий муж и отец, граф Л. Н. среди своих взрослых и маленьких, весело болтавших детей, невольно напоминал симпатичного героя его превосходного романа «Семейное счастье». Скромный в личных привычках, Л. Н. ни в чем не отказывает своей семье, окружая ее полною, нежною заботливостью. Занятия по домашнему хо-

зяйству разделяют, между прочим, с графиней и старшие дети графа.

Когда-то наша критика назвала великого юмориста-сатирика Гоголя русским Гомером. Если кого из русских писателей можно действительно назвать Гомером, так это, как справедливо заметил А. П. Милюков, графа Л. Н. Толстого. В «Илиаде» воспет воинственный образ Древней Греции, в «Одиссее» — ее мирная, домашняя жизнь. Граф Л. Н. Толстой в поэме «Война и мир» одновременно изобразил бурную и тихую стороны русской жизни. Но главная сила графа Л. Н. Толстого — в изображении мирных, семейных картин. В отдельных главах «Войны и мира» и «Анны Карениной» и в целом романе «Семейное счастье» он является истинным и могучим поэтом тихого семейного очага.

Начало вечера было проведено в общей беседе. Подвезли со станции продолжение корректур нового издания графа. Его жена занялась их просмотром. Мы же с Л. Н. спустились вниз, в его приемную. На мой вопрос он с увлечением рассказал о своих занятиях греческим и еврейским языками, благодаря чему он в подлиннике мог прочесть Ветхий и Новый завет, о новейших исследованиях в области христианства и пр. Зашла речь об «истинной вере, фанатизме и суеверии». Суждения об этом Л. Н. не новость: они проходят и отражаются по всем его сочинениям, еще с его «Юности» и «Исповеди Коли Иртеньева». Коснувшись современных событий, граф говорил о последней восточной войне, о крестьянском банке, податном, питейном и иных вопросах и снова — о литературе. Мы проговорили за полночь...

Я затруднился бы наряду с доступными для каждого внешними чертами Ясной Поляны передать подробно, а главное — верно, внутреннюю сторону любопытных и своеобразных суждений графа Л. Н. Толстого по затронутым в нашей беседе вопросам.

Ясно и верно вспоминаю одно, что я слушал речь правдивого, скромного, доброго и глубоко убежденного человека.

Он, между прочим, удивлялся одному явлению в нашей общественной жизни. Привожу его мысли по этому поводу, не ручаясь за точность их изложения...

...Вслед за видимым и коренным погромом старинного дворянско-поместного землевладения в некоторой части общества особенно горячо и искренно усиливаются поощрять и навязывать крестьянам покупку дворянских и иных земель. Но для чего? Для того ли, чтобы вовсе не было на свете помещиков? Оказывается, что отнюдь не в тех видах, а чтобы сейчас же выдумать, искусственно сделать новых помещиков-крестьян. И мало того — сюда втянули, кроме бывших крепостных, и не думавших о том государственных крестьян, обратив их из вольных пользователей, оброчников свободных казенных земель в подневольных земельных собственников, то есть опять-таки в помещиков. Но кто поручится, что новым помещикам-крестьянам все это с течением времени не покажется недостаточным и что они за свой суровый сельский труд и за свои деревенские лишения и тяготы не станут справедливо добиваться былых привилегий и, между прочим, стать дворянами?.. Забывают пример Китая, Турции и большей части Древнего Востока. Там вся земля казенная, государственная, и ею, за известный оброк правительству, казне, пользуются из всех сословий только те, кто действительно, тем или другим способом, личным трудом или капиталом, ее обрабатывает. Для такой цели выкуп в казну и при посредстве казны частных земель имел бы скорее и свое оправдание, и полезный для государства исход. На этот способ пользования землею давно обращено внимание западных и в особенности американских ученых, например Джорджа и других. Это, без сомнения, предмет далекого будущего; но не следует, среди современных европейских доктрин, забывать и того, чем живет и ряд тысячелетий зиждется великий Древний Восток...

Я ночевал в кабинете графа, на кровати, за перегородкой из книжных шкафов. После новой, утренней беседы, прогулки с Л. Н. по парку и завтрака в его семье

я уехал в его экипаже в Тулу и далее по чугунке в Москву....

Оставив Ясную Поляну, я с отрадой разбирал и проверял свои впечатления. Граф Л. Н. Толстой после этой новой нашей встречи остался в моих мыслях тем же великим и мощным художником, каким его узнала и знает Россия. Он вполне здоров, бодр, владеет всеми своими художественными силами и, вне всякого сомнения, может еще подарить свою родину не одним произведением, подобным «Войне и миру» и «Анне Карениной». Скажу более. Как затишье и перерыв, после «Детства», «Отрочества» и «Севастопольских рассказов» (когда он занялся вопросами педагогии и издавал «Яснополянский журнал»), были не апатией и не ослаблением его художественных сил, а только невольным отдыхом, в течение которого в его душе зрели образы «Войны и мира», так и теперь, когда граф Л. Н. Толстой, изучив в подлиннике Ветхий и Новый завет и Жития святых, посвящает свои досуги рассказам для народа, он, очевидно, лишь готовится к новым, крупным художественным созданиям, и его теперешнее настроение — только новая ступень, только приближение к иным, еще более высоким образам его творчества.

1886 г.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ Н. Ф. ЩЕРБИНЫ

(ЕГО ПИСЬМА И НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ.)

Осенью 1850 года, кончив курс в Петербургском университете, я поехал в Одессу и в Крым. Было 6 сентября. Близился вечер.

После долгого, пыльного и душного пути на перекладных я завидел наконец, с обгорелой возвышенной степи, Одессу и скоро спустился к ней. Чистенький белокаменный город, среди садиков из акаций, над розово-фиолетовым морским заливом, произвел на меня чарующее впечатление.

Покрытый с головы до ног серою пылью, я въехал в ворота длинной, с закрытыми зелеными жалюзи, гостиницы Мазараки, наскоро умылся, переоделся, пообедал в Палерояле, у описанного Пушкиным Оттона (ресторан «Au petit gourmand»), где на карте кушаньев пестрели незнакомые имена местных морских рыб — скумбрия, кефаль, камбала, баламут, калканы, бычки и проч., — зашел в погреб под вывеской «Текущая река», где выпил за шесть копеек, как теперь помню, стакан превосходного беспошлинного хиосского вина (Одесса тогда еще была porto-franco) и пустился пешком осматривать город. Мне тогда пошел двадцать второй год, и я был способен без устали и с наслаждением проходить огромные пространства.

Улицы Одессы сорок лет назад мало походили на русский город. Над магазинами везде красовались итальянские, греческие и французские вывески. Молдаване, валахи, армя-

не, греки и татары в живописных национальных одеждах торговали в палатках, на площадях и перекрестках улиц. Мелькали фески турецких матросов; какой-то алжирец в белой чалме носил и продавал ручную, ученую обезьяну. Тысячи возов, телег и немецких гарб тянулись от взморья к громадным каменным пшеничным амбарам и обратно. На площадях, перед амбарами, высыпали, лопатили, веяли и снова насыпали пшеницу. Везде слышался иноплеменный говор. Извозчики на оклики иностранцев отвечали, подавая дрожки: «Си, синьор!», «Престо» и «Тутсюит». Нарядные, с восточными лицами красавицы, под широчайшими белыми с бахромой зонтиками, проносились по улицам на рысаках, в богатых колясках и ландо. Где-то подкрепившись за три копейки рюмкой малаги с бисквитом, конец вечера я провел в театре.

Давали оперу «Сомнамбула», с знаменитой певицей Брамбилла и с неким замечательно-нежным и сладко-певучим тенором. Мастерски спевшиеся, оживленные и подвижные хоры, красивый дирижер — худой и бледный еврей Буффе, с длинными черными волосами, живописно падавшими на его большие отложные воротнички, необычайно шумный, с перекликаньями через соседей, говор публики в антрактах и масса хорошеньких женщин в ярко освещенных ложах, отделанных бронзой и инкрустацией из зеркал, — все это на скромного путника, прибывшего с севера, производило сильный эффект.

В антракте, после одного из действий, со мной заговорил сосед по креслу партера. Не помню, с чего он начал, кажется, с оперы, вроде того: «Ну, какова опера и исполнение? А зато слушатели?» Это был ниже среднего роста человек, смуглый, с большими черными выразительными глазами и в черных длинных, тщательно причесанных кудрях. Ему было лет под тридцать, он несколько заикался. На его шее на шнурке висела золотая лорнетка. Зло подсмеиваясь над одесской публикой, которая вся, по его словам, в глубине души была меркантильно-невежественна и, не имея понятия об ис-

кусстве, ездила в театр только из моды, — он указал на одну из лож в бельэтаже.

— Вон сидит старый Крез, — сказал он, — как важен и с каким достоинством аплодирует! А в молодости был морским разбойником, звался капитаном Барбуни и разбогател на контрабанде... Теперь называется иначе... И что значат деньги! Все знают его прошлое, и никто его не трогает.

Мы заговорили о Петербурге. Узнав, что я недавно был в Москве, сосед сказал мне, что особенно любит этот город, и спросил меня, кого я там видел. Я назвал несколько имен и, между прочим, Загоскина.

— Автора «Юрия Милославского»? — спросил оживленно сосед.

— Да.

— И вы знакомы с ним?

— Давно, со школьной скамьи, хаживал к нему по праздникам.

— Что же он? Пишет что-нибудь новое?

— Комедию в стихах — «Женатый жених».

— В стихах? — улыбнулся сосед. — И он вам ее читал?

— Познакомил из отрывков.

— Ну, и что же, хорошо?

— Мне понравилось.

— Каков он, скажите? Как вы его нашли, когда заехали, что именно он в то время делал? Очень стар?

— Бодрый, как всегда, толстенький, круглолицый, румяный и голубоглазый. А что он делал, когда я вошел, — рассматривал на столе, в витрине, любопытную коллекцию лукутинских табакерок с картинками; взял бильбоке и, ловя его шарик, разговорился о рифмах.

— В каком роде?

— Он сказал: есть русские слова, на которые вовсе нет рифм.

— Что за пустяки! Любопытно, однако, знать, какие это слова? — заикаясь и как бы сердясь, проговорил сосед.

— Между прочим, он назвал: «зеркало» — «жалоба» — «память» и еще, не помню, что.

Сосед нервно двинулся, хотел отвечать, но в это время оркестр кончил играть, взвился занавес, в публике послышалось шиканье говорунам, и он затих. Все действие он сидел неспокойно, лорнируя ложи, принужденно зевая и почти не глядя на сцену. Когда, после нового действия оперы, опять спустился занавес, он быстро обратился ко мне.

— Рифма на зе... зе... «зеркало» есть! — сильно заикаясь и сердито пуча глаза, громко проговорил он. — Как не быть! Мудрости тут нет никакой... «зеркало» — «исковеркало»... И на «жалоба» есть, в другом хотя падеже — «жалоб» — «узнало б» — или «жалобе» — «жало бы».

— А «память»? — спросил я.

— На это, положим, труднее, хотя тоже вздор, и, без сомнения, есть, если подумать.

Сосед замолк. На наш разговор из следующего ряда кресел к нам обернулся высокий с темно-русыми волосами господин, сидевший прямо против нас.

— На «память», разумеется, также есть рифмы, — сказал он. — Одна не вполне созвучная — «за́меть», другая не цензурная — «попа́ — мять»...

— И третья не бла-бла-говонная! «Клопа — мять!» — еще сильнее заикаясь, точно выстрелил первый мой сосед. — Вот и открытия! Передайте их Загоскину...

Музыка снова прервала наш разговор. Опера кончилась бурными овациями Брамбилле. С улицы слышались виваты и крики «ура!». Певице не дали ехать. Ее поклонники отпрягли лошадей и, осыпая артистку цветами, потащили ее в коляске на руках. Светила яркая луна. Публика, расходясь, наполняла оживленными группами бульвар.

Прощаясь с соседями по театру, я сказал тому из них, который заикался:

— Если Загоскин спросит, от кого я слышал рифмы, как мне вас назвать?

— Щербина.

— Автор греческих стихотворений?
— Он самый...
— А ваше, извините, имя? — обратился я к другому.
— Полонский.
— Автор «Гамм»?
— К вашим услугам.

Так случайно, в один день и час, произошло мое знакомство с двумя высокодаровитыми поэтами, произведениями которых уже в то время зачитывалась вся образованная Россия. Оставшись еще несколько дней в Одессе, я уехал на пароходе «Тамань» в Крым, одновременно с Я. П. Полонским, который возвращался на Кавказ, где он в то время редактировал «Закавказский вестник». На пути мы вынесли сильный шквал; половину путешественников укачало.

В Ялте Я. П. Полонский, остановившись со мной в одной гостинице, прочел мне и вписал карандашом в мою памятную книжку новое свое стихотворение «Качка в бурю», очевидно, написанное им под впечатлением перенесенного нами шквала, обозначив под ним: «Пароход «Тамань». Сентябрь 1850 г.».

Знакомство мое с Щербиной, вскоре с его переездом в Москву и потом в Петербург, перешло в дружеские, близкие отношения, которые не прерывались до дня его кончины.

В бытность студентом Харьковского университета, Щербина жил в крайней бедности, из заработка грошей писал проекты проповедей семинаристам, искавшим места священников, и спал под таким изорванным одеялом, что его ноги просовывались в прорехи. Слуга одного из моих знакомых, А. Ф. Т., жившего в то время в Харькове, видя Щербину, приходившего к его господину в невероятном теплом костюме, обернутого шарфами, докладывал о нем: «Щербина пришла», очевидно принимая его за женщину.

Малооцененный критикой при жизни, частью, вероятно, вследствие чересчур злых и подчас слишком отзывавшихся личным раздражением стихотворных и прозаических его сатир и памфлетов на современных деятелей, Щербина и после

своей смерти не дождался еще вполне верной и беспристрастной оценки своей поэтической деятельности. В родной литературе, как поэт антологических стихотворений, он несомненно будет поставлен рядом с лучшими из своих современников, с Майковым, Фетом, Полонским и Меем. В области сатиры он дал также замечательные образцы, не потерявшие своей соли и доныне, через двадцать лет после его смерти.

Наследникам Н. Ф. Щербины, его брату и сестре, давно следовало бы издать более полное и проверенное собрание его произведений, предпослав ему обстоятельное его жизнеописание. С целью содействовать тому и другому привожу здесь, с примечаниями, некоторые из сохранившихся в моем литературном архиве его писем ко мне и писем о нем других писателей, отрывки из неизданных его стихотворений и описание его кончины.

Щербина верно определил свою жизнь следующими стихами:

Я в жизни боролся не с бурей великой
Не с мощным, разумным врагом,
Но с мелочью горя, но с глупостью дикой,
В упорстве ее мелочном.

Н. Ф. Щербина родился 2 декабря 1821 года; умер на 48-м году, 10 апреля, в 1869 году, в 10 с половиной часов вечера. По моей просьбе, он написал мне за три дня до своей смерти (7 апреля 1869 года) следующие сведения о своей жизни.

«*Записка о Николае Щербине.* Он происходит с отцовой стороны из дворян Харьковской губернии, а с материнской из дворян Войска Донского. Родился в конце 1821 года, в степном поместье матери своей, в земле Войска Донского, находившемся близ города Таганрога.

С восьмилетнего возраста начал постоянно жить с родителями в Таганроге и обучался в тамошнем училище и гим-

назии. Будучи еще гимназистом, он напечатал первое свое стихотворение в журнале «Сын Отечества», 1838 года, № 10.

В шестнадцатилетнем возрасте поехал учиться частным образом в Москву, а оттоль в Харьков, где чрез известное время и поступил в университет. По тяжелым житейским обстоятельствам, в которые впали его родители, он вынужден был выдержать экзамен на учителя и преподавать в деревнях у помещиков. По временам возвращался в Харьков и занимался преподаванием в женских пансионах.

В это время он печатал свои стихотворения в местных литературных сборниках и в некоторых столичных журналах, а также и статьи в прозе.

Переехав из Харькова в Одессу, он издал там собрание своих стихов, под названием *«Греческие стихотворения»*. Эта книга была принята благосклонно и публикой, и критикой и доставила автору известность.

В Одессе он был представлен Л. С. Пушкиным, братом поэта, князю П. А. Вяземскому.

Из Одессы он отправился в Москву, в 1850 году, где определился на государственную службу в московское губернское правление, в должность помощника редактора «Московских губернских ведомостей». В Москве же он занимался преподаванием уроков девицам из высшего тамошнего общества. Участвовал в журнале «Москвитянин» и печатал стихи в разных петербургских журналах. Собирал и записывал из уст простонародья русские народные песни в разных местностях России. Переехав из Москвы в Петербург, он поступил вновь на службу по министерству народного просвещения — чиновником по особым поручениям при товарище министра, князе П. А. Вяземском, и делопроизводителем одного еврейского ученого комитета.

В это время он издал: 1) Полное собрание своих стихотворений в 2 томах; 2) «Сборник лучших произведений русской поэзии», 3) «Пчелу», сборник для народного чтения и для употребления при народном обучении. Этой книги напе-

чатано уже 3-е издание. Кроме того, печатал статьи в журналах и отдельными брошюрами по части простонародного образования. Во французском журнале «Le Nord» поместил статью о медали в память 19 февраля 1862 года, исполненной графом Ф. П. Толстым.

Путешествовал по Европе и помещал в «Русском вестнике» свои путевые письма и стихотворения, а также и в «Дне». В настоящее время находится у него ненапечатанным довольно большое собрание сатирических стихотворений.

Пожертвовал 2 тысячи экземпляров своей народной книги «Пчела» на бедные сельские школы, учрежденные при церковных приходах, на сумму 2225 рублей. Пожертвовал эту же книгу во все воскресные простонародные школы при духовных семинариях. Тоже пожертвовал и на славян.

При новом преобразовании министерства народного просвещения остался за штатом и был год без места. Потом был причислен к министерству внутренних дел и вскоре прикомандирован к главному управлению по делам печати для составления «Обозрения русских газет и журналов», представляемого ежедневно его величеству государю императору. Во время этой последней службы Щербина заболел тяжкой хронической болезнью, но должность свою, однако, отправлял неукоснительно, как бы был совершенно здоровым. Болезнь же продолжается около 4 лет. Состоит в штаб-офицерском чине».

«Прибавление к записке о Щербине». Еще он писал по поручению Академии наук критические разборы сочинений, поступающих на уваровские премии, и был награжден за это академией, которая присудила ему золотую медаль.

Кроме того, он писал критические статьи и рецензии в разных периодических изданиях».

Он же за два дня до своей смерти написал лично и вручил мне, для представления князю П. А. Вяземскому, следующее заявление:

«Заметка относительно редакции статей в «Пчеле[1]. Что касается слов, выражений и образов, которые принято отстранять от детских и женских сфер, то составитель «Пчелы» в редакции статей своего сборника обратил на этот предмет особенное внимание.

На 640 страницах книги, не более как в двух местах находится подобное слово, да и то в статьях, изложенных только на церковнославянском языке. Так, например, в «Сказании келаря Авраамия Палицына» (стр. 116) слово «блуд» и другие еще более рельефные выражения и картины *выпущены* составителем из статьи, и только один раз было необходимо по редактивным соображениям удержать это слово.

В другой раз это слово упоминается в «Слове святого Василия Великого» (стр. 603), в котором приводится текст из «Апостола Павла»: «Не упивайтеся вином, в немже есть блуд».

Так как в «Пчеле» более 600 страниц, то те две страницы, где по разу написано это слово, теряются «как капля в море опущенна».

И во всех других хрестоматиях для учебных заведений никак невозможно было избежать совершенно подобных слов.

В катихизисе и священной истории их более всего. При богослужении они тоже слышатся и находятся также в повседневных молитвах.

К этому вообще не излишне присовокупить, что редакция статей в «Пчеле» до щепетильности обращала внимание на целомудренность выражений, образов и ситуаций, а в нравственном, духовном и политическом отношениях относилась к статьям своим с дипломатической осторожностью, имея в виду свойства читателей книги. Коллежский асессор Николай Федоров сын Щербина. 8 апреля 1869 года».

Друзья Н. Ф. Щербины и врачи советовали ему оставить Петербург, столь вредно действовавший на его здоровье, и

---

[1] Об этом сборнике Щербина говорит весьма подробно ниже, в письме XIII.

переселиться, хотя временно, на юг России; но покойный медлил и все собирался приступить к этому переселению. В марте 1869 года он просил меня похлопотать о зачислении его в распоряжение новороссийского генерал-губернатора в Одессу. Князь П. А. Вяземский принял в этом случае снова самое живое участие для осуществления желания Н. Ф. Щербины, силы которого с каждою неделею падали. Министр внутренних дел А. Е. Тимашев, в ведомстве которого Н. Ф. Щербина в это время служил, изъявил полную готовность помочь в осуществлении его просьбы. Письмо о согласии министра внутренних дел перевести Н. Ф. Щербину в Одессу, устроить его положение при генерал-губернаторе Коцебу и испросить для переезда в Одессу денежное пособие было мною доставлено Н. Ф. Щербине утром, в день его смерти. Обрадованный этим письмом, он поручил мне принять меры к ускорению этого дела, предполагая немедленно выехать из Петербурга, и назначил мне свидание 11 апреля, для окончательных переговоров о способах выезда своего на юг, а 10 апреля вечером уже его не стало. Утром 10 апреля он был осмотрен лучшими хирургами, из которых покойный Е. И. Богдановский, профессор медико-хирургической академии, предложил ему тут же (дело было в два часа пополудни) сделать операцию, т. е. вставить ему в разрез горла дыхательную трубку и затем вырезать полип, начинавший его душить. Н. Ф. Щербина на это не согласился, подшучивая над страстью хирургов к ножу. Весь день он провел в обычных занятиях, читал, занимался служебной работой и передал своему слуге Ивану на всякий случай адреса трех докторов, бывших у него на консультации (Е. И. Богдановский даже оставил у него свой инструмент) и сказал, что следовало делать с ним, если б у него паче чаяния начался приступ удушения, а именно: мочить горло теплой губкой, растирать грудь и проч. В девять часов вечера он напился чаю, потом пил сельтерскую воду и еще в десять часов вечера говорил со слугой. В 10½ часов он вбежал в кухню, разводя руками и показывая знаками, что с ним началось удушье. Вслед за тем он молча бросился в спальню, упал на кровать и через

несколько минут умер. Слуга поехал за докторами; те немедленно явились, употребляли все средства к его оживлению, искусственно возбуждая его дыхание, и даже произвели сечение его горла, но жизнь покойного уже угасла. Он умер в доме Карачарова, на углу Поварского переулка и Колокольной улицы, в крошечной квартирке четвертого этажа, где лучшим его утешением были несколько шкафов с книгами и с гипсовыми изображениями греческих героев и героинь. Тело покойного погребено 13 апреля 1869 года на старом кладбище Александро-Невской лавры, невдали от могил Даргомыжского и Серова.

ПИСЬМА Н. Ф. ЩЕРБИНЫ

I

«*1850. Ноября 29. Москва.* Милый Григорий Петрович. С чувством особенного удовольствия читал я ваше письмо. Благодарю вас за внимание и память обо мне. Извините, что я никак не мог увидеться с вами в Москве несмотря на все мое искреннее желание: причиною тому было то, что разлилась река в селе Павловском, где я был, и снесла мост, оттого мне и нельзя было переехать для свидания с вами в Москве. Не лишним считаю сообщить вам, что я в Москве поступил на казенную службу в здешнее губернское правление, помощником редактора «Московских губернских ведомостей». Это место штатное и классное. Я очень доволен, что наконец-таки добился до исполнения своего желания — вступить в казенную службу, которая одна только дает человеку постоянное и верное обеспечение в жизни;[1] а частные

[1] Так думали русские люди 40 лет назад.

занятия так не постоянны и не прочны. Это я испытал на себе... Постараюсь же строго и законно исполнять свои служебные обязанности, и благо мне будет.

С А. Н. Островским я познакомился, был у А. О. Вельтмана раза два.

Вы хотите знать, какие новости в московской литературе? Я в ней человек совершенно посторонний и считаю наведываться о такой литературе для себя нисколько не интересным и бесполезным. «Греческие стихотворения» все у меня раскуплены книгопродавцами, я не имею их ни одного экземпляра. Требуется второе издание. Мне предлагал это один здешний книгопродавец, изъявивший желание быть постоянно моим издателем.

В «Сыне Отечества» было напечатано без ведома моего и согласия несколько моих пьес: одни из них в исковерканном виде, другие две из детских моих опытов, которые я неохотно и очень неохотно вижу в печати. Не знаю, кем и как они доставлены в этот журнал. Подобные вещи могут меня компрометировать.

Я имею целую тетрадь, состоящую из 42 стихотворений, готовых к напечатанию. Из рукописи этой, если я и думаю печатать в каком-нибудь порядочном, любимом публикою журнале, то не иначе, как за плату, рассчитывая на печатный лист или хоть поштучно. Впрочем, я охотнее готов отдать в один журнал за приличную плату уж всю эту рукопись (42 пьесы), которая могла бы печататься в продолжение целого года в журнале. В противном же случае гораздо с большим удовольствием могу оставить ее ненапечатанною в своем портфеле или издать особою книжкою, когда и как мне заблагорассудится[1]. Впрочем, это все vanitas vanitatum. В Одессе уже вышел в свет литературный сборник «Литературные вечера». Постарайтесь не медлить рецензией на него в петер-

---

[1] Эту тетрадь впоследствии Щербина подарил мне, и из нее мной ниже приводятся отрывки.

бургских журналах: это будет полезно для этого сборника. Вы, я думаю, скоро получите его в Петербурге. Содержание его вы знаете. Адрес мой:. В Москву. За Пресненскими прудами, в Грузинской ул., в доме Никулина, где контора Павловской казенной суконной фабрики. Примите уверение в душевном к вам расположении. Весь ваш Н. Щербина».

Н. Ф. Щербина приехал в Петербург 22 января 1851 года и в тот же день навестил меня. Утром следующего дня я повез его к О. И. Сенковскому, а вечером к А. А. Краевскому. С этого началось его знакомство с петербургскими литераторами.

II

«*3 апреля 1853 года. Москва.* Вы я думаю, любезнейший Григорий Петрович, никак не ожидали получить от моей лености это послание... Но на меня, как найдет, под какую минуту что придется: заснувшая, по-видимому, деятельность возобновляется и даже делается ровною и постоянною, смотря по внешним обстоятельствам, меня окружающим. Зная вашу любезную обязательность и расположенность лично ко мне, я решился обеспокоить вас моею покорнейшею просьбою. У нас в Москве предполагается издать один «*Альманах*», для чего собрана уже часть материалов, между которыми есть вещи очень порядочные, и людей, имеющих имя в современной литературе. Он будет издан одною из особ «Дамского попечительства о бедных в Москве». За редакциею относительно литературного comme il faut поручено присмотреть мне. Можно ручаться некоторым образом, что он совершенно не будет похожим по литературному достоинству на так называемый «Раут» — и это уже не малое, можно надеяться, его достоинство. Нужно набрать побольше материалов для этого издания, чтоб было из чего выбрать «не борзяся, но со вниманием». Я предполагаю получить статьи для этого из Одессы, Харькова и других пунктов

нашей литературной деятельности, при статьях московских и петербургских, почему и дано будет этому сборнику соответствующее название и физиономия. Итак, покорнейше прошу вас, Григорий Петрович, попросите от моего имени стихотворений у А. Н. Майкова, Я. П. Полонского и пришлите своих при этом. Не достанете ли хоть небольших статеек в *прозе* у ваших или наших общих знакомых, словом, старайтесь приобрести побольше материалов для этого «Альманаха» от разных лиц. Да и вы, кроме стихов, еще так мило пишете в прозе; расщедритесь-ка для нас. Мы надеемся на вашу любезность. Я многим обязан лично той даме, которая издает этот сборник, и не могу чем другим вознаградить ее за внимание ко мне, как только старанием собрать чрез своих добрых знакомых материалы для ее издания и лично присмотреть за изданием. Надеюсь, вы будете мне в этом содействовать. Собирайте и пишите мне. Жду от вас письма. Вас уважающий и преданный вам Н. Щербина.

P. S. Вы, кажется, изъявили желание иметь мой портрет, по личной вашей расположенности ко мне, наказывали об этом чрез актера Домбровского и еще писали об этом, в числе других ваших московских литературных знакомых. Исполняю теперь желание ваше: посылаю вам при этом письме *свой портрет* (тот, который размером *побольше*) и книжечку последних своих стихотворений.

В этой же посылке находятся *мой портрет и семинарские аттестаты*[1] с иллюстрациями. Эти две безделки передайте от меня Виктору Павловичу Гаевскому. Он, верно, позабыл меня, что так давно не пишет мне, не отвечая на письмо мое, и пусть хоть дагеротипная физиономия моя напоминает ему обо мне и когда-нибудь внушит ему мысль написать ко мне. Я его очень люблю и посылаю ему портрет как упрек, как вещь *для напоминания* ему обо мне, надеясь,

---

[1] Собственноручный список этих аттестатов Щербина подарил также и мне. Они изданы в собрании его сочинений.

что хоть это когда-нибудь заставит его написать и возродить прежнее его внимание.

Живя прошлое лето в деревне, на досуге, я прибавил еще несколько новых пунктов к «аттестатам»: это — издание дополненное, исправленное и умноженное».

III

«*10 апреля 1854 г. Москва*. Адрес: В Москву. Н. Ф. Щ. На большой Дмитровке, у Дворянского клуба, в Салтыковском переулке, в доме Талызина.

Я опять решаюсь обратиться к вам с моею докучною просьбою, обязательный, любезный Григорий Петрович, и надеюсь, что вы, по чувству расположения ко мне, не оставите ее исполнить. Вы уже не раз обязывали меня вашим содействием. Дело вот в чем.

Так как статьи сборника оказываются с достоинствами и интересом и сборник «Железная дорога», как можно надеяться, выйдет comme il faut, то я имею предлог покорнейше просить вас: будьте так обязательны, вышлите для этого сборника какую-нибудь беллетристическую статью вашу — рассказ или повесть. Только поспешите это сделать, нимало не медля и, если можно, с первою почтою, чтобы не задерживать издания, и без того, по милости моей, долго задерживаемого в видах собрания хороших статей и статей более или менее известных писателей, также и имеющих интерес *исторических материалов*, по преимуществу для современных вопросов. Если есть у вас и стихи, то и стихи вышлите вместе с вашею прозаическою статьею, и если можно будет, то достаньте еще стихотворения других авторов; особенно нам нужна ваша статья в прозе повествовательного рода, чтобы беллетристический отдел был пополнее и получше. Не достанете ли чего-нибудь еще из повестей и рассказов у кого-либо другого? Пишите мне побольше и подробнее обо всем, что взбредет на ум, и новости, если есть какие, сообщите; я, как провинциальная барыня, от

безделья и скуки не прочь желать новостей и читать предлинные письма с любопытством. Жду от вас письма и статьи. Весь ваш Н. Щербина».

IV

«*Москва. 1855 года, февраля 22. Вторник.* Благодарю вас, добрый Григорий Петрович, за приятное письмо ваше: вы как-то умеете сообщить всегда что-нибудь приятное и в пору, тем более это теперь мне было нужно при известном моем расположении духа, когда предстоит мне и перемена жизни, и перемена моих занятий: я даже все свои, до этих пор бывшие у меня, книги отослал к себе домой в Таганрог, и нет у меня ни одной книжонки из прежних, которые служили мне этюдами для моих занятий: в Петербурге уж буду собирать новые книги, книги нового рода, по части русской истории, русской старины, русской археологии, народности и русской филологии, хоть и буду еще заниматься преимущественно юридическими предметами, думая держать экзамен на кандидата прав, для улучшения своей житейской участи и гражданской карьеры, но за всем тем мне необходимо тотчас поступить на службу, и я постараюсь воспользоваться местом службы, о котором говорил Л. А. Мей. Большое спасибо за доброе его старание обо мне и память даже обо мне отсутствующем. Я это так тепло и искренно ценю в сердце своем. Благодарите и В. М. Лазаревского за его дружеское предложение и передайте ему всю полноту моей признательности за его ко мне расположение. А. Н. Майкова благодарите за добрую память и доброе слово обо мне кому следует: я в свою очередь тоже не в долгу перед ним и плачу за чувство чувством, за слово словом. Не забудьте передать мой поклон и прямое чувство искреннего уважения Александру Васильевичу Никитенке. Его все полюбили и уважают здесь в Москве. Да то же самое от меня передайте моим незабвенным графу и графине Толстым и Штакенш-

нейдерам и всем тем хорошим людям, которые так радушно меня принимали: я все это помню и глубоко признателен. За особенную честь почту поближе быть знакомым с супругою А. С. Норова и надеюсь иметь эту честь по приезде моем в Петербург. В Петербург я приеду или к празднику, или же на Фоминой неделе непременно. В Москве мне решительно нечего делать. Я даже давно не посещаю своих знакомств, так что отстал здесь от всех и от всего, и живу в квартирном своем уединении, да и друзья мои уехали отсюда. Это какой-то год для всех грустный и тяжелый. Я еще кое-как живу мыслью о Петербурге: о будущей моей деятельности, о службе, об других занятиях, хоть, впрочем, без всяких надежд, которые я уж давно причислил к самообольстительным иллюзиям детства, не имея на это никаких положительных данных, и мне от этого куда как тяжело и постоянно носишь в душе какую-то томительную тяжесть и никуда не убежишь от нее. Назад тому недели три я писал к А. А. Краевскому об статье вашей «Основьяненко» и отнесся об ней с похвалою, что сделано было мною по убеждению и положа руку на сердце, ибо я ее просматривал, да и вы читали мне лично места из нее. Притом же предмет ее мне известен. Я в Харькове жил 7 лет и знаю о нем кое-что. И так я сам, не спросясь вас, написал о статье вашей к редактору «Отечественных записок», и написал все, что можно было лучшее. О «сказках» же я не писал по причинам, которые я объясню вам при свидании и которые вы, надеюсь, найдете достаточными.

Один из друзей моих, кажется, меня выдает, и мне это больно, как разубеждение. Чем больше кто чувствовал приязни, тем горше разубедиться ему в предмете своего чувства. У меня в квартире только и был один человек, бывающий в обществе Панашки[1], и больше никого, кто бы, кроме него, мог передать о «персидском халате» из тармаламы и тому подоб-

---

[1] И. И. Панаев.

ных вещах, относящихся к литературе. Вы поймете это, прочитав фельетон № 2 «Современника». Теперь я решительный повод имею убедиться, откуда и из какого источника являлись сплетни и намеки на мой счет в известном фельетоне, фразы из писем и тому подобное, так что я должен ожидать, что скоро явятся в печати и все мои интимные разговоры с ним tête-à-tête в низко извращенном виде, которые своею извращенною кистью могут скомпрометировать меня перед некоторыми лицами. Каково теперь литературное времечко! Сам известный Фаддюха (Булгарин) пред этими безнравственными господами покажется греческим Аристидом честности.

Поклонитесь Николаю Осиповичу Осипову: я чувствую к нему много приязни и за многое ему благодарен, также Ф. А. Бурдину. Старцу Якову[1] мой поклон. «Аспазия» его всем мыслящим и чувствующим дамам, понимающим поэзию, *чрезвычайно нравится.* Когда в одном обществе прочитали эту «Аспазию», я воскликнул: «Умри, Яков!» — и дамы повторили: «Умри, Яков!»

Многие из женской половины знают эту пьеску наизусть.

Вспомните: «Умри, Денис!», и вы невольно скажете тоже: «Умри, Яков!»

Благодушному старцу Якову я лично доставлю книжку, у него мною занятую.

Передайте мой поклон П. А. Степанову (карикатурист) и супруге его. Сережу их (сын) за меня расцелуйте. Письмо от Николая Александровича Степанова я получил, равно и от Николая Осиповича Осипова. Пишите мне, Григорий Петрович, поскорее и поподробнее, тем более что мне уж недолго быть в Москве, и старайтесь там в пользу мою, ибо для меня настает не совсем-то легкая минута перемен, перелома и тому подобных вещей. Будьте на этот раз моим корреспондентом! Вы человек необыкновенно деятельный на этот счет — и первые написали мне из Питера, за что вас

---

[1] Я. П. Полонский.

искренно благодарю, — кланяйтесь В. Р. Зотову. Жду вашего письма с нетерпением. Ваш Н. Щербина».

V

«*1856 г.* Посылаю вам вашу корректуру. Нас звал нынче Л. А. Мей, вечером. Зайдите за мной, и отправимся. Жду вас, итак идем! «Подай костыль, Григорий!» Щербина».

VI

«Милый Григорий. Я вчера был у А. С. Норова, был принят им благосклонно и обедал вчера у него. И потому, бывши только лишь вчера, так недавно, не знаю: ловко ли будет мне быть нынче на вечере? Во всяком случае, заезжайте к 10 часам, ибо я буду в 8 часов у цензора Фрейганга. Ваш Щербина».

VII

«*1856 г.* Сентября 25[1]. Страшно лежать в казенной больнице, Григорий. Я думаю, что я сойду с ума... а для этого есть все благоприятствующие данные. Голод свирепствует в этой

---

[1] Объяснением этого письма служит сохранившаяся у меня следующая бумага. «1856 г. 22 сентября, № 7929. В контору Петропавловской больницы. Служащий в Департаменте народного просвещения Николай Щербина, будучи одержим болезнию, не имеет, по совершенно недостаточному состоянию, средств к пользованию себя на квартире, по уважению сего Департамент народного просвещения просит покорнейше о принятии г. Щербины в оную больницу».

юдоли плача и вздохов, и стонов. Я ночь всю не спал, и такие страшные мысли и фантазии об убитом мальчике-брате пилили мое сердце и зажигали мозг[1]. О, Григорий! Когда кончится подобное положение! А вопиющий голос попранных прав человеческих? Неужели мозг мой снесет все это...

Адрес мой: Н. Ф. Щ. На Петербургской стороне, в Петропавловской больнице, в операционном отделении. Видеть лично меня можно по вторникам, пятницам и воскресеньям от 1 часу до 4 часов. Известите об этом Зотова, Солнцева и Шилля, и поспешите известить. Напишите мне по городской почте побольше. Страшно мне, Григорий. Ваш Щербина. Петропавловская больница».

VIII

«*1856 г. 4 ноября*. Представляю при сем вам, Григорий, широкое поле одолжать меня: пред вами рукопись моих стихотворений для представления в цензуру. Поступите в этом случае тако: 1) Поспешите этим делом. 2) Спросите у князя П. А. Вяземского позволение отдать эту рукопись прямо цензору Бекетову, чтоб вы могли сказать ему, что его просил князь прочитать эту рукопись, не отлагая ее в долгий ящик, ибо мне скорость и в этом случае очень нужна. 3) Спросив у князя, поезжайте к цензору сказать это; потом от цензора поезжайте в Цензурный комитет, где, записав эту рукопись у секретаря и выставив на ней № с обозначением, где следует, что она поступила к цензору Бекетову, и оставьте ее у него для цензурного прочтения, но в Цензурном комитете не оставляйте. 4) Между прочим, слегка объясните ему, что почти все пьесы в рукописи были напечатаны уже в журналах, и притом в самое строгое цензурное время — особливо первый отдел весь. Попросите его поспешить прочитать ее.

---

[1] См. далее письмо А. А. Солнцева об этом убитом брате Щербины.

На рукописи я написал свой адрес, в случае, если бы цензору нужно было в чем-либо объясниться со мною. Все это дело не оставьте окончательно исполнить в понедельник, т. е. завтра. Ваш Щербина.

P. S. У князя я сам лично, скажите, потому не был с просьбой об этой рукописи, что не выхожу из дому по болезни».

IX

«*Петербург. 27 мая 1858 г.* Благодарю вас, добрейший Григорий Петрович, что вы меня не забываете, и за то, что вы посетили мой убогий домишко в Таганроге. Несмотря на небольшое письмо ваше, вы мне высказали больше о Таганроге, чем брат мой в десяти письмах.

Письмо ваше я читал с большим любопытством и много вам за него благодарен: брат мой пишет всегда лаконически. Впрочем, и я ему пишу так же, да и никогда не имел ничего писать ему поподробнее, потому что считал это неуместным и чуждым интересов его круга действий и отношений. Получивши письмо ваше и руководимый чувством благодарности к вам за разные прежние обязательные содействия мне, я тотчас отправился к Зотову и показал ваше письмо; вот что я могу после этого сказать вам: после вашего отъезда, вследствие переворота мнений свыше в высших кругах администрации, цензура стала гораздо строже, и потому ваш рассказ не может быть напечатан в настоящее время, а нужно выжидать для него времени. Даже ваш рассказ уже напечатанный в «Иллюстрации», не был дозволен к напечатанию цензором и пропущен только с разрешения попечителя университета и председателя Цензурного комитета князя Щербатова.

За биографию и портрет Радищева Зотов будет вам несказанно благодарен. Он старику Радищеву за биографию отца его (вместо подписки в пользу его, что неудобно) даст

самую большую цену, какую только может платить «Иллюстрация». Пришлите статью-биографию (или автобиографию) Радищева в «Иллюстрацию»; и если ее дозволят напечатать, то можете получить деньги в пользу бедняка Радищева, что будет служить ему вспомоществованием, вместо подписки в пользу его.

Дружинин вряд ли скоро может напечатать ваш рассказ, ибо все редакции завалены статьями, да притом и цензура...

К** назад тому год продал повесть в «Библиотеку для чтения», получил вперед деньги сполна за нее по 60 или, кажется, по 70 рублей серебром за лист, и повесть до этих пор никак не попадает в печать. Между тем как «Современник» с жадностью за дорогую цену покупает его повести. Так все завалено в редакциях статьишками; жди, когда-то дойдет очередь. Пишите в редакцию «Иллюстрации» и присылайте все, что есть у вас и у других; а главное, Радищева присылайте.

Сборничишко мой, я скажу Давыдову, чтоб вам отправил; а стихи мои я для вас оставил было, но вы их не взяли, и теперь у меня нет ни одного экземпляра. Я еду послезавтра в отпуск в деревню, до сентября, и вы мне туда пишите побольше и поподробнее, как можно поподробнее, о Таганроге, о Корсуне, о котором я ровно никаких сведений не имею, о брате моем, о Харькове и о прочем.

Адрес мой: В Юрьев Польской, Владимирской губернии, Н. Ф. Щербине. В Есиплеве, имении г-жи Акинфовой (оставить на почте).

Видите ли, все езжу изучать великую Русь на месте, в сердце ее народности. Жил в Костромской, Тверской и Московской губерниях, а теперь еду во Владимирскую губернию. Кланяйтесь вашей жене. Ваш Щербина.

Новое начальство мое доброе, я им доволен. Хандра у меня прежняя, Божий свет не мил, тоска от долго тянущейся жизни. Но верьте, все наше теперешнее vanitas vanitatum».

X

«*18 сентября 1858 года. Петербург.* Милый Григорий Петрович. Письмо ваше я имел удовольствие получить и отвечаю вам на все его пункты.

Я виделся с соредактором «Библиотеки для чтения» А. Ф. Писемским, говорил с ним о статье вашей, и он сказал мне положительно, что статья ваша о пребывании Екатерины Второй на Днепре будет напечатана в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения» этого года. Она будет напечатана с некоторыми изменениями в тоне, который редакция нашла «несколько сладким», как сказал Алексей Феофилактович. Для вас редакция тоже приготовит известное число оттисков.

В. Р. Зотов сказал, что он не может определить времени напечатания вашего очерка «Крестьянка ученица» равно как и видов Полтавы, по причине множества накопившихся материалов, но при первом представившемся удобстве они будут напечатаны.

Я. П. Полонский возвратился из Парижа, где женился на премилой девице из русских. Он живет теперь пока в квартире Штакеншнейдера.

Мей Л. А. недавно переехал жить в конце августа на дачу.

Я неделю тому назад возвратился из Москвы сюда в Питер. В Москве жил около месяца и в восторге от милой, доброй, благородной, разумной и мыслящей Москвы, пред которой Петербург кажется мне городом нравственно ограниченным, алтынно-практичным, словом, «скорбным главою», выключая, разумеется, дел, относящихся к узкой практичности, к обыденным целям и тому подобному, внешне хоть и небоходимо-житейскому... Но ведь Москва зато столица всего народа. Недаром всякая крестьянская девушка поет, в самом отдаленном захолустье Великороссии, и поет о «матушке каменной Москве».

Но я боюсь, не пристрастен ли я к Москве, потому что люблю и любил ее всею полнотою сердца и патриотического чувства, да притом и провел в ней два года первой юности —

1839-й и 1840-й... А это много значит... А потом опять жил в ней постоянно от 1850-го по 1855 год.

Сухомлинов на год или, кажется, на два уехал за границу.

У Штакеншнейдеров я не бываю и потому вашего поклона передать не могу, у М-ъ тоже не бываю по причине их козней против меня и множества эпиграмм, мною на них написанных.

Что делается в литературе — я почти не знаю, ибо избегаю всячески столкновения с литературщиками.

Я был во Владимирской губернии, ездил по деревням, жил с народом, изучал великорусскую народность, собирал народные песни, изучал русскую историю и древности, потом был в деревнях Московской губернии, потом жил в Москве. Теперь я приехал сюда на службу, которою пока весьма доволен, да и денег есть довольно. Адрес мой: на Литейной, близ Невского проспекта, в доме Ниротморцевой, в квартире Харламова. Весь ваш Н. Щербина.

Поклонитесь вашей жене. Семейству гр. Ф. П. Толстого я передам ваш поклон.

P. S. Вот к вам моя особенная и покорнейшая просьба. У вас есть подлинная рукопись моего «Сонника», писанная моей рукою. Заклинаю вас всем святым, успокойте меня тем, что вырвите из этой рукописи место о «Русском вестнике». Я написал его в сильной ипохондрии, в болезненном припадке самого черного взгляда на все. М. Н. Катков — самый лучший человек в настоящее время в России и полезный гражданин для нашего отечества и здорового его развития. Семейство его и круг его общества — прекрасные люди. Я у него в семействе оставил собрание моих сатирических сочинений, эпиграмм и «Сонник» в новой редакции, сделанной по моем выздоровлении.

Итак, я надеюсь на вас, что вы вырвете вышеозначенное место из «Сонника» и сожжете это место.

Порука в этом ваша честь:
Я смело ей себя вверяю...

Уничтожьте непременно».

XI

«*1859 года, января 1-го дня*. Поздравляю вас, Григорий Петрович, и жену вашу с Новым годом и благодарю вас за память обо мне, выраженную письмом вашим. Сохраняя постоянно благодарные чувства к вам в душе моей за все ваши старания и содействия личным интересам моим, я все-таки должен решиться просить вас не делать мне никаких собственно литературных поручений, ибо я стараюсь избегать всяких литературных сношений. Это в последний раз, что я решился удовлетворить вас по этому предмету и только исключительно для вас.

Вчера я видел Полонского в доме графа Ф. П. Толстого и говорил ему насчет напечатания статьи вашей. Он сказал, что решительно не знает, когда может напечатать ее, равно как и никакой редактор не может знать времени и обстоятельств, когда именно придется напечатать какую-либо статью. У него сотни статей, присланных из провинции, как и во всякой другой редакции, — и много, много нужно времени и лиц редактивных, чтобы прочитать всю эту массу, и потому редакции печатают большею частью статьи петербургских и известных писателей, которых статьи читать не нужно, ибо за достоинство их отвечает не журнал, а имя самого автора. Это последнее относится к г. Турбину, о котором Полонский ничего не знает и в первый раз от меня услышал его фамилию. Я также спрашивал о нем одного из сотрудников «Современника» — самых близких к редакции, он тоже сказал, что не помнит этой фамилии и статей под этой фамилией и что в редакции лежит многое множество присланных из разных мест статей и их не прочтешь и в два года. Полонский сказал, что у него многие сотни статей лежат грудами в редакции и потому он не берет статьи г. Турбина из «Современника», а пусть, коли угодно, он распорядится так, чтобы статья доставлена была ему из «Современника» прямо в редакцию «Русского слова» без всяких хлопот с его стороны.

О скорости же напечатания статей от неизвестных авторов и думать нечего, это чисто зависит от случая, а иногда нужно, чтоб статья возвышалась над уровнем обыкновенных журнальных повестей, чтоб ее напечатали... Кем журналисты из провинциальных авторов нуждаются, они тому тотчас высылают деньги и просят от него статей, которые вскоре и печатают, — и наоборот. Их приводят в негодование тысячи писем, которыми спрашивают их о *времени* напечатания; они их редко читают, а еще реже отвечают на них, ибо в статьях нисколько не нуждаются и сами не просят, чтоб их им присылали. Вольно же. Зотов сказал, что, когда выпадет удобный случай, он напечатает вашу «Полтаву». Но статья ваша — повесть, что ли, вряд ли удобна к напечатанию. Вот все, что я мог от него добиться. Итак, этим надеюсь, что навсегда отстраняю себя от литературных поручений.

О «Русском слове» и журналах вообще не могу вам сообщить ничего нового, ибо никогда о них и не спрашиваю, не интересуюсь ими.

Полонский будет сам писать к вам. Он квартирует у Штакеншнейдеров.

Пишите ко мне почаще и подробнее, только без литературных поручений. Ваш Щербина».

XII

«*С.-Петербург, 2 октября 1862 года*. Внемли, о «старче Григорие»! Письмо ваше я получил, и очень благодарен вам за память обо мне. Я вот уже полтора месяца, как нездоров, не выходя из дома и не видаясь ни с кем, зато же и адски работаю, просиживаю за работою иногда до 4 часов ночи... Да и сколько за этим трудом нужно сообразить, ворочать мозгами, корпеть!.. Но нынче моя работа уж окончена совершенно. Этот труд мой по «Читальнику», или книге для народа, назначаемой как для народного чтения вообще, так и для всякого рода простонародных школ, в смысле настоль-

ной книги для чтения всестороннего, объяснительного, развивающего и сообщающего разнообразные нужные в известном быту сведения... «Читальник» — это народно-русская энциклопедия в хрестоматической форме, где все в связи и более или менее в системе. Чего не было в данных нашей литературы, мне нужно было написать самому, — и я написал это. «Читальник» составлен из произведений русской словесности, начиная от 12-го века по сей день, и содержит в себе отделы: 1) богословский, 2) исторический, 3) по естествознанию и по практическому быту, 4) изящную словесность и 5) лечебник, календарь и т. п. Все это собрано, расположено, редижировано, переправляемо, сокращаемо, видоизменяемо в соображении с основами и характером русской народности, ее духа, пошиба внешнего, исторического и практического быта и настоящих потребностей. Писаных листов этого сборника вышло у меня 400, если не более. «Московское общество распространения полезных книг» берется его издать и меня требует в Москву лично. Я отдаю труд свой безвозмездно, только чтоб заплатили мои денежные издержки по составлению «Читальника» — я тянулся на него из своего жалованья, стеснял себя во всем, единственно имея в виду пользу страстно любимого и изучаемого мною великорусского простонародья... Я тоже и даже дважды проехал Волгою от Твери до Астрахани.

Платил я деньги и за некоторые специальные статьи, которых неоткуда взять, или по совершенно чуждому мне отделу знаний... Словом, много издерживался и терпел поэтому много скрытой, глухой, не знаемой никем нужды, прикрывая все это приличною comme il faut-ною внешностью.

Все делаю сам — никто мне не помогает и не обращает внимания на настоятельную, вопиющую потребность подобной книги в настоящее время... Да и чего же можно ожидать от современного политического и общественного хлыщовства, от петербургского пустозвонства и невежества тех, кому ведать надлежит... Все тупицы, мелкие эгоистические плутишки, рутинно-модные (но отсталые вместе с тем) фразеры,

без знания своей страны и народа, общие места, вычитанные (или выслышанные), европейских идей и науки, или, лучше сказать, кое-каких взглядишек... Но sapienti sat.

Мне давно предстоит по службе поездка в Москву, но я все оттягиваю ее по болезни. Кроме того, назначается командировка в разное время в 7 великорусских губерний.

В половине этого октября я буду в Москве, если особенно что не помешает. Квартира моя в Москве — в Кудрине, в приходе Покрова, в доме княгини Несвитской, в квартире А. В. Киреевой.

Повесть вашу я читал; местами она мне очень понравилась. При личном свидании поговорю с вами о ней подробнее.

Мой петербургский адрес следующий: в Троицком переулке, в доме Гассе.

Никому не могу передать ваших поклонов, ибо по обыкновению да и по болезни ни с кем не видаюсь. Я в Петербурге живу, как в деревне — нигде не показываясь, нигде не бывая... Да и что с дураками водить компанию.

Эх, поехать бы в любимую мною Москву, все-таки легче бы было!.. Вот уж полтора месяца, как сижу в своей квартире, не видя людей — ко мне никто не ходит, я словно в каземате... Впрочем, все работаю, хоть себе и не в корысть, зато для удовлетворения души своей и сердца, которые бьют в набат, прося общеполезного труда, труда только по строгому убеждению, а не своекорыстно-хлыщовского, в петербургском вкусе, и в том, что в моде...

Шутовства немудрый бес
Нам расставил сети;
В свисте слышим мы прогресс,
Мы сурки и дети...
Как сурков, нас тешит свист,
Как молокососов,
Чернышевский-публицист
И Лавров-философ!..

Прощайте, Григорий. Ждите меня в Москве... Вы мне будете нужны. Ваш Н. Щербина».

XIII

1869 года 8 марта, за месяц до своей кончины, Н. Ф. Щербина писал мне следующее:

«Добрейший Григорий Петрович. Гряди и дерзай! Прилагаю при сем письмо к князю П. А. Вяземскому по моему делу. Оно написано по возможности кратко и определительно. Вновь переделывать его не почто. Кажется, все в нем, как должно. Еще прилагаю к письму два изящно и роскошно отпечатанных и переплетенных экземпляра «Пчелы»: пусть поступит с ними князь Петр Андреевич по своему благоусмотрению, да вы еще скажите кое-что от себя. Вы уже знаете, «многоопытный и хитроумный Одиссей», что сказать по части практической.

Я верю, Григорий, когда вы в Петербург приезжаете, то мои житейские дела улучшаются. А это тем более нужно мне теперь, так как болезнь сделала меня калекой: ни выйти, ни выехать, ни о себе похлопотать, словом, ни оказать себе самопомощи...

Гряди же в мир и дерзай, Григорие! Весь ваш Щербина.

P. S. Да, мне нужно было повидаться с вами. Что стоит вам зайти ко мне хоть на ¼ часа».

По поводу переданного через меня письма Н. Ф. Щербины, князь П. А. Вяземский писал мне 9 марта 1869 года следующее:

«Письмо ко мне Щербины передал я министру Тимашеву, подкрепляя усерднейшим ходатайством и убедительнейшею просьбою. Ответа еще не имею. Секретарь императрицы болен, и тут еще нет ответа. На днях посылал я Щербине, с поручением все это ему передать. Побывайте у меня завтра или в другой день, в два часа. Совершенно вам преданный кн. Вяземский. Вторник, вечером».

Письма Н. Ф. Щербины к его брату Ив. Ф. Щербине

I

«*21 мая 1862 г. СПб.* Место тебе по питейно-акцизному сбору я отыскал у приятеля моего, управляющего питейно-акцизными сборами в Подольской губернии и Бессарабской.

Малейшее взяточничество, за выдачу, например, свидетельства какого-либо, влечет за собою неизбежное выключение из службы и опубликование во всех газетах, даже за шкалик водки, взятый в благодарность. Следить будут зорко, и явятся сотни доносчиков, желая получить место выгнанного.

Рассуди хорошенько и обстоятельно, можешь ли жить одним только содержанием по этой должности, совершенно без всяких посторонних доходов по должности, и тогда определись, а не иначе. Подумай хорошо.

По службе могут впереди быть повышения, если будешь бескорыстно правдив, строг и честен при открывшихся вакансиях.

Да не пиши провинциально-холопских чиновнических писем с разными хамскими титулами и величаньями невежественно-чиновничьего быта и унижениями лестью.

Чрез три недели я еду до осени в Москву.

Напиши о А. С. Сиротинине, полком ли он командует, или нет. Н. Щ.»

II

«*14 декабря 1862 г. С.-Петербург.* Любезный брат! Письмо твое я получил. Строго и аккуратно исполняя обязанности новой твоей службы, придерживаясь во всем законности и вниканием и изучением приобретая надлежащую опытность в новой службе, можно иметь постоянно в виду

повышение по должности, ибо эта малая должность удовлетворить житейским потребностям не совсем может. Эта должность нужна будет покуда как начало, как вступление, а по временам могут впереди открываться высшие вакансии по этой части, чем нужно будет по возможности пользоваться, приобревши усердною и честною службою доброе о себе мнение. Лучше было бы перейти в Подольскую губернию, ибо Аккерманский уезд, пограничный с Турциею, наполнен разными бродягами, беглыми и разбойниками, так что жизнь часто может быть в опасности, ездя но этим диким и пустынным степям. Есть ли с тобою солдат по службе?.. Бродяги и разбойники могут нападать по преимуществу на акцизных надзирателей, предполагая у них собранные деньги акциза. Нужно быть всегда и во всем осторожным и предусмотрительным, а тем более в таком краю, наполненном бродягами, при пограничности с Турциею. С тобою, я думаю, должен ездить всегда служащий при акцизе солдат. Есть ли это у вас положение? А тем более в таком диком и опасном краю. Тут даже в самом городе нужно быть чрезвычайно осторожным и на все предусмотрительным и оберегательным.

Адрес мой: в Троицком переулке, в доме Гассе.

Пиши мне подробно о своем житье-бытье на новом месте и об отношениях своих по новой службе и т. п. Твой Н. Щербина».

III

Предсмертное письмо Н. Ф. Щербины (дрожащим слабым почерком) к его брату Ив. Ф. Щербине и его сестре

«*22 марта 1869 г. Петербург.* Любезный брат и сестра. Последнее письмо ваше я получил сегодня и спешу отвечать на него, несмотря на то что дней 5 тому

назад отправил к вам письмо. Дело в том, что вы обо мне не беспокойтесь. На днях я обратился к медику, специалисту горловых болезней, профессору медицинской академии. Он осмотрел меня подробно, постукивал и выслушивал, и нашел, что легкие у меня целы и невредимы; но что сильное ослизнение всех слизистых оболочек, а в дыхательном горле опухоль, неровности, затвердения горловых связок. От этих причин постоянный кашель и мокрота. Легкие мои целы, потому что грудь необыкновенно развита природою; впрочем, чего доброго, со временем болезнь может добраться и до легких. Теперь мне трудно спать: сопенье, свист и храпенье в горле и в носу, да я еще ночью и задыхаюсь. Теперь я занимаюсь устройством своих служебных и денежных дел, ибо думаю года на два переселиться в Одессу: меня только и лечит теплый климат; но я отнюдь не хочу жить в Таганроге; но это время в августе, может быть, буду с неделю в Таганроге, ибо поеду из Нижнего Новгорода Волгой пароходом в Самару, где буду месяца 2 пить кумыс, а там отправлюсь Доном и железной дорогой в Таганрог, а оттуда в Одессу на жительство. Так по крайней мере я теперь предполагаю, а может, и переменю намерение. Я весной, наверное, окрепну: меня только и лечит, что воздух, а потому жильцам в своем большом доме ты не отказывай и за мной не приезжай, а сиди себе в Таганроге, ибо это стоит больших денег. Я здесь в Питере имею особую свою квартиру, со всем хозяйством и удобствами. За мной ухаживают в квартире три человека — и ухаживают, как нельзя лучше. В Одессе у меня близкие люди — Н. А. Новосельский и тамошний градоначальник. Ваш Н. Щербина».

Кроме того, небезынтересны по отношению к Щербине следующие два письма.

I

Письма кн. П. А. Вяземского к П. В. Зиновьеву

«*1855 г. 15 декабря.* Милостивый государь, Павел Васильевич! Даровитый писатель наш, Н. Ф. Щербина, с лучшей стороны известный свету, по расстроенному здоровью должен оставить Петербург и поселиться в Москве. Не имея никаких средств для обеспечения своей жизни, он желает получить в Москве место, которое обеспечило бы хотя первые потребности и в свободные часы дало бы ему возможность посвятить свои силы продолжению литературных трудов.

Обращаюсь к вам, милостивый государь, с покорнейшею просьбою, не изволите ли найти возможность исполнить желание г. Щербины? Он указал два места, где бы совершенно сродно с его занятиями он счастлив был бы найти службу».

«*1855 г.* Домашний учитель русского языка и словесности, состоящий при дирекции училищ Московской губернии, служивший перед сим в гражданской службе помощником начальника газетного стола в Московском губернском правлении, т. е. помощником редактора «Московских губернских ведомостей», Николай Щербина желает иметь место при редакции «Московских (университетских) ведомостей». Именно при библиотеке университета, или по преимуществу при редакции «Московских ведомостей», в звании младшего чиновника, тем более что в последней имеется в виду с нового года перемена издателя, и при успехе «Ведомостей» в настоящее время могло бы иметься в виду увеличение числа при них чиновников. Г. Щербина имеет звание домашнего учителя русского языка и словесности при дирекции училищ Московской губернии и служил перед этим помощником начальника газетного стола в Московском губернском правлении по изданию «Московских губернских

ведомостей». Надеясь на благосклонное участие ваше к службе г. Щербины, прошу вас покорнейше принять уверение в совершенном моем почтении и преданности. 15 декабря 1855 года. Его Высокородию П. Вас. Зиновьеву».

II

Письмо ко мне А. А. Солнцева[1]

«Письмо твое глубоко поразило мою душу, я до получения его не знал о смерти Щербины, а ты знаешь, как я его любил, как родного; мне кажется, никто не знал его лучше меня; его напускная мизантропия и желчные сарказмы не закрывали от меня его прекрасных и благородных качеств души. Он со мною часто говорил по-человечески и дал мне себя близко узнать. В жизни он долго был ребенком, за которым надо было смотреть и ухаживать, и я пять лет был его нянькой. Когда на Кавказе был убит его брат, которого он уговорил отправиться туда, он чуть с ума не сошел, ему казалось, что окровавленная тень его стоит над ним, и много ночей я сидел около него и тайно от него давал лекарство, укрепляющее нервы, конечно, по совету медика; явно он ни за что не стал бы лечиться. Я долго не привыкну к мысли, что его нет на свете, что я его больше не увижу и не обниму. Когда он был болен завалами печени и ему приказано было делать моцион, а он не вставал по целым дням с кровати, я с человеком насильно подымал его, несмотря, что он дрался и ругался или плакал, как дитя, его выносили на улицу, и за руку я уводил его и по два часа заставлял ходить, и это продолжалось несколько месяцев; только с другом можно было так возиться, как я с ним, и он мне действительно

---

[1] Бывшего впоследствии вице-губернатором в Таврической губернии.

был другом, его теплые и искренние письма ко мне это доказывают. Раз мы были на даче у Штакеншнейдера; в общем споре он сказал мне желчно дерзость, я тогда промолчал, но, когда мы сели в экипаж и выехали на дорогу, я спросил его, всем ли он так платит за сердечную привязанность, как сегодня заплатил мне; Щербина разрыдался, стал обнимать меня и целовать, а я едва мог утешить его. Меня с ним познакомил Сошальский, тогда он жил в каком-то чуланчике; познакомившись ближе, я уговорил его переехать к нам, даром он не хотел это сделать, и мы приняли его в часть; он так был щекотлив, что, если обед готовился сколько-нибудь лучше вседневного, он ограничивался двумя блюдами, и эта церемония долго продолжалась, пока с нами жил Сошальский, которого он не любил за хвастливый и покровительственный характер. Он всю жизнь был горемычный труженик, только последние годы судьба ему улыбнулась для того, чтобы так безжалостно задушить его».

У меня хранится собственноручная тетрадь юношеских стихотворений Н. Ф. Щербины, куда он внес и несколько позднейших пьес. Приготовив эту тетрадь для печати, он потом раздумал и выступил с более зрелыми произведениями, озаглавив первую свою книгу «Греческие стихотворения». Привожу из упомянутой тетради следующие восемь пьес:

I

Деревня

На пыльный небосклон лишь тучка набежит
И город влажною прохладой освежит,
И ближний сад повеет ароматом,
А нивы дальние заблещут летним златом,
Люблю я вспоминать, за чашею вина,

Приют спокойствия и тихой неги сна —
Деревню добрую, с роскошными полями,
С рекою голубой, с зелеными садами,
С малиной спелою, со сливой золотой,
И локон барышни, природой завитой,
Ее воздушные, пленительные ножки,
Обутые — увы! — в полусапожки...

Сливаются вдали напевы соловья
С журчаньем трепетным кристального ручья;
Склонились сводами плакучие березы:
С них падают в реку росы вечерней слезы.
Со стадом молодым идет пастух к реке,
Играя весело на дедовском рожке.
Помещик пожилой, в своем халате давнем,
От мошек затворять приказывает ставни.
Он говорит теперь о дочери своей,
Что старый бригадир в мужья назначен ей,
Что будет он в сей жизни ей попутчик,
А дочери все снится подпоручик!..

Люблю я от души тебя, уютный край, —
Деревня добрая, ленивца светлый рай!..
Там барыня свой стан снуровкой не сжимает,
Там, удалясь она от тщетной суеты,
Свои наивные до глупости черты
Под маской жалкою белил не сокрывает;
И барышня твоя прелестна и стройна,
Хоть в платье ситцевом красуется она.
Люблю в деревне я житье-бытье простое,
И щечки полные, и молоко густое.

II

Фонтебло

Уныло и глухо под сводами залы:
Не слышно тяжелых шагов,
Не слышно ни звона заздравных бокалов,
Ни песен веселых бойцов.
Нет признака жизни; вокруг запустенье,
Какой-то печалью глядит...
В дворце позабытом, как дар сокровенный,
Походная шляпа лежит.
В глубокую полночь там носятся тени
Угасших давно королей,
И поступью важной идут привиденья
В тот зал из парадных дверей...
На голову шляпу себе примеряют —
И всем не по мерке она!..
И тени одна за другой исчезают,
Как в утреннем блеске — луна...
Потом император является в залу...
Державные руки скрестил...
Тревожная дума в очах заблистала:
На шляпу он взор устремил.
Видна на той шляпе ничтожность земная,
Почило величье на ней,
И тень, с укоризной на шляпу взирая,
Грустит о судьбине своей...
Сирийское солнце ту шляпу палило,
Песок африканский пылил,
Метели России ее убелили
И вал океана кропил!..
Смотрел император и грозно, и дико:
Унесть свою шляпу хотел.
Но вдруг раздалися рассветные клики,
И с ночью он ввысь улетел...

III

Пир в Хиосе

Напеним на́ксосом мастиковые чаши,
Алоэ Индии в курильницах зажжем!..
Как этот дым, рассеются печали наши,
И нектар радости смешается с вином.
Сквозь тонкий пар душистого наксо́са,
Сквозь аромат прозрачных облаков,
Увидим вас, красавицы Хиоса,
В венках из гроздий и цветов.
Увидим мы, как по цветам катится
Струя душистая кудрей,
Как виноград, колеблясь, золотится
На мраморе трепещущих грудей...

IV

Янинская темница

Небо Аттики прекрасной
Надо мною не блестит,
И с Олимпа месяц ясный
Сквозь решетку не глядит.

Знать, под сенью Парфенона
Я лобзал тебя в уста,
Светлоокая кукона,
Чтоб проститься навсегда...

Но зачем с тобой так мало
На прощанье говорил,
И вокруг якеты алой
Страстно рук я не обвил!

Освети же мрак темницы
Взором пламенных очей:
Мне давно не шлет денница
Светлорадужных лучей!..

Смерти жаждешь ты, Янина:
Слышу я, за мной идут...
Но альбанцы Тебелина
Крови грека не прольют!..

Пал, рыдая, на колени;
Он молитву сотворил
И о каменную стену
Буйну голову разбил.

V

Русская колыбельная песня

Спи, мое дитятко,
Спи, мое милое,
Спи, когда спится!..

Скоро ты вырастешь,
С теплого гнездышка
Скоро слетишь...
С русой бородкою,
Дитятко милое,
Горе придет.
С первой красавицей,

С первой зазнобушкой
Сон пропадет,
С женкой румяною,
С малыми детками
Много забот!..
Теща сварливая
С тестем затейливым
С толку собьют.
Песня ль старинная
Вспомнится радостно —
Хочешь запеть...
В двери широкие
Явятся хлопоты —
Песня уйдет...
Сон ли украдкою
На изголовьецо
Ляжет порой, —
Дума житейская,
Злая кручинушка
Сгонят его...

Спи, мое дитятко,
Спи, мое милое...

VI

...И взвился тихий Дон
Серебристой змией,
По зеленым лугам
Покатился рекой;
Далеко полетел
Сизокрылым орлом
И на землю упал
Бесконечным лучом.
Дон живою водой

Хитрых греков поил,
И хазаров лихих
Он на битвы носил;
Под ладьями славян
Он приветно шумел;
Громки песни свои
Им с гуслярами пел.

VII

Кручина доброго молодца

Раз приглянулся ясным звездочкам
Светел месяц — добрый молодец,
И пришли они с челобитьицем
К светлу месяцу — добру молодцу.

«У тебя ль, у месяца, высок терем,
Изукрашен он лучше боярского,
Не из простого камня белого,
Из самоцветной бирюзы состроенный,
В ширину, в длину, не семи сажен,
А над целой землей он красуется.
Ты один господин в своем тереме,
Как Адам в раю, похаживаешь,
Ясными очами посматриваешь,
Русую бородку поглаживаешь,
По плечам кудри разбрасываешь;
А постель у тебя — золоты́ облака:
Она мягче, пышней невестиной.
Ты со сна встаешь — умываешься,
С твоих рук идет вода чистая
На поля росой серебристою;
Ты, умывшись, утираешься
Не ширинкой простой, а радугой,

Изукрашенной, разноцветною,
Златом шитою, красным солнышком.
Много есть у тебя, добрый молодец,
Добра всякого и угодьицев,
Только нет у тебя красной девицы,
Нет подруженьки — ясной звездочки...
Выбирай себе из звездочек
Подруженьку, разлапушку,
Своему терему хозяюшку!..»

VIII

Моя жизнь

Как много над юной моей головою
Промчалось житейских тревог
В тяжелой борьбе с непокорной судьбою!..
Но пасть я духовно не мог.

Я в жизни боролся не с бурей великой,
Не с мощным, разумным врагом,
Но с мелочью горя, но с глупостью дикой
В упорстве ее мелочном.

Я брошен был роком с младенчества в тину,
Не знаем никем из людей,
Но я в ней нашелся, и в ней не покину
Я мысли высокой моей.

И слышу отрадно я голос призывный
В житейской моей пустоте:
«Вся жизнь твоя будет один непрерывный
И пламенный гимн красоте».

1850 г., октября 25.
Село Павловское

Отрывки из неизданных сатир и эпиграмм Н. Ф. Щербины

1

Некрасов

От генерала Муравьева
Он в клубе кару вызывал
На тех, кому он сам внушал
Дичь направления гнилого,
Кого плодил его журнал...
Ну, словом: «наш» он «либерал»,
Не говоря худого слова.

23 апреля

2

Лавров[1]

Он Пилад студентской дружбы,
Он младенец в цвете лет;
Он полковник русской службы,
Русской мысли он кадет.

---

[1] Известный в свое время артиллерийский полковник, автор философских писем, либерал, а затем эмигрант.

3

Северо-западный политик

Квартальных Зевс, Маккиавель пажей,
Теперь попал в администраторы:
Так повелось на родине моей,
Где метит всяк кадет в новаторы...

4

Без названия

Я на историю сошлюся:
От Рюрика и Синеуса
Тупей тех не было людей,
Что в наши дни вертят делами
И в пропасть мчатся вместе с нами
Во имя западных идей.

10 декабря 1867 г.

5

Р***[1]

Жалки нам твои творенья,
Как германский жалок Сейм.
Тредьяковский обличенья,
Стихоборзый***!

---

[1] Поэт М. П. Розенгейм.

6

Зараза

Легче мне бежать со свету
И в глуши окончить век,
Чем Корша́ читать газету;
Ведь, читая тупость эту,
Окорши́тся человек!

24 октября 1867 г.

7

Еще о Валентине[1]

Я из мира сего многошумного
Помирился с могильною сенью,
Зане́ Корша́ там нет скудоумного,
С либеральной его дребеденью...
Еще Корш ведь пока не преставился
(Ему ж годы прожить за годами);
Мне тот свет за одно б уж понравился,
Что с такими не жить дураками.

30 марта

---

[1] Валентин Федорович Корш.

8

Паки о***

Российской пустоте, фразерству Петрограда
Все города, смеясь, дают свой контингент:
На что уж Чухлома — и та куда как рада,
Послав *** в наш Питерский конвент!

16 января

9

Marquis de W***

Рескрипт тринадцатого мая
Я, буква в букву исполняя,
Тибле ну разрешил журнал:
Да поражает он Каткова
Всей монтаньярской силой слова,
Чтоб враг мой пал и не восстал.

2 декабря 1867 г.

10

Дополнение к «Русскому толковому словарю»

Камо поиду от духа твоего и от взора твоего камо бежу?

Псалом 130

Когда в России многопьющей
Вам скажут слово «вездесущий», —
Не разумейте Бога в нем:
Так начали, во время ***
(Сего грядущего банкрота)
Именовать «питейный дом».

14 ноября

16—13

11

Лития по усопшем рабе Божием Г***

Мы в гербе орла уничтожаем,
Герб меняем, Г***, через тебя!
Кабаком орла мы замещаем...
Чтоб точнее выразить себя...

12

1869 год. Трущобным зоилам

Я говорю, когда меня ругают
Какой-то «Зет» и «Искра», и «Неделя»:
То на меня из подворотни лают,
То расходился пьяный пустомеля.

2 января

13

XIX век

Век девятнадцатый веком бездарности
Должен в России прослыть,
Хоть за реформы его благодарности
И невозможно лишить.

Нижеследующие три сатиры Н. Ф. Щербины, записанные им для меня, хотя при жизни его ходили в рукописных копиях, но не были включены в печатное собрание его сочинений, а если были где-либо напечатаны — в списке его сочинений не значились.

14

Наше время

Когда был в моде трубочист,
А генералы гнули выю,
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию;
Когда, чуть выскочив из школ,
В судах мальчишки заседали,
Когда фразистый произвол
Либерализмом величали;
Когда мог О...хин быть судьей,
Черняев же от дел отставлен,
Катков преследуем судьбой,
А Писарев зело прославлен;
Когда стал чином генерал
Служебный якобинец С***,
И Муравьева воспевал
Наш красный филантроп Некрасов;
Когда бездарность и прогресс
В России стали синонимом,
И здравый смысл совсем исчез,
Тургеневским рассеясь «Дымом», —
Тогда в бездействии влачил
Я жизни незаметной бремя,
И счастлив, что незнаем был,
В сие комическое время...

20 ноября 1867 г.

15

Французский террор в русском духе

Доморощенным гигантам
Должный путь мы указали;
Сообразно их талантам
На места их рассажали.

Робеспьеров по акцизу,
А Маратов по контролю,
Пусть все рушат сверху, снизу —
Либеральничают вволю!

Наделить крестьян землею
Мы Бабефов разослали,
А Барбесов всей душою
В мировые судьи взяли!

Терруань-де-Мирекýры
Школы женские открыли,
Чтоб оттуда наши дуры
В нигилистки выходили!

Клóцы нашим гимназистам
Проповедуют науку...
Словом, крайним прогрессистам
Все теперь поплыло в руку!

Но средь этой благостыни
Есть без жениха невеста:
Только Разума богине
Не нашлось в России места.

1863 г.

16

1861 год

Вы зачем их заключили
В стены крепости гранитной
И допросы им чинили
С важной строгостью и скрытно?

Их значенье так ничтожно,
Иль опасно так для трона,
Что допрашивать бы можно
Их в кондитерской Рабона...

Дать бы им конфект по фунту,
Воротить им их воззванья —
Пусть идут, взывая к бунту,
По Руси, без задержанья!

1861 г.

Привожу также из подлинной рукописи И. Ф. Щербины, им подаренной мне, следующие: «*Дополнения к «Соннику» современной русской литературы* (1856)», ввиду того, что в печатном издании «Сонника» эти места, касавшиеся еще живых в то время лиц, издателем были опущены:

Б., *Бенедиктова* во сне видеть предвещает увидеть наяву фигуру индейского петуха.

Г., *Глинку Федора* во сне видеть предвещает побывать в зверинце и смотреть там на кривлянья обезьянки.

Д., *Дружинина* во сне видеть предвещает столкнуться в Средней Мещанской с Мефистофелем XIV класса, с денди Выборгской стороны.

К., *Кукольника* во сне видеть предвещает из романтического трубадура превратиться в чересчур классического чиновника и запивоху.

Л., *Л-ва Михайла* во сне видеть предвещает для мужчин припадки сатириазиса, а для дам припадки нимфомании; иног-

да же предвещает неприятно столкнуться с грязной литературной тлей с претензиями на лакейское остроумие и цинический юмор, от которого, впрочем, все невзыскательные цирюльники, сидельцы и холопы способны надорвать животики.

М., *М-а* во сне видеть предвещает проглотить аршин или оскопиться духом и телом; иногда предвещает быть одержимым глистом-солитером.

Н., *Некрасова* во сне видеть предвещает из житейской необходимости войти в связи с пустым и пошлым человеком (вроде Ивана Панаева).

С., *Ст-го А.* во сне видеть предвещает отца и мать в грязь втоптать, лишь бы только плохую повестушку написать, или же увидеть, как комически русская холопка корчит из себя эмансипированную Жорж Санд.

Соловьева, московского профессора, и *Макария епископа Винницкого* во сне видеть предвещает увидеть наяву первую занимающуюся зарю самобытной русской науки.

Соллогуба графа во сне видеть предвещает взять и не отдать; иногда же предвещает с изумлением увидеть на мраморном пьедестале роскошную севрскую вазу, наполненную болотной тиной и смрадным навозом и прикрытую сверху букетами камелий.

*С**** академика во сне видеть предвещает все знать и ничего не знать, прикрыть недостаток всякого содержания эгидою сухого, черствого педантизма, бесплодного буквоедства и шарлатанства, с примесью хитрой злости, чем довольно выгодно для себя провести и облапошить дряхлый и выживший из ума ареопаг русской науки.

Х., *Хотинского* видеть во сне........ сон нецензурный.

Ш., *Шестакова* (московского профессора) во сне видеть предвещает в следующую ночь увидеть тоже во сне Василия Кирилловича Третьяковского, стоящего на котурнах Софокла, закутанного в софокловский гиматий и добродушно выдающего почтеннейшей публике свою «Демдамию» за софоклова «Царя Эдипа».

МОСКОВСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ ИНСТИТУТ

(ИЗ ШКОЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

В январе 1841 года меня, одиннадцатилетнего мальчика, отвезли из харьковского имения покойного моего отца в Москву, где определили в дворянский институт, бывший университетский благородный пансион.

В институт принимались, по экзамену, только дети потомственных дворян, уже достаточно подготовленные домашним воспитанием, на которое в дворянских семьях и тогда обращалось особенное внимание. Сужу по своим товарищам-одноклассникам и по себе.

До поступления в институт я учился у частных наставников. Русскую азбуку по странной случайности впервые объяснил мне по какому-то замасленному букварю с картинками семидесятилетний старик еврей, Берко Семенович, как его звали у нас, наезжавший в имения моего отца и деда для починки часов и других вещей из соседней военно-поселенской слободки Андреевки, где теперь пересыльно-каторжная тюрьма. Это был маленький, худенький с длинною белою бородой и белыми нежными руками, в черной шелковой ермолке, самоучка-ремесленник, сперва винокур, потом часовых и золотых дел мастер. Как теперь вижу его в большом, пустынном, после смерти деда, деревенском зале, с белыми позолоченными столами и стульями и с чучелами птиц на круглых, в виде фигурчатых колонн, печах. Разобрав и разложив на столе у окна части больших столовых, английских, или карманных часов, добродушный Берко, с оловянными очками на носу, просиживал перед этим столом

целые дни, напевая унылые и приятные синагогальные канты. Мне было тогда пять лет. Обегав с утра сад, конюшни и огороды и врываясь в зал, где работал Берко, я любил подсаживаться к нему. Здесь он, работая и поглядывая на меня через очки добрыми, ласковыми глазами, рассказывал мне библейские легенды, большею частью применяя их к себе и к своему зятю, еврею Розенбергу, который был моложе Берки, но тоже с седою бородой, и в то время жил в соседнем хуторе деда, Курбатове, при винокурне. От Берки я впервые узнал об Аврааме, Ное и Давиде. Самсон и Авессалом в особенности тогда заняли меня. И я помню, что, сочтя себя тут же Самсоном, я долго не позволял няне своей Аграфене стричь себе волос, чтобы не потерять телесной силы, и уступил ей, после долгих споров и слез, только потому, что вспомнил о другом герое, Авессаломе, повисшем в бегстве под деревом на длинных волосах. Берко, сколько помню, очень полюбил меня. Отдыхая среди работы, он вынимал из кармана своего длиннополого лапсердака разные книжки и медленно, тихо читал мне из них. Узнав, что я еще не знаю грамоте, он, шутя, стал объяснять мне буквы и скоро научил меня разбирать по складам. Это сильно обрадовало моих родителей, решивших, что пора, видно, браться за мою грамоту.

По шестому году ко мне, для более правильного обучения, моею матерью была приглашена Евгения Ивановна Пчелкина, воспитанница первого выпуска харьковского института, где кончила курс и моя мать. Это была необыкновенно кроткая, милая религиозная особа, большая мастерица шить бисером и гарусом по шелку и канве. Невысокого роста и слабого здоровья, она, проснувшись с зарей и полив на окнах любимые матушкины жасмины и левкои, становилась перед образом в своей комнатке, смежной с моею, изредка крестилась и, медленно покачиваясь из стороны в сторону, простаивала на молитве по часу и более. Она объяснила мне первые понятия о вере, обучила молитвам, беглому чтению, писанию с прописей и таблице умножения; притом я выу-

чился у нее шить гарусом и шелком и вязать на рогульках какие-то шнурки. В последнем искусстве, сколько помню, я сделал у нее более успехов, чем в обучении чтению и письму. Евгения Ивановна Пчелкина скончалась недавно в Тульской губернии.

Отец на воспитание мое не имел особого влияния, так как умер, когда мне было восемь лет. По отзывам всех, знавших его, это был в высшей степени добрый, мягкого и робко-застенчивого нрава человек. Любя хозяйство и уединенную, простую, трудовую жизнь, он не имел склонности ни к выездам, ни к чтению и, сколько лично помню, заглядывал только в изредка доходившие к нам от соседей крошечные листы тогдашних «Московских ведомостей». Проходя учение в Петербурге, в Дворянском полку, он, как потом сам любил рассказывать, по праздникам навещал знакомого своему родителю по Чугуеву грозного временщика Аракчеева, который, осведомясь о музыкальных способностях своего гостя (отец играл на фортепиано и скрипке), заставлял его в такие посещения строить свои клавикорды, но не помог ему по окончании курса пристроиться согласно его желанию в Петербурге, а, напротив, настоял на переводе его в глушь Херсонского военного поселения, в бугские уланы. Отец не вынес этой службы. Выйдя вскоре в отставку, он женился и некоторое время служил депутатом по выборам харьковского дворянства, между прочим, заседателем харьковской уголовной палаты. Крайне запутанное долгами состояние деда принудило отца расстаться и с этой службой. Поселясь в деревне, он до конца жизни занимался хозяйством у себя и у родной сестры, всячески стараясь спасти расстроенное и едва не проданное с молотка наследственное свое имение. Он вспоминается мне не иначе как с постоянно озабоченным, усталым, смугло-красивым лицом. С весны и до глубокой осени он буквально не покидал верхового коня и беговых дрожек, уезжая в поля с рассветом и возвращаясь домой только к вечеру. В ожидании позднего обеда он, наскоро умывшись, брал иногда в руки скрипку. И я помню

в подобные минуты его статную черноволосую плечистую фигуру в одном жилете поверх рубахи, без сюртука, с сильно загоревшим от солнца и ветра лицом, прижатым к скрипке, и с темно-карими глазами, задумчиво устремленными в сад, пока его смычок выводил по струнам какую-либо грустную и, как он сам, робко-мечтательную мелодию.

В одну из таких поездок на беговых дрожках в поле во время спешной уборки хлеба в имении сестры, отец внезапно заболел (как говорили потом, от солнечного удара). Погода стояла знойная. Степь замерла под палящими лучами полудня. Рабочие, пообедав, спрятались под тенью копен. Чувствуя необыкновенный упадок сил, отец решил скорее возвратиться домой. Среди опустелого поля некому было ему помочь. Он снял с лошади вожжи и, чтобы не свалиться на пути, кое-как привязал себя ими к сиденью дрожек и затем впал в обморок. Верный пегий конь — я помню его, он потом долго еще жил на свободе в нашем имении, дойдя до такой старости, что, барахтаясь на траве, не мог уже перевернуться с боку на бок, — привез его в бессознательном положении во двор моей тетки. С тех пор отец уже не поправлялся. Явилось воспаление печени. Больного в сопровождении домашнего врача и друга нашей семьи, Ф. С. Цыцурина, повезли было в Харьков для удобства лечения и совета с другими врачами, но ему на дороге под Чугуевом стало хуже. Привезенный обратно в наше имение, он почувствовал себя как бы лучше, но снова здесь заболел и вскоре, на тридцать шестом году жизни, скончался.

Моя мать (по второму мужу Иванчин-Писарева) была совершенною противоположностью отцу. Оставшись по второму году круглой сиротой, она кончила воспитание, под опекой своего дяди, в харьковском институте для благородных девиц, где, по преданию, была одною из лучших учениц известного пианиста и композитора Борсицкого. Хорошо знакомая с русскою и французскою литературами, всегда оживленная, веселая, подвижная и впечатлительная, она любила общество, выезды, театры, балы и, где ни появлялась, всюду

вносила особый, свойственный ее даровитой природе, отпечаток радушной, светской общительности и тонкого, недюжинного ума. В стесненных домашних обстоятельствах, рядом с вечно озабоченным мужем, она в семейной жизни находила отраду только в чтении и в музыке. В моих ушах доныне раздаются звуки тех пьес, которые она в совершенстве исполняла на приданом своем рояле в длинные зимние деревенские вечера, как, например, отрывки из «Фенеллы» и «Цампы», арии Беллини и концертные пьесы Калькбреннера и Листа. Сохранив до кончины своей бодрость духа, симпатичный, живой нрав и превосходную память и обладая замечательным для женщины красивым и четким почерком, она охотно вела с родными и близкими оживленную переписку. По моей неотступной просьбе за год до своей смерти она начала писать мемуары и оставила мне на память большую тетрадь своих воспоминаний, под именем «Моим внукам», хотя довела их, к сожалению, только до первых двух-трех лет после своего замужества.

По кончине моего отца и отъезде от нас заболевшей первой моей наставницы Пчелкиной, ко мне была приглашена другая учительница, также харьковская институтка, Вера Як. Будако́ва, здравствующая поныне. У нее я выучился первым правилам арифметики, прошел с нею часть русской грамматики Греча и кое-что из русской географии Арсеньева и стал учиться французскому и немецкому языкам. Первому одновременно меня обучал еще некий, необыкновенно много куривший, харьковский француз А. Я. Пеш, а второму — добродушная и толстая чувствительная старушка-немка, родственница соседнего аптекаря Б. Б. Бодека, постоянно вязавшая шерстяные носки и горько плакавшая над чувствительными повестями, которые она мне читала вслух и которых я тогда еще не понимал, почему во время классов либо чертил карандашом домики и зверей, либо вырезывал из бумаги солдат, рассеянно следя за чтицей, как она то плакала, вздыхая и повторяя: «Ах, герр Готт! Шре́клих, унварше́йнлих!», то истерически хохотала над веселыми расска-

зами, из которых один, помню, назывался «Путешествие из Штольпе в Данциг». Благодаря советам умной и дельной В. Я. Будаковой, когда мне исполнилось десять лет, меня решили отдать в какое-либо хорошее учебное заведение и после долгих сборов и соображений остановились на Москве.

В институт я поступил в один день и час с другим однолетком-новичком, земляком по Малороссии, И. И. Соколовым, впоследствии известным профессором живописи Императорской Академии художеств, автором жанровых картин из малорусского быта: «Гадание на венках», «Ночь на Ивана Купала» и проч. После подписания институтским врачом И. В. Георгиевским обычных приемных свидетельств нас из опустевшей, тихой учительской комнаты ввели в наполненный бегавшими и кричавшими в увлечении игрой учениками рекреационный зал.

Шум и гам веселой толпы невольно ошеломил робких новичков. Оба белокурые, робкие, с загоревшими от степного воздуха лицами, мы сперва сильно терялись. Над нами, как и над прочими новичками, старшие и более сильные товарищи в первые дни произвели все установленные на такой случай опыты. Одни до одурения, не переставая, махали кулаком перед нашими носами, не давая сторониться и говоря: «Не смей мешать, воздух казенный!» Другие, будто обнимая нас, брали наши головы под мышки, тиская их и спрашивая: «А что́, заплачешь? Пожалуешься?» Третьи при ходьбе давали нам «подножку», боролись с нами и пр. Скоро, однако, после невольной и поучительной сдачи с нашей стороны, все подобные опыты стали реже и вовсе прекратились. Несколько уроков в классах, репетиции и шумные рекреации окончательно ознакомили нас с своеобразною внутреннею жизнью школы. Она нам понравилась, и мы незаметно и быстро к ней привязались.

Одно угнетало меня в первое время — это сон в огромной дортуарной палате, наполненной рядами белых, чистеньких кроватей. Все улеглись под оклики надзирателей: «Still, Kinder! Silens!»; все приткнулись к подушкам, поболтали

вполголоса, посмеялись и заснули. Полуосвещенный ночными лампочками дортуар окончательно затих. Слышится только переступание ногами дежурящих в коридоре ночных надзирателей и дядек, отставных солдат, да писк мышей где-нибудь в углу, у нагретой с вечера печки. Дортуар исчезает перед глазами. В мыслях иная, недавняя картина: деревенский родной дом, посеребренные инеем дорожки сада, игра с сельскими мальчиками в снежки, езда по степи с приказчиком к овчарным сараям, охота с дядей в лесу, лай гончих, ружейные выстрелы. И едва, кажется, заснул, в окнах еще темно, но уже звучит звонок урядника Кочурина. Шесть часов утра, и надзиратели — немец Гаусманн или француз Венсан — идут вдоль кроватей, стуча по их железным прутьям и выкрикивая: «Stéhen sie auf, Kinder!» — «Levez-vous, messieurs! Levez-vous!» Мы в классе, на репетиции. Аккуратный Гаусманн, с коленкоровыми чехлами на рукавах форменного вицмундира, для их сбережения, сидит на кафедре перед огромною кружкой душистого кофе со сливками; мы слышим запах кофе, переводим Корнелия Непота и думаем: «Вот бы нам, вместо латыни, этого угощения!»

Московский дворянский институт в то время помещался на Тверской, в приходе Успения-на-овражке. Его здания, сооруженные в царствование императрицы Екатерины II, были расположены в виде печатной буквы Е, главным фасадом — с куполами по краям — на Тверскую, а боковыми флигелями — в переулки Газетный и Долгоруковский. Эти обширные, доныне сохранившиеся здания в половине XVIII века принадлежали фельдмаршалу князю Трубецкому, потом межевой канцелярии; в восьмидесятых же годах прошлого столетия в них помещалась типография знаменитого мартиниста Новикова и печатались под его редакцией «Московские ведомости», почему и переулок, куда выходила его типография, в народе прозвали Газетным.

Дворянский институт был основан сто десять лет тому назад. Учрежденный в 1779 году под именем «Вольного университетского благородного пансиона», он спустя 54 года, в 1833

году, был назван дворянским институтом, через десять лет после того переведен с Тверской на Моховую, в купленный для него известный дом Пашкова, где ныне помещается Румянцевский музей, и еще через шесть лет, в 1849 году (в семидесятую годовщину своего существования), окончательно закрыт и преобразован в IV московскую гимназию. Последнюю потом с Моховой перевели на Покровку, в приход Воскресения в Барашáх, в дом, некогда принадлежавший графу А. К. Разумовскому, где она помещается и теперь.

Из шестилетнего институтского курса мне пришлось первые три класса пробыть еще в старом здании, на Тверской; остальные три класса я провел в доме Пашкова, на Моховой. Директором института при мне и до его закрытия был известный профессор Московского университета по кафедре политической экономии и статистики, товарищ Грановского и Кудрявцева, Александр Иванович Чивилев. Призванный впоследствии в Петербург, в воспитатели покойного цесаревича Николая Александровича, он кончил жизнь трагически — задохнулся во время внезапного пожара в своей казенной квартире в Запасном дворце, в Царском Селе. Нашим инспектором был И. М. Ронцевич; надзирателями — для практики в новых языках — иностранцы: Дислен, Гаусманн, Пейшес, Шпангенберг, Варнек, Безер, С-н Марк, Венсан, Губо, Жоньо и другие.

Институт был закрытым заведением, интернатом. Число воспитанников как в старом, так и в новом его здании колебалось от 150 до 200 человек. За обучение и содержание каждого воспитанника взималось по 300 рублей серебром в год. Классы, залы для отдыха и столовые были внизу, дортуары вверху. Домашняя церковь на Тверской помещалась под правым куполом главного фасада, с улицы; на Моховой — в особом церковном здании, во втором правом дворе. Будничная одежда воспитанников состояла из темно-зеленой куртки с красным воротником и бронзовыми пуговицами, с московским гербом; праздничная — из мундира такого же цвета с такими же пуговицами и с золотыми петлицами по

красному воротнику. Кормили нас хорошо. Белье, посуда, отопление, освещение и воздух в комнатах, особенно в огромном доме Пашкова на Моховой, были прекрасные.

Будили нас, по звонку урядников Кочурина и Медведева, в 6 часов утра. После туалета и общей молитвы была утренняя репетиция уроков, от 6½ до 8¼ часа утра; с 8¼ до 9 часов — чай и утренняя рекреация; от 9 до 12 часов классы — два урока; ровно в полдень (от 12 до 12¾ часа) — обед. Послеобеденная большая рекреация — от 12¾ до 2½ часа; с 2½ до 3 часов — послеобеденная репетиция; с 3 до 6 часов — вечерние классы (два урока); с 6 до 6½ часа — вечерний чай, с 6½ до 7 часов — вечерняя рекреация; с 7 до 8¼ часа — вечерняя репетиция, с 8¼ до 9 часов — ужин; с 9 до 9½ часа рекреация после ужина, с 10 часов вечера — сон. Таким образом, на слушание и объяснение уроков употреблялось в день 6 часов; на их приготовление и повторение — 3½ часа, на рекреации (отдых) около 3 часов и на сон — 8 часов. Рекреации весной и осенью и в хорошую погоду зимой проводились обыкновенно на воздухе, на институтском дворе. Здесь, а в дурную погоду в залах, воспитанники веселою, шумною гурьбой играли в бары (пятнашки), в лапту (мяч), в чехарду и другие игры.

Зимой во дворе для нас, кроме приспособлений для гимнастики, постоянно устраивались ледяные горы с санками и ледяные площадки для катания на коньках. Все это, как и уроки танцев у знаменитого Иогеля, фехтования у Треля и Иванова, а летом уроки плавания у Гóка и прогулки в праздник, пешком за город, в Марьину рощу, на Воробьевы горы, в Шелепиху или Нескучное, на берега Москвы-реки, где надзиратели, как француз Губó, учили нас ботанизировать и собирать окаменелости, — поддерживало в нас отличное расположение духа и бодрость. Все мы были, сколько помню, всегда здоровы и веселы. Особенно нравились нам ледяные горы и катанье на коньках. Бывало, вырвется шумная толпа из класса математики или латыни во двор, в одних

куртках и легких фуражках. Снег хрустит под ногами, мороз щиплет за уши. Крик, смех, беготня. Крошечные санки на звонких полозьях летят вереницей с горы. Конькобежцы попарно и врассыпную мчатся по ледяной площадке, обгоняя друг друга и выписывая на лету хитрые вензеля. Некоторые умудрялись спускаться с горы даже на коньках. Одного из таких искусников я и теперь точно вижу перед собою. Здоровый, румяный мальчик до того изловчился в этом искусстве, что с разбега на полугоре мгновенно оборачивался лицом к вышке горы и остальное пространство по ледяному полотну мчался спиной книзу, на одной ноге. Это был нынешний председатель ученого комитета Министерства народного просвещения А. И. Георгиевский.

Дворянский институт был такою же строго классическою школой, как и его тогдашние (уваровские) гимназии; но его воспитанники не были изнуряемы чрезмерным зубрением грамматических тонкостей латинского и греческого языков, в ущерб изучению русского языка и русской истории, а главное — в ущерб их здоровью. Воспитанники этого института в шесть лет с успехом, без репетиторов и приготовительных классов, проходили тот же курс классических гимназий, для которого потом крайние поборники классицизма прибавили в гимназиях к семилетнему курсу еще восьмой класс и подавали мнения о необходимости введения даже девятого... Девять лет гимназического курса, а с приготовительным классом десять лет! Прибавьте четыре года университетского курса, а считая, что наилучший питомец классицизма в гимназии или в университете может в силу нездоровья или случайно неудовлетворительной отметки остаться лишний год, и окажется, что для получения университетского диплома надо пробыть в учении пятнадцать лет — половину лучшей части жизни!

Воспитанники института не знали ни «переутомления», ни вытекающих из него «нервных» и других страданий. Особенно выгодно отражались на нашем здоровье гимнастика, катанье с гор и на коньках и уроки фехтования.

В праздники зимой у нас устраивались домашние спектакли. Сверх того, нас на складчину, а иногда и на казенный счет, возили в театр смотреть Мочалова, Щепкина и Живокини. Остававшиеся, подобно мне, на летних вакансиях у родных и знакомых близ Москвы, увлекались ружейною охотой и рыбною ловлей. Весну встречали у нас особенными стихотворными возгласами:

Вот она,
Вот весна!
Птички радостно запели,
Книги к черту полетели.

Гостя в вакантные месяцы в Бронницком уезде, в имении родных моего отчима (с. Чеплыгине, на рязанском шоссе), за недостатком ружья, как помню, я целые дни проводил в охоте с сеткой на перепелов. Старый повар Егор, ходивший со мной на эту охоту, знал и передал мне множество сказок и старых преданий, в том числе о нашествии Наполеона, которого он когда-то лично видел, случайно оставшись в сожженной Москве.

Наши учителя в классах не играли роли только экзаменаторов, не ограничивались одним лишь спрашиванием и задаванием уроков. Классы проходили в ближайшем и подробном объяснении, со стороны учителей, изучаемых предметов, причем преподаватели постоянно старались о том, чтобы и слабейшие из учеников могли понять и усвоить проходимое. Учебников, издаваемых самими преподавателями, нам по протекции их авторов, не навязывали и по чьему-либо капризу без толку их не меняли. При изучении географии не обременяли нашей памяти непомерным грузом статистических цифр и сухим перечнем городов, местностей и народов, а более знакомили в общедоступной форме (учитель Соколов) с общими картинами этих местностей, городов и народов. Часть географии для практики в немецком языке нам преподавалась по-немецки, как и для французского языка — естественная история — по-французски. Последствием такого порядка было то, что репетиции представляли дейст-

вительно только повторение, освежение в памяти преподаваемого в классах, и самостоятельно на них обрабатывались лишь сочинения на заданные темы, переводы с древних и новых языков да проверялись при помощи способнейших учеников решения наиболее трудных математических задач. Ненужными переводами с русского на древние, мертвые, языки нас также не томили, а если это изредка и требовалось, то лишь как исключение и только относительно способнейших учеников. Вечерними репетициями кончались все наши занятия и, уходя после ужина в дортуары, никто более не сидел над книгами, подобного несвоевременного занятия не допускали и дежурные надзиратели. К 10 часам вечера в институте мирно засыпали все 150—200 его питомцев.

Из этого правила допускалось единственное исключение, а именно в весенние дни, во время некоторых, более трудных экзаменов в старших классах. Воспитанники и тогда не имели права проводить над книгами ночного времени; только во время экзаменов им дозволялось вставать и заниматься при дневном свете ранее обыкновенного часа. Болезненных, изнуренных непосильными занятиями товарищей я не помню за все шестилетнее мое пребывание в институте, как не помню, чтобы кто-либо из нас, тайком ли в институте, или в праздники дома, просиживал, как это делают теперь, до 2—3 часов ночи над упражнениями в экстемпоралиях из древних языков. Из питомцев института вышли между тем такие поборники классицизма, как старший меня по выпуску П. М. Леонтьев и кончивший курс всего годом ранее меня А. И. Георгиевский. Нельзя при этом сказать, чтобы учение у нас было легкое. Несмотря на всю его осмысленность и отличных преподавателей, из числа учеников, поступавших в институт, кончали курс обыкновенно не более одной трети. Часть отставала с третьего и четвертого классов, переходя в другие учебные заведения (лицей, школу правоведения и гимназии), иные же поступали в военную службу, через год, через два потом навещая институт и пленяя своих былых товарищей блестящей мундирной формой. Были между нами,

как везде, и большие, дерзкие шалуны. Их, как это водилось тогда во всех учебных заведениях, подвергали и телесным наказаниям. Помню грозный взор и голос исполнителя последних, толстого невысокого и со скривленным левым плечом, нашего инспектора Ронцевича и его помощника в этом деле красноносого урядника Кочурина. Живо вспоминаю тот ропот и то негодование, с которыми мы всякий раз встречали эти наказания, когда испытавший их мальчуган, а иногда и более взрослый юноша, возвращаясь в класс «сверху» — со слезами, а то и с похвальбой — рассказывали о том, что с ними произошло и как они *это* вынесли. Нам было жаль пострадавших товарищей, но зато наказания тем в то время и ограничивались, и никто из моих соучеников не получил «волчьего паспорта», не был исключен с тем, чтобы впредь никуда в другие заведения его не принимали.

Насколько успешно проходили годы моего учения в институте — теперь с трудом помню. Одно могу сказать: мы в большинстве, очевидно, учились вообще не дурно. После смерти моей матери брат мой и сестра, также покойные уже теперь, вручили мне, по моей просьбе, ее бумаги, в том числе все мои письма, писанные к ней с 1837-го по 1877 год. Из этой, хранимой мною, сорокалетней хроники чуть не еженедельных моих бесед с матерью я особенно дорожу своими институтскими письмами. Последние у нее сохранились с 1843 года, когда мне исполнилось 14 лет и я был в 3-м классе. Перечитывая теперь эти письма и присланные при них для прочтения матери классные мои сочинения на темы по русскому языку, с отметками учителей (за 1843 г.: «Пловец», «Чувства при виде Москвы»; за 1844 г.: «Злоумышление на жизнь Иоанна», «Московский пожар»; за 1845 г.: «Дружба» и проч.), я не верил своим глазам. Мы, четырнадцатилетние и пятнадцатилетние мальчики, писали тогда, по совести надо сказать, правильнее, чем теперь пишут некоторые из молодых людей двадцати и более лет, с аттестатами зрелости, поступающие в университет после восьми- и девятилетнего обучения в гимназиях. В слабых познаниях

нынешней молодежи по русскому языку, надо думать, убедились не в одной редакции периодических изданий, куда ищущие умственного труда нередко обращаются с предложением своих работ.

Что же было ближайшей причиной тому, что воспитанники былого Московского дворянского института успевали так скоро достигать желаемого успеха в столь важном деле, как теоретическое и практическое изучение отечественного языка? Находящиеся в живых немногие и большею частью уже убеленные сединой питомцы этого заведения (каждому из них теперь, по малой мере, не менее 55—60 лет, так как институт закрыт в 1849 году, то есть ровно сорок лет назад, могут, положа руку на сердце, ответить на это следующее: во-первых, то, что нас, в ущерб изучению русского языка, родной литературы, истории и географии, не забивали сверх меры обязательным изучением обоих древних языков, а требовали изучения одного из них, латинского, предоставляя нам добровольно учиться или не учиться другому (греческому), и, во-вторых, то, что у нас был превосходный директор и отличные, стоявшие на высоте своего призвания, подобранные им учителя, как, например, по русскому языку — известный в педагогической литературе автор «Грамматики старославянских языков», «Практической русской грамматики», «Русского стихосложения» и других сочинений Петр Миронович Перевлесский (умер в 1867 г.), по истории — Николай Васильевич Смирнов, по римским и греческим древностям — А. К. Фабрициус, П. И. Певницкий, Громанн и Ю. К. Фелькель, автор перевода «Записок Цезаря» (с объяснениями), по математике — Саханский и Оглоблин, по физике — Мохтин, по немецкому языку — К. Зейдлиц, по французскому — Пелан-д'Анже и по закону Божию — отец Иоанн Рождественский. Здесь же был ранее преподавателем греческого языка знаменитый впоследствии профессор древностей Московского университета Д. Л. Крюков.

Над дворянским институтом в Москве, как и над родственным ему во многих отношениях, хотя и более молодым

по времени открытия, Александровским лицеем в Петербурге, незримо как бы веяло знамя русской литературы, сведения о которой, впрочем, у меня при отъезде из деревни были самые ограниченные. Наслушавшись в детстве народных украинских сказок от моей няни, старушки Аграфены и ее мужа Анисима, я от комнатного слуги бабки Абрама, учившегося в Харькове переплетному мастерству и потому кое-что читавшего, впервые, по пятому году, услышал о Гоголе. Добыв из шкапа бабки «Вечера на хуторе близ Диканьки», Абрам прочел мне и няне в саду несколько из повестей Рудого Панька, восхитив нас этим до бесконечности. Он же потом познакомил меня и с фантастическими рассказами барона Брамбеуса. Помню свой неудержимый смех, при чтении Абрамом рассказа «Большой выход у Сатаны», когда царь чертей проглатывает, в виде сухаря, роман «Петр Выжигин», запивая его вместо вина дегтем. Впоследствии, хотя мне и удавалось раза два пробираться в комнату матери во время чтения у нее вслух модных тогдашних романов «Рославлев» Загосгина и «Мусташ» Поль-де-Кока, моя мать, заметив непрошеное мое присутствие при этом чтении, меня тотчас же удаляла.

Вступавшим под кровлю института ученикам товарищи прежде всего указывали на золотую доску в его рекреационном зале, где были написаны имена Жуковского, Грибоедова, кн. Шаховского и других знаменитых русских писателей, кончивших здесь курс учения. Подобно тому как лицеисты в Петербурге с гордостью называют имена Пушкина, кн. А. С. Горчакова, гр. Д. А. Толстого, В. П. Безобразова, М. Е. Салтыкова, Я. К. Грота, Н. К. Гирса и других писателей, ученых и государственных деятелей, вышедших из Александровского лицея, воспитанники Московского дворянского института называли и называют ряд имен, прославивших это дорогое для них училище. Здесь прошли курс учения кроме Жуковского, Грибоедова и князя Шаховского следующие, между прочим, русские писатели и ученые: А. Ф. Воейков, Д. Дашков, П. В. Свиньин, С. П. Жиха-

рев, А. С. Норов, кн. В. Ф. Одоевский, С. П. Шевырев, Ф. И. Тютчев, Н. В. Калачов, А. Ф. Вельтман, П. М. Леонтьев и С. А. Усов (профессора), А. А. Майков, А. В. Вышеславцев, В. И. Родиславский (основатель Общества драматических писателей), С. Н. Шубинский (редактор «Исторического вестника») и другие; государственные деятели: А. П. Ермолов (известный кавказский герой), граф Д. А. Милютин (бывший министр), В. П. Титов, — А. И. Георгиевский, Е. А. Кожухов и Н. И. Рыжов (председатели высших государственных учреждений в Петербурге и Варшаве), Д. Н. Батюшков (нынешний екатеринославский губернатор), В. А. Татаринов (бывший государственный контролер), А. Е. Тимашев (бывший министр), барон А. П. Моренгейм (нынешний посол во Франции), В. Х. Книпер (нынешний директор Императорского стеклянного завода), многие губернские и уездные предводители дворянства, председатели земских управ (Л. В. Вышеславцев), присяжные поверенные (А. А. Кожухов, Тетера), мировые посредники и судьи и пр. Здесь же вначале также учились: М. Ю. Лермонтов, С. А. Юрьев и переведенные потом в Александровский лицей гр. Д. А. Толстой (бывший министр), М. Е. Салтыков (Щедрин), В. П. Безобразов, А. М. Унковский и другие. Между институтцами в мое время шло предание, что здесь же учился и даже был записан на золотую доску и несчастно погибший впоследствии поэт К. Ф. Рылеев и что эту доску после арестов по делу четырнадцатого декабря сожгли и заменили другой, где его имя было пропущено.

Жуковский, Грибоедов, Лермонтов... Каким восторгом бились наши сердца при упоминании только этих трех былых воспитанников института, в котором хранились и повторялись предания о них! Учителя русского языка Архидиаконский, Билевич и Перевлесский, задавая нам учить Жуковского, указывали те первые стихотворения, которые дебютантом-поэтом были написаны в стенах института: «Ода на благоденствие России», «Майское утро»,

«Добродетель» и другие. Встречая весну, мы твердили из Жуковского:

Бело-румяна
Восходит заря;
Феб златозарный
Все оживил;
Вся уж природа
Светом оделась
И процвела...

Бессмертную комедию Грибоедова, как и всего почти Лермонтова, мы знали наизусть. Перевлесский познакомил нас и с первыми стихотворениями Аполлона Ник. Майкова, незадолго перед тем появившимися в печати и ходившими в списках. Особенно нравились нам антологические пьесы: «Искусство», «Барельеф» и «Вертоград», и мы повторяли:

Срезал себе я тростник у прибрежия шумного моря;
Нем он, забытый, лежал в моей хижине бедной...

Или:

Посмотри свой вертоград,
В нем нарцисс уж распустился;
Зелен кедр, вокруг обвился
Ранний, цепкий виноград...
Яблонь в цвете благовонном,
Будто в снежном серебре;
Резвой змейкой по горе
Ключ бежит к долинам сонным...

В 1844 году, когда мы были в четвертом классе, Перевлесский принес нам однажды красиво изданную книжку, на которой стояла надпись: «Гаммы. Стихотворения Я. Полонского». «С новым талантливым поэтом, господа!» — сказал он, с обычною своею шутливостью, мягким развальцем всходя с книгой под мышкой на классную кафедру. И мне помнится доныне этот класс, ярко освещенная весенним солнцем комната, свежий румянец щек тогда еще молодого, любимого нашего учителя, его густые черные, как вороново крыло, волосы, красивыми скобками спадавшие на синий бар-

хатный воротник его всегда изящного, без пылинки, вицмундира, разогнутая в руках книга «Гамм» и темно-карие, радостно с кафедры улыбавшиеся нам его глаза. Он читал нам «В дороге», «Месяц» и другие пьесы из принесенной книги — о том, как «ночью в колыбель младенца месяц луч свой заронил», о том, как «священный благовест торжественно звучит, — во храмах фимиам, во храмах песнопенье», и о чудесах моря под таинственной водной пучиной:

Там, где груды перламутра,
При мерцающей луне,
При лучах пурпурных утра
Тускло светятся на дне...

Мы, замирая от восторга, радовались, что если безжалостный поединок унес Лермонтова, как недавно перед тем он унес Пушкина, то на место погибших любимцев наших нарождались новые поэты. Семя падало на подготовленную почву. Между институтцами стали появляться свои домашние поэты. Прошла молва, что стихи пишут И. П. Макаров, А. В. Вышеславцев и А. Рыжов; по рукам ходила целая поэма Миклашевского. Она называлась «Барон Иоко» и, составляя сатиру на главного нашего педагога, начиналась так:

Пою Иоко, он славный малый,
Философ, ритор и поэт,
Ловлас и шут, каких немало,
И франт пятидесяти лет...

Увы! Всех этих поэтов давно нет на свете; с ними без следа исчезли и их юношеские произведения. Одного унесла чахотка, другой умер, не кончив труда об искусстве в Италии, третьего предательски убили... Но не исчезли из памяти живущих институтцев предания о их дорогой, вскоре затем закрытой и преобразованной под заурядный строй всех гимназий, родной школе.

Учитель русской и всеобщей истории в институте Н. В. Смирнов, скончавшийся вскоре по закрытии этого заведения, был небольшого роста подвижной и худенький человек с

темно-русыми волосами. Обладая замечательным даром слова, он умел, с появлением на классной кафедре, совершенно овладевать обыкновенно непоседливыми и рассеянными слушателями. Негромкий, мягкий его голос, ясно отчеканивавший слова, так и впивался в душу. Порывисто нюхая зажатую в пальцах, иногда в течение целого класса, взятую у кого-либо из коллег в учительской комнате щепотку табаку, он мастерски излагал преподаваемый предмет. Не вдаваясь в мелочи, в педантический перечень разных войн и междоусобий и в хронологию мелких, давно исчезнувших и забытых народов, он более старался объяснять и освещать главнейшие из исторических событий, в связи их с общим течением века. Обрисованные им события и лица из римской истории, как Август и Калигула, крестовые походы, Лютер, Тридцатилетняя война, кровавые насилия Французской революции и нашествие Наполеона на Россию доныне стоят в моей памяти, как живые. Излагая какое-либо крупное историческое событие, Н. В. Смирнов читал нам в его пояснение отрывки из великих писателей, касавшихся той же эпохи, — Вальтера Скотта, Шекспира, Шатобриана, Шиллера и родных авторов. Объясняя однажды способ рисовки типов у иностранных писателей, он указал нам на своеобразные в этом отношении приемы Гоголя, и тут же на лекции прочел нам из появившихся незадолго перед тем и еще не всем нам знакомых «Мертвых душ» характеристики Манилова, Собакевича и Ноздрева.

Преподавателем закона Божия в институте был отец Иоанн Рождественский, доныне благополучно здравствующий (состоит священником при церкви Черниговских чудотворцев, за Москвой-рекой). Также невысокого роста, с седой уже и тогда, пушистой и длинной бородой, Иван Николаевич Рождественский неслышной, слабой походкой входил в класс, расправлял рукава темно-коричневой шелковой своей рясы, с золотым наперсным крестом на ленте, медленно опускался в кресло на кафедре и внимательно-ласково большими карими глазами окидывал стихавший при его по-

явлении класс. От всей его благодушной и кроткой фигуры веяло чем-то неизъяснимо приветливым и в то же время строго вразумляющим и ободряющим. На своих питомцев он имел большое влияние, нравственно поддерживая не особенно даровитых, возбуждая к труду ленивых и укрощая чересчур резвых и шаловливых и кротко настойчиво дисциплинируя всех нас вообще. «Богохульники! Скоморохи! — останавливал он, с улыбкой или строго сдвинув брови, не в меру иногда остривших и потешавших класс шалунов. — Где вы? В священной храмине наук или в стойле?»

К говенью, на третьей или на четвертой неделе великого поста, мы готовились обыкновенно с искренним благочестием. Толковая и разумная исповедь и затем торжественное причащение у отца Иоанна всякий раз оставляли в душе необъяснимое ощущение радостного покоя и теплоты. Вечерни, обедни и длинные всенощные выстаивались в маленькой институтской церкви во имя св. Николая Чудотворца, в доме на Моховой, без особого утомления. Директор А. И. Чивилев устроил и заботливо поддерживал у нас собственный ученический хор певчих. Учителем церковного хора был преподаватель музыки Чернов, а его помощником-регентом один из учеников, наш одноклассник А. И. Георгиевский. Одним из певчих в этом хоре состоял и я, начавший в то время брать уроки на фортепиано.

Время близилось к выпуску. Институт при мне был удостоен посещением, во время нашего обеда, государя Николая Павловича и вскоре потом, во время класса, его наследника, цесаревича Александра. Нашим радостям от этих посещений не было границ. Стали говорить, что институт предположено сравнять в правах с Александровским лицеем и школой правоведения. Эти слухи, впрочем, не подтвердились. Как теперь вижу статную и красивую фигуру государя Николая, при прощании с нами благодарившего попечителя графа Строганова и показывавшего ему, с улыбкой, на себе, что наш наружный вид, особенно поступь несколько мешковаты.

Уезжая, он приказал дать нашим дядькам московский герб на их гладкие бронзовые мундирные пуговицы. Этим, впрочем, и кончились наши мечты об увеличении прав института.

По праздникам в первые годы учения меня отпускали к родным моего отчима, Смирновым, на Никитский бульвар и ко Вдовьеву дому, а также к матери моего соученика и друга, И. И. Соколова, в Барашовский переулок, близ Покровки. В высших классах по праздникам я навещал знакомцев моих родных, Наумовых, Толстых, Крёкшиных и других. Но более всего я стремился, как видно из сохранившихся моих писем к матери, бывать у ее чугуевского знакомца, свитского офицера К. Ф. Саблера. жившего с 1844 года в Фурманном переулке, в приходе Харитония-в-огородниках.

Мне до мелочей памятны мои посещения К. Ф. Саблера, так как он первый указал мне на необходимость дальнейшего усовершенствования в науках. Живо представляются мне небольшие чистенькие, красиво убранные комнаты квартиры К. Ф. Саблера, где с утра в праздники, когда хозяин был еще в церкви или с визитами в городе, я обыкновенно заставал в гостиной на круглом столе кучу книг, газет и журналов и жадно принимался их читать. Здесь я впервые прочел с восхищением «Юрия Милославского», «Капитанскую дочку» и перевод в каком-то журнале «Монте-Кристо», потом сводивший нас всех в институте с ума. Высокий темноволосый и стройный, с черным бархатным воротником и серебряным академическим аксельбантом, К. Ф. Саблер, заставая меня за этим занятием и приветливо поглядывая на меня, говорил о светлом поприще высших научных познаний и, спрашивая, неужели я, кончив курс института, закабалю себя тотчас на службу или в деревню, на хозяйство, объяснял мне, что выше умственного, свободного труда нет наслаждений на свете. Его слова часто потом вспоминались мною в жизни, как и его восторженные отзывы о нашем директоре Чивилеве и попечителе Московского учебного округа графе С. Г. Строганове, которых, по его мнению, мало ценили в высшем правительстве, так как министр просвещения граф

Уваров видел в Строганове опасного себе соперника, а на Чивилева смотрел как на его любимца.

Чтобы обрисовать мое настроение перед окончанием курса в институте, позволю себе здесь привести несколько отрывков из моих писем того времени к матери.

Стремясь расположить мать, не обладавшую достаточными средствами, к разрешению мне продолжать учение в университете и переехать для того в Петербург, я ей писал, между прочим (17 марта 1846 года), следующее:

«Вообще все наши молодые люди, окончившие курс в среднем учебном заведении, поступают в университет, откуда дорога на все четыре стороны — свободна и богата. Мало ли что́ в будущем, если окончишь со славой курс? И путешествие за границу для обширнейших познаний, и лавры славной учености. О! Кто не пожертвует всем, чтобы только перейти эти привлекательные ступени жизни? Вся молодежь теснится в университет; но странно — бо́льшая часть просится ехать либо в Дерпт, либо в Петербург. Я видел недавно пример, что вышедший из нашего института Х-в из любви к своим родителям остался в Харьковском университете, но не прошло и года, он возвратился в Москву с больною головою от тамошних профессоров, которые, как слышно, знают не более наших институтских учителей. Что касается до разницы между Московским и Петербургским университетами, то, по слухам, здесь чуть ли не такая же разница, как между Харьковом и Москвой. Послушайте, что́ говорят о петербургских студентах. Их там все ищут; тамошний университет любит и сам государь, а что касается до одинокой жизни студента там и здесь, то она почти та же. Притом же Петербург — новый совершенно город, заграничный уже почти свет; там все лучшее общество даже из Москвы, все наши литераторы. И Бог знает, куда заводит меня мечта в эти минуты! О, если бы вы нашли это возможным? Взгляните, верно ли я мечтал и справедливо ли будет мое разочарование. Свет идет вперед, свет живет — не остается на месте... а я? Иначе к чему эти светлые по-

знания, эти труды образования, эти игривые надежды, если будет нужно их схоронить — под кивером солдата, во фронте, под халатом украинского мелкопоместного дворянина или, наконец, под зеленым фраком писца... Нет, разочарование будет слишком убийственно! В первый раз я еще об этом думаю, и, как свинец, эти думы теснят мою душу. Иные говорят, что пыл юности проходит летами; я же, напротив, себя чувствую, в том, что касается до сердца и души, таким же, как чувствовал себя за два года и более. Свою юность я поддержу на многие годы. Мой дух устареет тогда, когда я превращусь в пыль, которую какой-нибудь франт с досадой будет отчищать от сапогов своих».

Поступление мое в Петербургский университет состоялось. Семнадцати лет, осенью 1846 года, я с институтским аттестатом уехал в Петербург, где и был принят в тамошний университет без экзамена на юридический факультет.

В начале 1847 года (15 февраля), вспоминая недавнее свое прошлое — детские годы и курс учения в институте, я писал следующее об этом прошлом своей матери, которая всей душой сочувствовала моим стремлениям к дальнейшему учению и поддерживала меня в этом всем, чем могла, особенно своими разумными советами:

«С 10 лет у меня первою задушевною мыслью было — быть чем-нибудь, не как подобные мне из окружающих. Я «все» хотел не то, чтобы выучить, а разом выпить, в один глоток. Жить в покое, жить в глухой тишине, но в счастье — это мне не было по душе. Нет, меня что-то тревожило беспрестанно; я чувствовал в душе что-то странное, и это все было у меня тогда смешано безотчетно, а романов я тогда еще не читал, и некому было мне об этом натолковать, кроме учителя Пéша (который все курил трубку) да брата***, который все мечтал об усах и эполетах. Шалун я был страшный, пока не отвезли меня в Москву.

В институте я учился, школьничал. Набравшись наук, я просветлел головой и иначе посмотрел на жизнь. Правый взгляд на вещи заставил меня рано подумать о будущности.

Я рано — еще за два года — составил себе (в мыслях) карьеру, особенно после вакаций, после ваших советов. Я сознал в себе много сил к осуществлению мысли: быть другим, чем близкие к моей жизни, быть выше их — это облагородило мои увлечения. Я не связался с молодежью Москвы; я рвался оттуда... Я до безумия влюбился в поэзию. Когда я уверился в себе, я написал к вам первое письмо, в котором просил вас дать мне возможность ехать учиться в Петербург. Зачем именно в Петербург? Москву слишком хорошо я разглядел — эту беззаботную жизнь, это равнодушие к учению, эту грязную мелочность молодежи — все я разглядел, вместе с чудною Москвой-матушкой, ее белокаменным Кремлем, который час от часу грустнее смотрит на переменчивое поколение и ворчит, сверкая крестами. Харькова я не знал, но я его понимал. Я боялся заразиться Москвой и Харьковом. Я боялся сделаться таким человеком, который, вышедши из университета, поступит на службу, огрубеет, пройдет для мира, как канет в воду, и только после него у иного почешется за ухом и тот скажет: «Да, добряк был, чурбан ленивый! Славная наливка у него бывала!» Вот чем я боялся там заразиться... а это так искусительно для многих! Верно, много я ждал впереди, верно, чувствовал себя сильным, когда решился оставить это легкое и пустился один, без советника, за полторы тысячи верст. Я не ошибся в своих ожиданиях; я не разрушил ни одного и из ожиданий ваших. Больно рвалась душа при расставании с вами; я точно умер, когда повозка скрылась из виду вашего, — я даже было решился вернуться... За эти жертвы Бог меня не оставит!»

И тогда же, вспоминая свой проезд из Чугуева, через Москву, в Петербург, я писал матери:

«Директор (Чивилев) просто меня восхитил. Он велел прийти за его письмом к профессору Петербургского университета, знаменитому Порошину, его близкому другу, и велел мне самому ему сказать только слова: «Мой директор, такой-то, прислал меня учиться в этот университет» — и

этого будет довольно с его письмом. При выходе от директора встретил я нашего учителя литературы (Перевлесского), который велел к нему зайти тоже, по дороге, за письмами рекомендательными к Гребёнке и Кукольнику...»

Юношески восторженные, хотя чересчур, быть может, поэтому напыщенные, мои письма того времени к матери показывают, однако, насколько благотворно для нас, учеников института, было гуманитарное и возвышающее влияние последнего. Большинство из нас, несмотря на преподавание нам, изгнанной потом из гимназий, естественной истории и на упражнения всякого рода спортом (фехтование, плавание, гимнастика, катание на коньках и пр.), были искреннейшие идеалисты. Одни серьезно изучали иностранных историков, другие переводили стихами «Фауста» Гёте (А. Рыжов), «Турандота» Шиллера (Губчиц), оды Горация (С. Анненков), я — Гёльти и Вольтера; третьи успешно рисовали (И. И. Соколов, Кардо-Сысоев); неподражаемо декламировали Гоголя и Грибоедова (Усов, Лашкевич); занимались скульптурною лепкой (А. и Е. Протасьевы) и музыкой (Н. Малово, Лопатин и Ладыженский). Гуманитарное влияние школы, кроме занятий изящными искусствами, отражалось на нас и в других отношениях.

В начале сороковых годов в мировой политике было полное затишье. Россия не воевала ни с одною из европейских держав, а потому, вероятно, горячих военных голов между нами тогда и не было. Военный патриотизм институтцев моего времени проявился позднее, в восточную войну, когда многие из моих товарищей поспешили в военную службу (Н. Рыжов, С. Анненков, А. Малов, кн. Оболенский, братья Араповы и др.). В сороковых годах у России, однако, шла кровавая пограничная борьба с Кавказом. Горные экспедиции против Шамиля ежегодно поглощали множество жертв.

Проходя по Моховой, мимо соседнего с институтом военного экзерциргауза, мы с болью в сердце видели здесь все новые и новые пехотные батальоны, которые отсюда, после смотров, отправлялись в то время на Кавказ.

«На убой миленьких ведут! На погибель, светиков родных!» — голосили, причитывая перед нами, с плачем, матери и жены, провожавшие уводимых солдат. «Как помочь их беде? И как облегчить родине покорение Шамиля, а с ним и Кавказа?» — мыслили мы тогда и толковали между собой. Разрешить эту загадку нашлась горячая голова, в тайне от всех задумавшая и решившая привести в исполнение фантастический замысел «бескровного замирения и покорения Кавказа». Это случилось в 1843 году, когда я перешел в четвертый класс.

Между моими одноклассниками был пятнадцатилетний черно-кудрявый и черноглазый худощавый юноша, И. И. Скюдери, сын известного, всеми уважаемого московского врача. Однажды осенью, уходя утром в воскресенье к знакомым своего отца, бывшего в то время в богатом рязанском своем поместье с. Ромоданове, Скюдери сказал мне и другому своему однокласснику и другу С. П. Анненкову: «Ну, товарищи, прощайте! Не говорите никому — не скоро теперь увидимся... услышите обо мне!» Более он нам ничего не объяснил, как мы ни допытывали его, и, пожав нам с приветливою улыбкой руки, ушел из института. До сих пор вижу его красивую кудрявую голову, всегда несколько бледное лицо и оживленные, быстрые глаза, как бы говорившие: «Да! Увидите и услышите обо мне нечто замечательное!» Надо прибавить, однако, что слова Скюдери не особенно нас удивили. Мы кое-что знали о его душевном настроении. Незадолго перед тем он случайно увидел в католической церкви, куда ходил с знакомыми отца, некую, неописанной красоты княжну грузинскую и, как сообщил нам по секрету, влюбился в нее по уши. Вспомнив это, мы с Анненковым решили, что нашему другу, очевидно, посчастливилось вызвать в его возлюбленной взаимное расположение к себе, что они, по всей вероятности, положили более не расставаться и для того, разумеется, задумали бежать куда-либо из Москвы за тридевять земель. Строя воздушные замки о будущем блаженстве влюбленной пары, мы положили обо всем до времени молчать.

Был конец августа. Стояла превосходная, теплая и сухая погода. Железных дорог тогда не было. «Если Скюдери с его возлюбленною, — думали мы, — решил уехать в чужие края, то письменное известие от него должно прийти к нам из первого пограничного города никак не далее недели или десяти дней». Но прошло более двух недель. Сведений о беглецах к нам не доходило. Невозвращение Скюдери из отпуска к вечеру воскресенья и в первую неделю после того никого особенно не озаботило. «Очевидно, заболел, — решило начальство, — выздоровеет, явится». Но прошло еще одно воскресенье — Скюдери в институт не возвращался. Начальство произвело дознание; оказалось, что Скюдери не было и у тех знакомых, к которым его отпускали по просьбе отца. Прошел еще день-другой, и дело стало объясняться. Заговорили, что Скюдери еще в то воскресенье, когда был отпущен к знакомым, пробыл у них до вечера, взял с собою кое-какие вещи, как бы для отвоза их в институт, сел со слугой отца Семеном на извозчика, уехал куда-то и с тех пор без вести пропал. В то время как начальство предполагало, что он находится у знакомых, последние были убеждены, что он пребывает в институте; невозвращение же к ним жившего у них Семена объясняли тем, что тот давно выказывал недовольство службой у них, все просился обратно в деревню и, очевидно, просто сбежал к своему господину в Ромоданово, куда они и не замедлили написать. Ответ отца Скюдери, что Семен не появлялся и в деревне, совпал с первыми справками институтского начальства. Поднялась общая тревога. Московским генерал-губернатором были разосланы эстафеты об исчезнувшем без вести ученике института во все концы России. Негласные и гласные розыски не привели, однако, ни к чему.

Под напором расспросов товарищей и убеждений начальства, знавшего близость и дружбу Скюдери со мной и с Анненковым, и ввиду слухов о скорби и отчаянии старика-отца Скюдери, немедленно поспешившего из деревни в Москву, мы с Анненковым решили слегка приподнять завесу над случаем с товарищем.

Соображая, что беглецы, без сомнения, уже в недосягаемой дали, где-нибудь в заоблачных горах Швейцарии или на островах Атлантического океана, когда директор сообщил нам рассказ знакомых отца Скюдери о встрече его сына в церкви с грузинскою княжной и спросил нас, не увлечение ли ей было причиной рокового и, быть может, гибельного исчезновения нашего совоспитанника, мы великодушно ответили: «Да, здесь несомненно роман! Но успокойте отца Скюдери, беглецы несомненно вне всякой опасности и вскоре, вероятно, пришлют о себе весть». «Но куда же они направились?» — допрашивал директор. На это мы ничего не могли сказать верного. Княжна была уроженкой Кавказа, куда вскоре после встречи с Скюдери, как говорили в городе, и уехала с теткой. В исходе сентября в институте пронесся слух, что Скюдери наконец найден, но не в горах Швейцарии и не на островах Атлантического океана, как мы думали, а на пути к Кавказу, в городе Екатеринославе, причем объяснилось, что фантастический свой побег он предпринял далеко не из одного увлечения грузинскою княжной. Нашим товарищем двигала другая, более возвышенная причина, о которой он, решаясь на побег, не намекнул ни словом даже ближайшим из своих сотоварищей.

Дело было так. Житель Екатеринослава, какой-то еврей-торговец, встретив на городском базаре двух истомленных, в поношенной одежде, необычного вида путников, из которых одному было пятнадцать, другому около двадцати лет, заподозрил в них опасных бродяг (тогда сильно преследовали беглых крестьян, стремившихся селиться на вольных южных, приморских степях), донес на них полиции. На допросе у екатеринославского полицеймейстера Скюдери откровенно и без утайки изложил причину и способ неудавшегося своего побега. Полицеймейстер подробно записал и прислал в Москву его показания. Видя с прискорбием, говорил в этих показаниях Скюдери, что война с Шамилем, обрекая на гибель столько жертв, так долго не приводит к желаемому успеху, он, Скюдери, решился положить этому конец, для

чего задумал тайно проникнуть на Кавказ, при посредстве знакомой ему грузинской княжны добровольно передаться Шамилю, заслужить его расположение, войти в полное его доверие, и так как он, Шамиль, очевидно, не знает всего величия души и нрава царя Николая, то объяснить ему это величие и склонить его к мирной передаче Кавказа во власть России, за что государь несомненно возвел бы его, Шамиля, в сан русского фельдмаршала и назначил бы его самого, с потомством, правителем Кавказа. Для этой цели он, Скюдери, уговорил слугу своего отца, Семена, слепо слушаться и помогать ему в пути, выехал с ним за Серпуховские ворота, рассчитал там извозчика и с пятью рублями в узелке платка пустился с Семеном пешком по большой почтовой дороге, через Тулу, Орел, Харьков и Екатеринослав, на Кавказ. Сухая и теплая августовская погода благоприятствовала путникам. Днем они шли, ночью спали на полях, вблизи дороги, или у опушки соседних с дорогой лесов. До Курской губернии питались, покупая съестные припасы; за Курском последние деньги были истрачены. Странники, однако, в дальнейшем пути не голодали. Войдя вскоре в малорусские пределы, они встретили такое гостеприимство и такое внимание к себе, что, угощаясь везде вдоволь и даром, не заметили, как из двухтысячеверстного пути от Москвы миновали почти половину и, бодрые и веселые, обносившись сильно только обувью, вошли в улицы Екатеринослава. Великодушный и смелый замысел бескровного приобретения Кавказа рушился на 945-й версте от Москвы. У его исполнителя в екатеринославской полицейской части потребовали вид о его личности. Скюдери спокойно вынул из кармана казенной куртки печатный отпускной институтский билетик с своим именем и тотчас же был арестован. После должной переписки местных властей с Москвой он был с подобающим вниманием благополучно препровожден на почтовых к его обрадованному, хотя и долго еще потом ворчавшему на него, родителю. В институт он уже более, к нашему огорчению, не возвращался. Поступив через два года в Петербургский

университет, я узнал, что Скюдери также в Петербурге, в медико-хирургической академии, и, когда я снова нашел его, в его студенческой квартирке на Кронверкском проспекте, моей радости и расспросам о его странствовании на Кавказ не было конца. О своем неудавшемся подвиге он, однако, говорил неохотно, объясняя и свое поступление в медики одним желанием принести в будущем посильную пользу бедным раненым и искалеченным в сражениях страдальцам. Служа потом во флоте и еще недавно в армии, в войну за Болгарию, он вполне достиг исполнения своих юношеских мечтаний. Его заботливость о раненых была так сильна, что он, в качестве старшего врача одного из пехотных полков, умудрялся возить на передке своих докторских дрожек клетку с живыми курами, чтобы, в случае нужды, опасно раненному всегда было возможно приготовить бульон, и вел неутомимую борьбу с интендантскими поставщиками, бракуя у них, без сожаления, партии испорченных сухарей.

Еще помню два случая с моими товарищами-одноклассниками. Один из них, П. П. Макаров, под влиянием чтения житий святых отцов и мучеников за веру сперва устроил из образков в классном своем ящике нечто вроде крошечного иконостаса и усердно молился перед ним, а потом, незадолго до окончания курса, поступил в монахи и долго жил у Троицы-Сергия в особой келье, собственноручно вырытой им в лесу, у откоса холма, где я лично его навещал. Другой мой товарищ, Н. О. Малов, увлекшись чарующими голосами заезжих итальянских певцов Сальви и Ассандри и втайне стремясь вслед за ними в Италию, стал прилежно брать уроки пения, достиг в нем замечательного искусства и позднее, под иностранной фамилией, успешно дебютировал и пел на театрах в Италии.

Такими-то были питомцы нашего института. Много потом всеми нами переживалось странных и тяжелых событий, которым по возможности подыскивались подходящие объяснения. Одного никто из нас не мог вполне понять: в силу каких обстоятельств и для чего сорок лет назад (в 1849

году) был закрыт и преобразован в одну из гимназий наш былой Московский дворянский институт? На вопрос об этом мне не дали тогда ответа и перешедшие на другую службу в Петербург наш незабвенный директор Чивилев и учитель наш Перевлесский, который уехал из Москвы, подарив на память бывшим своим сослуживцам по институту литографированный свой портрет с загадочным собственноручным надписанием на этом портрете народной поговорки: «Бог не выдаст, свинья не съест». Закрыть же институт, ввиду каких-либо особых прав и привилегий, которые он будто бы давал, никому не могло прийти в голову: кончавшие в нем курс получали те же права, что и питомцы всех тогдашних гимназий. Закулисною причиной здесь, вероятно, было нечто, схожее с тем, на что мне намекал покойный Е. Ф. Саблер, а именно какие-либо личные счеты между высшими деятелями в тогдашнем ведомстве народного просвещения.

Что же касается официальных данных относительно закрытия Московского дворянского института, то известно лишь, что дальнейшее его существование, с учреждением в Москве в июне 1849 года второго кадетского корпуса, было признано «бесполезным», и вследствие того сперва последовало распоряжение о его полном закрытии, с передачей воспитанников меньших его классов в кадетский корпус и с оставлением в нем высших классов только до окончания курса того года. При этом на волю родителей предоставлялось, если они не согласятся на перевод своих детей в кадеты, взять их к себе обратно. Но к исполнению этого первого распоряжения встретились неожиданные препятствия. В институте в том году сказалось 167 воспитанников, из которых правом для замещения 58 дворянских вакансий в корпусе могли, по возрасту (от 9½ до 11½ лет), воспользоваться всего только трое учеников, но и то лишь в случае получения ожидавшегося на это согласия их родителей. В окончательном же 6-м классе института тогда было 16 учеников. Следовательно, около 150 питомцев института подлежали возвращению родителям, из которых бóльшая часть посто-

янно жила вне Москвы и преимущественно в отдаленных губерниях. Встретилось и еще одно немаловажное затруднение: из 45 преподавателей и чиновников института 28 не имели иной службы, а во всех гимназиях московского учебного округа для размещения их в то время было всего две соответствующие свободные вакансии. Самая, наконец, покупка, перестройка и должное обзаведение здания, в которое всего за шесть лет перед тем был переведен институт, обошлись последнему более чем в 250 000 рублей серебром, и из этой суммы институт в 1849 году был еще должен Московскому университету 75 000 рублей, а в число ежегодной штатной суммы в 53 000 рублей серебром на содержание института от государственного казначейства отпускалось только 8000 рублей, причем остальные 45 000 рублей пополнялись из платы за пансионеров. Эти важные справки заставили изменить первоначальное распоряжение о полном закрытии института, и последний был упразднен с преобразованием его в четвертую московскую гимназию, которую в 1850 году открыли в том же здании, до сдачи последнего под переведенный из Петербурга Румянцевский музей.

1890 г.
30 января


Мелкие
статьи

I

КАРИКАТУРА В РОССИИ В СТАРИНУ

В России карикатура существует давно. В Публичной библиотеке хранятся два собрания лубочных картинок, принадлежавших Погодину и Далю. Последнее (шесть тетрадей, в большой лист) заключает в себе: 1) картины духовного содержания, изображения лиц библейской истории, числом 177; 2) изображения духовных событий, мест и аллегорий, 144 картины; 3) картины поучительные, примеры в лицах, иносказания, явления природы и перелицовки, 120; 4) в большой лист — духовные и иносказательные картины, до 100; 5) картины шуточные и сказочные, сказки в лицах и сказочные предания, до 80, и 6) картины шуточно-балагурные, как они названы в надписи над фолиантом. Последних помещено до 112.

Первые народные карикатуры в России встречаются в лубочных изданиях. Что такое лубочные картинки? По словам Снегирева («Исторический Сборник» Д. Валуева, 191—221 стр., 1845 г.), из псковской правой грамоты 1148 года видно, что писывали в старину на «лубе» — «тое вы бы досмотрели, да и на луб выписали» — по редкости и дороговизне бумаги и пергамента. Лубочные картинки развешиваются доныне для продажи на лубках. В Москве есть улица Лубянка, близ которой находится урочище «Печатники» — Печатная слобода в XVII веке, где резались на лубах картинки, называемые суздальскими, по разносчикам-суздаль-

цам, которые в свою очередь называются еще в Сибири панками, а в Осташкове богатырями, от продаваемых ими «богатырей». Множество рук занято доныне в Москве и подмосковных деревнях вырезыванием и испещрением этих картинок. Самоучки-резчики не отступают ни на шаг от вековых образцов и красят, как красили еще при царе Алексее Михайловиче, корни зеленою краскою, деревья сандальною, наряды суриком, а лица баканом. Морозов, наставник царя Алексея Михайловича, учил своего питомца по картинкам. Зотов, учитель Петра I, известный под именем Князя-папы, также прибегал к рисункам, развешивая их по учебной комнате питомца. Живопись в России, встречаемая на древнейших памятниках, «Святославовом Сборнике», «Житии Бориса и Глеба», лицевых псалтырях XV и XVI веков, произвела гравирование, заимствовав его позже через Польшу и Литву из Германии. Печатное дело явилось в Москве и называлось прежде фряжским делом. «Смета в што станут две штанбы печатныя зделами, да станы на фряжское дело» (1612 г.). К первой книге Апостола, печатанной в Москве 1564 году, приложен эстамп, изображающий Св. Евангелиста Луку. В 1629 году явился эстамп, хранящийся в библиотеке гр. Ф. П. Толстого, с подписью: «Темница богогродная святых осужденник». С тех пор резьба и печатание на дереве у нас утвердились. В царствование Петра I стали известны имена граверов Федора Никитина, Мартына Нехорошевского, Григория Тептегорского, вырезавшего в 1713 году, в Москве, «Месяцослов в лицах». В начале XVIII века в Москве учреждено особенное гравировальное заведение под надзором Брюса, выпустившее в свет первые наши географические карты, портреты и разные эстампы. При Екатерине I в Петербурге открыта в Академии наук фигурная типография. Наконец, в царствование Екатерины II и в последующие годы гравирование в России, под влиянием Академии художеств, расширило свои пределы и произвело такие таланты, каковы гр. Ф. П. Толстой, Иордан, Уткин, Иван Теребенев и другие.

В XVII веке впервые появились у нас и сатирические картинки, или так называемые «Немецкие потешные листы».

В приходо-расходной книге Оружейной палаты 1634—37 годов, по словам Снегирева, сказано: «июня в 16 день дано торговым людям овощного ряду за Немецкие за печатные листы 20 алтын; а взяли те листы из Государевы Мастерские палаты в хоромы государю Царевичу Алексею Михайловичу». В другой говорится: «Торговому человеку Андрюшке Петрову за девять листов потешных 8 алтын и 2 деньги». Любопытно еще, что в «Журнале изящных искусств», изд. на 1807 году профессором Буле, по замечанию одного путешественника, сказано: «Виденные на ярмарке в Сен-Клу французские лубочные картинки — ничто перед нашими, московского изделия. И те, и другие решительно в одном стиле. Но во французских нет той замысловатости, какую мы находим в наших».

Первые потешные листы, изобличавшие житейские глупости, пороки и нелепости, явились в виде разговоров: мальчика с мудрецом, профессора с мужиком и глупого жениха со свахою. Далее являются уже более полные карикатуры: 1) денежный дьявол сыплет на землю деньги, а подбирают их целовальники, портные, сапожники, стряпчие, ярыжки прошлого века и франтихи; 2) изображение быка, ставшего мясником, мужика — судьею, осла — погонщиком, детей, секущих старика, и других нелепостей; 3) известная притча: Голландский лекарь и добрый аптекарь; 4) Фомушка музыкант да Ерема поплюхант; 5) Прохор да Борис — поссорились, подрались; 6) головные уборы чудовищного вида у дамы и кавалера щеголей XVIII века; 7) спеленанный немец, где уже прямо виден задаток будущего, более художественного направления нашей карикатуры и 8) веселое гулянье кота с кошкою, на шестерке мышей, цугом, в коляске — сатира на старосветские поезды прошлого времени.

Скоро явились и политические карикатуры. В тетради собрания Даля «Балагурных лубочных картинок» (в Публичной библиотеке) ряд народных сатир открывается пятью об-

разцами известной картинки: Небылица в лицах, найдена в старых светлицах, обверчена в черных тряпицах, как мыши кота погребают, недруга своего провожают, последнюю честь с церемонией отдавали. Снегирев говорит, что безотчетное предание относит эту лубочную карикатуру ко времени царя Ивана Васильевича. Другие ее относят ко времени Петра I; третьи — к погребению в Риме папы, который ревностно старался через своих комиссионеров сеять в России семена католицизма. В сочинении чеха Венцеслава Гайка, 1552 года, изданном в Вене в 1783 году, упоминается об этом покушении римского первосвященника, и при этом на полях отмечено: «Изготовили было такую же сатиру, какую лютеране с прочими, о погребении кота» («Вестник Европы», 1821 года, № 9). Сюда же относят насмешки над нашим старым сутяжеством и делопроизводством в лубочных картинках: «Шемякин Суд» «Челобитная леща на окуня» и «Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», полнейшая из всех (в далевском собрании, в Публичной библиотеке, в четырех превосходных образцах), где является лещ-сутяга и крючкотвор. Подписи последней карикатуры не имеют ничего равного себе, кроме разве «Притчи о петухе и о курице», где петух приговорен к наказанию «за его отлучку из своего дому, от своих кур, и о возымении с чужими амур». Известны остроумные подписи в «Повести о Ерше»:

Пришел Богдан — ерша Бог дал; пришел Устин — ерша упустил; пришел Иван — опять ерша поймал; пришел Потап — стал ерша топтать; пришел Давыд — стал ерша давить; пришел Лазарь — по ерша слазил; пришел Мартын — Константину барыша алтын; пришел Назар — понес ерша на базар! Ныне дороги! Пришел Анос — и даром ерша унес; пришел Павел — котел поставил; пришел Селиван — воды в котел наливал; пришел Глеб — принес хлеб; пришел Вавила — поднял ерша на вилу; пришел Филипп — стал ерша пилить; пришел Андрей — Тита по плеши огрел; пришел Елизар — только полизал и пр.

Войны России с турками, поляками и «постылыми немцами» в особенности давали повод к народным карикатурам. Так, любопытно, что семилетняя война увековечилась карикатурами: где «казаки берут верх над толстобрюхими прусскими драбантами». Первые выезжают с пиками в руках, а последние с трубками в зубах.

Кроме войны, моды и борьба новизны с стариною давали также пищу русской лубочной сатире. Изображены барыни прошлого века с чепцами на голове наподобие кораблей, дававшими повод острякам говорить: «Щеголихи носят на головах целые деревни!» Тут же «фишбейны», «бочки» и «черные мушки», означавшие, как известно, целые речи: мушка на конце носа — отказ, среди носа — отказ не всем; на подбородке — надежда; между бровей — верность; под щекою — пыл страсти. Не забыты и парики с трехэтажными пуклями, длинными косами и кошельками. Наконец, являются совершенно определенные сатиры на позднейший семейный быт: 1) «Старый муж и молодая жена», 2) «О богатом купце, пропившем упрямую жену», 3) «Седина в бороду, а бес в ребро», 4) «Ограбленный медведь, нарядившийся петиметром» и 5) «Репримант хвастливым людям, которые в гости к себе многих зовут, а сами от того из дома бегут». Сюда же относится и знаменитое «Сказание о честном Семике и о честной Масляница», которое в далевском собрании, в Публичной библиотеке, в V тетради, находится в шести превосходных образцах; один из последних даже отличается отдаленною древностью и, очевидно, претерпел множество переходов по нашим деревням и станционным домам.

В далевском собрании находятся еще следующие картинки: 1) Куре доброгласное, воспевание твое великое и красное, зверям снеть очень сласное; 2) медведь с козою прохлаждаются, на музыке своей забавляются (семь экземпляров разных изданий), 3) голландский лекарь и добрый аптекарь (четыре образца), где, между прочим, такая подпись: «Объявил своей науки, чтоб старухи не были в старой скуке, я всех старух молодыми переправлю и ума прибавлю; вот и

машина изготовлена, и все к ней приноровлено; всякая старуха помолодеет и прежнее чувство возымеет; старики тележки покупали, старух с радостью к лекарю отпускали, иных же на себе таскали; в машину сажают, мехами раздувают; старуха заскакала, заплясала и в пятнадцать лет себя показала. Кто знает это учение — поправлять старух без мучения? А я много переправил, и себя везде прославил». На рисунке старухи подают просьбы о перерождении, старики их ведут и несут, а голландский лекарь стоит с лекарствами; 4) Пословица: змея хоть и умирает, а зелье все хватает; 5) разговор между профессором и крестьянином; 6) книжник и мальчик; 7) пьющий и непьющий; 8) о пьянстве; 9) пьяница; 10) аптека целительная с похмелья; 11) знаменитая картинка: печение блинов, с подписью: «Пожалуй, поди прочь от меня, мне нет дела до тебя; пришед, хваташ, блины печь мешаш» и т. д.; 12) вор с курицей; 13) это, бабушка, грыжа; 14) Парамошка с Савоською в карты играли; 15) Прохор да Борис — и другие.

Ходебщики с «райками», на гуляньях о масляной неделе и на святках издавна показывают лубочные картины, сопровождая их особыми прибаутками: «А вот город Щетин; там стоят два корабля, один с дымом, другой с пылью; едут в Питер, дешево продадут, богачами вернутся, известно — немцы!» или: «А вот город Париж, войдешь — угоришь!», «Входит в трактир подьячий, требует пирог горячий».

Теребеневские карикатуры 12-го года уже были чисто политическими. В Публичной библиотеке есть два сборника этих карикатур: погодинский и принадлежащий библиотеке. В тридцатых годах они, как редкость, продавались в Петербурге, в Гостином дворе, в лавке под N 3 по Зеркальной линии, у Сленина. В 1855 году они изданы были вновь по медным доскам, оставшимся у сыновей Теребенева, литографом Траншелем. Тогда вышла одна тетрадь, в числе десяти карикатур, очень красиво иллюминованных. По одной приписке на частном экземпляре значится, что в отечественную войну эти карикатуры продавались по 5 р. ассигн. за картину.

Альбом 1855 года из 10 картин продавался по 3 р. сер. с пересылкой. В экземпляре Публичной библиотеки с теребеневскими карикатурами переплетены и другие карикатуры 1812 года, частию подражания, частию дополнения к первым. На теребеневских стоит подпись: Иван Теребенев — иногда буквы: И. Т.; на иных же вовсе нет подписи.

В начале сборника изображен французский вороний суп, поедаемый исхудалыми голышами, французами, с подписью:

«Беда нам с великим нашим Наполеоном:
Кормил нас в походе из костей бульоном.
В Москве попировать свистел у нас зуб;
Не тут-то было! Похлебаем-те хоть вороний суп!»

Картина: Зимние квартиры Наполеона — представляет Бонапарта в снегу по горло, среди полей, а два генерала торчат рядом, тоже чуть видные из снега. Подпись: «Как прикажете записать в бюллетене?» — «Пишите: остановились на зимних квартирах!»

Подкачивание на блоках. Союзники тянут француза к потолку; другие едят ворону. Подпись:

«Худо в карты играть,
А козырей не знать!
Господа! эта ворона —
Нам не оборона!»

Баба и коза. Французы ворвались в избу. «Что у тебя есть закусить?» — «Коза!» — «Ай-ай! караул! казак!» и все бегут вон.

Триумфальное прибытие в Париж. Наполеон стоит на раке, который пятится; в руках его палка; на ней висят лавры побед: собака, телега, трубка и лапти; Бонапарт ползет в триумфальные ворота, сделанные в виде виселицы; на них висят ворона и осел; вверху надпись: «Завоевателю».

Двойник этой карикатуры: Возвращение домой русского ратника. Ратник несет на штыке французов; мальчик, его сын, на древке французского знамени едет верхом. Подпись: «Для курьезу ребятишкам бирюльки несу!»

Крестьянин Иван Долбила. «Постой, мусью! Не вдруг пройдешь! Здесь хоть мужички — да все Русские!» Следует угощение врага, с подписью: «Вот и вилы тройчатки; пригодились убирать да укладывать! Ну, мусью, полно вздрагивать!»

Подобная же картинка, с подписью:

«Русский Геркулес
Загнал французов в лес
И давит, как мух!»

Картинка: Вологодский ратник. Подпись: «Француз: «Пардон!» — «А-га! пардон, колченогий? Поминай, как тебя звали! Сидел бы ты дома, так не докорнал бы тебя Ерема!»

Торжественный въезд в Париж непобедимой французской армии. Торжественное шествие слепых, хромых, безногих, на деревяшках; на плечах несут похоронные знаки. По бокам улицы скамьи для зрителей, с нумерами для продажи мест, пустые.

Французы-крысы в гостях у старостихи Василисы. Подпись:

«Добрых людей
Да званых гостей
С честью у нас встречают
И в передний угол сажают.
Знать, вы в Москве-то не солоно похлебали,
Что хуже прежнего и тоще стали!
А кабы занесло вас в Питер,
Он бы вам все бока повытер!»

Эта картина возбуждала в народе особое сочувствие.

Глобус России в руках врага. Подпись: «Вот тебе село да вотчина, чтоб тебя вело да корчило!»

Русская хлеб-соль. Нарисованы палка и бомбы. Подпись: «Что ж, батюшка, бежишь? вот тебе хлеб-соль!»

Ледяная гора, с которой катится величие французских временщиков. Подпись: «Не все коту масляница!»

Ловля рыбы. Подпись:

«Казак петлей вокруг шей
Французов удит, как ершей:
И мелкую сию скотину
Кладет в корзину...»

Пляска Наполеона под кнутом ратника, при игре мужика на свирели. Подпись:

«И мы твою, брат, слышали, погудку;
В присядку попляши теперь под нашу дудку!»

Наполеон пляшет и припевает, взявшись за бока:

Ах, скучно мне
На чужой стороне!

Смотр французским войскам на обратном походе через Смоленск. Французы стоят, одетые в пучки сена, в ведра, вместо шишаков, в юбки, фуфайки; тут же лошадь, подпертая дрекольем. Подпись: «Хотя одеты некрасиво, да тепло!»

По «Монитеру»: «Усердная добровольная поставка рекрут от французского народа своему императору». Нарисованы: калека, дряхлый старик и общипанный уличный мальчишка. Подпись: «От двух департаментов три рекрута и две лошади».

Ретирада французской конницы, съевшей в России лошадей. Нарисованы уланы, кирасиры, гусары, мамелюки, кто на коньках, кто на пике верхом, кто в салопе, а кто с лошадиным окороком под мышкой, про запас.

Карикатуры — Терентьевна доколачивающая башмаком беспардонного француза, и Свинья-парламентер, и Наполеон — отличаются мастерским выполнением, равно как и три сатиры: Французы-учителя и всякие проходимцы, оставляющие Россию, — французское воспитание и набивание головы ребенка западным злом...

За карикатурой: Пускание Наполеоном мыльных пузырей, причем на мыльных пузырях надписи его замыслов: «Порабощение Англии! — Поход в Индию! — Присвоение всемирной торговли! — Взятие Петербурга! — Взятие Риги! — Взятие Калуги!», следуют карикатуры: Нос, приве-

зенный Наполеоном из России в Париж, и Наполеон в Париже, изображенный на громадных ходулях, с подписью:

«Кто смел разнесть столь ложны слухи,
Что будто стал я меньше мухи?»

В утешение Бонапарту, карикатура: Наполеон, прикладывающий себе пластыри — листки «Монитера».

Кухня главной квартиры в последнее время пребывания в Москве. На полу валяются мыши, лягушки, всякая падаль, кошки и собаки; а бабушка Кузьминишна угощает французских мародеров щами-кипятком.

Наполеон пускает змея бумажного. На рисунке змей падает, потому что штык «1813 год» протыкает его. Другой рисунок: Карнавал, или Парижские игрища, где Наполеон изображен в виде паяца, занимающего публику.

Картина с надписью: «Жид обманывает вещами, цыган лошадьми, француз воспитанием!» Внизу вопрос: «Который вреднее?» — и другая символическая: Портрет Наполеона; лицо состоит из трупов; звезда на груди из его политической паутины; волосы из змей и т. д.

На некоторых теребеневских карикатурах подпись: «Взято из «Сына Отечества», 1813 года».

В числе десяти теребеневских карикатур, изданных в 1855 году, находятся: 1) Французский вояжер в 1812 году. Изображен Наполеон на салазках, привязанных к хвосту свиньи. Он говорит: «В Париже — прокладна, на Москва — очинь жарко!», а свинья отвечает: «Уй, уй, уй, мусью!». 2) Наполеон у русских в бане. С подписями: «Наполеон: «Эдакого мученья я с роду не терпел; меня скоблят и жарят, как в аду!» — Ратник: «Отдувайся, коли сам полез в русскую баню; попотей хорошенько, а мы не устанем поддавать пару». — Солдат: «Натрем тебе и бока, и спину, и затылок; будешь помнить легкую нашу руку». — Казак: «Побреем тебя, погладим, молодцом поставим!» 3) Наполеон, разбитый при Люцене, прикладывает пластырь из бюллетеней. 4) Обратный путь или действие русского

слабительного порошка. 5) Казак вручает Наполеону визитный билет на взаимое посещение в Париже, с надписью на билете: Москва. 6) Казацкая шутка, известная проделка над буквой Н (Наполеон) в Берлине. 7) Наполеон, в намерении уничтожить Пруссию, гриб съел — мастерской рисунок гриба, под носом Бонапарта. 8) Разрушение всемирной монархии. 9) Кораблекрушение; корабль летит на раздутых парусах, с надписями на них: Италия, Франция, Бавария, Саксония, Рейнский союз и другие; он разбивается о скалу, с надписью: Москва; Наполеон спасается по морю на лодочке. 10) Угощение Наполеону в России, с надписью:

«Свое добро тебе приелось,
Гостинцев русских захотелось;
Вот сласти русские, поешь, не подавись,
Вот с перцем сбитенек, попей, не обожгись!»

При этом Наполеона сажают в бочку с «*калужским* тестом», в рот тычут ему пряник, с надписью: «*Вяземский* пряник», а в кружку ему льют сбитень, с надписью на самоваре: «Вскипячен на *московском* пожарище».

II

МОСКОВСКАЯ ЧУМА 1770—1771 года

«История — лучший наставник человечества».
Императрица Екатерина II

Сто десять лет назад Россия вела войну с Турцией. Пробравшись из Азии, чума (Pestis Indica) долго следила тогда за воюющими армиями, поражая тех, кого щадили ядра и пули, и через Нежин и Киев наконец двинулась к Серпухову, на север.

В декабре 1770 года страшные признаки чумы обозначались, по словам императрицы Екатерины, в Москве («Сборник исторического общества», т. XIII, 1874 г., стр. 192). Морозы задержали было ее развитие. Но *с первым теплом весны* следующего 1771 года, моровая язва распространилась в Москве с ужасающей силой. Ее, по словам Екатерины, туда завезли с суконных фабрик, вместе с шерстью, из Серпухова. (Там же). Трупы людей, умерших от чумы, валялись по улицам; чернь грабила одежды с мертвых, врывалась в зачумленные дома. Население Москвы в отчаянии и страхе бросилось в окрестные села и города. Московский главнокомандующий, старик-фельдмаршал граф Петр Семенович Салтыков, также бежал из столицы в свое подмосковное поместье, село Марфино; за ним из города выехали другие знатные лица и все, кто имел средства скрыться в других местах.

Императрица Екатерина в апреле 1771 года, поручив генерал-адъютанту графу Якову Брюсу учреждение вокруг Петербурга карантинных застав для предупреждения моровой язвы, собственноручно писала ему: «В рассуждение оказавшихся в Москве прилипчивых горячек с пятнами, *о коих ныне еще доктора спорят, как оные именовать*». Она приказала устроить, сверх петербургской, еще следующие заставы от Москвы: первую в Твери, вторую в Вышнем Волочке, третью в Бронницах и, кроме того, на дорогах, идущих к Петербургу, «яко знатнейшему в империи порту», особые заставы: на старо-русской, тихвинской, новой и старой новгородской и на смоленской дорогах. На этих заставах были определены «гвардии офицеры, с командами», для наикрепчайшего смотрения, чтоб никто без осмотра и окурения не был пропущен из едущих и пеших, с их экипажем и пожитками. Тогда же Екатерина велела отпустить в карантины нужные медикаменты и достаточное число врачей. Месяцем ранее, а именно еще в марте 1771 г., Екатерина подобные же полномочия дала в Москву генерал-поручику Петру Дмитриевичу Еропкину (Сбор. ист. общ., 1874 г., XIII т., стр. 80—81).

Между тем 18 мая того же года Екатерина писала к госпоже Бьелке (урожденной Гротгус): «Тому, кто вам скажет, что в Москве чума (la peste), скажите, что он *солгал*; там были только случаи горячек, гнилой и с пятнами (fievres putrides et pourprees); но для прекращения панического страха и толков, я взяла все предосторожности. Теперь жалуются на строгие карантины. Не изуверы ли те, которые видят чуму там, где ее вовсе нет?» (Там же, стр. 95).

С началом сентября дело, однако, приняло иной оборот; 5 сентября Екатерина отвечала московским сенаторам, по поводу моровой язвы: «Мы ведаем, что бесспорно великая препона быть может скорому учреждению наших предписаний обширность города — состояние домов, нравы, застарелые обычаи. Но — надлежит преодолеть препятствия, а не

ими страшиться, — помогать учреждению, сделанному для общей безопасности от мора». Повелевалось на тридцать верст вокруг Москвы опорожнять под карантины дома, выводя жителей в другие места, а где нет домов — строить их на счет казны; для избавления людей от голода и холода иметь подрядчиков, подвозить припасы, а наипаче предписывать смотреть: «чтобы гражданам не было сделано от корыстолюбия подлых душ *утеснения и угнетения*». (Там же, стр. 164).

9 сентября вышел собственноручный манифест императрицы — о принятии общих мер против чумы, со ссылкой на указы о том же предмете от 1738 года. В манифесте Екатерина с соболезнованием указывала на тех, «кои, поставляя карантин себе за великое отягощение, скрывают больных и не объявляют о них поставленным в каждой части города начальникам; другие, оставляя больных в домах одних, без помощи и попечения, сами разбегаются и разносят болезнь и трепет, которыми заражены; третьи вынашивают скрытно мертвых и кидают на улице христианские тела без погребения, распространяя заразу единственно, чтоб не расстаться с зараженными пожитками и не подвергнуться осмотру приставленных к тому людей». Манифест кончался словами: «Всякое же угнетение, утеснение, грубость и нахальство всем и каждому запрещаем употреблять, — наипаче же *паки и паки наистрожайше запрещаем* всем начальникам и подчиненным, *брать взятки* и лихоимствовать, как при осмотрах, так и при выводе в карантин». (Там же, стр. 166).

10 сентября 1771 года Екатерина в письме к гр. П. И. Панину писала: «Язва на Москве, слава Богу, умаляться начала»...

Но через несколько дней в Москве произошел бунт, убийство архиепископа, и было решено отправить туда с высшими полномочиями доверенную от императрицы особу. Чумный бунт 16—17 сентября подробно описан Екатериною уже несколько позднее, а именно 3 октября, в письме к г-же

Бьелке и к Вольтеру (Сборник ист. общ., 1874 г., т. XIII, стр. 172—174, 175—178).

В письме к Вольтеру Екатерина выразилась по этому поводу: «Москва — особый мир, а не город». Еще позднее, 20 октября того же года, описывая *чумный бунт* А. И. Бибикову, Екатерина об этих событиях сказала: «*За московскими дурнотами* я на ваши письма до днесь не ответствовала. Проводили и мы месяц (сентябрь) в таких обстоятельствах, как Петр Великий жил *тридцать лет*. Он сквозь всех трудностей продрался со славою; мы надеемся из них выйти с честью. Слабость фельдмаршала Салтыкова превзошла понятие, ибо он не устыдился просить увольнения, когда своею персоною нужнее там был, и не ожидав увольнения — выехал, — чаять можно, — забавляться со псами. Обыкновенная полиция стала коротка, мать наша Москва велика; ударили в набат; чернь кинулась в Кремль архиерея искать; обер-полицеймейстер стал короток, а отчасти и оплошал» и пр. (Там же, стр. 179—180).

В половине сентября 1771 г. положение Москвы было невыносимое. В день умирало до 800 и 1000 человек... Дворяне и все чиновничество бежало из столицы. Присутствия сами собою закрылись. Даже медики, оставшиеся в городе, опустили руки, утверждая, что до наступления новой стужи невозможно избавиться от чумы. Народ стал толпиться у Варварских ворот, принося даяния иконе Боголюбской Богоматери. Архиепископ Амвросий Зертис-Каменский, родом молдаванин, приказал запечатать сундук по сбору даяний и перенести икону в другое место, чтоб устранить скопление народа в тесном пространстве, куда приходили чумные, умирая здесь же у ворот. Разъяренная чернь, с криками: «Грабят Боголюбскую Богородицу», а по письму Екатерины к Вольтеру (от 6 окт., Сбор. ист. общ., т. XIII, стр. 75—76) с криками: «Архиерей хочет ограбить казну Богоматери! Надо его убить!» — бросилась сперва в Чудов монастырь, где не нашла Амвросия (он в крестьянской сермяге ушел тайным подземным ходом из Кремля), затем в Донской монастырь.

Там его нашли, вытащили из алтаря и зверски убили. Пристав одной из карантинных частей города, генерал П. Д. Еропкин, с 30—40 гвардейскими инвалидами и с двумя пушчонками (по словам императрицы) отважился выйти против взбунтовавшейся черни (разбившей и выпившей винные склады в Чудовом монастыре) и разогнал ее несколькими залпами картечи, положа на месте до тысячи мятежников. Так кончился памятный доныне в Москве «чумный бунт» или Софьин день 1771 года.

Подробное описание этого бунта, составленное протоиереем Петром Алексеевым, напечатано в «Русском Архиве» 1863 г. (ч. I, стр. 910—916).

По словам этого очевидца, Амвросий Зертис-Каменский уехал из Кремля в кибитке, с племянником Николаем, Н. Бантыш-Каменским (отцом известного писателя Д. Н.), когда мятежники, избив консисторского канцеляриста и солдат, пришедших печатать сундук с деньгами у Варварских ворот, бросились в Кремль, выломав и его ворота. Толпа была вооружена кольями, камнями, топорами и кистенями. Найдя Амвросия на хорах за алтарем и стащив его оттуда за волосы, бунтовщики дали ему, по его просьбе, приложиться к образу Донской Богоматери и затем стали его допрашивать:

— Ты ли не велел хоронить покойников *у церквей* (карантинное правило)?

— Ты ли присудил забирать нас *в карантины*?

— Кто с тобой в *этой думе* заодно?

Несчастного архиерея после допроса били дубьем «близ двух часов». Бросив полумертвого страдальца, убийцы возвратились к нему опять, видя, что у него «одна рука правая отмашкою двигнулася», — и стали опять бить его кольями по голове. То же повторилось, когда «пожался тот страдалец раменами». Один «церковник» последним довершил его ударом, «отрубя несколько от главы, коя часть над глазом и осталася висящею» (Русск. Архив, 1863 г., ч. I, стр. 913—914).

Первый натиск Еропкина чуть не кончился для него бедою. Мятежники так нажали его солдат, что те бросились бежать, и Еропкин едва успел увезти свою пушку к Спасским воротам с помощью штыков. Ему помог подоспевший отряд Великолуцкого полка. Чернь рассеялась от картечи; но ее расходившиеся звонари «у набатных колоколов» до того старались, что солдаты едва стащили их с колоколен «на штыках». Кремль и все входы в него Еропкин занял солдатами, под командою бывших у него гвардейских офицеров. (Там же).

Императрица, еще не зная о чумном бунте, решила послать в Москву графа Григория Григорьевича Орлова. Об этом ее решении остался след в ее опубликованной переписке и в архиве государственного совета (т. I, ч. 1-я, стр. 412, протокол 19 сентября 1771 года).

19 сентября в совете императрицы была объявлена высочайшая ее воля послать в Москву такую «доверенную особу, коя бы, имея полную власть, в состоянии была избавить тот город (Москву) от совершенной погибели». Совет тотчас же приступил к суждению «об изыскании сей особы», а 21-го одобрил и «заготовленную для дачи *посылаемому в Москву* генерал-фельдцехмейстеру Орлову полную мочь в делании там всего, что за нужное найдет к избавлению от заразы». В письме к Вольтеру (Переписка Екатерины с Вольтером, ч. 2, стр. 39) императрица выразилась: «Граф Орлов *просил меня* позволить ему отправиться в Москву, дабы рассмотреть на месте, какие можно пристойнейшие меры взять к прекращению сего зла. Я согласилась — не без ощущения сильной горечи». В то время (около 12 сентября) в Москве умирало *уже более 800 человек в сутки* (Архив госуд. совета, т. I, ч. 1, стр. 142).

Орлов выехал из Петербурга 21 сентября в Подберезье; по пути, 22-го числа, его встретила весть о московском мятеже и об убийстве Амвросия. Он без колебания продолжал путь и по страшной осенней распутице прибыл в Москву 26 сентября. Екатерина писала Бибикову (20 октября): «Та-

мо до его приезда все, по образцу графа Салтыкова, получа terreur panique, от язвы по норам расползлись, но теперь паки возвратились по местам. Старый хрыч фельдмаршал уволен».

С Орловым в Москву приехали искусный в то время хирург Тодте (Todte) и несколько расторопных гвардейских офицеров, в том числе знаменитый впоследствии Архаров, преображенский капитан Сем. Бор. Волоцкой и семеновские капитаны — князь Сер. Ив. Одоевский и А. Дм. Симонов. По окончании чумной заразы эти офицеры получили похвальные письма императрицы и по тысяче червонцев награды (см. Сборник имп. истор. общ., 1874 г., т. XIII, стр. 184). Один из командированных офицеров, преображенский капитан Александр Александрович Саблуков, оставил любопытные документы о пребывании своем в Москве во время чумы 1771 года — письма его в копиях к родителям, переписку комиссии исполнительной и врачебной и даже свои расходные тетради во время заведывания им московскими карантинными домами. Эти документы, сохранившиеся в фамильном архиве его внука, П. А. Муханова, напечатаны в «Русском Архиве» 1866 г. (т. IV, стр. 330—339).

Будучи послан в Москву ранее своих товарищей (9 августа 1771 г.), еще в распоряжение Еропкина, Саблуков находился там «в самое лютейшее и опасное время, когда зараза свирепствовала», — и, будучи деятельнейшим пособником Еропкина по усмирению чумного бунта, оставался в Москве до закрытия всех комиссий, то есть до декабря следующего 1772 года. По его словам, к Еропкину было отправлено «нарочитое число других лейб-гвардии офицеров и унтер-офицеров». Чумной бунт, по приказу Еропкина, Саблуков укротил при помощи «своей дивизии из восьмидесяти восьми престарелых гвардейских солдат и одной полковой пушки». Ему помогал капитан Волоцкой, с которым он, разогнав толпу, двое суток оставался на мосту у рва против Спасских ворот, охраняя вход через них в Кремль.

Радость Москвы при появлении среди нее «ближайшей к императрице особы» — графа Григория Орлова — была неописанная. Любимый тогдашний поэт — москвич Василий Майков так приветствовал приезд графа Орлова:

Не тем ты есть велик, что ты вельможа первый: —
Достойно сим почтен от росской ты Минервы
За множество твоих к Отечеству заслуг! —
Но тем, что обществу всегда ты верный друг...
Не самую ль к нему ты дружбу тем являешь,
Когда ты спасть Москву от бедствия желаешь?
Дерзай, прехрабрый муж, дерзай на подвиг сей,
Восстанови покой меж страждущих людей...
Когда ж потщишься ты Москву от бед избавить,
Ей должно образ твой среди себя поставить —
И вырезать сии на камени слова:
Орловым от беды избавлена Москва!

(Замечательно, что впоследствии именно этот самый, последний стих Майкова вырезан на памятнике в честь подвига Орлова в Царском Селе.)

Исполнение поручения императрицы далось, впрочем, Орлову нелегко. Его ожидали всякого рода затруднения и неприятности. Началось с поджога Головинского дворца (ныне место лицея цесаревича), где Орлов остановился, немедленно учредив две комиссии: противочумную и следственную по делу убиения архиепископа Амвросия («Жизнеописание князя Г. Г. Орлова» — А. П. Барсукова, Русский Архив, 1873 г., ч. I, стр. 67—75).

Стремясь к устранению главнейшей причины размножения заразы, то есть народного отвращения к больницам и карантинам, где действовали грубые и невежественные тогдашние чиновники и врачи, Орлов лично ободрял москвичей, обходил больницы, строго наблюдал за пищей и лекарствами. Потомок убитого Амвросия Дмитрий Бантыш-Каменский (см. его «Словарь достопамятных людей русской земли», 1836 г., ч. IV, стр. 49—53) говорит о нем: «Орлов прекратил *народные сходки, посещал госпитали* (чумные), оказывал человеколюбивое пособие зараженным, неослабно

надзирал за врачами, приказывал сожигать платье, белье, кровати умиравших от чумы».

Народ ежедневно видел среди себя Орлова, всегда веселого, приветливого, щедро рассыпавшего пособия от лица государыни. Через месяц по его прибытии в Москву, там средним числом уже умирало в день не более 353 человек (Архив государственного совета, т. I, ч. I, стр. 423).

По преданию, строгость карантинов при Орлове была так велика, что вокруг всей Москвы был устроен высокий частокол; бывшим под командой гвардейских офицеров солдатам, державшим пикеты вокруг Москвы, велено было *стрелять* по всякому, кто решался прорываться без осмотра сквозь карантинную цепь, — причем особые стрелки обязательно убивали выбегавших из Москвы *собак* и даже перелетавших через кордоны *сорок* и *ворон*, как плотоядных птиц. Частные и деловые письма, даже проткнутые и прокуренные серой, в первое время, на особо установленных почтовых пунктах не передавались из рук в руки за цепь, а перебрасывались на стрелах. (Слышано от внука еврея Розенберга, ездившего в то время в Москву за покупкой серебряных изделий для Полтавы.)

Едущие из Москвы держали в Твери недельный, а в Торжке *шестинедельный* карантин (Архив госуд. сов., т. I, ч. I, стр. 413).

Саблуков оставил небезынтересные сведения об остром периоде московской чумы. Он писал, между прочим, к своему отцу от 22 августа 1771 г.: «Занимать денег не у кого; почти все господа разъехались по деревням». «У меня в команде 1000 дворов; ежегодно имею дело с 300 чел. (больных). Приходится сталкиваться с полицейскими крючками» (29 августа). Далее он пишет:

«Язва гораздо умножилась, и нет никакого способа ее совсем искоренить, да и *медики утверждают, что до наступления стужи от нее избавиться нельзя*. Народ час от часу убывает; *все мастеровые, хлебники, пирожники, разносчики всякие* — расходятся по деревням. Из моей ча-

сти в шесть дней вышло около 700 человек. Их осматривают доктора и выдают билеты о здоровье» (20 авг. и 1 сентября). «Суды все заперты» (5 сентября). «Во дворах остается не более как человека по три, а в господских домах оставлено только по одному дворнику» (8 сент.). Описав чумный бунт и распоряжения Орлова, он от 27 октября пишет отцу: «чума уменьшается», а от 5 января 1772 г. извещает: «В моей части уже шесть недель все, слава Богу, благополучно!»

О деятельности Орлова Екатерина писала к г-же Бьелке 13 ноября 1771 г. «Вообще эта болезнь ходит только между чернью; люди высших сословий от нее изъяты, принимая необходимые предосторожности. *Граф Орлов не только запретил хоронить в городе*, но даже не иначе позволяет народу слушать литургию, *как оставаясь вне церкви, во время богослужения*. Наши церкви малы, все молятся стоя и обыкновенно бывает большая давка; притом извне слышно хорошо, так как обедня всегда громко служится и поется. Народ от таких увещаний сделался так благоразумен, что даже не поднимает денег, если они попадаются ему под ногами (Сборник ист. общ., т. XIII, 1874 г., стр. 186).

В собственноручном черновом наставлении князю Михаилу Волконскому, сменившему Орлова по ослаблению чумы, Екатерина писала в ноябре 1771 г., что перед приездом в Москву Орлова там «от 800 до 1000 человек в день мерло» и что он нашел все тамошние правительства «разные в *незаседании*, всех людей в унынии, отчаянии и худом послушании» — и что зло прекратилось Орловым при помощи сенаторов Мельгунова, Еропкина и Дмитрия Волкова, а также обер-прокурора Всеволожского и Баскакова. Посылая князя Волконского начальствовать в Москву, Екатерина писала ему (6-й пункт наставления): «Предписуя вам строгое взыскание от всех исполнения законов, учреждений и повелений, не разумеем мы отнюдь под сим, чтобы вы неумеренною строгостью всех приводили в *страх и трепет*...» Московский отставной батальон гвардии, столько оказавший пользы во время чумы, императрица велела Мельгунову, по

окончании заразы, перевести в Муром. Ему же она рекомендовала следующую разумную меру: «Весьма б полезно было, если б большие фабриканты добровольно согласились *перенести фабрики* в уездные города; ибо Москва отнюдь не способна для фабрик: тамо и дешевле, и работники менее подвержены всяким неистовствам».

По словам Екатерины, в письме ее от 3 декабря 1771 г. к Вольтеру, в день выезда Орлова из Москвы (28 ноября), там было только двое умерших. Перед выездом его из Москвы, как говорит Екатерина в письме к г-же Бьелке, из 1965 больных умирало только 38 человек. Могилы рыли каторжные, получая за работу по 30—40 копеек от могилы.

5 декабря Орлов представил совету императрицы отчет о своей деятельности, где заявил, что «*попущения карантинных* частных *смотрителей* и их грабеж в зараженных домах были главною причиною распространения болезни, народного отвращения к карантинам и мятежа, и что с начала язвы по ноябрь в Москве умерло от чумы 50 000 человек. Уезжая из Москвы, Орлов учредил там хлебные магазины для пропитания народа (Архив госуд. совета, т. I, ч. I, стр. 425).

Возвращение Орлова в Петербург было приветствовано торжествами. Кроме триумфальных ворот в Царском Селе (на дороге в Гатчину) в честь Орлова была выбита медаль с его портретом и изображением Курция, бросающегося в пропасть, с надписью: «И Россия таковых сынов имеет».

1879 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Петрович
ДАНИЛЕВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 7

Редактор
И. Шурыгина
Художественный редактор
Е. Дятлова
Технический редактор
Н. Привезенцева
Корректоры
В. Антонова, М. Александрова, В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 26.12.94. Формат 70 Х 108 1/32. Бумага офсетная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,8. Уч.-изд. л. 28,78. Тираж 15 000 экз. Заказ 13

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Ярославский полиграфкомбинат». 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.


Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ